

# ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА





Young Eugene

1871—1919

ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

Леонид Андреев

# ЦВЕТОК ПОД НОГОЮ

Повести и рассказы

*Художник А. Кузнецов*

МОСКВА  
«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»  
2007

УДК 821.161.1-3  
ББК 84(2Рос=Рус)1-44  
А65

Тексты печатаются по изданиям:  
Андреев Л. Н. Повести и рассказы: В 2 т.  
М. : Худож. лит., 1971 ; Андреев Л. Н. Жили-были :  
рассказы. М. : Дет. лит., 1986.

Вступительная статья  
**Н. КОЛЬЦОВОЙ**

**Для старшего школьного возраста**

**Андреев Л. Н.**  
А65    Цветок под ногою : повести и рассказы / Леонид Андреев ; [вступ. ст. Н. Кольцовой] ; худож. А. Кузнецов. — М. : Дет. лит., 2007. — 477 с. : ил. — (Школьная библиотека).

ISBN 978-5-08-004162-4

В сборник произведений замечательного русского писателя рубежа XIX—XX веков Леонида Андреева вошли широко известные повести и рассказы: «Петьяка на даче», «Ангелочек», «Рассказ о семи повешенных», «Жизнь Василия Фивейского», «Иуда Искариот» и другие.

**УДК 821.161.1-3  
ББК 84(2Рос=Рус)1-44**

ISBN 978-5-08-004162-4

© Кольцова Н. З., вступительная статья, 2007  
© Кузнецов А. М., иллюстрации, 2007  
© Оформление серии, составление. ОАО «Издательство «Детская литература», 2007

## ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МИР ЛЕОНИДА АНДРЕЕВА

«У печали и страха есть свое очарование», — утверждает один из героев Леонида Андреева, и эти слова, пожалуй, можно воспринимать как своеобразную автохарактеристику писателя. Действительно, произведения Андреева завораживающие действуют на читателя, погружая его в состояние тоски, отчаяния, ужаса. Андрееву было чуждо радостное настроение, он редко воссоздавал светлые эмоции, но современная писателю Россия и не давала оснований для подобных переживаний. Талант Андреева проявился именно в умении чутко улавливать настроения эпохи, точно и тонко выражать чувства и мысли своих соотечественников и писать на злобу дня даже в тех произведениях, в которых отсутствует непосредственная связь с современностью.

В предреволюционную эпоху Андреев являлся подлинным «властителем дум» русской интеллигенции: каждое новое произведение писателя становилось значительным событием общественно-культурной жизни России. Сегодня в Андрееве видят, с одной стороны, преемника Ф. М. Достоевского, с другой — провозвестника литературы абсурда и экзистенциализма. Так, Андрееву свойственно восприятие человеческой жизни как катастрофы. «Человек на краю бездны» — этими словами, как правило, определяют основную идею произведений А. Камю и Ж. П. Сартра, но эта формулировка, воспринимающаяся сейчас уже как некий штамп, как нельзя более точно отвечает мироощущению Андреева и его героев. Один из самых скандально известных рассказов писателя так и называется — «Бездна» (1902). На протяжении всей жизни Андреева не оставляло восприятие мира как пропасти: «Я всегда любил солнце, но свет его страшен для одиноких, как свет фонаря над бездною. Чем ярче фонарь, тем глубже пропасть, и ужасно было мое одиночество перед ярким солнцем. И не давало оно мне радости — это любимое мною и бес-

пощадное солнце... <...> Жизнь — страшная и непонятная ве́шь».

Однако андреевский художественный мир столь своеобразен, что «вписать» его в ту или иную литературную систему не представляется возможным. Писателем «редкой одаренности, редкого таланта» назвал Андреева М. Горький. Сам Андреев остро осознавал свою «единственность» и не стремился примкнуть к тому или иному литературному направлению. По существу своей литературной деятельности писатель считал себя революционером, но вкладывал в это слово принципиально иное содержание, нежели большинство его современников. Для Андреева революция — не только социальное явление, но и некий универсальный закон, проявляющий себя во всех областях человеческой жизни. Более того, бунтарство писателя в сфере художественного мышления связано прежде всего с протестом против идеи фатальной зависимости характера человека от пресловутого быта, социально-исторических условий существования. Андрееву интересен человек «как он есть» — некие универсальные свойства человеческой психики, вневременные черты человеческой натуры. Стремление к выявлению вечных, неизменных начал бытия сближает писателя с его современниками-символистами, но не менее прочной оказывается и его связь с русской классической литературой.

Писательский творческий метод, формирующийся в условиях сосуществования реализма и модернизма, в известной мере объединяет их основные тенденции. Однако сам Андреев ощущает скорее свою отчужденность от обеих художественных систем, нежели родство с ними. «Кто я? Для благородно рожденных декадентов — презренный реалист, для наследственных реалистов — подозрительный символист», — писал он Горькому еще в 1912 году.

Художественный метод писателя, безусловно, развивается с течением времени: реалистические тенденции, доминирующие в раннем творчестве, постепенно уступают место различным формам условности. Но одно остается неизменным: трагический пафос произведений, сосредоточенность автора на темах тоски, боли, отчаяния.

Леонид Николаевич Андреев родился 9 (21) августа 1871 года в Орле, в семье землемера. Семья будущего «властителя дум» русской интеллигенции не знала достатка, и о тя-

готах, скуке и однообразии провинциальной жизни, ставшей темой его ранних рассказов, Андреев знал не понаслышке.

В 1882 году Андреев поступил в 1 класс Орловской классической гимназии, но учился без особого рвения и в шестом классе даже был оставлен на второй год. Самые яркие впечатления детства будущего писателя и драматурга связаны с чтением «толстых книг» (как позже напишет Андреев в автобиографической справке), с увлечением живописью, а также с посещением театра: в Орле часто выступали известные столичные и провинциальные актеры.

На мировоззрение юного Андреева оказали влияние работы В. Г. Белинского, Н. А. Добролюбова, Д. И. Писарева и Н. Г. Чернышевского, но настоящим откровением для него стал трактат Л. Н. Толстого «В чем моя вера?». В толстовском учении будущего писателя привлекла не проповедь самосовершенствования, а протест против официальной религии. Однако в отличие от Толстого Андреев, отвергая церковные догмы и ритуалы как нечто внешнее по отношению к вере, не находит Бога и в самом человеке, оставляя того один на один с ужасом и хаосом вселенной. Позже толстовское влияние наиболее ярко проявится в таких произведениях, как «Жизнь Василия Фивейского», пьесах «Савва» и «Анатема».

И все же не столько Толстой, сколько Достоевский был духовно близок Андрееву с юных лет, точнее, не сам Достоевский, а его герои — бунтари, которые не могут найти ответов на «проклятые вопросы» и погружаются в состояние отчаяния, исступления. Действительно, Андреев сопоставим с Иваном Карамазовым, Родионом Раскольниковым, готовыми на все, чтобы «мысль разрешить». Подобно героям Достоевского юный Андреев ставит эксперименты над собой и своей жизнью: испытывая свою волю, ложится на рельсы и ждет, когда над ним пронесется поезд. Не находя оправдания и цели человеческого существования, он предпринимает две попытки самоубийства.

Сближают юного Андреева с героями Достоевского и осознание своей исключительности, болезненная гордость, жажда первенства, сохранившаяся в нем до последних дней жизни. В детстве мальчишки дали ему прозвище Герцог, а много позже, как вспоминает К. И. Чуковский, и знаменитый И. Е. Репин назвал писателя «герцогом Лоренцо» — по имени героя андреевской пьесы «Черные маски» (1908). По мне-

нию Чуковского, во всем, что «окружало и отражало Андреева, было что-то декоративное, театральное». Действительно, пристрастие к мелодраматическим эффектам было присуще Андрееву не только в искусстве, но и в жизни. Однако ни «театрализованное» подчас поведение, ни «демоническая» внешность писателя не отменяют подлинности и глубины его внутренней жизни, трагической в своей основе.

Уже в гимназические годы Андреев испытал на себе влияние учения немецкого философа Ф. Ницше. Особенноозвучными андреевскому мировосприятию оказались идеи самоценности личности, бессмысленности жизни и тема «героического пессимизма». Однако позже «русское ницшеанство» будет показано Андреевым в свете горькой иронии и, конечно, самоиронии. Так, в «Рассказе о Сергее Петровиче» (1900) знаменитый девиз Ницше: «Если жизнь не удается тебе, знай, что удастся смерть» — лишается своего романтического ореола, переходит в сниженный план, «подсвечиваясь» сюжетом, а также житейскими подробностями.

Жизнь Андреева в 1890-е годы насыщена событиями — как горестными, так и радостными. Подобно многим своим современникам будущий писатель переменил множество профессий. В 1891 году он поступил на юридический факультет Петербургского университета, однако за неимением средств вынужден был продолжить обучение в Московском университете, освобождающем студентов из бедных семей от платы. Материальное положение семьи после смерти отца резко ухудшилось, и мать Андреева, продав дом в Орле, вместе с младшими детьми переехала в Москву. Будущий писатель вынужден был зарабатывать на жизнь частными уроками и составлением плакатных объявлений. Кроме того, он рисовал на заказ портреты и публиковал очерки и небольшие рассказы.

Окончив в 1897 году юридический факультет, Андреев получил должность присяжного поверенного и начал публиковать отчеты о проведении судебных дел в «Московском вестнике» под рубрикой «Из зала суда». А с 1898 году в литературной газете «Курьер» под псевдонимом Джемс Линч печатаются не только его судебные очерки, но и рассказы, фельетоны и театральные рецензии. Именно «Курьер», с которым сотрудничали М. Горький, В. Вересаев, А. Куприн, стал литературной школой для Андреева. На страницах «Курьера» было опубликовано свыше пятидесяти фельетонов

и тридцать четыре рассказа писателя. Вскоре Андреев стал едва ли не самым популярным сотрудником газеты.

Работа судебным репортером позволяла Андрееву не только пополнять запас жизненных впечатлений, но и изучать особенности человеческой психологии. По признанию самого писателя, суд стал для него подлинной школой жизни: «Суд, постоянное общение с людьми, наблюдение над ними в необычайной обстановке, наконец, тайны чужой жизни, вскрывавшиеся во время судебных процессов, — все это вскрывало передо мной тайны живых людей. Судебные драмы и комедии показали мне, как живут те люди, которых мы знаем толпой в массе»<sup>1</sup>. В судебных репортажах Андреев выступал и как хроникер-юрист, и как хроникер-рисовальщик — его талант художника проявился в создании своеобразных «иллюстраций» к сценкам, диалогам из зала суда. Однако Андреев не ограничивается документальным воспроизведением увиденного, но пытается постичь психологию человека в момент наивысшего напряжения всех его душевых сил — и отбор материала, и ракурс его подачи свидетельствуют об авторском стремлении предложить публике «психологический отчет» преступления.

Сам писатель отсчет своей литературной деятельности ведет от рассказа «Баргамот и Гараська» (1898), написанного в традициях «пасхальной» литературы. «Первый мой рассказ, — писал Андреев в автобиографической справке, — «Баргамот и Гараська» — написан исключительно под влиянием Диккенса и носит на себе заметные следы подражания»<sup>2</sup>. Рассказ тем не менее получил высокую оценку и у такого влиятельного критика, как Н. К. Михайловский, и у Горького, сумевшего разглядеть за шаблонной формой оригинальную манеру автора, а за благополучно-сентиментальной развязкой его недоверчивую «улыбочку».

Знакомство Андреева с Горьким состоялось в 1900 году и переросло в дружбу, которая, однако, позже завершилась разрывом. Но в начале века писателей связывала подлинная дружба. В 1901 году Горький на свои средства опубликовал в из-

---

<sup>1</sup> Иезуитова Л. А. Творчество Леонида Андреева. Л., 1976. С. 41.

<sup>2</sup> Леонид Андреев (автобиографическая справка) // Русская литература XX века (1890—1910) / Под ред. С. А. Венгерова. Т. 2. Ч. 2. С. 245.

дательстве «Знание» первый сборник рассказов Андреева. Книга принесла дебютанту не только признание публики, но и коммерческий успех. Андрееву сопутствуют удача и настоящее счастье: он женится на Александре Михайловне Велигорской, ставшей для него настоящей музой, вдохновительницей или, как ее шутливо величал Горький, «Дамой Шурой». С 1898 по 1904 год Андреев написал более пятидесяти рассказов, снискавших признание современников.

Горький высоко ценил дарование Андреева, но упрекал его в нежелании пополнять запас жизненных впечатлений. Андреев действительно больше доверял своей интуиции, нежели фактам жизни, и писал рассказы, руководствуясь методом, который исповедовал еще в детстве во время занятий живописью, — рисовать «из головы». Уже в ранних рассказах, выдержаных, казалось бы, в реалистических традициях, автор делал ставку на воссоздание правды не столько быта, сколько духовной жизни человека. Расхождения во взглядах между Горьким и Андреевым с течением времени становились все более очевидными.

Ранние рассказы — «Баргамот и Гараська», «Ангелочек» (1899), «Кусака» (1901), «Петъка на даче» (1899) и другие — выдержаны в традициях реализма и испытывают на себе влияние А. Чехова, М. Горького. Тем не менее хрестоматийные темы и образы приобретают новое звучание, и андреевскую интонацию невозможно спутать ни с чьей иной. Так, рассказ «Петъка на даче», повествующий о страданиях ребенка, в котором его хозяин-парикмахер видит лишь «мальчика» (так называли в царской России будущего подмастерья, ребенка из бедной семьи, взятого на обучение и выполняющего самую грязную работу), возвращает читателя к чеховскому «Ваньке Жукову». Но если в чеховских рассказах присутствует иллюзия невмешательства автора в жизнь и внутренний мир героев, то Андреев не только не прячет свое «я», но и настойчиво, даже навязчиво выражает свою позицию, подчиняя все некой общей идеи. Андреев не стремится к обобщению жизненных впечатлений, а отбирает те факты, которые служат доказательством некоего постулата. Восходящая к эстетике сентиментализма идея «естественной жизни» (согласно которой все зло в человеке исходит от цивилизации, нивелирующего влияния общества) реализуется сюжетом рассказа: оказавшись на даче, забитый «мальчик», напоминающий состаривше-

гося карлика, преображается, превращаясь в живого и восприимчивого ребенка.

«Детские» рассказы в творчестве Андреева — это не столько истории для детей, сколько произведения о детях, решающих взрослые проблемы. Маленькие герои Андреева наделены способностью сострадать чужому горю. Валя, герой одноименного рассказа (1899), обладает настоящей мудростью сердца, помогающей ему не только простить мать, когда-то оставившую его, но и ощутить себя ответственным за ее судьбу: «Валя решительно подошел... и сказал с тою серьезною основательностью, которая отличала все речи этого человека:

— Не плачь, мама! Я буду очень любить тебя. В игрушки играть мне не хочется, но я буду очень любить тебя. Хочешь, я прочту тебе о бедной русалочке?..»

Относящееся к ребенку слово «человек» свидетельствует об авторском уважении к герою, сумевшему — отчасти с помощью литературы — постичь всю глубину страданий женщины, преданной возлюбленным и отверженной обществом «благополучных» людей — таких, как приемные родители мальчика. Валя, обладающий уникальной интуицией, сумел увидеть общее в судьбах прекрасных сказочных героинь и некрасивой женщины, оказавшейся его матерью: «”Бедная женщина”, как ее называли, стала интересовать его, и, вспоминая других бедных женщин, о которых ему приходилось читать, он испытывал чувство жалости и робкой нежности. Ему представлялось, что она должна сидеть одна в какой-нибудь темной комнате, бояться и все плакать, все плакать, как плакала она тогда. Напрасно он тогда так плохо рассказал ей про Бову-королевича». Используя прием наложения двух планов, реального и вымыщенного, сказочного, писатель показывает особенности детского мировосприятия, воссоздает внутренний мир ребенка, постигающего действительность через призму сказки. «Русалочка» и «Бова-королевич» не только не заслоняют собой действительность, но и дарят Вале ключ к пониманию жизненных коллизий. Валя тонко подмечает фальшь и несправедливость в действиях и словах взрослых. Повествование ориентировано на точку зрения героя, и с помощью заострения некоторых, казалось бы незначительных, деталей Андреев показывает, как меняется отношение Вали к «некрасивой женщине», его настоящей матери, и добрым и милым приемным родителям. Брилли-

антовые сережки переливаются и дрожат в ушах приемной матери героя в моменты радости и горя, привнося что-то декоративное, игрушечное в ее проявления чувств. Ни герой, ни автор не отказывают ей в сочувствии, но видят и другое: «некрасивое» страдание родной матери Вали, улыбка и голос которой сначала кажутся мальчику неестественными, а потом пробуждают щемящую жалость к ней. «...Ты рад? — спрашивала мать все с тою же насильственною, нехорошою улыбкою человека, которого всю жизнь принуждали смеяться под палочными ударами». В небольшом по объему произведении автор сумел показать взросление маленького мальчика, сумевшего не только принять свою судьбу, но и осознать свою ответственность за жизнь родного человека.

Часто Андреев прибегает к приему развернутой метафоры, охватывающей все произведение и служащей основным способом выражения авторской идеи. В рассказе «Ангелочек» восковая игрушка — ангелочек, висящий на рождественской елке, — становится символом иллюзорности человеческих надежд, хрупкой и беззащитной красоты, несовместимой с пошлой и грубой жизнью. Здесь Андреев, как и в «Баргамоте и Гараське», использует прием «разрушения изнутри» традиционных литературных схем и клише: бедный мальчик, оказавшийся на рождественской елке в богатом доме, видит — вопреки условиям жанра «рождественского» или «святочного» рассказа — фальшь и притворство людей, «облагодетельствовавших» его. Стилизация, таким образом, уступает место пародии. Цитаты, отсылки к произведениям русской и европейской литературы помогают Андрееву вступить в диалог со своими предшественниками и современниками и вовлечь в него читателя.

Материалом для творчества Андреева становятся не только непосредственные жизненные наблюдения, но и вся предшествующая культура. Как и многие его современники, усвоившие уроки модернизма, писатель едва ли не в каждом своем произведении обращается к библейским сюжетам, античным и историко-культурным мифам. Во многих его персонажах современники «узнавали» героев Ф. М. Достоевского. «Ангелочек», например, возвращает читателя к рассказу Достоевского «Мальчик у Христа на елке». Писатель и философ В. Розанов считал андреевский рассказ «Тьма» (1907) «подражательной вещью», поскольку в нем, как и в «Преступлении и наказании», описывается история встречи

«сверхчеловека» и падшей женщины. Усматривает Розанов и сходство между героиней Андреева и Грушенькой — одной из героинь «Братьев Карамазовых». Список подобных «соппадений» можно без труда пополнить, однако сложно согласиться с мнением об Андрееве как эпигоне Достоевского: плагиатор тщательно скрывает факт заимствования чужой идеи, тогда как Андреев настойчиво подчеркивает свою ориентацию на диалог с Достоевским и выступает в роли не столько преемника или последователя, сколько собеседника, подчас жесткого оппонента. Так, Достоевский, изображая бунтующего человека, выявляет не только психологические и философские, но и социальные истоки его бунта, тогда как Андреев освобождает человека от социальных связей, словно желает сказать: зло сосредоточено в самом человеке. Таким образом, если проблема бунта в творчестве Достоевского решается в соответствии с установками классического реализма — бунт является реакцией героя на искажение общечеловеческих норм и «разбивается» о христианские заповеди, то по Андрееву он — неотъемлемое свойство человеческой души.

Традиционные для русской литературы темы страдания и бунта получают в рассказах Андреева новое звучание. Неожиданное прочтение в творчестве писателя обретает и тема карточной игры, тема, к которой неоднократно обращались как предшественники, так и современные ему писатели — А. С. Пушкин в «Пиковой даме», Ф. М. Достоевский в «Игроке», Ф. Сологуб в «Мелком бесе». Рассказ Андреева «Большой шлем» (1899) сразу привлек к себе внимание современников. Л. Н. Толстой, который с интересом читал присылаемые ему Андреевым рассказы и даже выставлял им оценки по пятибалльной шкале, за «Большой шлем» поставил писателю отметку 4. М. Горький отметил деталь, выявляющую талант автора, которому «нужно было сопоставить жизнь и смерть, — Андреев сделал это очень тонко, одним штрихом». Мотив смерти переплетается в рассказе с темами рока и трагической разобщенности людей. Андреевские герои в течение многих лет посвящают свой досуг игре в винт и, казалось бы, должны хорошо знать друг друга, однако, когда один из них умирает за карточным столом, выясняется, что никто не знает его адреса, все думают лишь о том, как найти нового партнера для игры. И еще одна мысль мучает игроков — мысль о том, что покойный никогда не

узнает о том, «что на руках у него был верный большой шлем». Андреевский персонаж, оказывается, стоял на пороге исполнения своей мечты, однако сама мечта его столь ничтожна, что читатель наряду с жалостью испытывает презрение к нему. Если герой «Пиковой дамы» бросает вызов судьбе, то персонажи Андреева вносят размеренность и житейскую основательность в азартную игру. Пушкинский Германн уходит от будней в мир карт — в мир страстей, тогда как скромные обыватели из андреевского рассказа заменили монотонное существование будней рутиной карточной игры. Героическая тема рока в рассказе Андреева снижается, лишается романтического ореола, но при этом не теряет трагизма. Мир людей и мир карт противопоставлены друг другу, но совпадают в одном — в равнодушии к человеческим страданиям. Образ карточной игры в «Большом шлеме» становится метафорой механической повседневности, ежеминутного воздействия на человека неведомых сил, сопротивляться которым бессмысленно, но, с точки зрения Андреева, необходимо, иначе человек превратится в бездушную марионетку. Автор сочувствует своим героям, но не принимает их социальной апатии, равнодушия ко всему, что выходит за пределы их интересов.

В 1900-е годы Леонид Андреев становится для России едва ли не символически значимой фигурой: по мнению А. Блока, именно он ярче остальных писателей выразил «трепет нашего рокового времени». Андреев, дебютировавший как прозаик, пробует свои силы в драматургии, уделяет внимание организаторской и редакционной деятельности. Он устраивает на своей петербургской квартире собрания писателей, пытаясь сплотить вокруг себя художников различных литературных направлений. В 1901 году Андреев возглавил беллетристический отдел «Курьера», а в 1908-м редактировал альманахи издательства «Шиповник», с которым сотрудничали как писатели-реалисты, так и модернисты. В отличие от Горького, категорически отвергавшего новомодные течения, Андреев не только проявлял интерес к модернистскому искусству, но и стремился к синтезу реализма и модернизма в своем творчестве. С течением времени склонность художника к отвлеченному художественному мышлению проявляется все более отчетливо.

Леонид Андреев стал одним из первых представителей экспрессионизма в литературе, точнее, он «открыл», интуи-

тивно «нащупал» этот метод еще до того, как экспрессионистские тенденции в европейском искусстве были осознаны и получили теоретическое обоснование.

Как известно, экспрессионизм сложился в немецкой живописи и несколько позже, в начале XX века, — в литературе и явился откликом на острые социальные потрясения, предшествующие и сопутствующие Первой мировой войне, поэтому основной пафос произведений художников-экзистенциалистов — ужас, боль, отчаяние. Экспрессионисты стремятся выразить свое «я», а не изобразить объективно существующий мир. Иными словами, впечатление (*impression*) вытесняется выражением (*expression*). Предмет — лишь средство, своего рода подсобный материал для раскрытия отношения художника к миру, способ передачи чувств, эмоций, а не самодостаточный объект. Вещи, предметы исполняют роль красок, в которые художник погружает кисть перед нанесением мазка на холст, и автор, как художник, свободно смешивает «краски», поэтому предметы сдвигаются со своих мест, предстают в необычных сочетаниях.

Уже в ранних рассказах Андреева присутствуют нереалистические элементы, однако трансформация стиля, поворот в сторону модернизма станут очевидными в 1905 году, когда будет опубликован рассказ «Красный смех», получивший широкий общественный резонанс.

В «Красном смехе» Андреев создает обобщенный, концептуированный образ бессмысленного кровопролития. Рассказ написан в разгар Русско-японской войны, но писатель не стремится к документальной точности, поскольку ставит перед собой задачу показать не конкретные события, а войну как таковую, войну вообще, выразить дух этого явления. Сам художник определяет жанр «Красного смеха» как «фантасию на тему будущей войны и о будущем человеке»<sup>1</sup>. Многие современники писателя критически, подчас насмешливо отзывались о рассказе. Участник Русско-японской войны, писатель В. Вересаев видел в «Красном смехе» произведение художника-неврастеника, «больно и страстно переживающего войну через газетные корреспонденции о ней», и утверждал, что Андреев упустил из виду главную и спасительную способность человека — ко всему привыкать. Вересаев, как и многие другие, оценивает андреевский рассказ в соответствии с

---

<sup>1</sup> Литературное наследство. Т. 72. М., 1965. С. 242.

представлениями о традиционном, классическом реализме, тогда как сам автор, посыпая рукопись рассказа Л. Н. Толстому, отмечал, что «сворачивал от реализма» куда-то «в сторону». Необычной для современников была прежде всего андреевская интонация. «Каждая его фраза безобразный визг, как от пилы, когда он слабый человек, и звериный рев, когда он — творец и художник», — писал А. Блок. Позже именно такой метод, как экспрессионизм, будет назван «искусством крика».

Леониду Андрееву, по его признанию, была особенно близка манера известного испанского художника Ф. Гойи — автора знаменитых «Бедствий войны» и «Капричос», построенных на стыке реальности и фантастики, конкретно-исторического и вневременного. Рассказ «Красный смех» создавался под непосредственным впечатлением от его офортов, более того, именно картины Гойи должны были стать иллюстрациями к рассказу, который Андреев хотел издать отдельной книгой. Уходя от подражания действительности, используя различные виды условности (гиперболу, гротеск, цветовую символику), Андреев достигает эффекта «предельного», «сверхреализма», предвосхищая метод другого великого испанского художника — сюрреализм С. Дали. Картины, нарисованные воображением Андреева, соизмеримы со знаменитой, созданной тридцатью годами позднее картиной Дали «Предчувствие гражданской войны». Именно уникальная интуиция, дар предчувствия позволяют Андрееву «увидеть» грядущие катаклизмы, войны, свидетелем которых он еще быть не мог.

В «Красном смехе» перед читателем проходят образы солдат, раненых, умирающих в страшных мучениях людей: «В правую щеку мне дунуло теплым ветром, сильно качнуло меня — и только, а перед моими глазами на месте бледного лица было что-то короткое, тупое, красное, и оттуда лила кровь, словно из откупоренной бутылки, как их рисуют на плохих вывесках. И в этом коротком, красном, текущем продолжалась еще какая-то улыбка, беззубый смех — красный смех». Так перед читателем впервые появляется образ красного смеха — образ, не поддающийся рациональному объяснению, но предельно точно выражаящий весь ужас войны, бессмысленной кровавой бойни. Красный смех — это символический образ бессмысленного кровопролития, массового помешательства, безумия. При том что Андреев не при-

нимал участия в Русско-японской войне, образ создавался под непосредственным впечатлением от ужасного зрелища: во время отдыха в Ялте писатель оказался свидетелем несчастного случая — взрывом ранило двух солдат, и одному из них вырвало глаз, изуродовало лицо.

В рассказе нет собственных имен, что подчеркивает универсальный характер происходящего, отсутствует какая бы то ни было конкретизация при воссоздании событий, точнее, их преломления в сознании повествователей — двух братьев. Форма записок позволяет писателю проследить, как разум «рассыпается», столкнувшись с абсурдом и безумием войны. Рассказ имеет подзаголовок «Отрывки из найденной рукописи», однако, как проницательно заметил Горький, остается неясным, сколько всего рукописей в рассказе — одна или две. Композиция произведения определяется сменой повествовательного ракурса: первая часть написана от лица героя, побывавшего на войне, вторая — от лица его брата, который, однако, сообщает о том, что и первая часть написана им со слов покойного. С помощью подобного приема писатель добивается эффекта размывания границ между «мысленными пространствами» двух близких людей, более того, доказывает, что во время мировых катаклизмов грань, отделяющая одно сознание от другого, оказывается условной, зыбкой, и таким образом читателю внушается мысль о масовом помешательстве, психозе, душевной болезни не индивида, а человечества. Прием «стирания границ» между внешним миром и пространством сознания героя, безусловно, восходит к Достоевскому, с которым, как уже отмечалось, писатель находится в непрестанном диалоге. Андреев, как и Достоевский, часто обращается к библейским сюжетам, переосмысленным в философско-психологическом плане.

Однако Андреев расходится со своим великим предшественником в трактовке библейских истин, в частности идеи страдания — ключевой в философской системе Достоевского, полагающего, что путь человека к счастью лежит именно через испытания. Андреев во многих произведениях — «Жизни Василия Фивейского» (1903), пьесах «Жизнь Человека» (1906) и «Анатэма» (1909) — заостряет тему бесмысленных страданий, мучений, отнюдь не ведущих к преображению мира. Развивая тему испытаний, выпадающих на долю человека, Андреев обращается к библейской притче об Иове, и она становится лейтмотивом многих его произведений.

ний. Василий Фивейский, герой повести «Жизнь Василия Фивейского», подобно ветхозаветному Иову безропотно принимает все беды, посланные ему, и ни гибель первого сына, ни рождение идиота — второго сына, ни пьянство и смерть жены не заставили героя отречься от веры. Однако, принимая собственную судьбу как испытание, священник не может смириться с мучениями и бедами других: «Каждый страдающий человек был палачом для него, бессильного служителя всемогущего Бога». В отличие от Иова герой Андреева не рождается святым, но становится им в глазах окружающих. Действительно, аскетизмом, подвижническим служением людям и долготерпением отец Василий напоминает праведника Иова. Однако, пройдя через муки и испытания, обретая ореол «святого», он в отличие от библейского прототипа приходит к бунту, не находя оправдания жестокости мира. Безусловно, прием использования библейских сюжетов в литературе далеко не нов. Однако предшественники Андреева используют библейскую символику как своеобразный «шифр», способ выражения авторской позиции, тогда как Андреев подвергает переосмыслинию сам текст Священного Писания. Элементы «житийного» сюжета (повествование построено по образу жития) необходимы автору для полемики с религиозным мировоззрением. Андреев (как впоследствии и М. Булгаков в своем знаменитом романе «Мастер и Маргарита») заостряет внимание читателя на расхождениях между историей жизни своего героя и библейского прототипа, показывая бессилие человека перед вселенным злом.

Прием «перепрочтения» мотивов и образов Нового Завета является основным и в «Иуде Искариоте» (1907) — повести, вызвавшей гнев Л. Н. Толстого: «Ужасно гадко, фальшиво и отсутствие признака таланта. Главное — зачем?» Ответ на вопрос «зачем?», точнее «почему?», дает сама эпоха: рассказ создавался после краха первой русской революции и разоблачения провокаторов, и тема предательства особенно занимала Андреева. Однако художник намеренно уходит от изображения современной ему эпохи, поскольку ему интересны не столько поступки, сколько мотивы поведения провокатора. Пытаясь постичь психологию предателя, автор обращается к библейскому источнику и разворачивает перед читателем картину внутренних метаний самого известного предателя — Иуды, само имя которого стало нарицательным. Под

пером писателя библейский персонаж обретает новые черты и становится фигурой глубоко трагической: сознательно обрекая себя на вечные муки, принимая на себя имя предателя, Иуда тем самым спасает дело Христа. Предательство Иуды по версии Андреева оказывается высшей формой самоотверженной любви.

Безусловно, андреевская трактовка образа Иуды и темы предательства современникам не могла не показаться не только странной, но и кощунственной. Подвергая переосмыслению библейский сюжет, создавая, по словам М. Волошина, «Евангелие наизнанку», Андреев выдвигает в центр повествования образ Иуды, предательством которого «оплачен» подвиг Христа. Андреев, как впоследствии Булгаков, помогает читателю «перечитать» Священное Писание, взглянуть на него незамутненным взором и, может быть, обнаружить новые смысловые грани в безусловных, казалось бы, истинах. Библейские сюжеты интересны Андрееву и сами по себе и как способ выявления надвременного, вечного в сиюминутном, повседневном. Подобный прием «ухода от быта к бытию» широко используют писатели-модернисты (символисты прежде всего), опыт которых Андреев несомненно учитывает.

Если в «Иуде Искариоте» автор «приближает» к современному читателю библейские сюжеты, то в «Рассказе о семи повешенных» (1908), напротив, злободневным, остросовременным темам придает надвременное, общечеловеческое звучание. Рассказ написан под впечатлением от известия о казни участников несостоявшегося покушения на министра юстиции И. Г. Щегловитова, однако центральным в произведении является не исторический, а философско-психологический сюжет, воспроизводящий изменения, мутации сознания героев, оказавшихся перед лицом смерти. Рассказ, опубликованный в литературно-художественном альманахе издательства «Шиповник», был посвящен Л. Н. Толстому и явился, по признанию самого автора, одним из тех произведений, в которых получили развитие идеи русского классика. Действительно, и сама пограничная ситуация «человек за день до смерти», и особенности решения проблемы возвращают читателя к знаменитой повести Толстого «Смерть Ивана Ильича», герой которой лишь в свои последние дни освобождается от ложных убеждений, осознает ничтожность житейских забот и открывает для себя прелесть и красоту жизни. Андреев, как и Толстой, показывает, что человек, оставшись один на один

с ожиданием неминуемой смерти, оказывается в «ином измерении», поднимается над бытом, живет категориями бытия. В этом особом мире, очищенном от повседневной суеты, обретают первозданную ценность такие понятия, как природа, любовь, сострадание, честь, мужество.

Особенности композиции «Рассказа о семи повешенных» обусловлены стремлением автора проследить все этапы «трудного пути» героев и при этом показать различные типы мировосприятия, а следовательно, и разные (при общности судеб) пути психологического преодоления смерти. Андреев выявляет в своих героях высокие стремления и чувства — силы, которые противостоят смертному ужасу и самой смерти (не случайно одна из главок носит название «Смерти нет»). Так, образ хрупкой Муси овеян ореолом мученичества, Вернер становится воплощением железной воли, силы духа, образу Сергея Головина сопутствует тема чести, тогда как Таня, думающая о страданиях других, олицетворяет идею альтруизма. Вместе с пятью политическими заключенными ожидают казни обычные уголовники — Янсон и Цыганок. И эти люди, в которых преобладают животные инстинкты, перед смертью переживают что-то похожее на преображение. В Янсоне, напоминающем зверька, страх смерти пробуждает человеческие эмоции. Он повторяет как заклинание: «Меня не надо вешать», — и в этих наивных словах скрывается глубокий смысл, который на какое-то мгновение становится понятен даже надзирателю, осознавшему абсурдность казни. Янсон обретает способность смеяться, и его странная веселость воспринимается как реакция на бессмысленный ужас происходящего: «И вдруг на одно мгновение, на самое коротенькое мгновение, старому надзирателю, всю жизнь проведшему в тюрьме, ее правила признавшему как бы за законы природы, показалась и она, и вся жизнь чем-то вроде сумасшедшего дома, причем он, надзиратель, и есть самый главный сумасшедший». Цыганок, ассоциирующийся уже не со зверьком, а со зверем, перед смертью открывает для себя красоту и величие женской души и искренне восхищается хрупкой, но сильной Мусей.

Образы семи повешенных овеяны авторским сочувствием, тогда как при описании сановника автор приводит отталкивающие детали внешности, физиологические подробности: «У него было что-то с почками, и при каждом сильном волнении наливались водою и опухали его лицо, ноги и руки, и

от этого он становился как будто еще крупнее, еще толще и массивнее. И теперь, горюю вздутого мяса возвышаясь над придавленными пружинами кровати, он с тоскою больного человека чувствовал свое опухшее, словно чужое лицо и не-отвязно думал о той жестокой судьбе, какую готовили ему люди». Тем не менее просматривается определенная логика в том, что рассказ о преступниках открывается описанием психологических мук человека, на которого готовилось покушение. Мотив смерти странным образом сближает в сознании читателя фигуры убийц и жертвы: самой структурой произведения автор ставит друг подле друга непримиримых врагов. Сановник думает о террористах как о людях, которые хотели его убить; казнят преступников не бездушные исполнители чужой воли, но такие же люди — не случайно рассказ завершается описанием сцены казни и словами: «Так люди приветствовали восходящее солнце». В «Рассказе о семи повешенных» Андреев выражает жалость к человеку как таковому, человеку вообще, и потому уходит от традиционного реализма, используя прием умолчания, принципиально «вынося за скобки» все конкретное, социальное, оставляя в стороне вопрос о степени виновности каждого из героев.

Пожалуй, наиболее отчетливо модернистские тенденции, а точнее, черты экспрессионизма, проявились в драматургии Леонида Андреева. Драматургия Андреева — явление уникальное и полностью принадлежащее XX веку. В его пьесах экспрессионистские тенденции преобладают над реалистическими, художник идет по пути усиления абстрактной символики, схематизации, создания плакатной выразительности образов.

Свою самую нашумевшую пьесу, «Жизнь Человека», Андреев написал немногим позже горьковской поэмы «Человек». Оба художника, как видно уже из названий произведений, ставили перед собой задачу показать представителя человечества, человека как такового, изобразить саму сущность человека или, как у Андреева, дать образ человеческой судьбы вообще. Опыт Горького современники (в том числе Л. Н. Толстой, А. Чехов) признали неудачным. Горьковская поэма, пронизанная героическим пафосом и завершающаяся гимном человеку-победителю, лишена художественной убедительности. Аллегория — а это основной прием, который использует писатель, — низводит полнокровный художественный образ до некой схемы, а декламационный пафос

более уместен на сцене, чем в поэме. Горьковская поэма возвращает читателя к монологам одного из героев пьесы «На дне», Сатина, утверждающего, что слово «человек» звучит гордо. В горьковской драме утверждается мощь человеческого духа, торжествующего над «свинцовыми мерзостями жизни», и доминирует героический пафос. А в пьесе Андреева раскрываются трагические представления автора о жизни и человеке, доказывается, что все попытки противостоять року обречены. При этом Андреев населяет свою пьесу не конкретными персонажами, а условными образами, центральным из которых является Некто в сером, олицетворяющий идею рока, предопределения, самой загадки жизни и смерти.

Премьера «Жизни Человека» состоялась в 1907 году в театре В. Ф. Комиссаржевской, однако Андреев был недоволен постановкой, полагая, что режиссер, Вс. Мейерхольд, сгущил мрачные краски. В том же году К. С. Станиславский ставит пьесу Андреева на сцене МХТ, и спектакль имеет оглушительный успех.

Своим драматургическим экспериментом Андреев предвосхитил как «интеллигентский» театр Б. Брехта, так и драму абсурда — художественные открытия С. Беккета, Э. Ионеско, Ж. Жене. Тема рока станет центральной в творчестве Ж. П. Сартра, А. Камю — французских экзистенциалистов.

При всей своей условности, отвлеченности образов и сюжетных схем пьеса не лишена автобиографической основы: «Жизнь Человека» была закончена осенью 1906 года в Берлине, где в ноябре скончалась от послеродовой горячки жена писателя. По словам самого Андреева, последнюю картину, «Смерть», он писал в доме, где Александра Михайловна родила сына Даниила и десять дней мучилась перед смертью. Пьеса пронизана ощущением бессилия человека перед лицом смерти.

В пьесах «Черные маски», «Анатэма», «Царь-Голод» (1908) художник развивает приемы, найденные в «Жизни Человека», однако использует иные виды условности. Так, в «Анатэме» преобладает библейская символика, тогда как пьесу «Царь-Голод» населяют отвлеченные, аллегорические персонажи.

Грань между «условным» и «реалистическим» театром в творчестве Андреева не является непроходимой, и наряду с различными формами условности художник продолжает

пользоваться приемами письма бытовой драмы. В пьесах «Дни нашей жизни» (1908), «Профессор Сторицын» (1912), «Екатерина Ивановна» (1913) доминирует реалистическая образность. Тем не менее и в них просматриваются отступления автора от традиций классического реализма XIX века: социальные противоречия рассматриваются как проявления неких универсальных законов жизни, а сам андреевский метод тяготеет к натурализму, анализу инстинктов, определяющих, по мнению драматурга, логику поведения человека. Стремление освободить человека от социальных связей приводит художника к идеи создания «театра чистого психизма», «театра души», который сможет показать «голые» эмоции, инстинкты, неотрефлектированные движения души. Однако произведения, написанные в соответствии с данными установками, — «Мысль» (1902), «Король, закон и свобода» (1914), — сложно отнести к авторским победам. Очевидно, чистый модернизм столь же чужд Андрееву, сколь и классический реализм, и талант художника наиболее полно проявляется в произведениях, созданных на стыке реалистической и модернистской поэтики.

«Уход» Андреева от реалистических традиций настораживал многих его коллег из «лагеря» реалистов, и прежде всего Горького, и стал одной из причин разрыва между писателями. Не менее важную роль в этой вражде сыграли их разногласия в отношении к революции, к Первой мировой войне. Если Горький протестует против войны, то Андреев призывает поэтов и писателей воспеть ее — в своих публицистических работах («Пусть не молчат поэты», 1915) он пишет о необходимости разгрома Германии. Андреев не принял Октябрьскую революцию, покинул Петроград и уехал на свою дачу в Финляндию, отрезанную после революционных событий от России.

Роман «Дневник Сатаны» Л. Андреев начал писать в 1918 году, находясь в вынужденной эмиграции и страдая от одиночества, тоски по родине, нужды, поскольку из России перестали поступать гонорары. Роман остался незаконченным, но, по мнению многих исследователей, стал одним из лучших андреевских произведений, вобрав в себя важнейшие темы творчества писателя: абсурдности мира, непрочности и иллюзорности красоты и любви, относительности правды и лжи, добра и зла. «Дневник Сатаны» возвращает читателя к творчеству Достоевского, и прежде всего к его «Легенде о Ве-

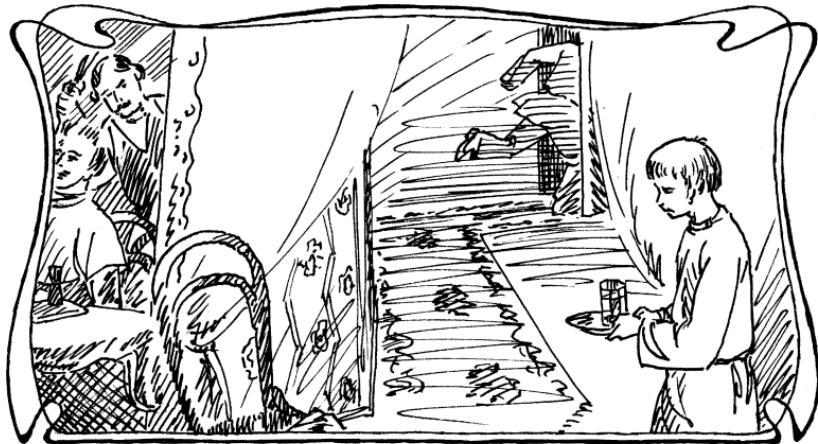
ликом инквизиторе», и в то же время предвосхищает художественные открытия Булгакова с его темой «дьяволиады».

Роман Андреева написан в виде дневника, который ведет главный герой, «вочеловечившийся» Сатана, вселившийся в 38-летнего миллиардера Генри Вандергуда. Цель своего прихода на землю Сатана объясняет так: «Мне стало скучно... в аду, и я пришел на землю, чтобы лгать и играть». Однако за желанием игры пропасти и другое намерение — показать людям, насколько они жалки и отвратительны в своей вечной погоне за наживой. Андреевский Сатана является одним из предшественников булгаковского Воланда, и, как впоследствии у Булгакова, художественные особенности произведения определяются взаимодействием высокого и низкого, комического и трагического. Кроме того, «Дневник Сатаны» обладает признаками романа-антиутопии — жанра, который оформится и получит теоретическое обоснование после появления художественных произведений и литературоведческих статей Е. Замятиня, Дж. Оруэлла, О. Хаксли. Но это произойдет уже после смерти Андреева — через пять лет после смерти писателя будет создан роман «Мы» Е. Замятиня, считавшего Андреева одним из своих учителей, уникальным художником-революционером, настоящим еретиком в искусстве.

Леонид Андреев скончался от сердечного приступа 12 сентября 1919 года в Финляндии, на даче у одного из друзей. Владелец дум своего поколения в последние годы познал настоящую тоску одиночества, чувство оторванности от родины, от друзей. Может быть, не все произведения писателя выдержали проверку временем, но он несомненно остается одним из самых загадочных, ярких и самобытных художников XX столетия.

Леонид Андреев — писатель, обладающий уникальной интуицией, сумевший в своем творчестве отразить достижения предшествующей культуры и наметить пути развития мирового искусства, — принадлежит своему времени и всему XX веку. Пафос его произведений созвучен тональности предреволюционной России и в то же время понятен современному читателю.

*Н. Кольцова*



## ПЕТЬКА НА ДАЧЕ

Осип Абрамович, парикмахер, поправил на груди посетителя грязную простынку, заткнул ее пальцами за ворот и крикнул отрывисто и резко:

— Мальчик, воды!

Посетитель, рассматривавший в зеркало свою физиономию с тою обостренною внимательностью и интересом, какие являются только в парикмахерской, замечал, что у него на подбородке прибавился еще один угорь, и с неудовольствием отводил глаза, попадавшие прямо на худую, маленькую ручонку, которая откуда-то со стороны протягивалась к подзеркальнику и ставила жестянку с горячей водой. Когда он поднимал глаза выше, то видел отражение парикмахера, странное и как будто косое, и подмечал быстрый и грозный взгляд, который тот бросал вниз на чью-то голову, и безмолвное движение его губ от неслышного, но выразительного шепота. Если его брил не сам хозяин Осип Абрамович, а кто-нибудь из подмастерьев, Прокопий или Михайла, то шепот становился громким и принимал форму неопределенной угрозы:

— Вот погоди!

Это значило, что мальчик недостаточно быстро подал воду и его ждет наказание. «Так их и следует», — думал посетитель, кривя голову набок и созерцая у самого своего носа большую потную руку, у которой три пальца были оттопырены, а два другие, липкие и пахучие, нежно прикасались к щеке и подбородку, пока туповатая бритва с неприятным скрипом снимала мыльную пену и жесткую щетину бороды.

В этой парикмахерской, пропитанной скучным запахом дешевых духов, полной надоедливых мух и грязи, посетитель был нетребовательный: швейцары, приказчики, иногда мелкие служащие или рабочие, часто аляповато-красивые, но подозрительные молодцы, с румяными щеками, тоненькими усиками и наглыми маслянистыми глазками. Невдалеке находился квартал, заполненный домами дешевого разврата. Они господствовали над этой местностью и придавали ей особый характер чего-то грязного, беспорядочного и тревожного.

Мальчик, на которого чаще всего кричали, назывался Петькой и был самым маленьким из всех служащих в заведении. Другой мальчик, Николка, насчитывал от роду тремя годами больше и скоро должен был перейти в подмастерья. Уже и теперь, когда в парикмахерскую заглядывал посетитель попроще, а подмастерья, в отсутствие хозяина, ленились работать, они посыпали Николку стричь и смеялись, что ему приходится подниматься на цыпочки, чтобы видеть волосатый затылок дюжего дворника. Иногда посетитель обижался за испорченные волосы и поднимал крик, тогда и подмастерья кричали на Николку, но не все время, а только для удовольствия окорнченного простака. Но такие случаи бывали редко, и Николка важничал и держался как большой: курил папиросы, сплевывал через зубы, ругался скверными словами и даже хвастался Петьке, что пил водку, но, вероятно, врал. Вместе с подмастерьями он бегал на соседнюю улицу посмотреть на крупную драку, и когда возвращался оттуда, счастливый и смеющийся, Осип Абрамович давал ему две пощечины: по одной на каждую щеку.

Петьке было десять лет; он не курил, не пил водки и не ругался, хотя знал очень много скверных слов, и во всех этих отношениях завидовал товарищу. Когда не было посетителей и Прокопий, проводивший где-то бессонные ночи и днем спотыкавшийся от желания спать, приваливался в темном углу за перегородкой, а Михайла читал «Московский листок» и среди описания краж и грабежей искал знакомого имени кого-нибудь из обычных посетителей, — Петька и Николка беседовали. Последний всегда становился добрее, оставаясь вдвоем, и объяснял «мальчику», что значит стричь под польку, бобриком или с пробором.

Иногда они садились на окно, рядом с восковым бюстом женщины, у которой были розовые щеки, стеклянные удивленные глаза и редкие прямые ресницы, и смотрели на бульвар, где жизнь начиналась с раннего утра. Деревья бульвара, серые от пыли, неподвижно млели под горячим, безжалостным солнцем и давали такую же серую, неохлаждающую тень. На всех скамейках сидели мужчины и женщины, грязно и странно одетые, без платков и шапок, как будто они тут и жили и у них не было другого дома. Были лица равнодушные, злые или распущеные, но на всех на них лежала печать крайнего утомления и пренебрежения к окружающему. Часто чья-нибудь лохматая голова бессильно клонилась на плечо, и тело невольно искало простора для сна, как у третьеклассного пассажира, проехавшего тысячи верст без отдыха, но лечь было негде. По дорожкам расхаживал с палкой ярко-синий сторож и смотрел, чтобы кто-нибудь не развалился на скамейке или не бросился на траву, порыженную от солнца, но такую мягкую, такую прохладную. Женщины, всегда одетые более чисто, даже с намеком на моду, были все как будто на одно лицо и одного возраста, хотя иногда попадались совсем старые или молоденькие, почти дети. Все они говорили хриплыми, резкими голосами, бралились, обнимали мужчин так просто, как будто были на бульваре совсем одни, иногда тут же пили водку и закусывали. Случалось, пьяный мужчина бил такую же пья-

ную женщину; она падала, поднималась и снова падала; но никто не вступался за нее. Зубы весело скалились, лица становились осмысленнее и живее, около дерущихся собиралась толпа; но когда приближался ярко-синий сторож, все лениво разбрдались по своим местам. И только побитая женщина плакала и бессмысленно ругалась; ее растрепанные волосы волочились по песку, а полуобнаженное тело, грязное и желтое при дневном свете, цинично и жалко выставлялось наружу. Ее усаживали на дно извозчичьей пролетки и везли, и свесившаяся голова ее болталась, как у мертвой.

Николка знал по именам многих женщин и мужчин, рассказывал о них Петьке грязные истории и смеялся, скаля острые зубы. А Петька изумлялся тому, какой он умный и бесстрашный, и думал, что когда-нибудь и он будет такой же. Но пока ему хотелось бы куда-нибудь в другое место... Очень хотелось бы.

Петькины дни тянулись удивительно однообразно и похоже один на другой, как два родных брата. И зимою и летом он видел все те же зеркала, из которых одно было с трещиной, а другое было кривое и потешное. На запятнанной стене висела одна и та же картина, изображавшая двух голых женщин на берегу моря, и только их розовые тела становились все пестрее от мушкиных следов, да увеличивалась черная копоть над тем местом, где зимою чуть ли не весь день горела керосиновая лампа-молния. И утром, и вечером, и весь божий день над Петькой висел один и тот же отрывистый крик: «Мальчик, воды», и он все подавал ее, все подавал. Праздников не было. По воскресеньям, когда улицу переставали освещать окна магазинов и лавок, парикмахерская до поздней ночи бросала на мостовую яркий спон света, и прохожий видел маленькую, худую фигурку, сгорбившуюся в углу на своем стуле и погруженную не то в думы, не то в тяжелую дремоту. Петька спал много, но ему почему-то все хотелось спать, и часто казалось, что все вокруг него не правда, а длинный неприятный сон. Он часто разливал воду или не слыхал резкого кри-

ка: «Мальчик, воды», и все худел, а на стриженой голове у него пошли нехорошие струпья. Даже нетребовательные посетители с брезгливостью смотрели на этого худенького веснушчатого мальчика, у которого глаза всегда сонные, рот полуоткрытый и грязные-прегрязные руки и шея. Около глаз и под носом у него прорезались тоненькие морщинки, точно проведенные острой иглой, и делали его похожим на состарившегося карлика.

Петъка не знал, скучно ему или весело, но ему хотелось в другое место, о котором он ничего не мог сказать, где оно и какое оно. Когда его навещала мать, кухарка Надежда, он лениво ел принесенные сласти, не жаловался и только просил взять его отсюда. Но затем он забывал о своей просьбе, равнодушно прощался с матерью и не спрашивал, когда она придет опять. А Надежда с горем думала, что у нее один сын — и тот дурачок.

Много ли, мало ли жил Петъка таким образом, он не знал. Но вот однажды в обед приехала мать, поговорила с Осипом Абрамовичем и сказала, что его, Петъку, отпускают на дачу, в Царицыно, где живут ее господа. Сперва Петъка не понял, потом лицо его покрылось тонкими морщинками от тихого смеха, и он начал торопить Надежду. Той нужно было, ради пристойности, поговорить с Осипом Абрамовичем о здоровье его жены, а Петъка тихонько толкал ее к двери и дергал за руку. Он не знал, что такое дача, но полагал, что она есть то самое место, куда он так стремился. И он эгоистично позабыл о Николке, который, заложив руки в карманы, стоял тут же и старался с обычною дерзостью смотреть на Надежду. Но в глазах его вместо дерзости светилась глубокая тоска: у него совсем не было матери, и он в этот момент был бы не прочь даже от такой, как эта толстая Надежда. Дело в том, что и он никогда не был на даче.

Вокзал с его разноголосою суполокою, грохотом приходящих поездов, свистками паровозов, то густыми и сердитыми, как голос Осипа Абрамовича, то визгливыми и тоненькими, как голос его больной жены,

торопливыми пассажирами, которые все идут и идут, точно им и конца нету, — впервые предстал перед оторопелыми глазами Петьки и наполнил его чувством возбужденности и нетерпения. Вместе с матерью он боялся опоздать, хотя до отхода дачного поезда оставалось добрых полчаса; а когда они сели в вагон и поехали, Петька прилип к окну, и только стриженая голова его вертелась на тонкой шее, как на металлическом стержне.

Он родился и вырос в городе, в поле был первый раз в своей жизни, и все здесь для него было поразительно ново и странно: и то, что можно видеть так далеко, что лес кажется травкой, и небо, бывшее в этом новом мире удивительно ясным и широким, точно с крыши смотришь. Петька видел его с своей стороны, а когда оборачивался к матери, это же небо голубело в противоположном окне, и по нем плыли, как ангелочки, беленькие радостные облачка. Петька то вертелся у своего окна, то перебегал на другую сторону вагона, с доверчивостью кладя плохо отмытую ручонку на плечи и колени незнакомых пассажиров, отвечавших ему улыбками. Но какой-то господин, читавший газету и все время зевавший, то ли от чрезмерной усталости, то ли от скуки, раза два неприязненно покосился на мальчика, и Надежда поспешила извиниться:

— Впервый по чугунке едет — интересуется...

— Угу!.. — пробурчал господин и уткнулся в газету.

Надежде очень хотелось рассказать ему, что Петька уже три года живет у парикмахера и тот обещал поставить его на ноги, и это будет очень хорошо, потому что женщина она одинокая и слабая и другой поддержки на случай болезни или старости у нее нет. Но лицо у господина было злое, и Надежда только подумала все это про себя.

Направо от пути раскинулась кочковатая равнина, темно-зеленая от постоянной сырости, и на краю ее были брошены серенькие домики, похожие на игрушечные, а на высокой зеленоей горе, внизу которой

блестала серебристая полоска, стояла такая же игрушечная белая церковь. Когда поезд со звонким металлическим лязгом, внезапно усилившимся, взлетел на мост и точно повис в воздухе над зеркальною гладью реки, Петька даже вздрогнул от испуга и неожиданности и отшатнулся от окна, но сейчас же вернулся к нему, боясь потерять малейшую подробность пути. Глаза Петькины давно уже перестали казаться сонными, и морщинки пропали. Как будто по этому лицу кто-нибудь провел горячим утюгом, разгладил морщинки и сделал его белым и блестящим.

В первые два дня Петькина пребывания на даче богатство и сила новых впечатлений, лившихся на него и сверху и снизу, смяли его маленькую и робкую душонку. В противоположность дикарям минувших веков, терявшимся при переходе из пустыни в город, этот современный дикарь, выхваченный из каменных объятий городских громад, чувствовал себя слабым и беспомощным перед лицом природы. Все здесь было для него живым, чувствующим и имеющим волю. Он боялся леса, который покойно шумел над его головой и был темный, задумчивый и такой страшный в своей бесконечности; полянки, светлые, зеленые, веселые, точно поющие всеми своими яркими цветами, он любил и хотел бы приласкать их, как сестер, а темно-синее небо звало его к себе и смеялось, как мать. Петька волновался, вздрагивал и бледнел, улыбался чему-то и степенно, как старик, гулял по опушке и лесистому берегу пруда. Тут он, утомленный, задыхающийся, разваливался на густой сырватой траве и утопал в ней; только его маленький веснушчатый носик поднимался над зеленою поверхностью. В первые дни он часто возвращался к матери, терся возле нее, и когда барин спрашивал его, хорошо ли на даче, — конфузливо улыбался и отвечал:

— Хорошо!..

И потом снова шел к грозному лесу и тихой воде и будто допрашивал их о чем-то.

Но прошло еще два дня, и Петька вступил в полное соглашение с природой. Это произошло при



содействии гимназиста Мити из Старого Царицына. У гимназиста Мити лицо было смуглого-желтым, как вагон второго класса, волосы на макушке стояли торчком и были совсем белые — так выжгло их солнце. Он ловил в пруде рыбу, когда Петька увидал его, бесцеремонно вступил с ним в беседу и удивительно скоро сошелся. Он дал Петьке подержать одну удочку и потом повел его куда-то далеко купаться. Петька очень боялся идти в воду, но когда вошел, то не хотел вылезать из нее и делал вид, что плавает: поднимал нос и брови кверху, захлебывался и бил по воде руками, поднимая брызги. В эти минуты он был очень похож на щенка, впервые попавшего в воду. Когда Петька оделся, то был синий от холода, как мертвец, и, разговаривая, ляскал зубами. По предложению того же Мити, неистощимого на выдумки, они исследовали развалины дворца; лазали на заросшую деревьями крышу и бродили среди разрушенных стен громадного здания. Там было очень хорошо: всюду навалены груды камней, на которые с трудом можно взобраться, и промеж них растет молодая рябина и березки, тишина стоит мертвая, и чудится, что вот-вот выскочит кто-нибудь из-за угла или в растрескавшейся амбразуре окна покажется страшная-предстрашная рожа. Постепенно Петька почувствовал себя на даче как дома и совсем забыл, что на свете существует Осип Абрамович и парикмахерская.

— Смотри-ка, растолстел как! Чистый купец! — раздавалась Надежда, сама толстая и красная от кухонного жара, как медный самовар.

Она приписывала это тому, что много его кормит. Но Петька ел совсем мало, не потому, чтобы ему не хотелось есть, а некогда было возиться: если бы можно было не жевать, глотать сразу, а то нужно жевать, а в промежутки болтать ногами, так как Надежда ест дьявольски медленно, обгладывает кости, утирается передником и разговаривает о пустяках. А у него дела было по горло: нужно пять раз выкупаться, вырезать в орешнике удочку, накопать червей, — на все это требуется время. Теперь Петька бегал босой, и это в

тысячу раз приятнее, чем в сапогах с толстыми подошвами: шершавая земля так ласково то жжет, то холода ногу. Свою поддержанную гимназическую куртку, в которой он казался солидным мастером парикмахерского цеха, он также снял и изумительно помолодел. Надевал он ее только вечерами, когда ходил на плотину смотреть, как катаются на лодках господа: нарядные, веселые, они со смехом садятся в качающуюся лодку, и та медленно рассекает зеркальную воду, а отраженные деревья колеблются, точно по ним пробежал ветерок.

В исходе недели барин привез из города письмо, адресованное «куфарке Надежде», и когда прочел его адресату, адресат заплакал и размазал по всему лицу сажу, которая была на переднике. По отрывочным словам, сопровождавшим эту операцию, можно было понять, что речь идет о Петьке. Это было уже ввечеру. Петька на заднем дворе играл сам с собою в «классики» и надувал щеки, потому что так прыгать было значительно легче. Гимназист Митя научил этому глупому, но интересному занятию, и теперь Петька, как истый спортсмен, совершенствовался в одиночку. Вышел барин и, положив руку на плечо, сказал:

— Что, брат, ехать надо!

Петька конфузливо улыбался и молчал.

«Вот чудак-то!» — подумал барин.

— Ехать, братец, надо.

Петька улыбался. Подошла Надежда и со слезами подтвердила:

— Надобно ехать, сынок!

— Куда? — удивился Петька.

Про город он забыл, а другое место, куда ему всегда хотелось уйти, — уже найдено.

— К хозяину Осипу Абрамовичу.

Петька продолжал не понимать, хотя дело было ясно как божий день. Но во рту у него пересохло и язык двигался с трудом, когда он спросил:

— А как же завтра рыбу ловить? Удочка — вот она...

— Что же поделаешь!.. Требует. Прокопий, говорит, заболел, в больницу свезли. Народу, говорит, нету. Ты

не плачь: гляди, опять отпустит, — он добрый, Осип Абрамович.

Но Петька и не думал плакать и все не понимал. С одной стороны, был факт — удочка, с другой — призрак, Осип Абрамович. Но постепенно мысли Петькины стали проясняться, и произошло странное перемещение: фактом стал Осип Абрамович, а удочка, еще не успевшая высохнуть, превратилась в призрак. И тогда Петька удивил мать, расстроил барыню и барина и удивился бы сам, если бы был способен к самоанализу: он не просто заплакал, как плачут городские дети, худые и истощенные, — он закричал громче самого горластого мужика и начал кататься по земле, как те пьяные женщины на бульваре. Худая ручонка его сжималась в кулак и била по руке матери, по земле, по чем попало, чувствуя боль от острых камешков и песчинок, но как будто стараясь еще усилить ее.

Своевременно Петька успокоился, и барин говорил барыне, которая стояла перед зеркалом и вкалывала в волосы белую розу:

— Вот видишь, перестал, — детское горе непродолжительно.

— Но мне все-таки очень жаль этого бедного мальчика.

— Правда, они живут в ужасных условиях, но есть люди, которым живется и хуже. Ты готова?

И они пошли в сад Дипмана<sup>1</sup>, где в этот вечер были назначены танцы и уже играла военная музыка.

На другой день, с семичасовым утренним поездом, Петька уже ехал в Москву. Опять перед ним мелькали зеленые поля, седые от ночной росы, но только увергали не в ту сторону, что раньше, а в противоположную. Поддержанная гимназическая курточка облекала его худенькое тело, из-за ворота ее выставлялся кончик белого бумажного воротничка. Петька не вертел-

<sup>1</sup> Сад Дипмана — сад в Царицыно с летним театром, рестораном, кегельбаном и прочими развлечениями, который содержал саксонец Б. Дипман.

ся и почти не смотрел в окно, а сидел такой тихонький и скромный, и ручонки его были благонравно сложены на коленях. Глаза были сонливы и апатичны, тонкие морщинки, как у старого человека, ютились около глаз и под носом. Вот замелькали у окна столбы и стропила платформы, и поезд остановился.

Толкаясь среди торопившихся пассажиров, они вышли на грохочущую улицу, и большой жадный город равнодушно поглотил свою маленькую жертву.

— Ты удочку спрячь! — сказал Петька, когда мать довела его до порога парикмахерской.

— Спрячу, сынок, спрячу! Может, еще приедешь.

И снова в грязной и душной парикмахерской звучало отрывистое: «Мальчик, воды», и посетитель видел, как к подзеркальнику протягивалась маленькая грязная рука, и слышал неопределенно угрожающий шепот: «Вот погоди!» Это значило, что сонливый мальчик разлил воду или перепутал приказания. А по ночам, в том месте, где спали рядом Николка и Петька, звенел и волновался тихий голосок и рассказывал о даче, и говорил о том, чего не бывает, чего никто не видел никогда и не слышал. В наступавшем молчании слышалось неровное дыхание детских грудей, и другой голос, не по-детски грубый и энергичный, произносил:

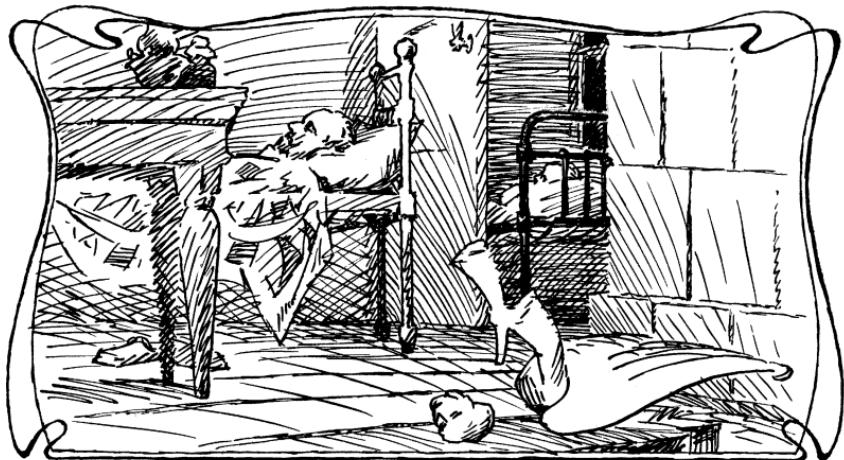
— Вот черти! Чтоб им повылезило!

— Кто черти?

— Да так... Все.

Мимо проезжал обоз и своим мощным громыханием заглушал голоса мальчиков и тот отдаленный жалобный крик, который уже давно доносился с бульвара: там пьяный мужчина бил такую же пьяную женщину.

*Сентябрь 1899 г.*



## АНГЕЛОЧЕК

### I

Временами Сашке хотелось перестать делать то, что называется жизнью: не умываться по утрам холодной водой, в которой плавают тоненькие пластинки льда, не ходить в гимназию, не слушать там, как все его ругают, и не испытывать боли в пояснице и во всем теле, когда мать ставит его на целый вечер на колени. Но так как ему было тринадцать лет и он не знал всех способов, какими люди перестают жить, когда захотят этого, то он продолжал ходить в гимназию и стоять на коленках, и ему казалось, что жизнь никогда не кончится. Пройдет год, и еще год, и еще год, а он будет ходить в гимназию и стоять дома на коленках. И так как Сашка обладал непокорной и смелой душой, то он не мог спокойно отнести ко злу и мстил жизни. Для этой цели он бил товарищей, грубил начальству, рвал учебники и целый день лгал то учителям, то матери, не лгал он только одному отцу. Когда в драке ему расшибали нос, он нарочно расколовывал его еще больше и орал без слез, но так гром-

ко, что все испытывали неприятное ощущение, морщились и затыкали уши. Проорав сколько нужно, он сразу умолкал, показывал язык и рисовал в черновой тетрадке карикатуру на себя, как орет, на надзирателя, заткнувшего уши, и на дрожащего от страха победителя. Вся тетрадка заполнена была карикатурами, и чаще всех повторялась такая: толстая и низенькая женщина была скалкой тонкого, как спичка, мальчика. Внизу крупными и неровными буквами чернела подпись: «Проси прощенья, щенок», — и ответ: «Не попрошу, хоть тресни». Перед Рождеством Сашку выгнали из гимназии, и когда мать стала бить его, он укусил ее за палец. Это дало ему свободу, и он бросил умываться по утрам, бегал целый день с ребятами и бил их и боялся одного голода, так как мать перестала совсем кормить его, и только отец прятал для него хлеб и картошку. При этих условиях Сашка находил существование возможным.

В пятницу, накануне Рождества, Сашка играл с ребятами, пока они не разошлись по домам и не прокрипела ржавым морозным скрипом калитка за последним из них. Уже темнело, и с поля, куда выходил одним концом глухой переулок, надвигалась серая снежная мгла; в низеньком черном строении, стоявшем поперек улицы, на выезде, зажегся красноватый, немигающий огонек. Мороз усилился, и когда Сашка проходил в светлом круге, который образовался от зажженного фонаря, он видел медленно реявшие в воздухе маленькие сухие снежинки. Приходилось идти домой.

— Где полуночницаешь, щенок? — крикнула на него мать, замахнулась кулаком, но не ударила. Рукава у нее были засучены, обнажая белые толстые руки, и на безбровом, плоском лице выступали капли пота. Когда Сашка проходил мимо нее, он почувствовал знакомый запах водки. Мать почесала в голове толстым указательным пальцем с коротким и грязным ногтем и, так как браниться было некогда, только плюнула и крикнула:

— Статистики, одно слово!

Сашка презрительно шморгнул носом и прошел за перегородку, где слышалось тяжелое дыхание отца, Ивана Саввича. Ему всегда было холодно, и он старался согреться, сидя на раскаленной лежанке и подкладывая под себя руки ладонями книзу.

— Сашка! А тебя Свечникovy на елку звали. Горничная приходила, — прошептал он.

— Врешь? — спросил с недоверием Сашка.

— Ей-богу. Эта ведьма нарочно ничего не говорит, а уж и куртку подготовила.

— Врешь? — все больше удивлялся Сашка.

Богачи Свечниковы, определившие его в гимназию, не велели после его исключения показываться к ним. Отец еще раз побожился, и Сашка задумался.

— Ну-ка подвинься, расселся! — сказал он отцу, прыгая на коротенькую лежанку, и добавил: — А к этим чертям я не пойду. Жирны больно станут, если еще я к ним пойду. «Испорченный мальчик», — протянул Сашка в нос. — Сами хороши, антипы толсторожие.

— Ах, Сашка, Сашка! — поежился от холода отец. — Не сносить тебе головы.

— А ты-то сносил? — грубо возразил Сашка. — Молчал бы уж: бабы боится. Эх, тюря!

Отец сидел молча и ежился. Слабый свет проникал через широкую щель вверху, где перегородка на четверть не доходила до потолка, и светлым пятном ложился на его высокий лоб, под которым чернели глубокие глазные впадины. Когда-то Иван Саввич сильно пил водку, и тогда жена боялась и ненавидела его. Но когда он начал харкать кровью и не мог больше пить, стала пить она, постепенно привыкая к водке. И тогда она вымстила все, что ей пришлось выстрадать от высокого узкогрудого человека, который говорил непонятные слова, выгонялся за строптивость и пьянство со службы и наводил к себе таких же длинноволосых безобразников и гордецов, как и он сам. В противоположность мужу она здоровела по мере того, как пила, и кулаки ее все тяжелели. Теперь

она говорила что хотела, теперь она водила к себе мужчин и женщин каких хотела и громко пела с ними веселые песни. А он лежал за перегородкой, молчаливый, съежившийся от постоянного озноба, и думал о несправедливости и ужасе человеческой жизни. И всем, с кем ни приходилось говорить жене Ивана Саввича, она жаловалась, что нет у нее на свете таких врагов, как муж и сын: оба гордецы и статистики.

Через час мать говорила Сашке:

— А я тебе говорю, что ты пойдешь! — И при каждом слове Феоктиста Петровна ударяла кулаком по столу, на котором вымытые стаканы прыгали и звякали друг о друга.

— А я тебе говорю, что не пойду, — хладнокровно отвечал Сашка, и углы губ его подергивались от желания оскалить зубы. В гимназии за эту привычку его звали волчонком.

— Изобью я тебя, ох как изобью! — кричала мать.

— Что же, избей!

Феоктиста Петровна знала, что бить сына, который стал кусаться, она уже не может, а если выгнать на улицу, то он отправится шататься и скорей замерзнет, чем пойдет к Свечниковым; поэтому она прибегла к авторитету мужа.

— А еще отец называется: не может мать от оскорблений оберечь.

— Правда, Сашка, ступай, что ломаешься? — отозвался тот с лежанки. — Они, может быть, опять тебя устроят. Они люди добрые.

Сашка оскорбительно усмехнулся. Отец давно, до Сашкина еще рождения, был учителем у Свечниковых и с тех пор думал, что они самые хорошие люди. Тогда он еще служил в земской статистике и ничего не пил. Разошелся он с ними после того, как женился на забеременевшей от него дочери квартирной хозяйки, стал пить и опустился до такой степени, что его, пьяного, поднимали на улице и отвозили в участок. Но Свечники продолжали помогать ему деньгами, и Феоктиста Петровна, хотя ненавидела их, как книги и все, что

связывалось с прошлым ее мужа, дорожила знакомством и хвалилась им.

— Может быть, и мне что-нибудь с елки принесешь, — продолжал отец.

Он хитрил, — Сашка понимал это и презирал отца за слабость и ложь, но ему действительно захотелось что-нибудь принести больному и жалкому человеку. Он давно уже сидит без хорошего табаку.

— Ну ладно! — буркнул он. — Давай, что ли, куртку. Пуговицы пришила? А то ведь я тебя знаю!

## II

Детей еще не пускали в залу, где находилась елка, и они сидели в детской и болтали. Сашка с презрительным высокомерием прислушивался к их наивным речам и ощупывал в кармане брюк уже переломавшиеся папиросы, которые удалось ему стащить из кабинета хозяина. Тут подошел к нему самый маленький Свечников, Коля, и остановился неподвижно и с видом изумления, составив ноги носками внутрь и положив палец на угол пухлых губ. Месяцев шесть тому назад он бросил, по настоянию родственников, скверную привычку класть палец в рот, но совершенно отказался от этого жеста еще не мог. У него были белые волосы, подрезанные на лбу и завитками спадавшие на плечи, и голубые удивленные глаза, и по всему своему виду он принадлежал к мальчикам, которых особенно преследовал Сашка.

— Ты неблагодарный мальчик? — спросил он Сашку. — Мне мисс сказала. А я холосой.

— Уж на что же лучше! — ответил тот, осматривая коротенькие бархатные штанишки и большой откладной воротничок.

— Хочешь лузьё? На! — протянул мальчик ружье с привязанной к нему пробкой.

Волчонок взвел пружину и, прицелившись в нос ничего не подозревавшего Коли, дернул собачку. Пробка ударила по носу и отскочила, болтаясь на нитке. Голубые глаза Коли раскрылись еще шире, и в них пока-

зались слезы. Передвинув палец от губ к покрасневшему носику, Коля часто заморгал длинными ресницами и зашептал:

— Злой... Злой мальчик.

В детскую вошла молодая красивая женщина с гладко зачесанными волосами, скрывавшими часть ушей. Это была сестра хозяйки, та самая, с которой занимался когда-то Сашкин отец.

— Вот этот, — сказала она, показывая на Сашку сопровождавшему ее лысому господину. — Поклонись же, Саша, нехорошо быть таким невежливым.

Но Сашка не поклонился ни ей, ни лысому господину. Красивая дама не подозревала, что он знает многое. Знает, что жалкий отец его любил ее, а она вышла за другого, и хотя это случилось после того, как он женился сам, Сашка не мог простить измены.

— Дурная кровь... — вздохнула Софья Дмитриевна. — Вот не можете ли, Платон Михайлович, устроить его? Муж говорит, что ремесленное ему больше подходит, чем гимназия. Саша, хочешь в ремесленное?

— Не хочу, — коротко ответил Сашка, слышавший слово «муж».

— Что же, братец, в пастухи хочешь? — спросил господин.

— Нет, не в пастухи, — обиделся Сашка.

— Так куда же?

Сашка не знал, куда он хочет.

— Мне все равно, — ответил он, подумав, — хоть и в пастухи.

Лысый господин с недоумением рассматривал странного мальчика. Когда с заплатанных сапог он перевел глаза на лицо Сашки, последний высунул язык и опять спрятал его так быстро, что Софья Дмитриевна ничего не заметила, а пожилой господин пришел в непонятное ей раздражительное состояние.

— Я хочу и в ремесленное, — скромно сказал Сашка.

Красивая дама обрадовалась и подумала, вздохнув, о той силе, какую имеет над людьми старая любовь.

— Но едва ли вакансия найдется, — сухо заметил пожилой господин, избегая смотреть на Сашку и приглаживая поднявшиеся на затылке волосики. — Впрочем, мы еще посмотрим.

Дети волновались и шумели, нетерпеливо ожидая елки. Опыт с ружьем, проделанный мальчиком, внушившим к себе уважение ростом и репутацией испорченного, нашел себе подражателей, и несколько кругленьких носиков уже покраснело. Девочки смеялись, прижимая обе руки к груди и перегибаясь, когда их рыцари, с презрением к страху и боли, но морщась от ожидания, получали удары пробкой. Но вот открылись двери, и чей-то голос сказал:

— Дети, идите! Тише,тише!

Заранее вытаращив глазенки и затаив дыхание, дети чинно, по паре, входили в ярко освещенную залу и тихо обходили сверкающую елку. Она бросала сильный свет, без теней, на их лица с округлившимися глазами и губками. Минуту царила тишина глубокого очарования, сразу сменившаяся хором восторженных восклицаний. Одна из девочек не в силах была овладеть охватившим ее восторгом и упорно и молча прыгала на одном месте; маленькая косичка со вплетенной голубой ленточкой хлопала по ее плечам. Сашка был угрюм и печален — что-то нехорошее творилось в его маленьком изъязвленном сердце. Елка ослепляла его своей красотой и крикливыми, наглым блеском бесчисленных свечей, но она была чуждой ему, враждебной, как и столпившиеся вокруг нее чистенькие, красивые дети, и ему хотелось толкнуть ее так, чтобы она повалилась на эти светлые головки. Казалось, что чьи-то железные руки взяли его сердце и выжимают из него последнюю каплю крови. Забившись за рояль, Сашка сел там в углу, бессознательно доламывал в кармане последние папиросы и думал, что у него есть отец, мать, свой дом, а выходит так, как будто ничего этого нет и ему некуда идти. Он пытался представить себе перочинный ножичек, который он недавно выменял и очень сильно любил, но ножичек стал очень плохой, с тоненьким сточенным



лезвием и только с половиной желтой костяшки. Завтра он сломает ножичек, и тогда у него уже ничего не останется.

Но вдруг узенькие глаза Сашки блеснули изумлением, и лицо мгновенно приняло обычное выражение дерзости и самоуверенности. На обращенной к нему стороне елки, которая была освещена слабее других и составляла ее изнанку, он увидел то, чего не хватало в картине его жизни и без чего кругом было так пусто, точно окружающие люди неживые. То был восковой ангелочек, небрежно повешенный в гуще темных ветвей и словно реявший по воздуху. Его прозрачные стрекозиновые крыльышки трепетали от падавшего на них света, и весь он казался живым и готовым улететь. Розовые ручки с изящно сделанными пальцами протягивались кверху, и за ними тянулась головка с такими же волосами, как у Коли. Но было в ней другое, чего лишено было лицо Коли и все другие лица и вещи. Лицо ангелочка не блистало радостью, не туманилось печалью, но лежала на нем печать иного чувства, непередаваемого словами, не определяемого мыслью и доступного для понимания лишь такому же чувству. Сашка не сознавал, какая тайная сила влекла его к ангелочку, но чувствовал, что он всегда знал его и всегда любил, любил больше, чем перочинный ножичек, больше, чем отца, и больше, чем все остальное. Полный недоумения, тревоги, непонятного восторга, Сашка сложил руки у груди и шептал:

— Милый... милый ангелочек!

И чем внимательнее он смотрел, тем значительнее, важнее становилось выражение ангелочка. Он был бесконечно далек и не похож на все, что его здесь окружало. Другие игрушки как будто гордились тем, что они висят, нарядные, красивые, на этой сверкающей елке, а он был грустен и боялся яркого назойливого света и нарочно скрылся в темной зелени, чтобы никто не видел его. Было бы безумной жестокостью прикоснуться к его нежным крыльышкам.

— Милый... милый! — шептал Сашка.

Голова Сашкина горела. Он заложил руки за спину и в полной готовности к смертельному бою за ангелочка прохаживался осторожными и крадущимися шагами; он не смотрел на ангелочка, чтобы не привлечь на него внимания других, но чувствовал, что он еще здесь, не улетел. В дверях показалась хозяйка — важная высокая дама с светлым ореолом седых, высоко зачесанных волос. Дети окружили ее с выражением своего восторга, а маленькая девочка, та, что прыгала, утомленно повисла у нее на руке и тяжело моргала сонными глазками. Подошел и Сашка. Горло его перехватывало.

— Тетя, а тетя, — сказал он, стараясь говорить ласково, но выходило еще более грубо, чем всегда. — Те... Тетечка.

Она не слыхала, и Сашка нетерпеливо дернул ее за платье.

— Чего тебе? Зачем ты дергаешь меня за плащевье? — удивилась седая дама. — Это невежливо.

— Те... тетечка. Дай мне одну штуку с елки — ангелочка.

— Нельзя, — равнодушно ответила хозяйка. — Елку будем на Новый год разбирать. И ты уже не маленький и можешь звать меня по имени, Марьей Дмитриевной.

Сашка чувствовал, что он падает в пропасть, и ухватился за последнее средство.

— Я раскаиваюсь. Я буду учиться, — отрывисто говорил он.

Но эта формула, оказывавшая благотворное влияние на учителей, на седую даму не произвела впечатления.

— И хорошо сделаешь, мой друг, — ответила она так же равнодушно.

Сашка грубо сказал:

— Дай ангелочка.

— Да нельзя же! — говорила хозяйка. — Как ты этого не понимаешь?

Но Сашка не понимал, и когда дама повернулась к выходу, Сашка последовал за ней, бессмысленно гля-

дя на ее черное, шелестящее платье. В его горячечно работавшем мозгу мелькнуло воспоминание, как один гимназист его класса просил учителя поставить тройку, а когда получил отказ, стал перед учителем на колени, сложил руки ладонь к ладони, как на молитве, и заплакал. Тогда учитель рассердился, но тройку все-таки поставил. Своевременно Сашка уиковечил эпизод в карикатуре, но теперь иного средства не оставалось. Сашка дернул тетку за платье и, когда она обернулась, упал со стука на колени и сложил руки вышеупомянутым способом. Но запла-кать не мог.

— Да ты с ума сошел! — воскликнула седая дама и оглянулась; по счастью, в кабинете никого не было. — Что с тобой?

Стоя на коленях, со сложенными руками, Сашка с ненавистью посмотрел на нее и грубо потребовал:

— Дай ангелочку!

Глаза Сашкины, впившиеся в седую даму и ловившие на ее губах первое слово, которое они произнесут, были очень нехороши, и хозяйка поспешила ответить:

— Ну, дам, дам. Ах какой ты глупый! Конечно, я дам тебе, что ты просишь, но почему ты не хочешь подождать до Нового года? Да вставай же! И никогда, — поучительно добавила седая дама, — не становись на колени: это унижает человека. На колени можно становиться только перед Богом.

«Толкуй там», — думал Сашка, стараясь опереться тетку и наступая ей на платье.

Когда она сняла игрушку, Сашка впился в нее глазами, болезненно сморщил нос и растопырил пальцы. Ему казалось, что высокая дама сломает ангелочка.

— Красивая вещь, — сказала дама, которой стало жаль изящной и, по-видимому, дорогой игрушки. — Кто это повесил ее сюда? Ну послушай, зачем эта игрушка тебе? Ведь ты такой большой, что будешь ты с нею делать?.. Вон там книги есть, с рисунками. А это я обещала Коле отдать, он так просил, — солгала она.

Терзания Сашки становились невыносимыми. Он судорожно стиснул зубы и, показалось, даже скрип-

нул ими. Седая дама больше всего боялась сцен и потому медленно протянула к Сашке ангелочка.

— Ну, нá уж, нá, — с неудовольствием сказала она. — Какой настойчивый!

Обе руки Сашки, которыми он взял ангелочка, казались цепкими и напряженными, как две стальные пружины, но такими мягкими и осторожными, что ангелочек мог вообразить себя летящим по воздуху.

— А-ах! — вырвался продолжительный, замирающий вздох из груди Сашки, и на глазах его сверкнули две маленькие слезинки и остановились там, непривычные к свету.

Медленно приближая ангелочка к своей груди, он не сводил сияющих глаз с хозяйки и улыбался тихой и кроткой улыбкой, замирая в чувстве неземной радости. Казалось, что когда нежные крыльышки ангелочка прикоснутся к впалой груди Сашки, то случится что-то такое радостное, такое светлое, какого никогда еще не происходило на печальной, грешной и страдающей земле.

— А-ах! — пронесся тот же замирающий стон, когда крыльышки ангелочка коснулись Сашки.

И перед сиянием его лица словно потухла сама нелепо разукрашенная, нагло горящая елка, — и радостно улыбнулась седая важная дама, и дрогнул сухим лицом лысый господин, и замерли в живом молчании дети, которых коснулось веяние человеческого счастья. И в этот короткий момент все заметили загадочное сходство между неуклюжим, выросшим из своего платья гимназистом и одухотворенным рукой неведомого художника лицом ангелочка.

Но в следующую минуту картина резко изменилась. Съежившись, как готовящаяся к прыжку пантера, Сашка мрачным взглядом обводил окружающих, ища того, кто осмелится отнять у него ангелочка.

— Я домой пойду, — глухо сказал Сашка, намечая путь в толпе. — К отцу.

### III

Мать спала, обессилев от целого дня работы и выпитой водки. В маленькой комнатке, за перегородкой, горела на столе кухонная лампочка, и слабый желтоватый свет ее с трудом проникал через закопченное стекло, бросая странные тени на лицо Сашки и его отца.

— Хорош? — спрашивал шепотом Сашка.

Он держал ангелочка в отдалении и не позволяя отцу дотрогиваться.

— Да, в нем есть что-то особенное, — шептал отец, задумчиво всматриваясь в игрушку.

Его лицо выражало то же сосредоточенное внимание и радость, как и лицо Сашки.

— Ты погляди, — продолжал отец, — он сейчас полетит.

— Видел уже, — торжествующе ответил Сашка. — Думаешь, слепой? А ты на крыльшки глянь. Цыц, не трогай!

Отец отдернул руку и темными глазами изучал подробности ангелочка, пока Саша наставительно шептал:

— Экая, братец, у тебя привычка скверная за все руками хвататься. Ведь сломать можешь!

На стене вырезывались уродливые и неподвижные тени двух склонившихся голов: одной большой и лохматой, другой маленькой и круглой. В большой голове происходила странная, мучительная, но в то же время радостная работа. Глаза не мигая смотрели на ангелочка, и под этим пристальным взглядом он становился больше и светлее, и крыльшки его начинали трепетать бесшумным трепетаньем, а все окружающее — бревенчатая, покрытая копотью стена, грязный стол, Сашка, — все это сливалось в одну ровную серую массу, без теней, без света. И чудилось погившему человеку, что он услышал жалеющий голос из того чудного мира, где он жил когда-то и откуда был навеки изгнан. Там не знают о грязи и унылой брани, о тоскливой, слепо-жестокой борьбе эгоизмов; там не

знают о муках человека, поднимаемого со смехом на улице, избиваемого грубыми руками сторожей. Там чисто, радостно и светло, и все это чистое нашло приют в душе ее, той, которую он любил больше жизни и потерял, сохранив ненужную жизнь. К запаху воска, шедшему от игрушки, примешивался неуловимый аромат, и чудилось погившему человеку, как прикасались к ангелочку ее дорогие пальцы, которые он хотел бы целовать по одному и так долго, пока смерть не сомкнет его уста навсегда. Оттого и была так красива эта игрушечка, оттого и было в ней что-то особенное, влекущее к себе, непередаваемое словами. Ангелочек спустился с неба, на котором была ее душа, и внес луч света в сырую, пропитанную чадом комнату и в черную душу человека, у которого было отнято все: и любовь, и счастье, и жизнь.

И рядом с глазами отжившего человека сверкали глаза начинающего жить и ласкали ангелочка. И для них исчезло настоящее и будущее: и вечно печальный и жалкий отец, и грубая, невыносимая мать, и черный мрак обид, жестокостей, унижений и злобствующей тоски. Бесформенны, туманны были мечты Сашки, но тем глубже волновали они его смятенную душу. Все добро, сияющее над миром, все глубокое горе и надежду тоскующей о Боге души впитал в себя ангелочек, и оттого он горел таким мягким божественным светом, оттого трепетали бесшумным трепетаньем его прозрачные стрекозинные крыльышки.

Отец и сын не видели друг друга; по-разному тосковали, плакали и радовались их больные сердца, но было что-то в их чувстве, что сливало воедино сердца и уничтожало бездонную пропасть, которая отделяет человека от человека и делает его таким одиноким, несчастным и слабым. Отец несознаваемым движением положил руку на шею сына, и голова последнего так же невольно прижалась к чахоточной груди.

— Это она дала тебе? — прошептал отец, не отводя глаз от ангелочка.

В другое время Сашка ответил бы грубым отрицанием, но теперь в душе его сам собой прозвучал ответ, и уста спокойно произнесли заведомую ложь.

— А то кто же? Конечно, она.

Отец молчал; замолк и Сашка. Что-то захрипело в соседней комнате, затрещало, на миг стихло, и часы бойко и торопливо отчеканили: час, два, три.

— Сашка, ты видишь когда-нибудь сны? — задумчиво спросил отец.

— Нет, — сознался Сашка. — А, нет, раз видел: с крыши упал. За голубями лазили, я и сорвался.

— А я постоянно вижу. Чудные бывают сны. Видишь все, что было, любишь и страдаешь, как наяву...

Он снова замолк, и Сашка почувствовал, как задрожала рука, лежавшая на его шее. Все сильнее дрожала и дергалась она, и чуткое безмолвие ночи внезапно нарушилось всхлипывающим, жалким звуком сдерживаемого плача. Сашка сурово задвигал бровями и осторожно, чтобы не потревожить тяжелую, дрожащую руку, сковырнул с глаза слезинку. Так странно было видеть, как плачет большой и старый человек.

— Ах, Саша, Саша! — всхлипывал отец. — Зачем все это?

— Ну, что еще? — сурово прошептал Сашка. — Совсем, ну совсем как маленький.

— Не буду... не буду, — с жалкой улыбкой извинился отец. — Что уж... зачем?

Заворочалась на своей постели Феоктиста Петровна. Она вздохнула и забормотала громко и странно-насторожено. «Дерюжку держи... держи, держи, держи». Нужно было ложиться спать, но до этого устроить на ночь ангелочка. На земле оставлять его было невозможно; он был повешен на ниточке, прикрепленной к отдушине печки, и отчетливо рисовался на белом фоне кафелей. Так его могли видеть оба — и Сашка и отец. Поспешно набросав в угол всякого тряпья, на котором он спал, отец так же быстро разделся и лег на спину, чтобы поскорее начать смотреть на ангелочка.

— Что же ты не раздеваешься? — спросил отец, зябко кутаясь в прорванное одеяло и поправляя наброшенное на ноги пальто.

— Не к чему. Скоро встану.

Сашка хотел добавить, что ему совсем не хочется спать, но не успел, так как заснул с такой быстротой, точно пошел ко дну глубокой и быстрой реки. Скоро заснул и отец. Кроткий покой и безмятежность легли на истомленное лицо человека, который отжил, и смелое личико человека, который еще только начинал жить.

А ангелочек, повешенный у горячей печки, начал таять. Лампа, оставленная гореть по настоянию Сашки, наполняла комнату запахом керосина и сквозь закопченное стекло бросала печальный свет на картину медленного разрушения. Ангелочек как будто шевелился. По розовым ножкам его скатывались густые капли и падали на лежанку. К запаху керосина присоединился тяжелый запах топленого воска. Вот ангелочек встрепенулся, словно для полета, и упал с мягким стуком на горячие плиты. Любопытный прусак пробежал, обжигаясь, вокруг бесформенного слитка, взобрался на стрекозиное крыльшко и, дернув усиками, побежал дальше.

В завешенное окно пробивался синеватый свет начиающегося дня, и на дворе уже застучал железным черпаком зазябший водовоз.

11—16 ноября 1899 г.



## КУСАКА

### I

Она никому не принадлежала; у нее не было собственного имени, и никто не мог бы сказать, где находилась она во всю долгую морозную зиму и чем кормилась. От теплых изб ее отгоняли дворовые собаки, такие же голодные, как и она, но гордые и сильные своею принадлежностью к дому; когда, гонимая голодом или инстинктивною потребностью в общении, она показывалась на улице, ребята бросали в нее камнями и палками, взрослые весело улюлюкали и страшно, пронзительно свистали. Не помня себя от страха, переметываясь со стороны на сторону, натыкаясь на загорожи и людей, она мчалась на край поселка и пряталась в глубине большого сада, в одном ей известном месте. Там она зализывала ушибы и раны и в одиночестве копила страх и злобу.

Только один раз ее пожалели и приласкали. Это был пропойца мужик, возвращавшийся из кабака. Он всех любил и всех жалел и что-то говорил себе под нос о добрых людях и своих надеждах на добрых

людей; пожалел он и собаку, грязную и некрасивую, на которую случайно упал его пьяный и бесцельный взгляд.

— Жучка! — позвал он ее именем, общим всем собакам. — Жучка! Пойди сюда, не бойся!

Жучке очень хотелось подойти; она виляла хвостом, но не решалась. Мужик похлопал себя рукой по коленке и убедительно повторил:

— Да пойди, дура! Ей-богу, не трону!

Но, пока собака колебалась, все яростнее размахивая хвостом и маленькими шажками подвигаясь вперед, настроение пьяного человека изменилось. Он вспомнил все обиды, нанесенные ему добрыми людьми, почувствовал скуку и тупую злобу, и когда Жучка легла перед ним на спину, с размаху ткнул ее в бок носком тяжелого сапога.

— У-у, мразь! Тоже лезет!

Собака завизжала, больше от неожиданности и обиды, чем от боли, а мужик, шатаясь, побрел домой, где долго и больно бил жену и на кусочки изорвал новый платок, который на прошлой неделе купил ей в подарок.

С тех пор собака не доверяла людям, которые хотели ее приласкать, и, поджав хвост, убегала, а иногда со злобою набрасывалась на них и пыталась укусить, пока камнями и палкой не удавалось отогнать ее. На одну зиму она поселилась под террасой пустой дачи, у которой не было сторожа, и бескорыстно сторожила ее: выбегала по ночам на дорогу и лаяла до хрипоты. Уже улегшись на свое место, она все еще злобно ворчала, но сквозь злобу проглядывало некоторое довольство собой и даже гордость.

Зимняя ночь тянулась долго-долго, и черные окна пустой дачи угрюмо глядели на обледеневший неподвижный сад. Иногда в них как будто вспыхивал голубоватый огонек: то отражалась на стекле упавшая звезда или остророгий месяц посыпал свой робкий луч.

## II

Наступила весна, и тихая дача огласилась громким говором, скрипом колес и грузным топотом людей, переносящих тяжесть. Приехали из города дачники, целая веселая ватага взрослых, подростков и детей, опьяненных воздухом, теплом и светом; кто-то кричал, кто-то пел, смеялся высоким женским голосом.

Первой, с кем познакомилась собака, была хорошенькая девушка в коричневом форменном платье, выбежавшая в сад. Жадно и нетерпеливо, желая охватить и сжать в своих объятиях все видимое, она посмотрела на ясное небо, на красноватые сучья вишнен и быстро легла на траву, лицом к горячему солнцу. Потом так же внезапно вскочила и, обняв себя руками, целуя свежими устами весенний воздух, выразительно и серьезно сказала:

— Вот весело-то!

Сказала и быстро закружилась. И в ту же минуту беззвучно подкравшись собака яростно вцепилась зубами в раздувавшийся подол платья, рванула и так же беззвучно скрылась в густых кустах крыжовника и смородины.

— Ай, злая собака! — убегая, крикнула девушка, и долго еще слышался ее взволнованный голос: — Мама, дети! Не ходите в сад: там собака! Огромная!.. Злю-у-щая!..

Ночью собака подкралась к заснувшей даче и бесшумно улеглась на свое место под террасой. Пахло людьми, и в открытые окна приносились тихие звуки короткого дыхания. Люди спали, были беспомощны и не страшны, и собака ревниво сторожила их: спала одним глазом и при каждом шорохе вытягивала голову с двумя неподвижными огоньками фосфорически светящихся глаз. А тревожных звуков было много в чуткой весенней ночи: в траве шуршало что-то невидимое, маленько и подбиралось к самому лоснящемуся носу собаки, хрустела прошлогодняя ветка под заснувшей птицей и на близком шоссе грохотала

телега и скрипели нагруженные возы. И далеко окрест в неподвижном воздухе расстипался запах душистого, свежего дегтя и манил в светлеющую даль.

Приехавшие дачники были очень добрыми людьми, а то, что они были далеко от города, дышали хорошим воздухом, видели вокруг себя все зеленым, голубым и беззлобным, делало их еще добрее. Теплом входило в них солнце и выходило смехом и расположением ко всему живущему. Сперва они хотели прогнать напугавшую их собаку и даже застрелить ее из револьвера, если не уберется; но потом привыкли к лаю по ночам и иногда по утрам вспоминали:

— А где же наша Кусака?

И это новое имя Кусака так и осталось за ней. Случалось, что и днем замечали в кустах темное тело, бесследно пропавшее при первом движении руки, бросавшей хлеб, — словно это был не хлеб, а камень, — и скоро все привыкли к Кусаке, называли ее «своей» собакой и шутили по поводу ее дикости и беспричинного страха. С каждым днем Кусака на один шаг уменьшала пространство, отделявшее ее от людей; присмотрелась к их лицам и усвоила их привычки: за полчаса до обеда уже стояла в кустах и ласково помаргивала. И та же гимназисточка Леля, забывшая обиду, окончательно ввела ее в счастливый круг отдыхающих и веселящихся людей.

— Кусачка, пойди ко мне! — звала она к себе. — Ну, хорошая, ну, милая, пойди! Сахару хочешь?.. Сахару тебе дам, хочешь? Ну, пойди же!

Но Кусака не шла: боялась. И осторожно, похлопывая себя руками и говоря так ласково, как это можно было при красивом голосе и красивом лице, Леля подвигалась к собаке и сама боялась: вдруг укусит.

— Я тебя люблю, Кусачка, я тебя очень люблю. У тебя такой хорошенъкий носик и такие выразительные глазки. Ты не веришь мне, Кусачка?

Брови Лели поднялись, и у самой у нее был такой хорошенъкий носик и такие выразительные глаза, что

солнце поступило умно, расцеловав горячо, до красноты щек, все ее молоденькое, наивно-прелестное лицо.

И Кусачка второй раз в своей жизни перевернулась на спину и закрыла глаза, не зная наверно, удалят ее или приласкают. Но ее приласкали. Маленькая теплая рука прикоснулась нерешительно к шершавой голове и, словно это было знаком неотразимой власти, свободно и смело забегала по всему шерстистому телу, тормоша, лаская и щекоча.

— Мама, дети! Глядите: я ласкаю Кусаку! — закричала Леля.

Когда прибежали дети, шумные, звонкоголосые, быстрые и светлые, как капельки разбежавшейся ртути, Кусака замерла от страха и беспомощного ожидания: она знала, что, если теперь кто-нибудь ударит ее, она уже не в силах будет впиться в тело обидчика своими острыми зубами: у нее отняли ее непримируемую злобу. И когда все наперерыв стали ласкать ее, она долго еще вздрагивала при каждом прикосновении ласкающей руки, и ей больно было от непривычной ласки, словно от удара.

### III

Всею своею собачьей душою расцвела Кусака. У нее было имя, на которое она стремглав неслась из зеленой глубины сада; она принадлежала людям и могла им служить. Разве не достаточно этого для счастья собаки?

С привычкою к умеренности, создавшееся годами бродячей, голодной жизни, она ела очень мало, но и это малое изменило ее до неузнаваемости: длинная шерсть, прежде висевшая рыжими, сухими космами и на брюхе вечно покрытая засохшую грязью, очистилась, почернела и стала лосниться, как атлас. И когда она от нечего делать выбегала к воротам, становилась у порога и важно осматривала улицу вверх и вниз, никому уже не приходило в голову дразнить ее или бросить камнем.

Но такою гордою и независимою она бывала только наедине. Страх не совсем еще выпарился огнем ласк из ее сердца, и всякий раз при виде людей, при их приближении, она терялась и ждала побоев. И долго еще всякая ласка казалась ей неожиданностью, чудом, которого она не могла понять и на которое она не могла ответить. Она не умела ласкаться. Другие собаки умеют становиться на задние лапки, тереться у ног и даже улыбаться и тем выражают свои чувства, но она не умела.

Единственное, что могла Кусака, это упасть на спину, закрыть глаза и слегка завизжать. Но этого было мало, это не могло выразить ее восторга, благодарности и любви, — и с внезапным наитием Кусака начинала делать-то, что, быть может, когда-нибудь она видела у других собак, но уже давно забыла. Она нелепо кувыркалась, неуклюже прыгала и вертелась вокруг самой себя, и ее тело, бывшее всегда таким гибким и ловким, становилось неповоротливым, смешным и жалким.

— Мама, дети! Смотрите, Кусака играет! — кричала Леля и, задыхаясь от смеха, просила: — Еще, Кусачка, еще! Вот так! Вот так...

И все собирались и хохотали, а Кусака вертелась, кувыркалась и падала, и никто не видел в ее глазах странной мольбы. И как прежде на собаку кричали и улюлюкали, чтобы видеть ее отчаянный страх, так теперь нарочно ласкали ее, чтобы вызвать в ней привив любви, бесконечно смешной в своих неуклюзиях и нелепых проявлениях. Не проходило часа, чтобы кто-нибудь из подростков или детей не кричал:

— Кусачка, милая Кусачка, поиграй!

И Кусачка вертелась, кувыркалась и падала при несмолкаемом веселом хохоте. Ее хвалили при ней и за глаза и жалели только об одном: что при посторонних людях, приходивших в гости, она не хочет показать своих штук и убегает в сад или прячется под террасой.

Постепенно Кусака привыкла к тому, что о пище не нужно заботиться, так как в определенный час ку-

харка даст ей помоев и костей, уверенно и спокойно ложилась на свое место под террасой и уже искала и просила ласк. И отяжелела она: редко бегала с дачи, и когда маленькие дети звали ее с собою в лес, уклончиво виляла хвостом и незаметно исчезала. Но по ночам все так же громок и бдителен был ее сторожевой лай.

#### IV

Желтыми огнями загорелась осень, частыми дождями заплакало небо, и быстро стали пустеть дачи и умолкать, как будто непрерывный дождь и ветер гасили их, точно свечи, одну за другой.

— Как же нам быть с Кусакой? — в раздумье спрашивала Леля.

Она сидела, охватив руками колени, и печально глядела в окно, по которому скатывались блестящие капли начавшегося дождя.

— Что у тебя за поза, Леля! Ну кто так сидит? — сказала мать и добавила: — А Кусаку придется оставить. Бог с ней!

— Жа-а-лко, — протянула Леля.

— Ну что поделаешь? Двора у нас нет, а в комнатах ее держать нельзя, ты сама понимаешь.

— Жа-а-лко, — повторила Леля, готовая заплакать.

Уже приподнялись, как крылья ласточки, ее темные брови и жалко сморщился хорошенъкий носик, когда мать сказала:

— Догаевы давно уже предлагали мне щеночка. Говорят, очень породистый и уже служит. Ты слышишь меня? А эта что — дворняжка!

— Жа-а-лко, — повторила Леля, но не заплакала.

Снова пришли незнакомые люди, и заскрипели возы, и застонали под тяжелыми шагами половицы, но меньше было говора и совсем не слышно было смеха. Напуганная чужими людьми, смутно предчувствуя беду, Кусака убежала на край сада и оттуда, сквозь поредевшие кусты, неотступно глядела на видимый ей

уголок террасы и на сновавшие по ней фигуры в красных рубахах.

— Ты здесь, моя бедная Кусачка, — сказала вышедшая Леля. Она уже была одета по-дорожному — в то коричневое платье, кусок от которого оторвала Кусака, и черную кофточку. — Пойдем со мной!

И они вышли на шоссе. Дождь то принимался идти, то утихал, и все пространство между почерневшеею землей и небом было полно клубящимися, быстро идущими облаками. Снизу было видно, как тяжелы они и непроницаемы для света от насытившей их воды и как скучно солнцу за этою плотною стеной.

Налево от шоссе тянулось потемневшее живье, и только на бугристом и близком горизонте одинокими купами поднимались невысокие разрозненные деревья и кусты. Впереди недалеко была застава и возле нее трактир с железной красной крышей, а у трактира кучка людей дразнила деревенского дурачка, Илюшу.

— Дайте копеечку, — гнусавил протяжно дурачок, и злые, насмешливые голоса наперебой отвечали ему:

— А дрова колоть хочешь?

И Илюша цинично и грязно ругался, а они без вельзя хохотали.

Прорвался солнечный луч, желтый и анемичный, как будто солнце было неизлечимо больным; шире и печальнее стала туманная осенняя даль.

— Скучно, Кусака! — тихо проронила Леля и, не оглядываясь, пошла назад.

И только на вокзале она вспомнила, что не простилась с Кусакой.

## V

Кусака долго металась по следам уехавших людей, добежала до станции и — промокшая, грязная — вернулась на дачу. Там она проделала еще одну новую штуку, которой никто, однако, не видал: первый раз взошла на террасу и, приподнявшись на задние лапы, заглянула в стеклянную дверь и даже поскребла ког-

тями. Но в комнатах было пусто, и никто не ответил Кусаке.

Поднялся частый дождь, и отовсюду стал надвигаться мрак осенней длинной ночи. Быстро и глухо он заполнил пустую дачу; бесшумно выползл он из кустов и вместе с дождем лился с неприветливого неба. На террасе, с которой была снята парусина, отчего она казалась обширной и странно пустой, свет долго еще боролся с тьмой и печально озарял следы грязных ног, но скоро уступил и он.

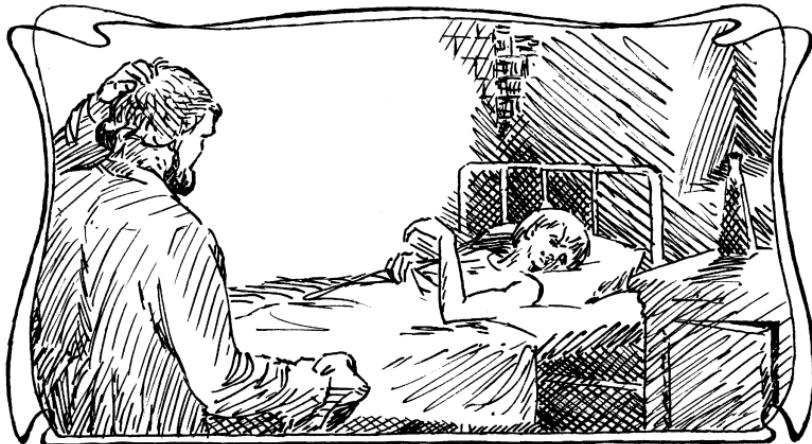
Наступила ночь.

И когда уже не было сомнений, что она наступила, собака жалобно и громко завыла. Звенящей, острий, как отчаяние, нотой ворвался этот вой в монотонный, угрюмо покорный шум дождя, прорезал тьму и, замирая, понесся над темным и обнаженным полем.

Собака выла — ровно, настойчиво и безнадежно-спокойно. И тому, кто слышал этот вой, казалось, что это стонет и рвется из свету сама беспросветно темная ночь, и хотелось в тепло, к яркому огню, к любящему женскому сердцу.

Собака выла.

1901



## ГОСТИНЕЦ

### I

— Так ты приходи! — в третий раз попросил Сениста, и в третий раз Сазонка торопливо ответил:

— Приду, приду, ты не бойся. Еще бы не прийти, конечно, приду.

И снова они замолчали. Сениста лежал на спине, до подбородка укрытый серым больничным одеялом, и упорно смотрел на Сазонку; ему хотелось, чтобы Сазонка подольше не уходил из больницы и чтобы своим ответным взглядом он еще раз подтвердил обещание не оставлять его в жертву одиночеству, болезни и страху. Сазонке же хотелось уйти, но он не знал, как сделать это без обиды для мальчика, шмыгнул носом, почти сползая со стула и опять садился плотно и решительно, как будто навсегда. Он бы еще посидел, если бы было о чем говорить; но говорить было не о чем, и мысли приходили глупые, от которых становилось смешно и стыдно. Так, его все время тянуло называть Сенисту по имени и отчеству — Семеном Ерофеевичем, что было отчаянно нелепо: Сениста был

мальчишка-подмастерье, а Сазонка был солидным мастером и пьяницей и Сазонкой звался только по привычке. И еще двух недель не прошло с тех пор, как он дал Сенисте последний подзатыльник, и это было очень дурно, но и об этом говорить тоже нельзя.

Сазонка решительно начал сползать со стула, но, не доведя дела до половины, так же решительно всполз назад и сказал не то в виде укоризны, не то утешения:

— Так вот какие дела. Болит, а?

Сениста утвердительно качнул головой и тихо ответил:

— Ну, ступай. А то он бранить будет.

— Это верно, — обрадовался Сазонка предлогу. —

Он и то приказывал: ты, говорит, поскорее. Отвешь — и той же минутой назад. И чтобы водки ни-ни. Вот черт!

Но вместе с сознанием, что он может теперь уйти каждую минуту, в сердце Сазонки вошла острая жалость к большеголовому Сенисте. К жалости призыва-ла вся необычная обстановка: тесный ряд кроватей с бледными хмурыми людьми; воздух, до последней час-тицы испорченный запахом лекарств и испарениями больного человеческого тела; чувство собственной силы и здоровья. И, уже не избегая просительного взгляда, Сазонка наклонился к Сенисте и твердо повторил:

— Ты, Семен... Сеня, не бойся. Приду. Как ослобо-нююсь, так и к тебе. Разве мы не люди? Господи! Тоже и у нас понятие есть. Милый! Веришь мне аль нет?

И с улыбкой на почерневших, запекшихся губах Сениста отвечал:

— Верю.

— Вот! — торжествовал Сазонка.

Теперь ему было легко и приятно, и он мог уже по-говарить о подзатыльнике, случайно данном две недели назад. И он осторожно намекнул, касаясь пальцем Сенина плеча:

— А ежели тебя по голове кто бил, так разве это со зла? Господи! Голова у тебя очень такая удобная: большая да стрижена.

Сениста опять улыбнулся, и Сазонка поднялся со стула. Ростом он был очень высок, волосы его, все в мелких кудряшках, расчесанные частой гребенкой, подымались пышной и веселой шапкой, и серые припухшие глаза искрились и безотчетно улыбались.

— Ну, прощевай! — сказал он, но не тронулся с места.

Он нарочно сказал «прощевай», а не «прощай», потому что так выходило душевнее, но теперь ему показалось этого мало. Нужно было сделать что-то еще более душевное и хорошее, такое, после которого Сенисте весело было бы лежать в больнице, а ему легко было бы уйти. И он неловко топтался на месте, смешной в своем детском смущении, когда Сениста опять вывел его из затруднения.

— Прощай! — сказал он своим детским, тоненьkim голоском, за который его дразнили «гуслями», и совсем просто, как взрослый, высвободил руку из-под одеяла и, как равный, протянул ее Сазонке.

И Сазонка, чувствуя, что это именно то, чего не хватало ему для полного спокойствия, почтительно охватил тонкие пальчики своей здоровенной лапицей, подержал их и со вздохом опустил. Было что-то печальное и загадочное в прикосновении тонких горячих пальчиков, как будто Сениста был не только равным всем людям на свете, но и выше всех и всех свободнее, и происходило это оттого, что принадлежал он теперь неведомому, но грозному и могучему хозяину. Теперь его можно было назвать Семеном Ерофеевичем.

— Так приходи же, — в четвертый раз попросил Сениста, и эта просьба прогнала то страшное и величавое, что на миг осенило его своими бесшумными крылами.

Он снова стал мальчиком, больным и страдающим, и снова стало жаль его, очень жаль.

Когда Сазонка вышел из больницы, за ним долго еще гнался запах лекарств и просиявший голос:

— Приходи же!

И, разводя руками, Сазонка отвечал:

— Милый! Да разве мы не люди?

## II

Подходила Пасха, и портновской работы было так много, что только один раз в воскресенье вечером Сазонке удалось напиться, да и то не допьяна. Целые дни, по-весеннему светлые и длинные, от петухов до петухов, он сидел на подмостках у своего окна, по-турецки поджав под себя ноги, хмурясь и неодобрительно посвистывая. С утра окно находилось в тени, и в разошедшиеся пазы тянуло холодком, но к полудню солнце прорезывало узенькую желтую полоску, в которой светящимися точками играла приподнятая пыль. А через полчаса уже весь подоконник с набросанными на нем обрезками материй и ножницами горел ослепительным светом, и становилось так жарко, что нужно было, как летом, распахнуть окно. И вместе с волной свежего, крепкого воздуха, пропитанного запахом преюЩего навоза, подсыхающей грязи и распускающихся почек, в окно влетала шальная, еще слабосильная муха и приносился разноголосый шум улицы. Внизу, у завалинки, рылись куры и блаженно кудахтали, нежась в круглых ямках; на противоположной, уже просохшей стороне улицы играли в бабки ребята, и их пестрый звонкий крик и удары чугунных плит о костяшки звучали задором и свежестью. Езды по улице, находившейся на окраине Орла, было совсем мало, и только изредка шажком проезжал пригородный мужик; телега подпрыгивала в глубоких колеях, еще полных жидкой грязи, и все части ее стучали деревянным стуком, напоминающим лето и простор полей.

Когда у Сазонки начинало ломить поясницу и одеревеневшие пальцы не держали иглы, он босиком и без подпояски, как был, выскакивал на улицу, гигантскими скачками перелетал лужи и присоединялся к играющим ребятам.

— Ну-ка, дай ударить, — просил он, и десяток грязных рук протягивали ему плиты, и десяток голо-сов просили:

— За меня! Сазонка, за меня!

Сазонка выбирал плиту поувесистее, засучивал руки и, приняв позу атлета, мечущего диск, измерял прищуренным глазом расстояние. С легким свистом плита вырывалась из его руки и, волнообразно подскакивая, скользящим ударом врывалась в средину длинного коня, и пестрым дождем рассыпались бабки, и таким же пестрым криком отвечали на удар ребята. После нескольких ударов Сазонка отдыхал и говорил ребятам:

— А Сениста-то еще в больнице, ребята.

Но, занятые своим интересным делом, ребята принимали известие холодно и равнодушно.

— Надобно ему гостинца отнести. Вот ужо отнесу, — продолжал Сазонка.

На слово «гостинец» отозвались многие. Мишка Поросенок подергивал одной рукой штанишки — другая держала в подоле рубахи бабки — и серьезно советовал:

— Ты ему гривенник дай.

Гривенник была та сумма, которую обещал дед самому Мишке, и выше ее не шло его представление о человеческом счастье. Но долго разговаривать о гостинце не было времени, и такими же гигантскими прыжками Сазонка перебирался к себе и опять садился за работу. Глаза его припухли, лицо стало бледно-желтым, как у больного, и веснушки у глаз и на носу казались особенно частыми и темными. Только тщательно расчесанные волосы подымались все той же веселой шапкой, и когда хозяин, Гавриил Иванович, смотрел на них, ему непременно представлялся уютный красный кабачок и водка, и он ожесточенно сплевывал и ругался.

В голове Сазонки было смутно и тяжело, и по целям часам он неуклюже ворочал какую-нибудь одну мысль: о новых сапогах или гармонике. Но чаще всего он думал о Сенисте и о гостинце, который он ему отнесет. Машинка монотонно и усыпляюще стучала, покрикивал хозяин — и все одна и та же картина представлялась усталому мозгу Сазонки: как он приходит к Сенисте в больницу и подает ему гостинец, завернутый в ситцевый каемчатый платок. Часто в тяжелой

дреме он забывал, кто такой Сениста, и не мог вспомнить его лица; но каемчатый платок, который нужно еще купить, представлялся живо и ясно, и даже казалось, что узелки на нем не совсем крепко завязаны. И всем, хозяину, хозяйке, заказчикам и ребятам, Сазонка говорил, что пойдет к мальчику непременно на первый день Пасхи.

— Уж так нужно, — твердил он. — Причешусь, и той же минутой к нему. На, милый, получай!

Но, говоря это, он видел другую картину: распахнутые двери красного кабачка и в темной глубине их залитую сивухой стойку. И его охватывало горькое сознание своей слабости, с которой он не может бороться, и хотелось кричать громко и настойчиво: «К Сенисте пойду! К Сенисте!»

А голову наполняла серая, колеблющаяся муть, и только каемчатый платок выделялся из нее. Но не радость в нем была, а суровый укор и грозное предсторожение.

### III

И на первый день Пасхи и на второй Сазонка был пьян, дрался, был избит и ночевал в участке. И только на четвертый день удалось ему выбраться к Сенисте.

Улица, залитая солнечным светом, пестрела яркими пятнами кумачовых рубах и веселым оскалом белых зубов, грызущих подсолнухи; играли вразброд гармоники, стучали чугунные плиты о костяшки, и голосисто орал петух, вызывая на бой соседского петуха. Но Сазонка не глядел по сторонам. Лицо его, с подбитым глазом и рассеченной губой, было мрачно и сосредоточенно, и даже волосы не вздымались пышной гривой, а как-то растерянно торчали отдельными космами. Было совестно за пьянство и неисполненное слово, было жаль, что представится он Сенисте не во всей красе — в красной шерстяной рубахе и жилетке, — а пропившийся, паскудный, воняющий перегоревшей водкой. Но чем ближе подходил он к больнице, тем легче ему ста-

новилось, и глаза чаще опускались вниз, направо, где бережно висел в руке узелок с гостинцем. И лицо Сенисты виделось теперь совсем живо и ясно с запекшимися губами и просияющим взглядом.

— Милый, да разве? Ах, Господи! — говорил Сазонка и крупно надбавлял шагу.

Вот и больница — желтое громадное здание, с черными рамами окон, отчего окна походили на темные угрюмые глаза. Вот и длинный коридор, и запах лекарств, и неопределенное чувство жути и тоски. Вот и палата и постель Сенисты...

Но где же сам Сениста?

— Вам кого? — спросила вошедшая следом сиделка.

— Мальчик тут один лежал. Семен. Семен Ерофеев. Вот на этом месте. — Сазонка указал пальцем на пустую постель.

— Так нужно допрежде спрашивать, а то ломитеся зря, — грубо сказала сиделка. — И не Семен Ерофеев, а Семен Пустошкин.

— Ерофеев — это по отечеству. Родителя звали Ерофеем, так вот он и выходит Ерофеич, — объяснил Сазонка, медленно и страшно бледнея.

— Помер ваш Ерофеич. А только мы этого не знаем: по отчеству. По-нашему — Семен Пустошкин. Помер, говорю.

— Вот как-с! — благопристойно удивился Сазонка, бледный настолько, что веснушки выступили резко, как чернильные брызги. — Когда же-с?

— Вчера после вечерен.

— А мне можно?.. — запинаясь, попросил Сазонка.

— Отчего нельзя? — равнодушно ответила сиделка. — Спросите, где мертвецкая, вам покажут. Да вы не убивайтесь! Кволый он был, не жилемец.

Язык Сазонки расспрашивал дорогу вежливо и обстоятельно, ноги твердо несли его в указываемом направлении, но глаза ничего не видели. И видеть они стали только тогда, когда неподвижно и прямо они уставились в мертвое тело Сенисты. Тогда же

ощутился и страшный холод, стоявший в мертвецкой, и все кругом стало видно: покрытые сырьими пятнами стены, окно, занесенное паутиной; как бы ни светило солнце, небо через это окно всегда казалось серым и холодным, как осенью. Где-то с перерывами беспокойно жужжала муха; падали откуда-то капельки воды; упадет одна — кап! — и долго после того в воздухеносится жалобный звенящий звук.

Сазонка отступил на шаг назад и громко сказал:

— Прощавай, Семен Ерофеич.

Затем опустился на колени, коснулся лбом сырого пола и поднялся.

— Прости меня, Семен Ерофеич, — так же раздельно и громко выговорил он, и снова упал на колени, и долго прижимался лбом, пока не стала затекать голова.

Муха перестала жужжать, и было так тихо, как бывает только там, где лежит мертвец. И через равные промежутки падали в жестяной таз капельки, падали и плакали — тихо, нежно.

#### IV

Тотчас за больницей город кончался и начиналось поле, и Сазонка побрел в поле. Ровное, не нарушаемое ни деревом, ни строением, оно привольно раскидывалось вширь, и самый ветерок казался его свободным и теплым дыханием. Сазонка сперва шел по просохшей дороге, потом свернул влево и прямиком по пару и прошлогоднему жнитву направился к реке. Местами земля была еще сыровата, и там после его прохода оставались следы его ног с темными углублениями каблуков.

На берегу Сазонка улегся в небольшой, покрытой травой ложбинке, где воздух был неподвижен и тепел, как в парнике, и закрыл глаза. Солнечные лучи проходили сквозь закрытые веки теплой и красной волной; высоко в воздушной синеве звенел жаворонок, и было приятно дышать и не думать. Полая вода уже сошла, и речка струилась узеньким ручейком, далеко на противоположном низком берегу оставил

следы своего буйства: огромные, ноздреватые льдины. Они кучками лежали друг на друге и белыми треугольниками подымались вверх навстречу огненным беспощадным лучам, которые шаг за шагом точили и сверлили их. В полудремоте Сазонка откинулся руку — под нее попало что-то твердое, обернутое материей.

Гостище.

Быстро приподнявшись, Сазонка вскрикнул:

— Господи! Да что же это?

Он совершенно забыл про узелок и испуганными глазами смотрел на него: ему чудилось, что узелок сам, своей волей, пришел сюда и лег рядом, и страшно было до него дотронуться. Сазонка глядел — глядел не отрываясь, — и бурная, клокочущая жальство и неистовый гнев подымались в нем. Он глядел на камчатый платок — и видел, как на первый день, и на второй, и на третий Сениста ждал его и оборачивался к двери, а он не приходил. Умер одинокий, забытый — как щенок, выброшенный в помойку. Только бы на день раньше — и потухающими глазами он увидел бы гостище, и возрадовался бы детским своим сердцем, и без боли, без ужасающей тоски одиночества полете-ла бы его душа к высокому небу.

Сазонка плакал, впиваясь руками в свои пышные волосы и катаясь по земле. Плакал и, подымая руки к небу, жалко оправдывался:

— Господи! Да разве мы не люди?

И прямо рассеченной губой он упал на землю — и затих в порыве немого горя. Лицо его мягко и нежно щекотала молодая трава; густой, успокаивающий запах подымался от сырой земли, и была в ней могучая сила и страстный призыв к жизни. Как вековечная мать, земля принимала в свои объятия грешного сына и теплом, любовью и надеждой поила его страдающее сердце.

А далеко в городе нестройно гудели веселые праздничные колокола.



## ВАЛЯ

Валя сидел и читал. Книга была очень большая, только наполовину меньше самого Вали, с очень черными и крупными строками и картинками во всю страницу. Чтобы видеть верхнюю строку, Валя должен был протягивать свою голову чуть ли не через весь стол, подниматься на стул на колени и пухлым коротеньkim пальцем придерживать буквы, которые очень легко терялись среди других похожих букв, и найти их потом стоило большого труда. Благодаря этим побочным обстоятельствам, не предусмотренным издателями, чтение подвигалось с солидною медленностью, несмотря на захватывающий интерес книги. В ней рассказывалось, как один очень сильный мальчик, которого звали Бовою, схватывал других мальчиков за ноги и за руки, и они от этого отрывались. Это было и страшно, и смешно, и потому в пыхтении Вали, которым сопровождалось его путешествие по книге, слышалась нотка приятного страха и ожидания, что дальше будет еще интереснее. Но Вале неожиданно помешали читать: вошла мама с какоюто другою женщиной.

— Вот он! — сказала мама, глаза у которой краснели от слез, видимо недавних, так как в руках она мела белый кружевной платок.

— Валечка, милый! — вскрикнула женщина и, обняв его голову, стала целовать лицо и глаза, крепко прижимая к ним свои худые, твердые губы.

Она не так ласкала, как мама, — у той поцелуи были мягкие, тающие, а эта точно присасывалась. Валя, хмурясь, молча принимал колючие ласки. Он был недоволен, что прервали его интересное чтение, и ему совсем не нравилась эта незнакомая женщина, высокая, с костлявыми пальцами, на которых не было ни одного кольца. И пахло от нее очень дурно: какою-то сыростью и гнилью, тогда как от мамы всегда шел свежий запах духов. Наконец женщина оставила Валю в покое и, пока он вытирал губы, осмотрела его тем быстрым взглядом, который словно фотографирует человека. Его коротенький нос, но уже с признаками будущей горбинки, густые, не детские брови над черными глазами и общий вид строгой серьезности что-то напомнили ей, и она заплакала. И плакала она не так, как мама, — лицо оставалось неподвижным, и только слезы быстро-быстро капали одна за другую — не успевала скатиться одна, как ее уже догоняла другая. Так же внезапно перестав плакать, как и начала, она спросила:

— Валечка, ты не знаешь меня?

— Нет.

— Я приходила к тебе. Два раза приходила. Помнишь?

Может быть, она и приходила, может быть, и два раза приходила, но откуда Валя будет знать это? Да и не все ли равно — приходила эта незнакомая женщина или нет? Она только мешает читать со своими вопросами.

— Я твоя мама, Валя! — сказала женщина.

Валя с удивлением оглянулся на свою маму, но ее в комнате уже не было.

— Разве две мамы бывают? — спросил он. — Какие ты глупости говоришь!

Женщина засмеялась, но этот смех не понравился Вале: видно было, что женщина совсем не хочет смеяться и делает это так, нарочно, чтобы обмануть. Некоторое время оба молчали.

— Ты уже умеешь читать? Вот умница!

Валя молчал.

— А какую ты книгу читаешь?

— Про Бову-королевича, — сообщил Валя с серьезным достоинством и с очевидным чувствомуважения к большой книге.

— Ах, это, должно быть, очень интересно! Расскажи мне, пожалуйста! — заискивающе улыбнулась женщина.

И снова что-то неестественное, фальшивое прозвучало в этом голосе, который старался быть мягким и круглым, как голос мамы, но оставался колючим и острым. Та же фальшь сквозила и в движениях женщины; она передвинулась на стуле и даже протянула вперед шею, точно приготовилась к долгому и внимательному слушанию; а когда Валя неохотно приступил к рассказу, она тотчас же ушла в себя и потемнела, как потайной фонарь, в котором внезапно задвинули крышку. Валя чувствовал обиду за себя и за Бову, но, желая быть вежливым, наскоро проговорил конец сказки и добавил:

— Все.

— Ну, прощай, мой голубчик, мой дорогой! — сказала странная женщина и снова стала прижимать губы к Валиному лицу. — Скоро я опять приду. Ты будешь рад?

— Да, приходите, пожалуйста, — вежливо попросил Валя и, чтобы она скорее ушла, прибавил: — Я буду очень рад.

Посетительница ушла, но только что Валя успел разыскать в книге слово, на котором он остановился, как появилась мама, посмотрела на него и тоже стала плакать. О чем плакала женщина, было еще понятно: она, вероятно, жалела, что она такая неприятная и скучная, — но чего ради плакать маме?

— Послушай, — задумчиво сказал Валя, — как надоела мне эта женщина! Она говорит, что она моя мама. Разве бывает две мамы у одного мальчика?

— Нет, деточка, не бывает. Но она говорит правду: она твоя мама.

— А кто же ты?

— Я твоя тетя.

Это явилось неожиданным открытием, но Валя отнесся к нему с непоколебимым равнодушием: тетя так тетя — не все ли равно? Для него слово не имело такого значения, как для взрослых. Но бывшая мама не понимала этого и начала объяснять, почему так вышло, что она была мамой, а стала тетей. Давно-давно, когда Валя был совсем маленький...

— Какой маленький? Такой? — Валя поднял руку на четверть аршина от стола.

— Нет, меньше.

— Как киска? — радостно изумился Валя.

Рот его полуоткрылся, брови поднялись кверху. Он намекал на беленького котенка, которого ему недавно подарили и который был так мал, что всеми четырьмя лапами помещался на блюдце.

— Да.

Валя счастливо рассмеялся, но тотчас же принял свой обычный суровый вид и со снисходительностью взрослого человека, вспоминающего ошибки молодости, заметил:

— Какой я был смешной!

Так вот, когда он был маленький и смешной, как киска, его принесла эта женщина и отдала, как киску, навсегда. А теперь, когда он стал такой большой и умный, она хочет взять его к себе.

— Ты хочешь к ней? — спросила бывшая мама и покраснела от радости, когда Валя решительно и строго произнес:

— Нет. Она мне не нравится! — и снова принял за книгу.

Валя считал инцидент исчерпанным, но ошибся. Эта странная женщина, с лицом таким безжизненным, словно из него выпили всю кровь, неизвестно от-

куда появившаяся и так же бесследно пропавшая, всколыхнула тихий дом и наполнила его глухой тревогою. Тетя-мама часто плакала и все спрашивала Валю, хочет ли он уйти от нее; дядя-папа ворчал, гладил свою лысину, отчего белые волоски на ней поднимались торчком, и, когда мамы не было в комнате, так же расспрашивал Валю, не хочет ли он к той женщине. Однажды вечером, когда Валя уже лежал в кроватке, но еще не спал, дядя и тетя говорили о нем и о женщине. Дядя говорил сердитым басом, от которого незаметно дрожали хрустальные подвески в люстре и сверкали то синими, то красными огоньками.

— Ты, Настасья Филипповна, говоришь глупости. Мы не имеем права отдавать ребенка, для него самого не имеем права. Неизвестно еще, на какие средства живет эта особа с тех пор, как ее бросил этот... ну, да черт его возьми, ты понимаешь, о ком я говорю? Даю голову на отсечение, что ребенок погибнет у нее.

— Она любит его, Гриша.

— А мы его не любим? Странно ты рассуждаешь, Настасья Филипповна, — похоже, что сама ты хочешь отделаться от ребенка...

— Как тебе не грешно!

— Ну, ну, уже обиделась. Ты обсуди этот вопрос хладнокровно, не горячась. Какая-нибудь кукушка, вертихвостка, наплодит ребят и с легким сердцем подбрасывает к вам. А потом пожалуйста: давайте мне моего ребенка, так как меня любовник бросил и я скучаю. На концерты да на театры у меня денег нету, так мне игрушку давайте! Нет-с, сударыня, мы еще поспорим!

— Ты несправедлив к ней, Гриша. Ведь ты знаешь, какая она больная, одинокая.

— Ты, Настасья Филипповна, и святого из терпения выведешь, ей-богу! Ребенка-то ты забываешь? Тебе все равно, сделают ли из него честного человека или прохвоста? А я голову свою даю на отсечение, что из него сделают прохвоста, ракалью<sup>1</sup>, вора и... прохвоста!

---

<sup>1</sup> Ракалья — негодяй.

— Гриша!

— Христом Богом прошу: не раздражай ты меня! И откуда у тебя эта дьявольская способность перечить? «Она такая одинокая», — а мы не одиноки? Бессердечная ты женщина, Настасья Филипповна, и черт дернул меня на тебе жениться! Тебе палача в мужья надо!

Бессердечная женщина заплакала, и муж попросил у нее прощения, объяснив, что только набитый дурак может обращать внимание на слова такого неправдивого осла, как он. Понемногу она успокоилась и спросила:

— А что говорит Талонский?

Григорий Аристархович снова вспылил:

— И откуда ты взяла, что он умный человек? Говорит, все будет зависеть от того, как суд посмотрит... Экая новость, подумаешь, без него и не знаем, что все зависит от того, как суд посмотрит. Конечно, ему что, — потякал, потякал, да и к сторонке. Нет, если бы на то моя воля, я бы всех этих пустобрехов...

Тут Настасья Филипповна закрыла дверь из столовой, и конца разговора Валя не слышал. Но долго еще он лежал с открытыми глазами и все старался понять, что это за женщина, которая хочет взять его и погубить.

На следующий день он с утра ожидал, когда тетя спросит его, не хочет ли он к маме; но тетя не спросила. Не спросил и дядя. Вместо того оба они смотрели на Валю так, точно он очень сильно болен и скоро должен умереть, ласкали его и привозили большие книги с раскрашенными картинками. Женщина более не приходила; но Вале стало казаться, что она караулит его около дверей, и, как только он станет переходить порог, она схватит его и унесет в какую-то черную, страшную даль, где извиваются и дышат огнем злые чудовища. По вечерам, когда Григорий Аристархович занимался в кабинете, а Настасья Филипповна что-нибудь вязала или раскладывала пасьянс, Валя читал свои книги, в которых строки стали чаще и меньше. В комнате было тихо-тихо, только шелестели переворачиваемые листы да изредка доносился из

кабинета басистый кашель дяди и сухое щелканье на счетах. Лампа с синим колпаком бросала яркий свет на пеструю бархатную скатерть стола, но углы высокой комнаты были полны тихого, таинственного мрака. Там стояли большие цветы с причудливыми листьями и корнями, вылезающими наружу и похожими на дерущихся змей, и чудилось, что между ними шевелится что-то большое, темное. Валя читал. Перед его расширенными глазами проходили страшные, красивые и печальные образы, вызывавшие жалость и любовь, но чаще всего страх. Валя жалел бедную русалочку, которая так любила красивого принца, что пожертвовала для него и сестрами, и глубоким спокойным океаном; а принц не знал про эту любовь, потому что русалочка была немая, и женился на веселой принцессе; и был праздник, на корабле играла музыка, и окна его были освещены, когда русалочка бросилась в темные волны, чтобы умереть. Бедная милая русалочка, такая тихая, печальная и кроткая! Но чаще являлись перед Валей злые, ужасные люди-чудовища. В темную ночь они летели куда-то на своих колючих крыльях, и воздух свистел над их головой, и глаза их горели, как красные угли. А там их окружали другие такие же чудовища, и тут творилось что-то таинственное, страшное. Острый как нож смех; продолжительные, жалобные вопли; кривые полеты, как у летучей мыши; странная, дикая пляска при багровом свете факелов, кутающих свои криевые огненные языки в красных облаках дыма; человеческая кровь и мертвые белые головы с черными бородами... Все это были проявления одной загадочной и безумно злой силы, желающей погубить человека, гневные и таинственные признаки. Они наполняли воздух, прятались между цветами, шептали о чем-то и указывали костлявыми пальцами на Валю; они выглядывали на него из дверей темной комнаты, хихикали и ждали, когда он ляжет спать, чтобы безмолвно реять над его головою; они засматривали из сада в черные окна и жалобно плакали вместе с ветром.

И все это злое, страшное принимало образ той женщины, которая приходила за Валей. Много людей являлось в дом Григория Аристарховича и уходило, и Валя не помнил их лиц, но это лицо жило в его памяти. Оно было такое длинное, худое, желтое, как у мертвой головы, и улыбалось хитрою, притворною улыбкою, от которой прорезывались две глубокие морщины по сторонам рта. Когда эта женщина возьмет Валю, он умрет.

— Слушай, — сказал раз Валя своей тете, отрываясь от книги. — Слушай, — повторил он со своей обычной серьезной основательностью и взглядом, смотревшим прямо в глаза тому, с кем он говорил, — я тебя буду называть мамой, а не тетей. Ты говоришь глупости, что эта женщина — мама. Ты мама, а она нет.

— Почему? — вспыхнула Настасья Филипповна, как девочка, которую похвалили.

Но вместе с радостью в ее голосе слышался страх за Валю. Он стал такой странный, боязливый: боялся спать один, как прежде, по ночам бредил и плакал.

— Так. Я не могу этого рассказать. Ты лучше спроси у папы. Он тоже пapa, а не дядя, — решительно ответил мальчик.

— Нет, Валечка, это правда: она твоя мама.

Валя подумал и ответил тоном Григория Аристарховича:

— Удивляюсь, откуда у тебя эта способность перечить!

Настасья Филипповна рассмеялась, но, ложась спать, долго говорила с мужем, который бунчал, как турецкий барабан, ругал пустобрехов и кукушек, и потом вместе с женою ходил смотреть, как спит Валя. Они долго и молча всматривались в лицо спящего мальчика. Пламя свечи колыхалось в трясущейся руке Григория Аристарховича и придавало фантастическую, мертвую игру лицу ребенка, такому же белому, как те подушки, на которых оно покоилось. Казалось, что из темных больших впадин под бровями на них глядят черные глаза, прямые и строгие, требуют

ответа и грозят бедою и неведомым горем, а губы кривятся в странную ироническую усмешку. Точно на эту детскую голову легло смутное отражение тех злых и таинственных призраков-чудовищ, которые безмолвно реяли над нею.

— Валя! — испуганно шепнула Настасья Филипповна.

Мальчик глубоко вздохнул, но не пошевелился, словно окованный сном смерти.

— Валя! Валя! — к голосу Настасьи Филипповны присоединился густой и дрожащий голос мужа.

Валя открыл глаза, оттененные густыми ресницами, моргнул от света и вскочил на колени, бледный и испуганный. Его обнаженные худые ручонки жемчужным ожерельем легли вокруг красной и полной шеи Настасьи Филипповны, пряча голову на ее груди, крепко жмуря глаза, точно боясь, что они открываются сами, помимо его воли, он шептал:

— Боюсь, мама, боюсь! Не уходи!

Эта была плохая ночь. Когда Валя заснул, с Григорием Аристарховичем сделался приступ астмы. Он задыхался, и толстая белая грудь судорожно поднималась и опускалась под ледяными компрессами. Только к утру он успокоился, и измученная Настасья Филипповна заснула с мыслью, что муж ее не переживет потери ребенка.

После семейного совета, на котором решено было, что Вале следует меньше читать и чаще видеться с другими детьми, к нему начали привозить мальчиков и девочек. Но Валя сразу не полюбил этих глупых детей, шумных, крикливых, неприличных. Они ломали цветы, рвали книги, прыгали по стульям и дрались, точно выпущенные из клетки маленькие обезьянки; а он, серьезный и задумчивый, смотрел на них с неприятным изумлением, шел к Настасье Филипповне и говорил:

— Как они мне надоели! Я лучше посижу около тебя.

А по вечерам он снова читал, и когда Григорий Аристархович, бурча об этой чертовщине, от которой

не дают опомниться ребятам, пытался ласково взять у него книгу, Валя молча, но решительно прижимал ее к себе. Импровизированный педагог смущенно отступал и сердито упрекал жену:

— Это называется воспитание! Нет, Настасья Филипповна, я вижу, тебе в пору с котятами возиться, а не ребят воспитывать. До чего распустила — не можешь даже книги от мальчика взять. Нечего говорить, хороша наставница!

Однажды утром, когда Валя сидел с Настасьей Филипповной за завтраком, в столовую ворвался Григорий Аристархович. Шляпа его съехала на затылок, лицо было потно; еще из дверей он радостно закричал:

— Отказал! Суд отказал!

Бриллианты в ушах Настасьи Филипповны засверкали, и ножик звякнул о тарелку.

— Ты правду говоришь? — спросила она, задыхаясь.

Григорий Аристархович сделал серьезное лицо, чтобы видно было, что он говорит правду, но сейчас же забыл о своем намерении, и лицо его покрылось целою сетью веселых морщинок. Потом снова спохватился, что ему недостает солидности, с которой сообщают такие крупные новости, нахмурился, подвинул к столу стул, положил на него шляпу и, видя, что место кем-то уже занято, взял другой стул. Усевшись, он строго посмотрел на Настасью Филипповну, потом на Валю, подмигнул Вале на жену и только после этого торжественного введения заявил:

— Я всегда говорил, что Талонский умница, которого на козе не объедешь. Нет, Настасья Филипповна, не объедешь, лучше и не пробуй.

— Следовательно, правда?

— Вечно ты с сомнениями. Сказано: в иске Акимовой отказать. Ловко, брат, — обратился он к Вале и добавил строгого официальным тоном, ударяя на букву *о*: — И возложить на нее судебные и за ведение дела издержки.

— Эта женщина не возьмет меня?

— Дудки, брат! Ах, забыл: я тебе книг привез!

Григорий Аристархович бросился в переднюю, но его остановил крик Настасьи Филипповны: Валя в обмороке откинулся побледневшую голову на спинку стула.

Наступило счастливое время. Словно выздоровел тяжелый больной, находившийся где-то в этом доме, и всем стало дышаться легко и свободно. Валя покончил свои сношения с чертовщиной, и когда к нему наезжали маленькие обезьянки, он был среди них самый изобретательный. Но и в самые фантастические игры он вносил свою обычную серьезность и основательность, и, когда шла игра в индейцы, он считал необходимым раздеться почти донаaga и с ног до головы измазаться краскою. Ввиду делового характера, приданного игре, Григорий Аристархович счел для себя возможным принять в ней посильное участие. В качестве медведя он проявил лишь посредственные способности, но зато пользовался большим и вполне заслуженным успехом в роли индийского слона. И когда Валя, молчаливый и строгий, как истый сын богини Кали, сидел у отца на плечах и постукивал молоточком по его розовой лысине, он действительно напоминал собою маленького восточного князька, деспотически царящего над людьми и животными.

Талонский пробовал намекать Григорию Аристарховичу о судебной палате, которая может не согласиться с решением суда, но тот не мог понять, как трое судей могут не согласиться с тем, что решили трое таких же судей, когда законы одни и там и здесь. Когда же адвокат настаивал, Григорий Аристархович начинал сердиться и в качестве неопровергимого довода выдвигал самого же Талонского:

— Ведь вы же будете и в палате? Так о чем толковать — не понимаю. Настасья Филипповна, хоть бы ты усовестила его.

Талонский улыбался, а Настасья Филипповна мягко выговаривала ему за его напрасные сомнения. Говорили иногда и о той женщине, на которую возложили судебные издержки, и всякий раз прилагали к ней

эпитет «бедная». С тех пор как эта женщина лишилась власти взять Валю к себе, она потеряла в его глазах ореол таинственного страха, который, словно мгла, окутывал ее и искажал черты худого лица, и Валя стал думать о ней, как и о других людях. Он слыхал частое повторение того, что она несчастна, и не мог понять почему; но это бледное лицо, из которого выпили всю кровь, становилось проще, естественнее и ближе. «Бедная женщина», как ее называли, стала интересовать его, и, вспоминая других бедных женщин, о которых ему приводилось читать, он испытывал чувство жалости и робкой нежности. Ему представлялось, что она должна сидеть одна в какой-нибудь темной комнате, бояться и все плакать, все плакать, как плакала она тогда. Напрасно он тогда так плохо рассказал ей про Бову-королевича.

...Оказалось, что трое судей могут не согласиться с тем, что решили трое таких же судей: палата отменила решение окружного суда, и ребенок был присужден его матери по крови. Сенат оставил кассационную жалобу без последствий...

Когда эта женщина пришла, чтобы взять Валю, Григория Аристарховича не было дома; он находился у Талонского и лежал в его спальне, и только его розовая лысина выделялась из белого моря подушек. Настасья Филипповна не вышла из своей комнаты, и горничная вывела оттуда Валю уже одетым для пути. На нем было меховое пальто и высокие калоши, в которых он с трудом передвигал ноги. Из-под барабанной шапочки выглядело бледное лицо с прямым и серьезным взглядом. Под мышкою Валя держал книгу, в которой рассказывалось о бедной русалочке.

Высокая костлявая женщина прижала его лицо к драповому поддержанному пальто и всхлипнула.

— Как ты вырос, Валечка! Тебя не узнаешь, — пробовала она шутить.

Но Валя молча поправил сбившуюся шапочку и, вопреки своему обычаю, смотрел не в глаза той, которая отныне становилась его матерью, а на ее рот. Он был большой, но с красивыми мелкими зубами;

две морщинки по сторонам оставались на своем месте, где их видел Валя и раньше, только стали глубже.

— Ты не сердишься на меня? — спросила мама, но Валя, не отвечая на вопрос, сказал:

— Ну, пойдем.

— Валечка! — донесся жалобный крик из комнаты Настасьи Филипповны. Она показалась на пороге с глазами, опухшими от слез, и, всплеснув руками, бросилась к мальчику, встала на колени и замерла, положив голову на его плечо, только дрожали и переливались бриллианты в ее ушах.

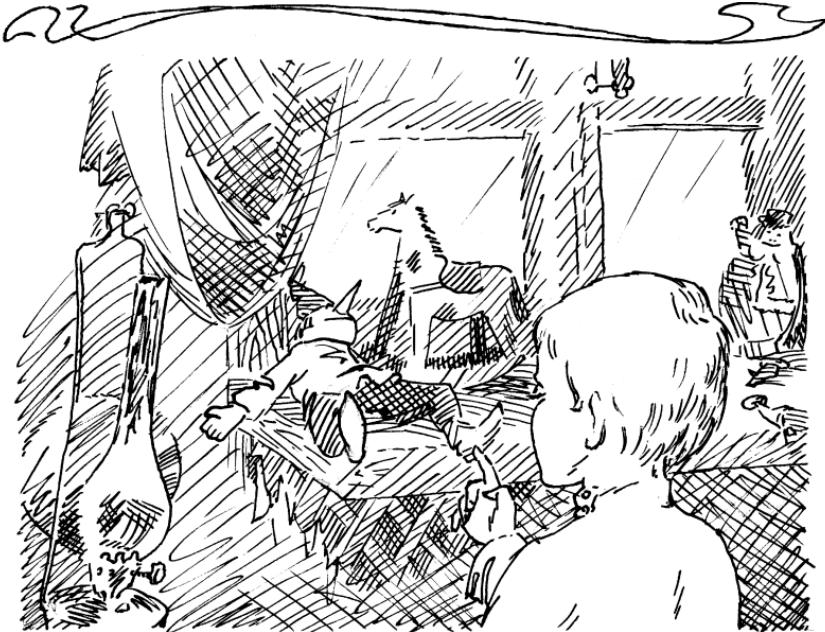
— Пойдем, Валя, — сурово сказала высокая женщина, беря его за руку. — Нам не место среди людей, которые подвергли твою мать такой пытке... такой пытке!

В ее сухом голосе звучала ненависть, и ей хотелось ударить ногою стоявшую на коленях женщину.

— У, бессердечные! Рады отнять последнего ребенка!.. — произнесла она злым шепотом и рванула Валю за руку: — Идем! Не будь как твой отец, который бросил меня.

— Бе-ре-гите его! — сказала Настасья Филипповна.

Извозчики сани мягко стукали по ухабам и бесшумно уносили Валю от тихого дома с его чудными цветами, таинственным миром сказок, безбрежным и глубоким, как море, и темным окном, в стекла которого ласково царапались ветви деревьев. Скоро дом потерялся в массе других домов, похожих друг на друга, как буквы, и навсегда исчез для Вали. Ему казалось, что они плывут по реке, берега которой составляют светящиеся линии фонарей, таких близких друг к другу, словно бусы на одной нитке, но когда они подъезжали ближе, бусы рассыпались, образуя большие темные промежутки, сзади сливаясь в такую же светящуюся линию. И тогда Валя думал, что они не подвижно стоят на одном месте, и все начинало становиться для него сказкою: и сам он, и высокая женщина, прижимающая его к себе костлявою рукою, и все вокруг.



У него замерзла рука, в которой он держал книгу, но он не хотел просить мать, чтобы она взяла ее.

В маленькой комнате, куда привезли Валю, было грязно и жарко. В углу, против большой кровати, стояла под пологом маленькая кроватка, такая, в каких Валя давно уже не спал.

— Замерз! Ну погоди, сейчас будем чай пить. Ишь, руки-то какие красные! Вот ты и с мамой. Ты рад? — спрашивала мать все с тою же насильственною, нехорошою улыбкою человека, которого всю жизнь приуждали смеяться под палочными ударами.

Валя, пугаясь своей прямоты, нерешительно отвечали:

— Нет.

— Нет? А я тебе игрушек купила. Вот, посмотри, на окне.

Валя подошел к окну и начал рассматривать игрушки. Это были жалкие картонные лошади на прямых толстых ногах, петрушка в красном колпаке с

носатой, глупо ухмыляющейся физиономией и тонкие оловянные солдатики, поднявшие одну ногу и навеки замершие в этой позе. Валя давно уже не играл в игрушки и не любил их, но из вежливости он не показал этого матери.

— Да, хорошие игрушки.

Но она заметила взгляд, который бросил Валя на окно, и сказала с тою же неприятною, заискивающей улыбкой:

— Я не знала, голубчик, что ты любишь. И я уже давно купила эти игрушки.

Валя молчал, не зная, что ответить.

— Ведь я одна, Валечка, одна во всем мире, мне не с кем посоветоваться. Я думала, что они тебе понравятся.

Валя молчал. Внезапно лицо женщины растянулось, слезы быстро-быстро закапали одна за другой, и, точно потеряв под собою землю, она рухнула на кровать, жалобно скрипнувшую под ее телом. Из-под платья выставилась нога в большом башмаке с порыжевшей резинкой и длинными ушками. Прижимая руку к груди, другой сжимая виски, женщина смотрела куда-то сквозь стену своими бледными, выцветшими глазами и шептала:

— Не понравилось!.. Не понравилось!..

Валя решительно подошел к кровати, положил свою красную ручку на большую костлявую голову матери и сказал с тою серьезною основательностью, которая отличала все речи этого человека:

— Не плачь, мама! Я буду очень любить тебя. В игрушки играть мне не хочется, но я буду очень любить тебя. Хочешь, я прочту тебе о бедной русалочке?..

14 сентября 1899 г.



## ЦВЕТОК ПОД НОГОЮ

### I

Имя его — Юра.

Ему было шесть лет от рождения, седьмой; и мир для него был огромным, живым и очаровательно-неизвестным.

Он недурно знал небо, его глубокую дневную синеву и белогрудые, не то серебряные, не то золотые облака, которые проплывают тихо: часто следил за ними, лежа на спине среди травы или на крыше. Но звезд полностью он не знал, так как рано ложился спать; и хорошо знал и помнил только одну звезду, зеленую, яркую и очень внимательную, что восходит на бледном небе перед самым сном и, по-видимому, на всем небе только одна такая большая.

Но лучше всего знал он землю во дворе, на улице и в саду, со всем ее неисчерпаемым богатством камней, травы, бархатистой горячей пыли и того изумительно-го, разнообразного, таинственного и восхитительного сора, которого совершенно не замечают люди с высоты своего огромного роста. И, засыпая, последним яр-

ким образом от прожитого дня он уносил с собою кусок горячего, залитого солнцем стертого камня или толстый слой нежно-жгучей, щекочущей пыли. Когда же с матерью он бывал в центре города, на его больших улицах, то по возвращении лучше всего помнил широкие, плоские каменные плиты, на которых и шаги, и самые ноги его кажутся ужасно маленькими, как две лодочки; и даже множество вертящихся колес и лошадиных морд не так оставалось в памяти, как этот новый и необыкновенно интересный вид земли.

И все было для него огромно: заборы, деревья, собаки и люди, но это нисколько не удивляло и не пугало его, а только делало все особенно интересным, превращало жизнь в непрерывное чудо. По его тогдашней мерке предметы выходили такими:

Отец — десять аршин<sup>1</sup>.

Мама — три аршина.

Соседская злая собака — тридцать аршин.

Наша собака — десять аршин, как и папа.

Наш дом одноэтажный, но очень-очень высокий — верста<sup>2</sup>.

Расстояние от одной стороны улицы до другой — две версты.

Наш сад и деревья в нашем саду — неизмеримы, высоки бесконечно.

Город — миллион, но чего — неизвестно.

И все остальное в таком же роде. Людей он знал много, огромных и маленьких, но лучше знал и ценил маленьких, с которыми можно говорить обо всем; большие же держали себя так глупо и расспрашивали о таких нелепых, всем известных, скучных вещах, что приходилось тоже притворяться глупым, карташить и отвечать нелепости; и, конечно, хотелось как можно скорее уйти от них. Но были над ним, и вокруг него, и в нем самом два совершенно особенных человека, одновременно больших и маленьких, умных и глупых, своих и чужих, — это были отец и мама.

---

<sup>1</sup> А р ш и н — старинная русская мера длины, равен 71 см.

<sup>2</sup> В е р с т а — старинная русская мера длины, около 1065 м.

Наверное, они были очень хорошими людьми, иначе не могли бы быть отцом и мамой; во всяком случае, они были людьми очаровательными и единственными в своем роде. С полной уверенностью можно было сказать одно: что отец очень велик, страшно умен, обладает безграничным могуществом и от этого немножко страшен; интересно бывает с ним поговорить о необыкновенных вещах, для безопасности вложивши свою руку в его большую, сильную, горячую ладонь. Мама же не так велика, а иногда бывает совсем маленькою; очень добра она, целует нежно, прекрасно понимает, что это значит, когда болит животик, и только с нею можно отвести душу, когда устанешь от жизни, от игры или сделаешься жертвою какой-нибудь жестокой несправедливости. И если при отце неприятно плакать, а капризничать даже опасно, то с нею слезы приобретают необыкновенно приятный вкус и наполняют душу такою светлою грустью, какой нет ни в игре, ни в смехе, ни даже в чтении самых страшных сказок. Нужно добавить, что мама необыкновенная красавица, и в нее все влюблены; это и хорошо, потому что чувствуешь гордость, но это и немножко плохо: ее могут отнять. И всякий раз, когда какой-нибудь мужчина, один из этих огромных, занятых собою и неизменно враждебных мужчин, пристально и долго смотрит на маму, — становится скучно и беспокойно. Хочется стать между ним и мамой, и куда ни пойдешь по своим делам, отовсюду тянет назад.

Иногда мама произносит нехорошую, пугающую фразу:

— Что ты все вертишься тут? Иди играть к себе.

И тогда ничего не поделаешь — надо уходить.

Пробовал он приносить с собою книжку или садился рисовать, но и это не всегда помогало: то мама похвалит его, что он читает, то опять скажет:

— Иди лучше к себе, Юрочка. Видишь, опять на скатерти воду разлил, всегда ты со своим рисованием что-нибудь наделаешь.

А потом упрекает за капризы. Но хуже всего, когда опасный и подозрительный гость только что при-

шел, а Юре надобно уже ложиться в постель, являет-  
ся чувство спокойствия и такое впечатление, будто все  
уже кончилось: огни погашены, жизнь приостанови-  
лась, все засыпает и подозрительный гость не то так-  
же уснул, не то ушел совсем.

Во всех этих случаях с подозрительными мужчинами Юра, хотя и смутно, но очень сильно, чувствует одно: что каким-то образом он заменяет собою отсутствующего отца. И это делает его немножко старым, как-то дурно, по-взрослому настроенным, но зато необыкновенно сообразительным, умным и важным. Конечно, он никому об этом не говорит, так как никто его не поймет, но в том, как он ласкается к явившемуся отцу и покровительственно садится к нему на колени, чувствуется человек, до конца выполнивший свой долг. Бывает, что отец не поймет его и просто-напросто прогонит играть или спать, — Юра обиды не чувствует и уходит с огромным удовольствием. В понимании он как-то не особенно нуждается и даже несколько боится его: иногда ни за что не скажет, почему он плакал, или притворится рассеянным, неслышащим, занятым своим делом, а сам все прекрасно слышит и понимает.

И уже есть у него одна страшная тайна: он заметил, что эти необыкновенные и очаровательные люди, отец и мама, бывают очень несчастны друг через друга и скрывают это ото всех. Поэтому и он сам скрывает свое открытие и делает передо всеми вид, что все обстоит прекрасно. Много раз он заставал маму плачущей где-нибудь в уголке в гостиной или в спальне; детская его рядом со спальней, и однажды ночью, почти на рассвете, он слышал страшно гневный и громкий голос отца и плачущий голос матери. Он долго лежал, притаив дыхание, но потом стало так страшно от этого необыкновенного разговора среди ночи, что не выдержал и тихонько спросил няньку:

— Няня, что они говорят?

И няня быстро, испуганным шепотом ответила:

— Спи, спи. Ничего не говорят.

— Я к тебе пойду.

— Как не стыдно, такой большой, и с нянькой спать!

— Я к тебе пойду.

Так, сдерживая голос, страшно почему-то боясь, чтобы их не услышали, долго спорили они в темноте; и кончилось тем, что Юра перебрался-таки к няньке, на ее грубую, колючую, но уютную и теплую простыню.

Наутро папа и мама были очень веселы, и Юра притворился, что верит им, и даже, кажется, действительно поверил. Но в тот же вечер, а может быть, и не в тот, а совсем в другой, он увидел отца плачущим. Это было так: он проходил мимо отцова кабинета, и дверь была полураскрыта, и что-то там слышалось, и он тихонько заглянул — отец лежал необыкновенно, животом вниз, на своем диване и громко плакал. И никого не было. Юра ушел, повертелся в детской и снова вернулся: так же была полуоткрыта дверь, так же никого не было и все так же громко плакал отец. Если бы он плакал тихо, это еще можно было бы понять; но он всхлипывал громко, стонал грубым голосом, и зубы у него страшно скрипели. Лежал такой большой, во весь диван, прятал голову под широкие плечи, густо сопел и шмыгдал влажным от слез носом, — и этого нельзя было понять. А на столе, на его большом, полном карандашей, бумаги и других богатств столе, красным огнем горела лампа и коптела: плоской черно-серой ленточкой выбегала копоть и изгибалась в разные стороны.

Вдруг отец громко, но как-то по-другому вздохнул и пошевелился; и Юра потихоньку ушел. А потом все было как всегда, и так никто об этом и не узнал; но образ огромного, таинственного и очаровательного человека, который есть отец, а в то же время громко плачет, остался в памяти у Юры, как что-то жуткое и чрезвычайно серьезное. И если о другом просто не хотелось говорить, то об этом необходимо было молчать, как о святом и страшном, и в молчании еще больше любить отца. Но опять-таки любить его нужно было так, чтобы он и этого не замечал, а вообще же делать вид, что жить на свете очень весело.

И все это удалось Юре: отец так и не заметил, что он его любит особенно, а жить на свете было действи-

тельно весело, так что не было надобности в притворстве.

Из души тянулись нити ко всему: к солнцу, к ножу и остроганной им палке, к тем прекрасным и загадочным далям, что видимы с высоты железной крыши; и еще трудно было отделить себя от всего, что не он. Когда сильно и душисто пахла трава, то казалось, что это он сам пахнет так хорошо, а когда он ложился в постель, то, как это ни странно, в маленькую постель вместе с ним укладывались огромный двор, улица, косые нити дождя и пенистые лужи и весь огромный, живой, очаровательно-неизвестный мир. Так все вместе с ним и засыпало, так и просыпалось вместе и вместе с ним открывало глаза. И был один поразительный факт, достойный глубочайших размышлений: если с вечера он втыкал палку где-нибудь в саду, то наутро она оказывалась там же; и спрятанные в ящике, в сарае бабки оставались такими же, хотя с тех пор было темно и он уходил к себе в детскую. Отсюда являлась и естественная потребность все самое ценное прятать под подушку: раз оно само стояло и лежало, так могло само и уйти. И вообще было удивительно и очень приятно, что и нянька, и дом, и солнце существуют не только вчера, но и каждый день; и от этого, проснувшись, хотелось смеяться и громко петь.

Когда его спрашивали об имени, он быстро отвечал:

— Юра.

Но некоторые не довольствовались этим и требовали, чтобы он продолжал, и тогда с некоторым напряжением он отвечал:

— Юрий Михайлович.

И, подумавши еще, произносил полностью:

— Юрий Михайлович Пушкирев.

## II

Наступил необыкновенный день: мама — имениница, к вечеру съедутся гости, будет военная музыка,

а в саду и на террасе будут гореть разноцветные фонарики и спать нужно ложиться не в девять часов, а когда сам захочешь.

Проснулся Юра, когда еще спали, сам наскоро оделся и быстро выскочил в ожидании чудес. Но был неприятно удивлен: комнаты стояли неубранными, как всегда по утрам, кухарка и горничная спали и дверь была заперта на крючок — трудно было поверить, что люди зашевелятся, забегают, а комнаты примут праздничный вид, и страшно становилось за судьбу праздника. В саду еще хуже: дорожки не подметены и не висит ни одного фонарика — стало совсем беспокойно. По счастью, на грязном дворе за сараем кучер Евмен мыл коляску; и хотя он делал это часто и вид имел самый обыкновенный, но теперь, в решительном плескании воды из ведра, в жилистых руках с засученными по локоть рукавами красной рубахи, явственно чувствовалось что-то праздничное.

Евмен только покосился на Юру, а Юра вдруг как бы впервые заметил его широкую, черную, волнистую бороду и подумал с почтением, что Евмен очень достойный человек. И сказал:

— Здравствуй, Евмен.

Ну а потом пошло все очень быстро: вдруг появился дворник и начал мести дорожки, вдруг распахнулось окно в кухне и застремотали чьи-то женские голоса, вдруг выскочила горничная с каким-то ковриком и начала бить палкой, как собаку. Все зашевелилось; и события, наступая одновременно и в разных концах, понеслись с такой бешеною стремительностью, что невозможно было за ними угнаться. Пока нянька поила Юру чаем, в саду уже начали протягивать проволоку для фонариков; а пока в саду протягивали проволоку, в гостиной переставили всю мебель; а пока в гостиной переставляли мебель, кучер Евмен уже запряг лошадь и выехал со двора с какой-то особенной, таинственной, праздничной целью.

С крайним трудом Юре удалось на некоторое время сосредоточиться: вместе с отцом они стали развесливать фонарики. И отец был очарован: смеял-

ся, шутил, подсаживал Юру на лестницу, сам лазил по ее жиidenьким, потрескивающим перекладинам, и под конец оба они вместе с лестницей свалились в траву, но не ушиблись. Юра вскочил, а отец так и остался лежать на траве, закинув руки под голову и взглядавшись прищуренными глазами в сияющую, бездонную синеву. Лежа в траве, с таким серьезным, далеким от игры видом, отец был страшно похож на Гулливера, тоскующего о своей стране больших, высоких людей. Что-то вспомнилось неприятное; с целью развеселить отца Юра сел верхом на его сдвинутые колени и сказал:

— Помнишь, отец, когда я был маленький, я садился к тебе на колени, и ты подбрасывал меня, как лошадь?

Но не успел окончить, как уже лежал носом в самой траве, поднятый на воздух и опрокинутый чудесною силой, — это отец по-старому подбросил его коленями. Юра обиделся, а отец с полным пренебрежением к его гневу начал щекотать его под мышками, так что поневоле пришлось рассмеяться, а потом взял, как поросенка, за ноги и понес на террасу. И мама испугалась:

— Что ты делаешь, у него голова затечет.

После чего Юра оказался на ногах, красный, взъерошенный и не то очень несчастный, не то страшно счастливый.

День бежал так быстро, как кошка от собаки. Словно провозвестники грядущего великого торжества, стали появляться какие-то посланцы с записками, очаровательно вкусные торты, приехала портниха и спряталась с мамой в спальне, потом приехали два каких-то господина, потом еще господин, потом дама — очевидно, весь город находился в волнении. Юра рассматривал посыльных, странных людей из того мира, и прохаживался перед ними с видом простым и важным как сын именинницы, встречал господ, провожал торты — и к полудню так изнемог, что вдруг возненавидел жизнь. Поругался с нянькой и лег на кровать лицом вниз, чтобы отомстить ей, но сразу

заснул. Проснулся все с тем же недовольством жизнью и желанием мстить, но, взглянувшись промытыми холодною водою глазами, почувствовал, что и мир и жизнь очаровательны до смешного.

Когда же на Юру надели красную шелковую хрустящую рубашку и уже явственно он приобщился к празднику, а на террасе его встретил длинный, снежно-белый, сверкающий стеклянною посудою стол, — Юра вновь закружился в водовороте набегающих событий.

— Пришли музыканты! Господи, музыканты пришли! — кричал он, разыскивая отца, или мать, или кого-нибудь, кто отнесся бы к этому приходу с надлежащею серьезностью.

Отец и мать сидели в саду, в беседке, густо завитой диким виноградом, и молчали; но красивая голова матери лежала на плече у отца, а отец хотя обнимал ее, но был очень серьезен и приходу музыкантов не обрадовался. Да и оба они отнеслись к этому приходу с непостижимым равнодушием, вызывающим скуку. Впрочем, мама пошевелилась и сказала:

— Пусти. Мне надо идти.

— Так ты помни, — произнес отец что-то непонятное, но отдавшееся в сердце Юры легкой сосущей тревогой.

— Оставь. Как не стыдно, — засмеялась мать, и от этого смеха Юре стало еще неприятнее, тем более что отец не засмеялся, а продолжал хранить все тот же серьезный и печальный вид Гулливера, тоскующего о родной стране.

Но скоро все это позабылось, ибо во всей широте своей загадочности и великолепия наступил удивительный праздник. Повалили гости, и уже не оставалось места за белым столом, который только сейчас был пуст; зазвучали голоса, смех, какие-то веселые шутки, и музыка заиграла. И на пустынных дорожках сада, где раньше бродил один только Юра, воображая себя принцем, разыскивающим спящую царевну, появились люди с папиросами и громкой свободной речью. Первых гостей Юра встречал у парадного,

каждого рассматривал внимательно, а с некоторыми успевал познакомиться и даже подружиться — по дороге от прихожей до стола. Так успел он подружиться с офицером, которого звали Митенькой, — большой человек, а звали Митенькой, сам сказал. У Митеньки была толстая кожаная холодная, как змея, сабля, которая будто бы не вынималась, но это Митенька солгал: она была только перевязана возле ручки серебряным шнурком, а вынималась прекрасно; и так было обидно, что глупый Митенька, вместе того чтобы всегда носить саблю с собой, поставил ее в передней, в угол, как палку. Но и в углу сабля стояла совсем особенно, сразу было видно, что она — сабля. И еще неприятно было то, что с Митенькой пришел другой, уже знакомый офицер, которого, очевидно для шутки, также называли Юрием Михайловичем. Этот не настоящий Юрий Михайлович приезжал уже к ним несколько раз, однажды даже верхом на лошади, но всегда перед тем самым часом, когда Юрочке нужно было ложиться спать. И Юрочка ложился, а ненастоящий Юрий Михайлович оставался с мамой, и это было тревожно и печально: мама могла обмануться. На настоящего Юрия Михайловича он не обращал никакого внимания; и теперь, идя рядом с Митенькой, он точно совсем не чувствовал своей вины, поправлял усы и молчал. Маме он поцеловал руку, и это было противно, но глупый Митенька сделал то же самое и этим привел все в порядок.

Но скоро гости стали появляться в таком количестве и такие разнообразные, как будто они падали прямо с неба. И некоторые падали за стол, а другие прямо в сад: вдруг на дорожке появилось несколько студентов с барышнями. Барышни были обыкновенные, а у студентов на белых кителях у левого бока были прорезаны дырочки — как оказалось, для шпаг, то есть для сабель. Но сабель они не принесли, должно быть от гордости, — они все были очень гордые; а барышни накинулись на Юру и стали с ним целоваться. Потом самая красивая барышня, которую звали Ниночкой, взяла Юру на качели и долго качала, пока

не уронила. Он очень больно ушиб левую ногу около колена и даже зазеленил на этом месте белые штанишки, но, конечно, плакать не стал, да и боль очень скоро девалась куда-то. В это время отец водил по саду какого-то важного, совсем лысого старика и спросил Юрочку:

— Ушибся?

Но так как старик тоже улыбнулся и тоже что-то говорил, то Юрочка не поцеловал отца и даже не ответил ему, а вдруг сразу сошел с ума: стал визжать от восторга и вообще что-то выделять. Если бы у него имелся большой, в целый город, колокол, то он ударил бы в колокол, а за неимением его влез на высокую липу, которая стояла у самой террасы, и начал красоваться. Гости внизу смеялись, а мама кричала, а потом вдруг заиграла музыка, и Юра уже стоял перед самым оркестром, расставив ноги и по старой, давно брошенной привычке заложив палец в рот. Звуки все сразу били в него, рычали, гремели, ползали, как мурашки по ногам, и трясли за челюсть. Было так громко, что на всей земле остался один только оркестр — все остальное пропало. У некоторых труб от громкого рева даже расползлись и развернулись медные концы: интересно было бы сделать военную каску из трубы.

И вдруг Юре сделалось грустно. Музыка еще гремела, но уже где-то вдали и совсем снаружи, а внутри стало тихо — и делалось все тише, тише. Глубоко вздохнув, Юра поглядел на небо — оно совсем высоко — и тихими шагами направился в обход праздника, всех его смутных границ, возможностей и далей. И всюду он, оказывается, запоздал: он хотел видеть, как начнут расставлять столы для карточной игры, а столы были готовы, и за ними уже играли с очень давним видом. Потрогал около отца мелок и щетку, и отец немедленно прогнал его. Что ж, не все ли равно. Хотел видеть, как начнут танцевать, и был убежден, что это произойдет в зале, а они уж начинали танцевать, и не в зале, а под липами. Хотел видеть, как начнут зажигать фонарики, а фонарики уже все

горели, все до единого, до самого последнего из последних. Загорелись сами, как звезды.

Лучше всех танцевала мама.

### III

Ночь явилась в виде красных, зеленых и желтых фонариков. Пока их не было, не было и ночи, а теперь всюду легла она, заползла в кусты, прохладною темнотою, как водой, залила весь сад, и дом, и самое небо. Стало так прекрасно, как в самой лучшей сказке с раскрашенными картинками. В одном месте дом совсем пропал, осталось только четырехугольное окно, сделанное из красного света. А труба на доме видна, и на ней блестит какая-то искорка, смотрит вниз и думает о своих делах. Какие дела бывают у трубы? Разные.

От людей в саду остались одни голоса. Пока человек идет около фонариков, его видно, а как начинает отходить, так все тает, тает, тает, а голос сверху смеется, разговаривает, бесстрашно плавает в темноте. Но офицеров и студентов видно даже в темноте: белое пятно, а над ним маленький огонек папиросы и большой голос.

И тут началось для Юры самое радостное — началась сказка. Люди, и праздник, и фонарики остались на земле, а он улетел, сделался воздухом, претворился и растаял в ночи, как пылинка. Великая тайна ночи стала его тайной; и захотело маленькое сердце еще более тайного, в одиночестве тела возжаждало оно нечеловеческих слияний жизни и смерти. Это было второе за тот вечер сумасшествие Юры: он сделался невидимкой. Хотя мог войти в кухню, как и все, вместо того с трудом взлез на крышу подвала, над которой светилось кухонное окно, и стал подглядывать: там что-то жарили, и сутились, и не знали, что он на них смотрит, а он все видит. Потом пошел и подглядел папину и мамину спальню: в спальне было пусто, но постели были уже открыты, и горела лампадка — это он подглядел. Потом подглядел в детской

свою собственную кровать: также была открыта и ждала. Через комнату, где играли в карты, он прошел, как невидимка, затаив дыхание и ступая так легко, точно летел по воздуху. Уже только в саду, в темноте, как следует отдохнул. Затем начал выслеживать. Подбирался к разговаривающим так близко, что мог коснуться их рукой, а они даже не знали, что он тут, и разговаривали себе спокойно. Долго следил за Ниночкой, пока не изучил всю ее жизнь, — чуть-чуть не попался. Ниночка даже крикнула:

— Юрочка, это ты?

Но он лег за куст и притаился — так Ниночка и обманулась. А уж совсем было поймала. Чтобы было еще таинственнее, он стал не ходить, а ползать: теперь дорожки казались опасными. Так прошло много времени: по его тогдашнему исчислению, десять лет, а он все прятался и все дальше уходил от людей. И так далеко ушел, что начинало становиться страшно: между ним и тем прошлым, когда он разгуливал, как и все, раскрывалась такая пропасть, через которую, пожалуй, уж нельзя было перешагнуть. Теперь он и пошел бы на свет, но было страшно, было невозможно, было потеряно навсегда. А музыка все играет, и о нем все позабыли, даже мама. Один. От росистой травы веет холодом, крыжовник царапается, темноту не разорвешь глазами, и нет ей конца. Господи!

Уже без всякого плана, совсем отчаявшись в спасении, Юра пополз куда-то напрямик — к загадочному, слабо мерцавшему свету. По счастью, оказалось — та самая беседка, завитая виноградом, где сидели сегодня отец и мама. А он и не узнал. Да, та самая беседка. Фонарики кругом уже погасли, и светились только два: один, зелененький, горел еще совсем ярко, а другой, желтенький, уже мигал. И хотя ветра не было, но от своего мигания он покачивался, и все кругом также слегка покачивалось. Юра хотел встать, чтобы войти в беседку и оттуда начать новую жизнь, с незаметным переходом от старой, как вдруг услышал в беседке голоса. Говорили мама и ненастоящий Юрий Михайлович, офицер. Настоящий же Юрий



Михайлович замер на месте, и сердце у него замерло, и дыхание у него остановилось.

Мама сказала:

— Оставь. Ты с ума сошел. Сюда могут войти.

Юрий Михайлович сказал:

— А ты?

Мама сказала:

— Сегодня мне двадцать шесть лет. Я старая.

Юрий Михайлович сказал:

— Он ничего не знает. Неужели он ничего не знает? Он даже не догадывается. Послушай, он всем так крепко жмет руку?

Мама сказала:

— Что за вопрос? Конечно, всем. Нет, не всем.

Юрий Михайлович сказал:

— Мне его жаль.

Мама сказала:

— Его?

И странно засмеялась. Юрочка понял, что это говорили про него, про Юрочку, — но что же это такое, господи! И зачем она смеется?

Юрий Михайлович сказал:

— Куда ты? Я тебя не пущу.

Мама сказала:

— Ты меня оскорбляешь. Пусти. Нет, ты не смеешь меня целовать. Пусти.

Замолчали. Тут Юрочка посмотрел сквозь листья и увидел, что офицер обнял и целует маму. Дальше они еще что-то говорили, но он ничего не понял, не слыхал, внезапно позабыл, что какое слово значит. И свои слова, какие раньше научился и умел говорить, также позабыл. Помнил одно слово: «мама» и безостановочно шептал его сухими губами, но оно звучало так страшно, страшнее всего. И чтобы не крикнуть его нечаянно, Юра зажал себе рот обеими руками, одна на другую, и так оставался до тех пор, пока офицер и мама не вышли из беседки.

Когда Юра вошел в комнату, где играли в карты, важный лысый старик за что-то банил отца, размахивал мелком и говорил и кричал, что отец поступил

не так, что так нельзя делать, что так делают только нехорошие люди, что это нехорошо, что старик с ним больше играть не будет, и другое все такое же. А отец улыбался, разводил рукою, хотел что-то говорить, но старик не дал — закричал еще громче. И старик был маленький, а отец высокий, красивый, большой, и улыбка у него была печальная, как у Гулливера, тоскующего по своей стране высоких, красивых людей. Конечно, от него нужно скрыть то, что было в беседке, и его нужно любить, и я его так люблю; с диким визгом Юра бросился на лысого старика и начал изо всей силы гвоздить его кулаками:

— Не смей обижать, не смей обижать!..

Господи, что тут было! Кто-то смеялся, кто-то тоже кричал. Отец схватил Юру на руки, до боли сжал его и тоже кричал:

— Где мать? Позовите мать!

Потом Юру унес с собою вихрь неистовых слез, отчаянных рыданий, смертельная истома. Но и в безумии слез он поглядывал на отца: не догадывается ли он, а когда вошла мать, стал кричать еще громче, чтоб отвлечь подозрения. Но на руки к ней не пошел, а только крепче прижался к отцу: так и пришлось отцу нести его в детскую. Но, видимо, ему и самому не хотелось расставаться с Юрай — как только вынес его из той комнаты, где были гости, то стал крепко его целовать и все повторял:

— Ах ты мой милый! Ах ты мой милый!

И сказал маме, которая шла сзади:

— Нет, ты посмотри какой!

Мама сказала:

— Это все ваш винт<sup>1</sup>. Вы так ругаетесь, что напугали ребенка.

Отец рассмеялся и ответил:

— Да, ругается он сильно. Но этот-то! Ах ты мой милый!

В детской Юра потребовал, чтобы отец сам раздел его.

---

<sup>1</sup> Винт — род карточной игры.

— Ну, начались капризы, — сказал отец. — Я ведь не умею, пусть мама разденет.

— А ты будь тут, — сказал Юра.

У мамы ловкие пальцы, и разделя она быстро, а пока раздевала, Юра держал отца за руку. Няньку выгнал. Но так как отец уже начинал сердиться и мог догадаться о том, что было в беседке, то Юра скрепя сердце решил отпустить его. Но, целуя, схитрил:

— А тебя он больше ругать не будет?

Папа обманулся. Засмеялся, еще раз уже сам крепко поцеловал Юру и сказал:

— Нет, нет. А если будет браниться, я его брошу через забор.

— Пожалуйста, — сказал Юра. — Ты это можешь. Ты ведь сильный.

— Да ничего себе. А ты спи-ка покрепче. Мама побудет с тобою.

Мама сказала:

— Я пошлю няню. Мне нужно готовить к ужину.

Отец крикнул:

— Успеется ваш ужин! Можешь побывать с ребенком.

Но мама настаивала:

— Там гости. Неудобно, если я их брошу.

Но отец пристально посмотрел на нее, и, пожав плечами, мама согласилась:

— Ну хорошо, я останусь. Посмотри только, чтобы Марья Ивановна вин не перепутала.

Всегда бывало так: если около засыпающего Юры сидела мама, то она держала его за руку до самой последней минуты, — всегда бывало так. А теперь она сидела так, как будто была совсем одна и не было тут никакого сына Юры, который засыпает, — сложила руки на коленях и смотрела куда-то. Чтобы привлечь ее внимание, Юра пошевелился, но мама коротко сказала:

— Спи.

И продолжала смотреть. Но, когда у Юры отяжели глаза и со всею своею тоской и слезами он начал

проводившись в сон, вдруг мама стала перед кроваткой на колени и начала часто-часто, крепко-крепко целовать Юру. Но поцелуи были мокрые, горячие и мокрые.

— Отчего у тебя мокрые, ты плачешь? — пробормотал Юра.

— Я плачу.

— Не надо плакать.

— Хорошо, я не буду, — покорно согласилась мама.

И снова целовала часто-часто, крепко-крепко.

Тяжело-сонным движением Юра поднял обе руки, обнял мать за шею и крепко прижался горячей щекой к мокрой и холодной щеке, ведь все-таки мама, ничего не поделаешь. Но как больно, как горько!

1899



## БАРГАМОТ И ГАРАСЬКА

Было бы несправедливо сказать, что природа обидела Ивана Акиндинача Бергамотова, в своей официальной части именовавшегося «городовой бляхой № 20», а в неофициальной попросту Баргамот. Обитатели одной из окраин губернского города Орла, в свою очередь по отношению к месту жительства называвшиеся пушкарями (от названия Пушкарной улицы), а с духовной стороны характеризовавшиеся прозвищем «пушкари — проломленные головы», давая Ивану Акиндиновичу это имя, без сомнения, не имели в виду свойств, присущих столь нежному и деликатному плоду, как бергамот. По своей внешности Баргамот скорее напоминал мастодонта<sup>1</sup> или вообще одного из тех милых, но погибших созданий, которые за недостатком помещения давно уже покинули Землю, заполненную мозгляками-людишками. Высокий, толстый, сильный, громогласный Баргамот составлял на полицейском горизонте видную фигуру и давно, конечно, достиг бы известных степеней, если бы душа

<sup>1</sup> М а с т о д ó н т — огромное вымершее животное. От мастодонтов произошли слоны.

его, сдавленная толстыми стенами, не была погружена в богатырский сон. Внешние впечатления, проходя в душу Баргамота через его маленькие, заплывшие глазки, по дороге теряли всю свою остроту и силу и доходили до места назначения лишь в виде слабых отзвуков и отблесков. Человек с возвышенными требованиями назвал бы его куском мяса, околоточные надзиратели величали его дубиной, хоть и исполнительной, для пушкарей же — наиболее заинтересованных в этом вопросе лиц — он был степенным, серьезным и солидным человеком, достойным всякого почета и уважения. То, что знал Баргамот, он знал твердо. Пусть это была одна инструкция для городовых, когда-то с напряжением всего громадного тела усвоенная им, но зато эта инструкция так глубоко засела в его неповоротливом мозгу, что вытравить ее оттуда нельзя было даже крепкой водкой. Не менее прочную позицию занимали в его душе немногие истины, добытые путем житейского опыта и безусловно господствовавшие над местностью. Чего не знал Баргамот, о том он молчал с такой несокрушимой солидностью, что людям знающим становилось как будто немного совестно за свое знание. А самое главное — Баргамот обладал непомерной силищней, сила же на Пушкарной улице была все. Населенная сапожниками, пенькотрепальщиками, кустарями-портными и иных свободных профессий представителями, обладая двумя кабаками, воскресеньями и понедельниками, все свои часы досуга Пушкарная посвящала гомерической драке, в которой принимали непосредственное участие жены, растрепанные, простоволосые, растаскивавшие мужей, и маленькие ребятишки, с восторгом взиравшие на отвагу тятек. Вся эта буйная волна пьяных пушкарей, как о каменный оплот, разбивалась о непоколебимого Баргамота, забиравшего методически в свои мощные дланни пару наиболее отчаянных крикунов и самолично доставлявшего их «за клин». Крикуны покорно вручали свою судьбу в руки Баргамота, протестуя лишь для порядка.

Таков был Баргамот в области международных отношений. В сфере внутренней политики он держался с не меньшим достоинством. Маленькая покосившаяся хибарка, в которой обитал Баргамот с женой и двумя детишками и которая с трудом вмешала его грузное тело, трясясь от дряхлости и страха за свое существование, когда Баргамот ворочался, могла быть спокойна если не за свои деревянные устои, то за устои семейного союза. Хозяйственный, рачительный, любивший в свободные дни копаться в огороде, Баргамот был строг. Путем того же физического воздействия он учил жену и детей, не столько сообразуясь с их действительными потребностями в науке, сколько с теми неясными на этот счет указаниями, которые существовали где-то в закоулке его большой головы. Это не мешало жене его, Марье, еще моложавой и красивой женщине, с одной стороны, уважать мужа как человека степенного и непьющего, а с другой — вертеть им, при всей его груноти, с такой легкостью и силой, на которую только и способны слабые женщины.

Часу в десятом теплого весеннего вечера Баргамот стоял на своем обычном посту, на углу Пушкарной и 3-й Посадской улиц. Настроение Баргамота было скверное. Завтра Светлое Христово воскресение, сейчас люди пойдут в церковь, а ему стоять на дежурстве до трех часов ночи, только к разговинам домой попадешь. Потребности молиться Баргамот не ощущал, но праздничное, светлое настроение, разлитое по необычайно тихой и спокойной улице, коснулось и его. Ему не нравилось место, на котором он ежедневно спокойно стоял в течение десятка годов: хотелось тоже делать что-нибудь такое праздничное, что делают другие. В виде смутных ощущений поднимались в нем недовольство и нетерпение. Кроме того, он был голоден. Жена нынче совсем не дала ему обедать. Так, только тюри пришлось похлебать. Большой живот настоятельно требовал пищи, а разговляться-то когда еще!

— Тьфу! — плонул Баргамот, сделав цигарку, и начал нехотя сосать ее.

Дома у него были хорошие папиросы, презентованные местным лавочником, но и они откладывались до разговления.

Вскоре потянулись в церковь и пушкари, чистые, благообразные, в пиджаках и жилетах поверх красных и синих шерстяных рубах, в длинных, с бесконечным количеством сборок сапогах на высоких и острых каблучках. Завтра всему этому великолепию предстояло частью попасть на стойку кабаков, а частью быть разорванным в дружеской схватке за гармонию, но сегодня пушкари сияли. Каждый бережно нес узелок с пасхой и куличами. На Баргамота никто не обращал внимания, да и он с неособенной любовью посматривал на своих «крестников», смутно предчувствуя, сколько путешествий придется ему завтра совершить в участок. В сущности, ему было завидно, что они свободны и идут туда, где будет светло, шумно и радостно, а он торчи тут как неприкаянный.

«Стой тут из-за вас, пьяниц!» — резюмировал он свои размышления и еще раз плонул — сосало под ложечкой.

Улица опустела. Отзвонили к обедне. Потом радостный, переливчатый трезвон, такой веселый после заунывных великопостных колоколов, разнес по миру благостную весть о воскресении Христа. Баргамот снял шапку и перекрестился. Скоро и домой. Баргамот повеселел, представляя себе стол, накрытый чистой скатертю, куличи, яйца. Он, не торопясь, со всеми похристосуется. Разбудят и принесут Ванюшку, который первым делом потребует крашеного яичка, о котором целую неделю вел обстоятельный беседы с более опытной сестренкой. Вот-то разинет он рот, когда отец преподнесет ему не линючее, окрашенное фуксином яйцо, а настояще мраморное, что самому ему презентовал все тот же обязательный лавочник!

«Потешный мальчик!» — ухмыльнулся Баргамот, чувствуя, как что-то вроде родительской нежности поднимается со дна его души.

Но благодушие Баргамота было нарушено самым подлым образом. За углом послышались неровные

шаги и сиплое бормотание. «Кого это несет нелегкая?» — подумал Баргамот, заглянул за угол и всей душой оскорбился. Гараська! Сам с своей собственной пьяной особой, — его только недоставало! Где он поспел до свету наклюкаться, составляло его тайну, но что он наклюкался, было вне всякого сомнения. Его поведение, загадочное для всякого постороннего человека, для Баргамота, изучившего душу пушкия вообще и подлую Гараськину натуру в частности, было вполне ясно. Влекомый непреодолимой силой, Гараська со средины улицы, по которой он имел обыкновение шествовать, был притиснут к забору. Упершись обеими руками и сосредоточенно-вопросительно взглядаваясь в стену, Гараська покачивался, собирая силы для новой борьбы с неожиданными препятствиями. После непродолжительного напряженного размышиления Гараська энергично отпихнулся от стены, допятаился задом до средины улицы и, сделав решительный поворот, крупными шагами устремился в пространство, оказавшееся вовсе не таким бесконечным, как о нем говорят, и в действительности ограниченное массой фонарей. С первым же из них Гараська вступил в самые тесные отношения, заключив его в дружеские и крепкие объятия.

— Фонарь. Тпру! — кратко констатировал Гараська совершившийся факт.

Вопреки обыкновению, Гараська был настроен чрезвычайно добродушно. Вместо того чтобы обсыпать столб заслуженными ругательствами, Гараська обратился к нему с кроткими упреками, носившими несколько фамильярный оттенок.

— Стой, дурашка, куда ты?! — бормотал он, откачиваясь от столба и снова всей грудью припадая к нему и чуть не сплющивая носа об его холодную и сырватую поверхность. — Вот, вот!.. — Гараська, уже наполовину скользнувший вдоль столба, успел удержаться и погрузился в задумчивость.

Баргамот с высоты своего роста, презрительно скосив губы, смотрел на Гараську. Никто ему так не досаждал на Пушкиной, как этот пьянчужка. Так по-

смотришь — в чем душа держится, а скандалист первый на всей окраине. Не человек, а язва. Пушкарь напьется, побуянит, переноочует в участке — и все это выходит у него по-благородному, а Гараська все исподтишка, с язвительностью. И били-то его до полусмерти, и в части впроголодь держали, а все не могли отучить от ругани, самой обидной и злоязычной. Станет под окнами кого-нибудь из наиболее почетных лиц на Пушкарной и начнет костить, без всякой причины, здорово живешь. Приказчики ловят Гараську и бьют, толпа хохочет, рекомендую поддать жару. Самого Баргамота Гараська ругал так фантастически реально, что тот, не понимая даже всей соли Гараськиных острот, чувствовал, что он обижен более, чем если бы его выпороли.

Чем промышлял Гараська, оставалось для пушкарей одной из тайн, которыми было облечено все его существование. Трезвым его не видел никто, даже та нянька, которая в детстве ушибает ребят, после чего от них слышится спиртный запах, — от Гараськи и до ушиба неслышен сивухой. Жил, то есть ночевал, Гараська по огородам, по берегу, под кусточками. Зимой куда-то исчезал, с первым дыханием весны появлялся. Что его привлекало на Пушкарную, где его не был только ленивый, было опять-таки тайной бездонной Гараськиной души, но выжить его ничем не могли. Предполагали, и не без основания, что Гараська поворовывает, но поймать его не могли и били лишь на основании косвенных улик.

На этот раз Гараське пришлось, видимо, преодолеть нелегкий путь. Отрепья, делавшие вид, что они серьезно прикрывают его тощее тело, были все в грязи, еще не успевшей засохнуть. Физиономия Гараськи, с большим отвислым красным носом, бесспорно служившим одной из причин его неустойчивости, покрытая жиidenькой и неравномерно распределенной растительностью, хранила на себе вещественные знаки вещественных отношений к алкоголю и кулаку ближнего. На щеке у самого глаза виднелась царапина, видимо, недавнего происхождения.

Гараське удалось наконец расстаться со столбом, когда он заметил величественно-безмолвную фигуру Баргамота. Гараська обрадовался.

— Наше вам! Баргамоту Баргамотычу!.. Как ваше драгоценное здоровье? — Галантно он сделал ручкой, но, пошатнувшись, на всякий случай уперся спиной в столб.

— Куда идешь? — мрачно прогудел Баргамот.

— Наша дорога прямая...

— Воровать? А в часть хочешь? Сейчас, подлеца, отправлю.

— Не можете.

Гараська хотел сделать жест, выражавший удальство, но благоразумно удержался, плонул и пошаркал на одном месте ногой, делая вид, что растирает плевок.

— А вот в участке поговоришь! Марш! — Мощная длань Баргамота устремилась к засаленному вороту Гараськи, настолько засаленному и рваному, что Баргамот был, очевидно, уже не первым руководителем Гараськи на тернистом пути добродетели.

Встряхнув слегка пьяницу и придав его телу надлежащее направление и некоторую устойчивость, Баргамот потащил его к вышеуказанной им цели, совершенно уподобляясь могучему буксиру, влекущему за собою легонькую шхуну, потерпевшую аварию у самого входа в гавань. Он чувствовал себя глубоко обиженным: вместо заслуженного отдыха тащись с этим пьянчужкой в участок. Эх! У Баргамота чесались руки, но сознание того, что в такой великий день как будто неудобно пускать их в ход, сдерживало его. Гараська шагал бодро, совмещая удивительным образом самоуверенность и даже дерзость с кротостью. У него, очевидно, была своя мысль, к которой он и начал подходить сократовским методом:

— А скажи, господин городовой, какой нынче у нас день?

— Уж молчал бы! — презрительно ответил Баргамот. — До свету налился.

— А у Михаила Архангела звонили?

— Звонили. Тебе-то что?

- Христос, значит, воскрес?
- Ну, воскрес.
- Так позвольте... — Гараська, ведший этот разговор вполоборота к Баргамоту, решительно повернулся к нему лицом.

Баргамот, заинтригованный странными вопросами Гараськи, машинально выпустил из руки засаленный ворот; Гараська, утратив точку опоры, пошатнулся и упал, не успев показать Баргамоту предмета, только что вынутого им из кармана. Приподнявшись одним туловищем, опираясь на руки, Гараська посмотрел вниз, потом упал лицом на землю и завыл, как бабы воют по покойнику.

Гараська воет! Баргамот изумился. «Новую шутку, должно быть, выдумал», — решил он, но все же заинтересовался, что будет дальше. Дальше Гараська продолжал выть без слов, по-собачьи.

— Что ты, очумел, что ли? — ткнул его ногой Баргамот.

Воет. Баргамот в раздумье.

— Да чего тебя расхватывает?

— Яи-ч-ко...

Гараська, продолжая выть, но уже потише, сел и поднял руку кверху. Рука была покрыта какой-то слизью, к которой пристали кусочки крашеной яичной скорлупы. Баргамот, продолжая недоумевать, начинает чувствовать, что случилось что-то нехорошее.

— Я... по-благородному... похристосоваться... яичко, а ты... — бессвязно бурлил Гараська, но Баргамот понял. Вот к чему, стало быть, вел Гараська: похристосоваться хотел, по христианскому обычаю, яичком, а он, Баргамот, его в участок пожелал отправить. Может, откуда он это яичко нес, а теперь вон разбил его. И плачет.

Баргамоту представилось, что мраморное яичко, которое он бережет для Ванюшки, разбилось и как это ему, Баргамоту, было жаль.

— Экая оказия, — мотал головой Баргамот, глядя на валявшегося пьяничужку и чувствуя, что жалок

ему этот человек, как брат родной, кровно своим же братом обиженный.

— Похристосоваться хотел... Тоже душа живая, — бормотал городовой, стараясь со всею неуклюжестью отдать себе ясный отчет в положении дел и в том сложном чувстве стыда и жалости, которое все более угнетало его. — А я, тово... в участок! Ишь ты!

Тяжело крякнув и стукнув своей «селедкой» по камню, Баргамот присел на корточки около Гараськи.

— Ну... — смущенно гудел он. — Может, оно не разбилось?

— Да, не разбилось, ты и морду-то всю готов разбить. Ирод!

— А ты чего же?

— Чего? — передразнил Гараська. — К нему поблагодарному, а он в... в участок. Может, яичко-то у меня последнее? Идол!

Баргамот пыхтел. Его нисколько не оскорбляли ругательства Гараськи; всем своим нескладным нутром он ощущал не то жалость, не то совесть. Где-то в самых отдаленных недрах его дюжего тела что-то назойливо сверлило и мучило.

— Да разве вас можно не бить? — спросил Баргамот не то себя, не то Гараську.

— Да ты, чучело огородное, пойми...

Гараська, видимо, входил в обычную колею. В его несколько проясневшем мозгу вырисовывалась целая перспектива самых соблазнительных ругательств и обидных прозвищ, когда сосредоточенно сопевший Баргамот голосом, не оставлявшим ни малейшего сомнения в твердости принятого им решения, заявил:

— Пойдем ко мне разговляться.

— Так я к тебе, пузатому черту, и пошел!

— Пойдем, говорю!

Изумлению Гараськи не было границ. Совершенно пассивно позволив себя поднять, он шел, ведомый под руку Баргамотом, шел — и куда же? — не в участок, а в дом к самому Баргамоту, чтобы там еще... разговляться! В голове Гараськи блеснула соблазнительная мысль — навострить от Баргамота лыжи, но хоть



голова его и прояснила от необычности положения, зато «лыжи» находились в самом дурном состоянии, как бы поклявшись вечно цепляться друг за друга и не давать друг другу ходу. Да и Баргамот был так чуден, что Гараське, собственно говоря, и не хотелось уходить. С трудом ворочая языком, приискивая слова и путаясь, Баргамот то излагал ему инструкцию для городовых, то снова возвращался к основному вопросу о битье и участке, разрешая его в смысле положительном, но в то же время и отрицательном.

— Верно говорите, Иван Акиндиныч, нельзя нас не бить, — поддерживал Гараська, чувствуя даже какую-то неловкость: уж больно чуден был Баргамот!

— Да нет, не то я говорю... — мямлил Баргамот, еще менее, очевидно, чем Гараська, понимавший, что городит его суконный язык...

Пришли наконец домой, и Гараська уже перестал изумляться. Марья сперва вытаращила глаза при виде необычайной пары, но по растерянному лицу

мужа догадалась, что противоречить не нужно, а по своему женскому мягкоксердечию живо смекнула, что надо делать.

Вот ошалевший и притихший Гараська сидит за убранным столом. Ему так совестно, что хоть сквозь землю провалиться. Совестно своих отрепий, совестно своих грязных рук, совестно всего себя, оборванного, пьяного, скверного. Обжигаясь, ест он дьявольски горячие, заплывшие жиром щи, проливает на скатерть и, хотя хозяйка деликатно делает вид, что не замечает этого, конфузится и больше проливает. Так невыносимо дрожат эти заскорузлые пальцы с большими грязными ногтями, которые впервые заметил у себя Гараська.

— Иван Акиндиныч, а что же ты Ванятке-то... сюрпризец? — спрашивает Марья.

— Не надо, потом... — отвечает торопливо Баргамот.

Он обжигается щами, дует на ложку и солидно обтирает усы, но сквозь эту солидность сквозит то же изумление, что и у Гараськи.

— Кушайте, кушайте, — потчует Марья. — Герасим... как звать вас по батюшке?

— Андреич.

— Кушайте, Герасим Андреич.

Гараська старается проглотить, давится и, бросив ложку, падает головой на стол, прямо на сальное пятно, только что им произведенное. Из груди его вырывается снова тот жалобный и грубый вой, который так смущил Баргамота. Детишки, уже переставшие было обращать внимание на гостя, бросают свои ложки и дискантом присоединяются к его тенору. Баргамот с растерянною и жалкою миной смотрит на жену.

— Ну, чего вы, Герасим Андреич! Перестаньте, — успокаивает та беспокойного гостя.

— По отчеству... Как родился, никто по отчеству... не называл...



## БОЛЬШОЙ ШЛЕМ<sup>1</sup>

Они играли в винт три раза в неделю: по вторникам, четвергам и субботам; воскресенье было очень удобно для игры, но его пришлось оставить на долю всяkim случайностям: приходу посторонних, театру, и поэтому оно считалось самым скучным днем в неделе. Впрочем, летом, на даче, они играли и в воскресенье. Размечтались они так: толстый и горячий Масленников играл с Яковом Ивановичем, а Евпраксия Васильевна со своим мрачным братом, Прокопием Васильевичем. Такое распределение установилось давно, лет шесть тому назад, и настояла на нем Евпраксия Васильевна. Дело в том, что для нее и ее брата не представляло никакого интереса играть отдельно, друг против друга, так как в этом случае выигрыш одного был проигрышем для другой и в окончательном результате они не выигрывали и не проигрывали. И хотя в денежном отношении игра была ничтожная и Евпраксия Васильевна и ее брат в деньгах не нуждались, но она не могла понять удовольствия игры для

<sup>1</sup> Большой шлем — положение в карточной игре, при котором противник не может взять старшей картой или козырем ни одной карты партнера.

игры и радовалась, когда выигрывала. Выигранные деньги она откладывала отдельно, в копилку, и они казались ей гораздо важнее и дороже, чем те крупные кредитки, которые приходилось ей платить за дорогую квартиру и выдавать на хозяйство. Для игры собирались у Прокопия Васильевича, так как во всей обширной квартире жили только они вдвоем с сестрой, — существовал еще большой белый кот, но он всегда спал на кресле, — а в комнатах царила необходимая для занятий тишина. Брат Евпраксии Васильевны был вдов: он потерял жену на второй год после свадьбы и целых два месяца после того провел в лечебнице для душевнобольных; сама она была незамужняя, хотя когда-то имела роман со студентом. Никто не знал, да и она, кажется, позабыла, почему ей не пришлось выйти замуж за своего студента, но каждый год, когда появлялось обычное воззвание о помощи нуждающимся студентам, она посыпала в комитет аккуратно сложенную сторублевую бумажку «от неизвестной». По возрасту она была самой молодой из игроков: ей было сорок три года.

Вначале, когда создалось распределение на пары, им особенно был недоволен старший из игроков, Масленников. Он возмущался, что ему постоянно придется иметь дело с Яковом Ивановичем, то есть, другими словами, бросить мечту о большом бескозырном шлеме. И вообще они с партнером совершенно не подходили друг к другу. Яков Иванович был маленький, сухонький старичок, зиму и лето ходивший в наваченном сюртуке и брюках, молчаливый и строгий. Являлся он всегда ровно в восемь часов, ни минутой раньше или позже, и сейчас же брал мелок сухими пальцами, на одном из которых свободно ходил большой брильянтовый перстень. Но самым ужасным для Масленникова в его партнере было то, что он никогда не играл больше четырех, даже тогда, когда на руках у него имелась большая и верная игра. Однажды случилось, что как начал Яков Иванович ходить с двойки, так и отходил до самого туза, взяв все тринадцать взяток. Масленников с гневом бросил свои

карты на стол, а седенький старичок спокойно собрал их и записал за игру, сколько следует при четырех.

— Но почему же вы не играли большого шлема? — вскрикнул Николай Дмитриевич (так звали Масленникова).

— Я никогда не играю больше четырех, — сухо ответил старичок и наставительно заметил: — Никогда нельзя знать, что может случиться.

Так и не мог убедить его Николай Дмитриевич. Сам он всегда рисковал и, так как карта ему не шла, постоянно проигрывал, но не отчаявался и думал, что ему удастся отыграться в следующий раз. Постепенно они свыклись со своим положением и не мешали друг другу: Николай Дмитриевич рисковал, а старик спокойно записывал проигрыш и назначал игру в четырех.

Так играли они лето и зиму, весну и осень. Дряхлый мир покорно нес тяжелое ярмо бесконечного существования и то краснел от крови, то обливался слезами, оглашая свой путь в пространстве стенами больных, голодных и обиженных. Слабые отголоски этой тревожной и чуждой жизни приносил с собой Николай Дмитриевич. Он иногда запаздывал и входил в то время, когда все уже сидели за разложенным столом и карты розовым веером выделялись на его зеленой поверхности.

Николай Дмитриевич, краснощекий, пахнущий свежим воздухом, поспешно занимал свое место против Якова Ивановича, извинялся и говорил:

— Как много гуляющих на бульваре. Так и идут, так и идут...

Евпраксия Васильевна считала себя обязанной, как хозяйка, не замечать странностей своих гостей. Поэтому она отвечала одна, в то время как старичок молча и строго приготовлял мелок, а брат ее распоряжался насчет чаю.

— Да, вероятно, — погода хорошая. Но не начать ли нам?

И они начинали. Высокая комната, уничтожавшая звук своей мягкой мебелью и портьерами, становилась совсем глухой. Горничная неслышно двига-

лась по пушистому ковру, разнося стаканы с крепким чаем, и только шуршали ее накрахмаленные юбки, скрипел мелок и вздыхал Николай Дмитриевич, поставивший большой ремиз<sup>1</sup>. Для него наливался жи-денъкий чай и ставился особый столик, так как он любил пить с блюдца и непременно с тянуточками.

Зимой Николай Дмитриевич сообщал, что днем морозу было десять градусов, а теперь уже дошло до двадцати, а летом говорил:

— Сейчас целая компания в лес пошла. С корзинками.

Евпраксия Васильевна вежливо смотрела на небо — летом они играли на террасе — и, хотя небо было чистое и верхушки сосен золотели, замечала:

— Не было бы дождя.

А старичок Яков Иванович строго раскладывал карты и, вынимая червонную двойку, думал, что Николай Дмитриевич легкомысленный и неисправимый человек. Одно время Масленников сильно обеспокоил своих партнеров. Каждый раз, приходя, он начинал говорить одну или две фразы о Дрейфусе. Делая печальную физиономию, он сообщал:

— А плохи дела нашего Дрейфуса.

Или, наоборот, смеялся и радостно говорил, что несправедливый приговор, вероятно, будет отменен. Потом он стал приносить газеты и прочитывал из них некоторые места все о том же Дрейфусе.

— Читали уже, — сухо говорил Яков Иванович, но партнер не слушал его и прочитывал, что казалось ему интересным и важным. Однажды он таким образом довел остальных до спора и чуть ли не до ссоры, так как Евпраксия Васильевна не хотела признавать законного порядка судопроизводства и требовала, чтобы Дрейфуса освободили немедленно, а Яков Иванович и ее брат настаивали на том, что сперва необходимо соблюсти некоторые формальности и потом уже освободить. Первым опомнился Яков Иванович и сказал, указывая на стол:

---

<sup>1</sup> Ремиз — недобор установленного числа взяток, штраф.

— Но не пора ли?

И они сели играть, и потом, сколько ни говорил Николай Дмитриевич о Дрейфусе, ему отвечали молчанием.

Так играли они лето и зиму, весну и осень. Иногда случались события, но больше смешного характера. На брата Евпраксии Васильевны временами как будто что-то находило, он не помнил, что говорили о своих картах партнеры, и при верных пяти оставался без одной. Тогда Николай Дмитриевич громко смеялся и преувеличивал значение проигрыша, а старичок улыбался и говорил:

— Играли бы четыре — и были бы при своих.

Особенное волнение проявлялось у всех игроков, когда назначала большую игру Евпраксия Васильевна. Она краснела, терялась, не зная, какую класть ей карту, и с мольбою смотрела на молчаливого брата, а другие двое партнеров с рыцарским сочувствием к ее женственности и беспомощности ободряли ее снисходительными улыбками и терпеливо ожидали. В общем, однако, к игре относились серьезно и вдумчиво. Карты давно уже потеряли в их глазах значение бездушной материи, и каждая масть, а в масти каждая карта в отдельности, была строго индивидуальна и жила своей обособленной жизнью. Масти были любимые и нелюбимые, счастливые и несчастливые. Карты комбинировались бесконечно разнообразно, и разнообразие это не поддавалось ни анализу, ни правилам, но было в то же время закономерно. И в закономерности этой заключалась жизнь карт, особая от жизни игравших в них людей. Люди хотели и добивались от них своего, а карты делали свое, как будто они имели свою волю, свои вкусы, симпатии и капризы. Черви особенно часто приходили к Якову Ивановичу, а у Евпраксии Васильевны руки постоянно полны бывали пик, хотя она их очень не любила. Случалось, что карты капризничали, и Яков Иванович не знал, куда деваться от пик, а Евпраксия Васильевна радовалась червям, назначала большие игры и ремизилась. И тогда карты как будто смеялись. К Николаю

Дмитриевичу ходили одинаково все масти, и ни одна не оставалась надолго, и все карты имели такой вид, как постояльцы в гостинице, которые приезжают и уезжают, равнодушные к тому месту, где им пришлось провести несколько дней. Иногда несколько вечеров подряд к нему ходили одни двойки и тройки и имели при этом дерзкий и насмешливый вид. Николай Дмитриевич был уверен, что он оттого не может сыграть большого шлема, что карты знают о его желании и нарочно не идут к нему, чтобы позлить. И он притворялся, что ему совершенно безразлично, какая игра у него будет, и старался подольше не раскрывать прикупа. Очень редко удавалось ему таким образом обмануть карты; обыкновенно они догадывались, и, когда он раскрывал прикуп, оттуда смеялись три шестерки и хмуро улыбался пиковый король, которому они затачили для компании.

Меньше всех проникала в таинственную суть карт Евпраксия Васильевна. Старичок Яков Иванович давно выработал строго философский взгляд и не удивлялся и не огорчался, имея верное оружие против судьбы в своих четырех. Один Николай Дмитриевич никак не мог примириться с прихотливым нравом карт, их насмешливостью и непостоянством. Ложась спать, он думал о том, как он сыграет большой шлем в бескозырях, и это представлялось таким простым и возможным: вот приходит один туз, за ним король, потом опять туз. Но когда, полный надежды, он садился играть, проклятые шестерки опять скалили свои широкие белые зубы. В этом чувствовалось что-то роковое и злобное. И постепенно большой шлем в бескозырях стал самым сильным желанием и даже мечтой Николая Дмитриевича.

Произошли и другие события вне карточной игры. У Евпраксии Васильевны умер от старости большой белый кот и, с разрешения домовладельца, был похоронен в саду под липой. Затем Николай Дмитриевич исчез однажды на целых две недели, и его партнеры не знали, что думать и что делать, так как винт втрогом ломал все установившиеся привычки и казался

скучным. Сами карты точно сознавали это и сочетались в непривычных формах. Когда Николай Дмитриевич явился, розовые щеки, которые так резко отделялись от седых пушистых волос, посерели, и весь он стал меньше и ниже ростом. Он сообщил, что его старший сын за что-то арестован и отправлен в Петербург. Все удивились, так как не знали, что у Масленникова есть сын; может быть, он когда-нибудь и говорил, но все позабыли об этом. Вскоре после этого он еще один раз не явился, и, как нарочно, в субботу, когда игра продолжалась дольше обычного, и все опять с удивлением узнали, что он давно страдает грудной жабой и что в субботу у него был сильный приступ болезни. Но потом все опять установилось, и игра стала даже серьезнее и интереснее, так как Николай Дмитриевич меньше развлекался посторонними разговорами. Только шуршали крахмальные юбки горничной да неслышно скользили из рук игроков атласные карты и жили своей таинственной и молчаливой жизнью, особой от жизни игравших в них людей. К Николаю Дмитриевичу они были по-прежнему равнодушны и иногда зло-насмешливы, и в этом чувствовалось что-то роковое, фатальное.

Но в четверг, 26 ноября, в картах произошла странная перемена. Как только началась игра, к Николаю Дмитриевичу пришла большая коронка<sup>1</sup>, и он сыграл, и даже не пять, как назначил, а маленький шлем, так как у Якова Ивановича оказался лишний туз, которого он не хотел показать. Потом опять на некоторое время появились шестерки, но скоро исчезли, и стали приходить полные масти, и приходили они с соблюдением строгой очереди, точно всем им хотелось посмотреть, как будет радоваться Николай Дмитриевич. Он назначал игру за игрой, и все удивлялись, даже спокойный Яков Иванович. Волнение Николая Дмитриевича, у которого пухлые пальцы с ямочками на сгибах потели и роняли карты, передалось и другим игрокам.

---

<sup>1</sup> Большая коронка — наличие у игрока семи и более карт одной масти, следующих подряд по старшинству до туза.

— Ну и везет вам сегодня, — мрачно сказал брат Евпраксии Васильевны, сильнее всего боявшийся слишком большого счастья, за которым идет такое же большое горе.

Евпраксии Васильевне было приятно, что наконец-то к Николаю Дмитриевичу пришли хорошие карты, и она на слова брата три раза сплюнула в сторону, чтобы предупредить несчастье.

— Тьфу, тьфу, тьфу! Ничего особенного нет. Идут карты и идут, и дай бог, чтобы побольше шли.

Карты на минуту словно задумались в нерешимости, мелькнуло несколько двоек со смущенным видом — и снова с усиленной быстротой стали являться тузы, короли и дамы. Николай Дмитриевич не поспевал собирать карты и назначать игру и два раза уже засдался, так что пришлось пересдать. И все игры удавались, хотя Яков Иванович упорно умалчивал о своих тузах: удивление его сменилось недоверием ко внезапной перемене счастья, и он еще раз повторил неизменное решение — не играть больше четырех. Николай Дмитриевич сердился на него, краснел и задыхался. Он уже не обдумывал своих ходов и смело назначал высокую игру, уверенный, что в прикупе он найдет что нужно.

Когда после сдачи карт мрачным Прокопием Васильевичем Масленников раскрыл свои карты, сердце его заколотилось и сразу упало, а в глазах стало так темно, что он покачнулся, — у него было на руках двенадцать взяток: трефы и черви от тузов до десятки и бубновый туз с королем. Если он купит пикового туза, у него будет большой бескозырный шлем.

— Два без козыря, — начал он, с трудом справляясь с голосом.

— Три пики, — ответила Евпраксия Васильевна, которая была также сильно взволнована: у нее находились почти все пики, начиная от короля.

— Четыре черви, — сухо отозвался Яков Иванович.

Николай Дмитриевич сразу повысил игру на малый шлем, но разгоряченная Евпраксия Васильевна не хотела уступать и, хотя видела, что не сыграет, на-

значила большой в пиках. Николай Дмитриевич задумался на секунду и с некоторой торжественностью, за которой скрывался страх, медленно произнес:

— Большой шлем в бескозырях!

Николай Дмитриевич играет большой шлем в бескозырях! Все были поражены, и брат хозяйки даже крякнул:

— Ого!

Николай Дмитриевич протянул руку за прикупом, но покачнулся и повалил свечку. Евпраксия Васильевна подхватила ее, а Николай Дмитриевич секунду сидел неподвижно и прямо, положив карты на стол, а потом взмахнул руками и медленно стал валиться на левую сторону. Падая, он свалил столик, на котором стояло блюдечко с налитым чаем, и придавил своим телом его хрустнувшую ножку.

Когда приехал доктор, он нашел, что Николай Дмитриевич умер от паралича сердца, и в утешение живым сказал несколько слов о безболезненности такой смерти. Покойника положили на турецкий диван в той же комнате, где играли, и он, покрытый простижней, казался громадным и страшным. Одна нога, обращенная носком внутрь, осталась непокрытой и казалась чужой, взятой от другого человека; на подошве сапога, черной и совершенно новой на выемке, прилипла бумажка от тянучки. Карточный стол еще не был убран, и на нем валялись беспорядочно разбросанные, рубашкой вниз, карты партнеров и в порядке лежали карты Николая Дмитриевича, тоненькой колодкой, как он их положил.

Яков Иванович мелкими и неуверенными шагами ходил по комнате, стараясь не глядеть на покойника и не сходить с ковра на натертый паркет, где высокие каблуки его издавали дробный и резкий стук. Пройдя несколько раз мимо стола, он остановился и осторожно взял карты Николая Дмитриевича, рассмотрел их и, сложив такой же кучкой, тихо положил на место. Потом он посмотрел прикуп: там был пиковый туз, тот самый, которого не хватало Николаю Дмитриевичу для большого шлема. Пройдясь еще несколь-

ко раз, Яков Иванович вышел в соседнюю комнату, плотнее застегнул наваченный сюртук и заплакал, потому что ему было жаль покойного. Закрыв глаза, он старался представить себе лицо Николая Дмитриевича, каким оно было при его жизни, когда он выигрывал и смеялся. Особенно жаль было вспомнить легкомыслие Николая Дмитриевича и то, как ему хотелось выиграть большой бескозырный шлем. Проходил в памяти весь сегодняшний вечер, начиная с пяти бубен, которые сыграл покойный, и кончая этим беспредельным наплывом хороших карт, в котором чувствовалось что-то страшное. И вот Николай Дмитриевич умер — умер, когда мог наконец сыграть большой шлем.

Но одно соображение, ужасное в своей простоте, потрясло худенькое тело Якова Ивановича и заставило его вскочить с кресла. Оглядываясь по сторонам, как будто мысль не сама пришла к нему, а кто-то шепнул ее на ухо, Яков Иванович громко сказал:

— Но ведь никогда он не узнает, что в прикупе был туз и что на руках у него был верный большой шлем. Никогда!

И Якову Ивановичу показалось, что он до сих пор не понимал, что такое смерть. Но теперь он понял, и то, что он ясно увидел, было до такой степени бесмысленно, ужасно и непоправимо. Никогда не узнает! Если Яков Иванович станет кричать об этом над самым его ухом, будет плакать и показывать карты, Николай Дмитриевич не услышит и никогда не узнает, потому что нет на свете никакого Николая Дмитриевича. Еще одно бы только движение, одна секунда чего-то, что есть жизнь, — и Николай Дмитриевич увидел бы туза и узнал, что у него есть большой шлем, а теперь все кончилось и он не знает и никогда не узнает.

— Ни-ко-гда, — медленно, по слогам, произнес Яков Иванович, чтобы убедиться, что такое слово существует и имеет смысл.

Такое слово существовало и имело смысл, но он был до того чудовищен и горек, что Яков Иванович

снова упал в кресло и беспомощно заплакал от жалости к тому, кто никогда не узнает, и от жалости к себе, ко всем, так как то же страшно и бессмысленно жестокое будет и с ним и со всеми. Он плакал — и играл за Николая Дмитриевича его картами, и брал взятки одна за другой, пока не собралось их тринацать, и думал, как много пришлось бы записать и что никогда Николай Дмитриевич этого не узнает. Это был первый и последний раз, когда Яков Иванович отступил от своих четырех и сыграл во имя дружбы большой бескозырный шлем.

— Вы здесь, Яков Иванович? — сказала вошедшая Евпраксия Васильевна, опустилась на рядом стоящий стул и заплакала. — Как ужасно, как ужасно!

Оба они не смотрели друг на друга и молча плакали, чувствуя, что в соседней комнате, на диване, лежит мертвец, холодный, тяжелый и немой.

— Вы послали сказать? — спросил Яков Иванович, громко и истово сморкаясь.

— Да, брат поехал с Аннушкой. Но как они разыщут его квартиру, ведь мы адреса не знаем.

— А разве он не на той же квартире, что в прошлом году? — рассеянно спросил Яков Иванович.

— Нет, переменил. Аннушка говорит, что он нанимал извозчика куда-то на Новинский бульвар.

— Найдут через полицию, — успокоил старичок. — У него ведь, кажется, есть жена?

Евпраксия Васильевна задумчиво смотрела на Якова Ивановича и не отвечала. Ему показалось, что в ее глазах видна та же мысль, что пришла и ему в голову. Он еще раз высыпался, спрятал платок в карман наваченного сюртука и сказал, вопросительно поднимая брови над покрасневшими глазами:

— А где же мы возьмем теперь четвертого?

Но Евпраксия Васильевна не слыхала его, занятая соображениями хозяйственного характера. Помолчав, она спросила:

— А вы, Яков Иванович, все на той же квартире?



## РАССКАЗ О СЕРГЕЕ ПЕТРОВИЧЕ

### I

В учении Ницше Сергея Петровича больше всего поразила идея сверхчеловека и все то, что говорил Ницше о сильных, свободных и смелых духом. Сергей Петрович плохо знал немецкий язык, по-гимназиески, и с переводом ему было много труда. Работу значительно облегчал Новиков, товарищ Сергея Петровича, с которым он в течение полутора учебных лет жил в одной комнате и который в совершенстве владел немецким языком и был начитан по философии. Но в октябре 189 — года, когда до окончания перевода «Так сказал Заратустра» оставалось всего несколько глав, Новиков был административно выслан из Москвы за скандалы, и своими силами Сергей Петрович подвинулся вперед очень мало, но не сожалел об этом и вполне удовлетворялся прочитанным, которое он целыми страницами знал наизусть, и притом по-немецки. Дело в том, что в переводе, как бы он ни был хорош, афоризмы много теряли, становились слишком просты, понятны, и в их таинственной глубине

как будто просвечивало дно; когда же Сергей Петрович смотрел на готические очертания немецких букв, то в каждой фразе, помимо прямого его смысла, он видел что-то непередаваемое словами, и прозрачная глубина темнела и становилась бездонною. Иногда ему приходила мысль, что, если на свете явится новый пророк, он должен говорить на чужом языке, чтобы все поняли его. Конца книги, единственной из сочинений Ницше, которую оставил Новиков, он так и не перевел.

Сергей Петрович был студент третьего курса естественного факультета. В Смоленске у него жили родители, братья и сестры, из которых одни были старше его, другие моложе. Один брат, самый старший, был уже доктором и хорошо зарабатывал, но помогать семье не мог, так как обзавелся уж собственной семьей. Существовать Сергею Петровичу приходилось на пятнадцать рублей в месяц, и этого ему хватало, так как он обедал бесплатно в студенческой столовой, не курил и водки пил мало. Когда Новиков еще не уезжал, они пили очень много, но это ничего не стоило Сергею Петровичу, потому что все расходы по пьянству брал на себя Новиков, у которого постоянно имелись дорогие уроки по языкам. Раз по вине того же Новикова, любившего в пьяном виде сидеть на деревьях бульвара, куда взлезал за ним и Сергей Петрович, мировой судья приговорил обоих товарищей к десяти рублям штрафа, и штраф уплатил Новиков. При простоте товарищеских отношений это было вполне естественно и ни в ком не возбуждало сомнений, кроме самого Сергея Петровича. Но отсутствие денег было фактом, с которым приходилось мириться.

Существовали и другие факты, с которыми приходилось мириться, и когда Сергей Петрович глубже взглядывался в свою жизнь, он думал, что и она — факт из той же категории. Он был некрасив, не безобразен, а некрасив, как целые сотни и тысячи людей. Плоский нос, толстые губы и низкий лоб делали его похожим на других и стирали с его лица индивидуальность. К зеркалу он подходил редко и даже чесался

так, на ощупь, а когда подходил, то долго всматривался в свои глаза, и они казались ему мутными и похожими на гороховый кисель, в который свободно проникает нож и до самого дна не натыкается ни на что твердое. В этом отношении, как и во многих других, он отличался от друга своего Новикова, у которого были зоркие, смелые глаза, высокий лоб и правиль но очерченный, красивый овал лица. И высокое туловище, когда на нем приходилось носить такую голову, казалось Сергею Петровичу не достоинством, а недостатком, и, быть может, потому он горбился, когда ходил. Но самым тяжелым для Сергея Петровича фактомказалось то, что он был неумен. В гимназии учителя считали его прямо глупым и в младших классах открыто высказывали это. По поводу одного его нелепого ответа батюшка назвал его «бестолочь смоленская и могилевская», и хотя прозвище и не привилось к нему, а стало нарицательным для всякого тупого ученика, Сергей Петрович не забыл его происхождения. И изо всего, кажется, класса он один оставался до конца без прозвища, если не считать имени «Сергей Петрович», которым величали его все: учителя, гимназисты и сторожа. Не было в нем ничего такого, на что можно было бы привесить остроумную кличку. В университете товарищи, очень вообще любившие распределять друг друга по уму, Сергея Петровича относили в разряд ограниченных, хотя никогда не высказывали этого ему прямо в лицо, но он догадывался сам по одному тому, что никто никогда не обращался к нему с серьезным вопросом и разговором, а всегда с шуткою. Стоило в то же время появиться Новикову, разговор тотчас переходил на серьезные темы. Вначале Сергей Петрович безмолвно протестовал против общего признания его ограниченным человеком и пытался сделать, сказать или написать что-нибудь умное, но, кроме смеха, ничего из этого не выходило. Тогда он убедился сам в своей ограниченности, и убедился так крепко, что, если бы весь мир признал его гением, он не поверил бы ему. Ведь мир не знал и не мог знать того, что знал Сергей

Петрович о себе. Мир мог услыхать от него умную мысль, но он мог не знать, что мысль эта украдена Сергеем Петровичем или приобретена после такого труда, который совершенно обесценивал ее. То, что усваивалось другими на лету, ему стоило мучительных усилий и все-таки, даже врезавшись в память неизгладимо, оставалось чужим, посторонним, точно это была не живая мысль, а попавшая в голову книга, коловшая мозг своими углами. Особенное сходство с книгой придавало то обстоятельство, что всегда рядом с мыслью стояла ясная и отчетливая страница, на которой он ее прочел. Те же мысли, при которых не показывались страницы и которые Сергей Петрович считал поэтому своими, были самые простые, обыкновенные, не умные, и совершенно походили на тысячи других мыслей на земле, как и лицо его походило на тысячи других лиц. Трудно было помириться с этим фактом, но Сергей Петрович помирился. В сравнении с ним другие маленькие факти — отсутствие талантов, слабая грудь, неловкость, безденежье — казались неважными.

Незаметно для самого себя Сергей Петрович сделался мечтателем, наивным и неглубоким. То он представлял себе, что он выигрывает 200 000 руб. и едет путешествовать по Европе, но дальше того, как он сядет в вагон, он ничего представить не мог, так как у него не было воображения. То он думал о каком-то чуде, которое немедленно сделает его красивым, умным и неотразимо привлекательным. После оперы он представлял себя певцом; после книги — ученым; выйдя из Третьяковской галереи — художником; но всякий раз фон составляла толпа, «они» — Новиков и другие, — которые преклоняются перед его красотою или талантом, а он делает их счастливыми. Когда длинными неуверенными шагами, опустив голову в цветущем картузе, Сергей Петрович шел в столовую, никому в голову не приходило, что этот невидный студент с плоским ординарным лицом в настоящую минуту владеет всеми сокровищами мира. В столовой он сжимался, наскоро проглатывал легонький

обед и старался смотреть в сторону, когда проходил знакомый студент и глазами отыскивал свободное место. Он боялся таких встреч, так как никогда не знал, о чем говорить, а молча испытывал неловкость. Часто повторявшиеся мечты стали приобретать тень реальности, но чем ярче становилось представление того, чем мог и чем хотел бы быть Сергей Петрович, тем труднее становилось мириться с суровым фактом — жизнью.

Так же незаметно совершался разрыв с миром живых людей, и менее всех подозревал о нем Сергей Петрович. С привычкой к общественности, вынесенной из гимназии, он принимал участие во всех студенческих организациях и аккуратно посещал собрания. Там он слушал ораторов, шутил, когда с ним шутили, и потом ставил на клочке бумаги плюс или минус, а чаще уклонялся от голосования, так как не мог в такое короткое время решить, на какой стороне справедливость. Но в общем его решения всегда сходились с мнением большинства и терялись в нем. Ходил Сергей Петрович и в гости и всякий раз при этом напивался с своими хозяевами и другими гостями. Тогда он пел вместе с ними глухим, рыкающим басом, целовался и ездил к женщинам. Это были единственные женщины, которых он знал, и то только пьяный. Трезвому ему они внушали отвращение и страх. Других женщин, чистых и хороших, он не искал, так как был уверен, что ни одна не полюбит его. Были у него знакомые курсистки, и он краснел, кланяясь им на улице при встрече, но они никогда не говорили с этим ограниченным и некрасивым студентом, хотя знали, как и все, что его зовут Сергеем Петровичем. Таким образом, он не принадлежал, по виду, к студентам-одиночкам, проводившим глухую, никому не ведомую жизнь и появлявшимся только на экзаменах с массою писанных конспектов и с растерянным лицом, но в действительности у него совершенно отсутствовала живая связь с людьми, делающая общество их приятным и необходимым. И он не любил ни одного из тех, с кем шутил, пил водку и целовался.

Когда Сергей Петрович не мечтал и не занимался делом, он читал много и без разбору и только для того, чтобы прогнать скуку. Читать он не любил: серьезных книг — потому, что многого в них не понимал, романов — потому, что одни были слишком похожи на жизнь и печальны, как и она, другие же были лживы и неправдоподобны, как его мечты. Он мог мечтать о том, чтобы выиграть миллионы, но, когда он читал о таком случае в книге, ему становилось смешно и обидно за свои мечты. Правдивыми ему казались русские романы, но больно было читать их при мысли, что он один из таких же маленьких, источенных жизнью людей, о каких пишутся эти толстые и унылые книги. Но были два романа — оба переводные, — которые он любил читать и перечитывать. Один из них он любил читать в дни печали и уныния, когда тоскливо плачущая и тяжело вздыхающая осень смотрела в окна и в душу, и стыдился говорить о нем. Это было «20 000 лье под водой» Ж. Верна. Его привлекала к себе могучая и стихийно свободная личность капитана Немо, ушедшего от людей в недоступные глубины океана и оттуда надменно презиравшего землю. Другую книгою была «Один в поле не воин» Шпильгагена, и он любил говорить о ней с товарищами и радовался, когда и они восторженно склонялись перед благородным деспотом Лео. Впоследствии, по совету Новикова, заметившего любовь Сергея Петровича к великим людям, он стал читать их биографии, и читал с интересом, но каждый раз при этом думал: «он был не такой, как я». И чем больше узнавал он великих людей, тем меньше становился сам.

Так жил Сергей Петрович до двадцати трех лет. На первом курсе он провалился по физике и с тех пор начал усиленно работать, а так как на естественном факультете работы много, то время проходило незаметно в железных объятиях труда. Понемногу притупилась острота печальных размышлений о незадавшейся жизни, и Сергей Петрович стал привыкать к тому, что он обыкновенный, не умный и не ориги-

нальный человек. Мозг Сергея Петровича стоял на той грани, которая отделяет глупость от ума и откуда одинаково хорошо видно в обе стороны: можно созерцать и высшее благородство могучего интеллекта и понимать, какое счастье дает он своему обладателю, и видеть жалкую низость самодовольной глупости, счастливой за толстыми черепными стенами, неуязвимой, как в крепости. И теперь он чаще смотрел в эту сторону и видел, что существует много людей, которые хуже его, и вид этих людей доставляет ему радость и успокоение. Сергей Петрович стал меньше читать и больше пить водки, но пил ее не по многу за раз, как делал раньше, а по рюмкам перед обедом и перед ужином, и так ему нравилось больше, потому что было только приятно и весело и отсутствовали болезненные ощущения похмелья. Летом, в Смоленске, у него случился первый в жизни любовный роман, очень смешной для всех окружающих, но для него приятный, поэтический и новый. Героиней его была девушка, приходившая в их сад полоть гряды, некрасивая, глупая и добрая. Сергей Петрович не знал, за что она полюбила его, и чувствовал к ней легкое презрение за ее любовь, но ему нравились и таинственные свидания в темном саду, и шепот, и страх. Когда осенью он уезжал в Москву, она плакала, а он сознавал себя как будто новым — гордым и довольным собою, так как и он оказался не хуже других: и у него есть настоящая женщина, которая любит его без денег и плачет от разлуки. Как и многие другие, Сергей Петрович не думал, что он живет, и перестал замечать жизнь, а она текла, плоская, мелкая и тусклая, как болотный ручей. Но бывали мгновения, когда он точно просыпался от глубокого сна и с ужасом сознавал, что он все тот же мелкий, ничтожный человек; тогда он по целым ночам мечтал о самоубийстве, пока злая и требовательная ненависть к себе и к своей доле не сменялась мирною и кроткою жалостью. А потом жизнь снова овладевала им, и он еще раз повторял себе, что она — факт, с которым нужно мириться.

В это именно время, когда полное примирение с фактами становилось возможным и близким, он сошелся с Новиковым. Товарищи не понимали этого странного сближения, так как Новиков считался самым умным, а Сергей Петрович — самым ограниченным из земляков. Под конец они стали думать, что самолюбивый и тщеславный Новиков хочет иметь при себе зеркало, в котором отражался бы его блестящий ум, и смеялись тому, что зеркало он выбрал такое кривое и дешевое. Уверения Новикова, что Сергей Петрович вовсе не так глуп, как кажется, они считали выражением того же самолюбия. Возможно, что это было и так, но Новиков был настолько сдержан и тактичен в проявлениях своего превосходства, что Сергей Петрович полюбил его. И это был первый человек, которого он любил, и первый друг, которого дала ему жизнь. Он гордился Новиковым, читал те книги, которые читал тот, и покорно следовал за ним по ресторанам, лазил на деревья и думал о своем счастье, позволившем ему быть другом человека, который судьбою предназначен для великих дел. С почтительным удивлением следил он за работой его кипучего ума, оставлявшего за собою, как версты, философские, исторические и экономические теории и смело стремившегося вперед, все вперед. Жалкою трусцою плелся за ним Сергей Петрович, пока не увидел, что с каждым днем отстает все больше. И это был тяжелый день, когда Сергей Петрович, хотелый утопить свое «я» в чужом глубоком и сильном «я», понял, что это невозможно и что он так же умственно далек от своего друга, с которым жил, как и от тех великих, о которых он читал. И помог понять это Ницше, которого ему открыл тот же Новиков.

## II

Когда Сергей Петрович прочел часть «Так сказал Заратустра», ему показалось, что в ночи его жизни взошло солнце. Но то было полуночное, печальное солнце, и не картину радости осветило оно, а холод-

ную, мертвенно-печальную пустыню, какой была душа и жизнь Сергея Петровича. Но все же то был свет, и он обрадовался свету, как никогда и ничему не радовался в жизни. В это недавнее время, о котором идет речь, в России о Ницше знали только немногие и ни газеты, ни журналы ни слова не говорили о нем. И это глубокое молчание, которым был обвеян Заратустра, делало его слова значительными, сильными и чистыми, как будто они падали к Сергею Петровичу прямо с неба. Он не знал и не думал о том, кто такой Ницше, много ему лет или мало, жив он или умер. Он видел перед собою только мысли, облеченные в строгую и мистическую форму готических букв, и это отрешение мыслей от мозга, их создавшего, от всего земного, сопровождавшего их рождение, создало им божественность и вечность. И как пламенно верующий юный жрец, к которому спустилось долгожданное божество, он таил его от посторонних взглядов и испытывал боль, когда к божеству прикасались грубые и дерзкие руки. То были руки Новикова.

Иногда вечером, после совместного перевода нескольких глав, Новиков начинал говорить о прочитанном. Он сидел за своим столом, как за кафедрой, и говорил звучно, ясно и раздельно, отчетливо выговаривая каждое слово, ставя логические ударения и короткими паузами отмечая знаки препинания. Крупная голова его, коротко остриженная и похожая на точеный шар, но с резкими выпуклостями лба, крепко и неподвижно сидела на короткой шее; лицо его всегда оставалось бледно, и при сильном волнении только оттопыренные уши пылали, как два кумачных лоскута, прицепленных к желтому бильярдному шару. Говорил он о предшественниках Ницше в философии, о связи его учения с экономическими и общественными течениями века и утверждал, что Ницше скакнул на тысячу лет вперед со своим основным тезисом индивидуализма «я хочу». Иногда он смеялся над туманным языком книги, в котором ему чувствовалась деланность, и тогда Сергей Петрович делал слабые попытки возражать. То, что говорил Новиков, казалось

ему очень умным, таким, до чего он сам не дойдет никогда, но не согласным с истиной. И он чувствовал, что яснее и ближе понимает слова Заратустры, но, когда он начинал растолковывать их, выходило плоско и жалко и совсем непохоже на то, что он думал. И он умолкал, чувствуя злобу к своей голове и языку. Но случалось, что Новиков увлекался красотою ритмической речи Заратустры и подпадал под влияние недосказанного. Тогда он декламировал своим ясным и сильным голосом, и Сергей Петрович благоговейно слушал, склонив некрасивую плоскую голову, и каждое слово выжигалось в его сонном и тяжелом мозгу.

Сергей Петрович не заметил того момента, когда в нем кончилось спокойное созерцание фактов и тупая тоска мирящегося с ними. Было похоже на то, как будто к пороховому бочонку приложили огонь, а долго ли тлел фитиль, он не знал. Но он знал, кто зажег его. Это было видение сверхчеловека, того непостижимого, но человечного существа, которое осуществило все заложенные в него возможности иполноправно владеет силою, счастьем и свободою. Странное то было видение. Яркое до боли в глазах и сердце, оно было смутно и неопределенno в своих очертаниях; чудесное и непостижимое, оно было просто и реально. И при ярком свете его Сергей Петрович рассматривал свою жизнь, и она казалась совсем новою и интересною, как знакомое лицо при зареве пожара. Он глядел вперед себя и назад, и то, что он видел, походило на длинный серый и узкий коридор, лишенный воздуха и света. Позади коридор терялся в серых воспоминаниях безрадостного детства, впереди утопал в сумраке такого же будущего. И на всем протяжении коридора не виднелось ни одного резкого, крутого поворота, ни одной двери наружу, туда, где сияет солнце и смеются и плачут живые люди. Кругом Сергея Петровича плывут по коридору серые тени людей, лишенных смеха и слез, и безмолвно кивают своими тупыми головами, над которыми так безжалостно насмелялась жестокая природа.

Пока Новиков не уезжал из Москвы, Сергей Петрович каждый день производил одну и ту же работу и сравнивал себя с товарищем, на котором ему чудился отблеск сверхчеловека. Он наблюдал его лицо, движения и мысли и краснел, когда Новиков ловил на себе его тупые, но внимательные взгляды. Позднею ночью, когда Новиков уже спал, Сергей Петрович прислушивался к его тихому и ровному дыханию и думал, что и дышит Новиков не так, как он. И этот спящий человек, которого он раньше любил, казался ему теперь чуждым и загадочным, и загадкою было все: и глубокое дыхание его, и мысли, скрытые под выпуклостью черепа, и рождение его, и смерть. И непонятно было, что под одною крышею лежат два человека, и у каждого из них все свое, отдельное, непохожее — и мысли и жизнь.

Сергей Петрович не почувствовал горя, когда Новикова выслали из Москвы. Те двадцать четыре часа, которые провел с ним Новиков, укладывая вещи и ругаясь, прошли незаметно, и товарищи оказались на вокзале. Они были трезвы, так как денег хватило только на дорогу.

— А я напрасно дал вам Ницше, Сергей Петрович, — сказал Новиков с той чопорной вежливостью, которая была одной из странностей их совместной жизни и не покидала их даже в пьяные минуты на деревьях бульвара.

— Почему, Николай Григорьевич?

Новиков промолчал, и Сергей Петрович добавил:

— Я едва ли буду читать его. Для меня довольно.

Прозвучал третий звонок.

— Ну, прощайте.

— Будете писать? — спросил Сергей Петрович.

— Нет. Я не люблю переписки. Но вы пишите.

После минутной нерешимости они поцеловались, неловко, не зная, сколько нужно поцелуев, и Новиков уехал. И, оставшись один, Сергей Петрович понял, что он давно желал и ожидал этого дня, когда он останется с Ницше один и никто не будет мешать им. И действительно, с этой минуты никто не мешал им.

### III

С внешней стороны жизнь Сергея Петровича резко изменилась. Он совсем перестал ходить на лекции и практические занятия и бросил на полку начатое для зачета сочинение: «Сравнительная характеристика углеводородов жирного ряда и углеводородов ароматического ряда». Товарищей он также перестал посещать и появлялся только на собраниях, и то ненадолго. Однажды студенты поехали большой компанией к женщинам и встретили там Сергея Петровича, и, что было удивительно, совершенно трезвого. Как и раньше, он краснел, когда над ним стали шутить, и когда выпил, то пел и говорил заплатающимся языком о каком-то Заратустре. Кончилось тем, что он стал плакать, а потом буйнить, называя всех их идиотами, а себя сверхчеловеком. После этого случая, над которым много смеялись, Сергея Петровича на некоторое время совсем потеряли из виду.

С тех пор как Сергей Петрович появился на свет, ни разу голова его не работала так много и так упорно, как в эти короткие дни и долгие ночи. Бескровный мозг не повиновался ему и там, где он искал истины, ставил готовые формулы, понятия и фразы. Измученный, уставший, он напоминал собою рабочую лошадь, которая взвозит на гору тяжелый воз, и задыхается, и падает на колени, пока снова не погонит ее жгучий кнут. И таким кнутом было видение, мираж сверхчеловека, того, кто полноправно владеет силою, счастьем и свободою. Минутами густой туман заволакивал мысли, но лучи сверхчеловека разгоняли его, и Сергей Петрович видел свою жизнь так ясно и отчетливо, точно она была нарисована или рассказана другим человеком. Это не были мысли строго последовательные и выраженные словами, — это были видения.

Он видел человека, который называется Сергеем Петровичем и для которого закрыто все, что делает жизнь счастливою или горькою, но глубокой, человеческой. Религия и мораль, наука и искусство существо-

ствовали не для него. Вместо горячей и деятельной веры, той, что движет горами, он ощущал в себе безобразный комок, в котором привычка к обрядности переплеталась с дешевыми суевериями. Он не был ни настолько смел, чтобы отрицать Бога, ни настолько силен, чтобы верить в него; не было у него и нравственного чувства, и связанных с ним эмоций. Он не любил людей и не мог испытывать того великого блаженства, равного которому не создавала еще земля, — работать за людей и умирать за них. Но он не мог и ненавидеть их, — и никогда не суждено ему было испытать жгучего наслаждения борьбы с себе подобными и демонической радости победы над тем, что чтится всем миром как святыня. Не мог он ни подняться так высоко, ни упасть так низко, чтобы господствовать над жизнью и людьми, — в одном случае стоя выше их законов и сам создавая их, в другом — находясь вне всего того, что обязательно и страшно для людей. В газетах Сергей Петрович читал о людях, которые убивают, крадут, насилиют, и каждый раз одна и та же мысль заканчивала чтение: «А я бы не мог». На улице он встречал людей, опустившихся до самого дна людского моря, и здесь он говорил: «А я бы не мог». Изредка он слыхал и читал о людях-героях, шедших на смерть во имя идеи или любви, и думал: «А я бы не мог». И он завидовал всем, и грешным и праведным, и в ушах его звучали беспощадно-правдивые слова Заратустры: «Если жизнь не удается тебе, если ядовитый червь пожирает твоё сердце, знай, что удастся смерть».

Сергей Петрович не ощущал потребности творить зло, но добрым быть он хотел. Это желание внущили ему книги и люди, и оно было сильно, но бесплодно и мучительно, как мучительна жажда света для прирожденного слепца. Он думал о своем будущем, и в нем не было места для добра. По окончании университета Сергей Петрович намеревался поступить в акцизное ведомство и, сколько он теперь ни думал, не мог понять, какое добро создаст он в должности акцизного чиновника. Он уже представлял себя, каким

он будет, — честным, исполнительным, трудолюбивым. Он видел, как с медлительною и строгою постепенностью движется он по лестнице повышений и, достигнув средней ступеньки, останавливается, разбитый годами, нуждою и болезнями. Он понимал, что заслуги его перед жестокостями жизни будут оценены, и он будет праздновать свой тридцатилетний юбилей, как недавно праздновал его отец. На юбилее будут говориться речи, и он будет слушать их и плакать от умиления, как плакал его отец, и целоваться с такими же, как и он, старенькими, седенькими, изгрызанными жизнью бывшими и будущими юбилярами. Потом он умрет с мыслью, что оставляет после себя десяток таких же детей, каким он был сам, и в «Смоленском вестнике» будет напечатано коротенькое жизнеописание, в конце которого будет сказано, что умер полезный и честный работник. И Сергею Петровичу кажется, что эта посмертная похвала горька и больна, как удар бичом по живому обнаженному мясу. И больна она потому, что люди, желая сказать приятную неправду, сказали обидную и неоспоримую истину. И Сергей Петрович думает, что, если бы люди всегда понимали то, что говорит их язык, они не осмелились бы говорить о полезности и оскорблять уже оскорблennых.

Не сразу понял Сергей Петрович, в чем заключается его полезность, и долго ворочался и содрогался его мозг, подавленный непосильной работой. Но рассеивался туман под яркими лучами сверхчеловека, и то, что было неразрешимою загадкою, становилось простым и ясным. Он был полезен, и полезен многими своими свойствами. Он был полезен для рынка, как то безымянное «некто», которое покупает галоши, сахар, керосин и в массе своей создает дворцы для сильных земли; он был полезен для статистики и истории, как та безымянная единица, которая рождается и умирает и на которой изучают законы народонаселения; он был полезен и для прогресса, так как имел желудок и зябкое тело, заставлявшее гудеть тысячи колес и станков. И чем больше ходил Сергей Петрович по улицам

и смотрел вокруг себя и за собою, тем очевиднее становилась для него его полезность. И сперва он заинтересовался ею, как открытием, и с новым чувством любопытства смотрел на богатые дома и роскошные экипажи и нарочно ездил лишний раз на конке, чтобы принести кому-то пользу своим пятаком, но скоро его стало раздражать сознание, что он не может сделать шагу, чтобы не оказаться кому-нибудь полезным, так как полезность его находится вне его воли.

И тогда он открыл в себе еще одну полезность, и она была самою горькою и обидною из всех и заставляла краснеть от стыда и боли. Это была полезность трупа, на котором изучают законы жизни и смерти, или илота<sup>1</sup>, напоенного для того, чтобы другие видели, как дурно пить. Иногда ночью, в этот период душевного мятежа, Сергей Петрович представлял себе книги, которые пишутся о нем или о таких, как он. Он ясно видел печатные страницы, много печатных страниц, и свое имя на них. Он видел людей, которые пишут эти книги и на нем, на Сергея Петровиче, создают для себя богатство, счастье и славу. Одни рассказывают о том, какой он был жалкий, никуда не годный и никому не нужный, они не смеются и не издеваются над ним, — нет, они стараются изобразить его горе так жалко, чтобы люди плакали, а радость так, чтобы смеялись. С наивным эгоизмом сытых и сильных людей, которые говорят с такими же сильными, они стараются показать, что и в таких существах, как Сергей Петрович, есть кое-что человеческое, усиленно и горячо доказывают, что им бывает больно, когда бьют, и приятно, когда ласкают. И если у пишущих есть талант и им удается показать то, что они хотели, им ставят памятники, подножием которых является как будто бы гранит, а в действительности — бесчисленные Сергеи Петровичи. Другие тоже сожалеют о Сергея Петровиче, но говорят о нем по рассказанным первыми и старательно обсуждают,

---

<sup>1</sup> И ло́т — земледелец в древней Спарте, считавшийся собственностью государства.

откуда берутся такие, как он, и куда деваются, и учат, как нужно поступать, чтобы вперед не было таких.

Для капиталиста полезен, как родник его богатства, для писателя — как ступенька к памятнику, для учебного — как величина, приближающая его к познанию истины, для читателя — как объект для упражнения в хороших чувствах, — вот полезность, которую нашел в себе Сергей Петрович. И всю его душу охватил стыд и глухой гнев человека, который долго не понимал, что над ним смеются, и, обернувшись, увидел оскаленные зубы и протянутые пальцы. Жизнь, с которой он так долго мирился, как с фактом, взглянула ему в лицо своими глубокими очами, холодными, серьезными и до ужаса непонятными в своей строгой простоте. Все то, что до сих пор смутно бродило в нем и проявлялось в неясных грезах и тупой тоске, заговорило громко и властно. Его я, то, которое он считал единственно истинным и независимым ни от слабого мозга, ни от вялого сердца, возмутилось в нем и потребовало всего, на что оно имело право.

— Я не хочу быть немым материалом для счастья других: я сам хочу быть счастливым, сильным и свободным и имею на это право, — выговорил Сергей Петрович затаенную мысль, которая бродит во многих головах и много голов делает несчастными, но выговаривается так редко и с таким трудом.

И в тот момент, когда он впервые произнес эту ясную и точную фразу, он понял, что произносит приговор над тем, что называется Сергеем Петровичем и что никогда не может быть ни сильным, ни свободным. И он восстал против обезличившей его природы, восстал, как раб, которому цепи натерли кровавые язвы на теле, но который долго не сознавал унизительности бесправного рабства и покорно сгибал спину под бичом надсмотрщика. Это было чувство лошади, которой силою чуда даровано человеческое сознание и ум в тот самый миг, когда кнут полосует ее спину, и у нее нет ни голоса, ни силы на сопротивление. И чем дольше, сильнее и безжалостнее был гнет, тем яростнее был гнев восставшего.

В это именно время Новиков получил от Сергея Петровича первое письмо, очень большое и малопонятное, так как Сергей Петрович совершенно не был в силах облечь в форму мыслей и слов все то, что он видел так ясно и хорошо. И Новиков не ответил на письмо, так как не любил переписки и был сильно занят пьянством, книгами и уроками по языкам. Одному из своих приятелей, которого он водил за собою по трактирам, он рассказал, однако, о Сергееве Петровиче, о письме и о Ницше и смеялся над Ницше, который так любил сильных, а делается проповедником для нищих духом и слабых.

Первым последствием возмущения был возврат Сергея Петровича к своим полузабытым и наивным мечтам. Но он не узнал их — так изменило их сознание права на счастье. И, отчаявшись в себе как в человеке, Сергей Петрович задумался над тем, мог ли бы он стать счастливым и при этих условиях. Счастье ведь так обширно и многогранно; лишенный возможности быть счастливым в одном найдет свое счастье в другом. И ответ, который нашел для себя Сергей Петрович, принудил его восстать против людей, как он уже возмутился против природы.

#### IV

Жил Сергей Петрович недалеко от комитетской столовой, в большом четырехэтажном доме, снизу до верху населенном квартирными хозяйствами и студентами. У него была маленькая, но чистенькая комната, и соседи его, студенты, оказались народом тихим и непьющим, так что одинаково удобно было заниматься и думать, и если существовало что неприятное, так это постоянный чад из кухни по утрам. Но заниматься Сергей Петрович бросил, и половину суток комната стояла пустая и темная.

Ходил он очень много, без устали, и длинную его фигуру в выцветшем картузне можно было встретить на всех улицах Москвы. В один морозный, но солнечный день он пробрался даже на Воробьевы горы и

оттуда долго смотрел на Москву, окутанную розовым туманом и дымом, и сверкающую пелену реки и огородов. На ходу легче было думать, да и то, что он видел, облегчало работу мысли, как рисунок к тексту облегчает его понимание для слабых умов. Подобно хозяину, который сознал свое разорение и в последний раз обходит свое имение, подводя печальные итоги, подводил свои итоги и Сергей Петрович, и они были так же печальны. Все виденное говорило ему, что и для него возможно было бы относительное счастье, но что в то же время он никогда не получит его, никогда.

Только одно могло дать счастье Сергею Петровичу: обладание тем, что он любил в жизни, и избавление от того, что он ненавидел. Он не верил Гартману, который всегда был сыт и утверждал, что обладание желаемым только разочаровывает, и думал, как Новиков, что философия пессимизма создана для утешения и обмана людей, которые лишены всего, что имеют другие. И он был уверен, что сумеет стать счастливым, если ему дадут деньги, эту странствующую по миру свободу, которую рабы чеканят для господ.

Сергей Петрович был трудолюбив, но не любил труда и страдал под его тяжестью, так как никогда его труд не был таким, чтобы давать наслаждение. В гимназии его трудом было учение вещей, которые были неинтересны и чужды ему, а иногда шли против его рассудка и совести, и тогда труд становился мучительным. В университете труд был легче, спокойнее и разумнее, но также не давал наслаждения холодному уму, а уроки, которые случалось иметь Сергею Петровичу, представляли обратную сторону гимназических и были так же мучительны. И будущий его труд как акцизного чиновника сулил ту же безрадостность и покорную скуку. Только летом, у себя в Смоленске, Сергей Петрович отдыхал за простою и грубою работою: столярничал, делал для маленьких братьев деревянные ружья и стрелы, чинил в саду заборы и скамейки и копал гряды, выворачивая блестящим скребком ноздреватую глянцевитую землю. И это было весело и радостно, но не было тем трудом, к ко-

торому предназначило его рождение от отца-чиновника и образование. Другие люди, страдающие от несогласия между способностями и трудом, иногда ломают рамки и идут, куда хотят, — в рабочие, в пахари, в бродяги. Но то люди сильные и смелые, каких немного на земле, а Сергей Петрович чувствовал себя слабым, робким и управляемым чьею-то чужою волей, как паровоз, которого только катастрофа может свести с рельсов, проложенных неизвестными руками. И не только сделать, но даже и вообразить он не мог, как это он бросит приличный костюм, квартиру, лекции и станет, оборванный, шататься по дорогам или идти за сохой. И первое, что могло бы приблизить его к счастью, — это свобода от чуждого и неприятного труда. И он имел право на свободу, так как видел людей, как и он, рожденных от женщины, как и он, имеющих нервы и мозг, которые не трудились совсем и отдавались только тем занятиям, которые радуют их.

«А что имеют другие, на то имею право и я», — думал Сергей Петрович в этот период возмущения против природы и людей.

И для него нашлись бы такие занятия, которые радуют. Главным из них было бы познание природы. Не проникновение в ее глубочайшие тайны — оно требовало ума, — а непосредственное познание ее глазами, обонянием, всеми чувствами. Он любил живую природу нежно и даже страстно, но глубоко скрытой любовью, о которой подозревал один Новиков. Какой-нибудь росточек травы весною, белый ствол березы, выходящий из мягкой пахучей земли, черные тоненькие сучки, прилипшие к ее мягкой груди, приковывали его глаза и радовали сердце. Он не понимал, за что он так любит эту черную землю, давшую ему столько горя, но когда весною он видел первый кусок ее, освободившийся от холодного и мертвого снега и словно вздыхающий под солнцем, — ему хотелось поцеловать его долгим и нежным поцелуем, каким целуют любимую женщину. И, обреченный всю жизнь проводить в узкой четырехугольной коробке, на пыльных грохочущих улицах, под грязным городским небом,

он завидовал бродягам, сон которых охраняют звезды и которые знают и видят так много. А он не видел в своей жизни и не увидит ничего, кроме березы, травки, неглубоких речек да невысоких бугров. Ему приходилось читать красивые и, вероятно, похожие описания моря и гор, но слабое воображение его не могло создать живых образов. И ему хотелось своими глазами убедиться — правда ли, что море так глубоко и бесконечно, что оно голубое, или зеленое, или даже красное, что по нему ходят высокие волны, а над ним по синему небу бегут белые облака или черные, страшные тучи. И правда ли, что горы так высоки, отвесны и лесисты и между ними синеют туманные ущелья, а под самым зеленым небом сверкают снежные вершины.

Правда ли?

Глубокий свистящий воздух, шедший из глубины запыленных легких, поднимал грудь Сергея Петровича и сгонял с его плоского лица стыдливо-восхищенную улыбку. И еще более, чем бродягам, завидовал он тем, кто владеет морем и горами.

Однажды, блуждая по городу и различая в толпе тех, кто свободен и властен и кто навсегда лишен свободы, Сергей Петрович увидел вывеску стереоскопической панорамы и зашел туда. Показывались горы, озера и замки Людвига Баварского. Цветные фотографии проходили перед глазами и были так живы и выпуклы, что чувствовался воздух и синяя даль, а вода блестела, как настоящая, и в ней отражались леса и замки. Белый, празднично-светлый и чистый пароход вздымал носом пенистые борозды, а на палубе стояли и сидели празднично одетые мужчины, женщины и дети, и, казалось, можно было различить радостную улыбку на их лицах. Потом он видел замок, который белел своими башнями и зубчатыми террасами над зеленью лесов, каскадами спадавших в долину, и видел внутренность замка. Величественные залы, бесчисленное множество картин, царственное великолепие бархата и тяжелой парчи, свет, льющийся в высокие готические окна и скользящий по паркетам полов. И на одном окне, спиной к Сергею Петровичу,

сидел кто-то, равнодушный и спокойный, и смотрел вниз, туда, где виднелись одни вершины гор и светлое небо. Сергей Петрович долго всматривался в неподвижную фигуру сидящего и как будто видел все, что видел тот: леса, долины и синюю сталь озер, и чувствовал, какой должен быть чистый и свежий воздух, которым дышит тот. И ему казалось, что среди величавых зал, уходящих, как небо, потолков, с окнами, из которых видно полмира, не может быть тоски и печальных размышлений. И самое главное и наибольее удивительное видел он: он видел человека, смешно подвернув ногу и выставившего подошву сапога так же, как Сергей Петрович подвернул бы ее под себя на его месте, и человек этот дышал горным воздухом и мог ходить по величавым залам. С внезапным порывом гневной тоски Сергей Петрович скрипнул зубами и сунулся вперед, точно желая сбросить в пропасть неподвижно сидящего человека, и больно стукнулся бровями и носом о рамки стекол. И ему стало стыдно при мысли, что гнев его напускной и рассчитанный именно на существование рамок, а что если бы человека этого он видел в действительности, он не осмелился бы коснуться его пальцем. Робкий и смиренный, содрогавшийся от вида зарезанной курицы, не был способен он и на гнев.

Когда Сергей Петрович вышел из помещения панорамы на кривой и горбатый московский переулок, с которого дворники счищали снег, а извозчики месили его полозьями, он подумал, что нет таких фактов, с которыми должен мириться человек.

За природою следовала музыка, искусство во всех его видах, какие доступны были пониманию Сергея Петровича и могли наполнить его жизнь и сделать ее интересною и разнообразною. За ними шла женская любовь, которой жаждало его сердце. В концертах, в театрах и на улице он видел породисто-красивых женщин, полных изящества и благородства, и хотел их любви. Одну из них он запомнил, встречая ее несколько раз, и мечтал о ней, а она ни разу не подняла на него своих глаз и не знала об его существовании. Ему

было противно воспоминание о любви девушки, которая полюла гряды и от которой пахло навозом и потом, и противна мысль о других таких же грубых женщинах, которые будут любить его и говорить с ним о рублях и ненавистном труде. Ему до боли хотелось любви этой женщины, имени которой он не знал и которая не понимает всего того, что мучит его и ему подобных. И как человек, никогда не имевший денег, он думал, что они могут дать ему любовь, и как человек, не знавший женской любви, думал, что она может дать ему счастье.

В это именно время Сергей Петрович поехал к женщинам, где встретили его товарищи, и намеренно не стал пить, чтобы яснее сознать то, что приходится в этом мире на долю его и ему подобных.

Чем больше вглядывался Сергей Петрович в жизнь, тем бессильнее и ничтожнее становилась в его глазах природа, безумно рассыпающая свои дары. И на место униженной природы перед его тусклыми глазами стала другая грозная и могучая сила — деньги. Ослепленный, потерявшийся, он стал думать, что они властвуют и над природой. И слабый мозг его поддался обману, и в сердце зажглась надежда. Он вынимал из кармана серебряный рубль и вертел его в руках с чувством странного любопытства и недоумения, точно впервые видел этот блестящий кружок. Они не с неба валятся, эти кружки, и он приобрел его и может еще приобрести много, и тогда в его руках будет могучая сила, властвующая над природой. И, как всякий человек, у которого мелькнула надежда, он стал думать не о возможности ее осуществления, а о том, что будет делать он, когда надежда осуществится. И эти несколько дней были отдыхом для Сергея Петровича, и он поднялся вверх, чтобы сильнее потом расшибиться о землю и уже не встать. Он взял данным то, что у него уже есть миллион, и мечтал о море, о горах и о женщине, имени которой он не знал и которая не подозревала об его существовании.

Но невозможно было остановить мысль, когда она начала работать и когда ее гнал такой жгучий кнут,

как видение сверхчеловека, того, кто полноправно владеет силою, счастьем и свободою. И когда оно мелькнуло перед утомленными глазами Сергея Петровича, он удивился, что, как и прежде, он отдается неосуществимым и детским мечтам. Было много путей к деньгам, но перед каждым стояла рогатка и не пускала Сергея Петровича. Он не мог украсть, как не мог и убить, так как не мозг, а чужая, неведомая воля управляла его поступками. Тот труд, который был доступен ему, не мог дать богатства, а все другое — игра на бирже, фабрика, служба с крупными окладами, искусство, женитьба на богатой, все то, что дозволяется законом и совестью и дает состояние в один день или в год, — так же не существовало для него, как и ум. И когда Сергей Петрович понял, что деньги не исправляют несправедливостей природы, а углубляют их и что люди всегда добиваются того, кто уже ранен природой, — отчаяние погасило надежду, и мрак охватил душу. Жизнь показалась ему узкою клеткою, и часты и толсты были ее железные прутья, и только один незапертый выход имела она.

И тогда новый период начался в жизни Сергея Петровича. Он никуда не выходил из дома и бывал только в столовой, являясь туда почти к самому ее закрытию, чтобы не встретить кого-нибудь из знакомых студентов. День и ночь он лежал на постели или ходил, и соседи и хозяйка уже успели привыкнуть к однообразному звуку шагов, какой иногда слышится из тюремных камер: раз-два-три вперед и раз-два-три назад. На столе лежала книга, и, хотя она была закрыта и запылена, изнутри ее гремел спокойный, твердый и беспощадный голос: «Если жизнь не удастся тебе, если ядовитый червь пожирает твоё сердце, знай, что удастся смерть».

## V

Раз нельзя победить — нужно умереть. И Сергей Петрович решил умереть и думал, что смерть его будет победою.

Мысль о смерти не была новою: она приходила к нему и раньше, как приходит и ко всякому человеку, у которого на пути много камней, но была так же бесплодна и бездеятельна, как и мечты о миллионе. Теперь же она явилась у Сергея Петровича как решение, и смерть стала не желаемым, чего может и не быть, а неизбежным, таким, что произойдет непременно. Из клетки открывался выход, и хотя он вел в неизвестность и мрак, это было безразлично для Сергея Петровича. Он смутно верил в новую жизнь и не страшился ее, так как только свободное я, которое не зависит ни от слабого мозга, ни от вялого сердца, унесет он с собою, а тело достанется в добычу земле, и пусть она творит из него новые мозг и сердце. И когда он ощущал в себе спокойную готовность умереть — впервые за всю свою жизнь он испытал глубокую и горделивую радость, радость раба, ломающего оковы.

— Я не трус, — сказал Сергей Петрович, и это была первая похвала, которую он от себя услышал и с гордостью принял.

Казалось бы, что мысль о смерти должна была уничтожить все заботы о жизни и о теле, уже более ни на что не нужном. Но с Сергеем Петровичем случилось обратное, и в последние дни своей жизни он снова стал тем педантично аккуратным и чистоплотным человеком, каким был раньше. Его удивило, как мог он столько времени оставлять в беспорядке свою комнату и стол, и прибрал его, разложил книги в том порядке, в каком они лежали всегда. Наверху он положил начатое для зачета сочинение — впоследствии оно перешло к Новикову, а особо «Так сказал Заратустра». Он даже не раскрыл Ницше и был совершенно равнодушен к книге, которую, по-видимому, не дочитал, так как карандашные отметки на полях идут только до половины третьей части. Быть может, он боялся, что найдет там что-нибудь новое и неожиданное и оно разрушит всю его мучительную и долгую работу, оставившую впечатление яркого и страшного сна.

Потом Сергей Петрович ходил в Центральные бани, с наслаждением плавал в холодном бассейне и,

встретив на улице товарища-студента, зашел с ним в портерную, «к немцу», где выпил бутылку пива. Дома, порозовевший, чистый, в белой полотняной рубашке, он долго сидел за чаем с малиновым вареньем, потом попросил у хозяйки иголку и стал чинить свою форменную тужурку. Она была уже старая и узкая и постоянно рвалась под мышками, и Сергею Петровичу уже не раз приходилось чинить ее. Его толстые и неловкие пальцы с трудом ловили маленькую иголку, терявшуюся в гнилом сером сукне. Несколько дней Сергей Петрович посвятил на приготовление цианистого кали и, когда яд был готов, с удовольствием посмотрел на маленький пузырек, думая не о смерти, которая заключается в нем, а об успешно выполненной работе. Хозяйка, маленькая, черненькая женщина, бывшая сородичка, по-видимому, что-нибудь подозревала, потому что очень обрадовалась, когда Сергей Петрович обнаружил признаки возвращения к обычной трудовой жизни. Она пришла в его комнату и долго болтала на ту тему, как скверно действует на молодых людей одиночество, и рассказала об одном своем знакомом, который был околоточным надзирателем и имел доходы, но от мрачного своего характера стал пить водку и попал на Хитровку, где теперь пишет за рюмку водки прошения и письма. Эту историю об околоточном надзирателе она рассказывала впоследствии всем приходившим студентам и добавляла, что уже тогда она заметила сходство в судьбе знакомого и Сергея Петровича.

— Заходите ко мне чайку попить, — приглашала она Сергея Петровича, без всякой, однако, задней мысли. — Да к товарищам бы прошлись, а то что это: ни к вам кто-нибудь, ни вы никуда.

Сергей Петрович последовал ее совету и обошел почти всех своих товарищей, но нигде подолгу не оставался.

Впоследствии студенты уверяли, что начавшееся безумие Сергея Петровича уже ясно обнаруживалось, и удивлялись, как они тогда же не заметили его. Обычно молчаливый и застенчивый даже со своими, Сер-

гей Петрович на этот раз болтал о всяких пустяках, а о Новикове вспоминал и говорил как равный и даже упрекнул его в поверхностности. При этом Сергей Петрович был весел и часто смеялся. Один молоденький студент передавал, что Сергей Петрович даже пел, но в этом уже все заметили преувеличение. Но все единогласно находили, что странность какая-то в Сергееве Петровиче несомненно существовала, и не заметили ее тогда же только потому, что вообще на Сергея Петровича внимания обращали мало. И по поводу этого недостатка внимания некоторые, особенно резко осуждавшие равнодушные и эгоистичность товарищней, возбудили интересный вопрос: возможно ли было спасение для Сергея Петровича в этот решительный момент его жизни? И находили, что спасение было вполне возможно, но не воздействием на него другого — сильного — ума, а влиянием близкого человека, матери или женщины, которая любила бы его. Полагали, что все эти дни Сергей Петрович находился в состоянии умственной тупости, схожей с гипнотическим сном, когда над волею безраздельно господствует своя или чужая идея. Ее нельзя было ослабить рассуждениями, но Сергея Петровича могла разбудить любовь. Крик матери, идущий от ее сердца, вид лица, которое так дорого и мило и на котором с детства знакома каждая морщинка, ее слезы, которые невыносимо видеть даже огрубевшему человеку, — все это могло бы призвать Сергея Петровича к сознанию действительности. Человек добрый и честный, он не осмелился бы внести смерть в материнское сердце и остался бы жить, если не для себя, то для других, любящих его. Многих малодушных, уже решавшихся на самоубийство, удерживало на земле сознание, что они нужны для любящих их, и они долго еще жили, укрепляясь в мысли, что более храбрости требуется для жизни, нежели для смерти. А еще более бывало таких, которые забывали причины, побудившие их на самоубийство, и даже жалели, что жизнь так коротка.

И с новым ожесточением одни из товарищней нападали на других и резко упрекали их в возмутительном

равнодушии. Какая-нибудь телеграмма в десяток слов, отправленная к матери Сергея Петровича, могла бы сохранить человеческую жизнь. Некоторых из студентов, всегда выдвигавших вперед общественную точку зрения, настоящий случай навел на размышления и разговоры о разъединенности студенчества, отсутствии общих интересов и умственном одиночестве. Возникло на короткое время несколько кружков саморазвития, где читались книги по общественным вопросам и писались рефераты.

Убить себя Сергей Петрович решил в пятницу, 11 декабря, когда многие из товарищей уже собирались уезжать на рождественские каникулы. В этот день, утром, он был в почтовом отделении, где сдал в отделе заказной корреспонденции тяжелое письмо, адресованное в Смоленск, Новикову, и полученную квитанцию спрятал в бумажник. В письме он сообщал о своей смерти и причинах ее, причем последние излагал по рубрикам, и все письмо производило такое впечатление, как будто он писал не о себе, а о другом каком-то мало для него интересном человеке. Днем Сергей Петрович пообедал в комитетской столовой, причем за обедом сидел очень долго и разговаривал со знакомыми, а после обеда спал также очень долго и крепко, так что встал только в одиннадцатом часу. Ему подали самовар, и студенты за стеною снова услышали однообразный звук шагов: раз-два-три вперед и раз-два-три назад. Когда уже поздно ночью заспанная горничная убирала самовар и посуду, Сергей Петрович говорил с нею, точно желая, чтобы она подольше не уходила, и был при этом, по ее словам, очень бледен.

...Сергей Петрович никак не ожидал того, что произойдет с ним в этот вечер, который он считал последним в своей жизни. Он был совершенно спокоен и весел и не думал о смерти, как и все эти дни. Думать о ней он начал только за час или за два до того момента, как принять яд. И мысли приходили откуда-то издалека, отрывочные и глухие. Сперва он подумал о хозяйке и далее о том, как он будет лежать и какой будет иметь вид. На минуту мысль его скакнула в сто-

рону, к воспоминаниям детства, именно к смерти его дяди. Он умер у них в доме, и Сергея Петровича, тогда еще семилетнего Сережу, увезли к знакомым. Проходя передней, уже одетый, он заглянул в залу и увидел там стол, за которым они всегда обедали, а на столе обращенные к нему неподвижные ступни ног в белых нитяных носках. Видел он их одну секунду, но запомнил на всю жизнь, и сама смерть долго представлялась ему не иначе как в виде неподвижных ступней ног в белых нитяных носках. Потом он вспомнил сравнительно недавний случай, когда он видел одни очень бедные и очень странные похороны. Странным в них было то, что никто решительно на всей улице, ни прохожие, ни извозчики, не обращали на них внимания и даже как будто совсем не видели их, так как никто не снял шапки. Четыре носильщика несли на носилках гроб, прикрытый чем-то темным, и шагали в ногу и так быстро, что гроб раскачивался, словно на волнах, и край покрывала отдувался при опускании. И не было видно ни духовенства, ни провожатых.

Когда от этих воспоминаний мысль вернулась к Сергею Петровичу, она стала удивительно острой, точной и светлой, как нож, который отточили. Еще минуту она в нерешительности колебалась, отмечая окружающую тишину, погасший самовар, тиканье карманных часов на столе, и внезапно, точно найдя, что ей нужно, вылепила картину похорон Сергея Петровича — такую правдивую, яркую и страшную, что он вздрогнул и руки его похолодели. С тою же неумолимою, ужасающею правдивостью она один за другим набрасывала последующие моменты: черную кривую пасть могилы, твердый и тесный гроб, позеленевшие пуговицы мундира и процесс разложения трупа. И похоже было, что это не Сергей Петрович думает, а чья-то гигантская рука быстро проволакивает перед ним самое жизнь и смерть в их непередаваемых красках.

И Сергей Петрович проснулся. Ему было так страшно, что хотелось кричать, и он с ужасом смотрел на маленький пузырек и пятился от него, точно

боясь, что ему насилино вольют в рот смертельную отраву. И больше всего в мире боялся он сейчас самого себя — того ужасного неповиновения, которое оказывали ему ноги и руки. Он пятился назад, а все тело его содрогалось от порывов вперед, к пузырьку. Ноги, руки, рот в самых, казалось, костях и венах своих наполнялись страстным, безумно-повелительным желанием броситься вперед, схватить пузырек и выпить его с наслаждением, с жадностью.

— Не хочу, не хочу! — шептал Сергей Петрович, и отталкивался руками, и пятился назад, но ему казалось, что он приближается к пузырьку, который расстет в его глазах. И когда дверь остановила его, он перестал видеть перед собою, вскрикнул и сделал шаг вперед.

В эту минуту вошла горничная за самоваром и долго собирала посуду, которую она плохо различала сонными глазами.

— Когда вас будить? — спросила она, уходя.

Сергей Петрович остановил ее и заговорил, но не слыхал ни своих вопросов, ни ее ответов. Но, когда он опять оказался один, в мозгу его осталась эта фраза: «Когда вас завтра будить?» — и звучала долго, настойчиво, пока Сергей Петрович не понял ее значения.

Он понял, что, как и все, он может раздеться и лечь спать, и его разбудят завтра, когда настанет новый день, и Сергей Петрович будет жить, как и все, потому что он не хочет умирать и не умрет и никто не может принудить его взять пузырек и выпить. Все еще дрожа, он взял пузырек, нарочно открыл его, ощутил запах горького миндаля и тихонько, слегка вздрогивающей рукой поставил на полку, где его не было видно за книгами. Теперь, когда пузырек побыл в его руках и он не умер, он уже не боялся ни его, ни себя.

Когда Сергей Петрович лег в постель, ему казалось, что спасенная жизнь радуется во всех малейших частицах его тела, пригретого одеялом. Он вытягивал ноги, руки, чуть не совершившие преступления, и в них чудилось что-то сладко-поющее тоненьким весе-

лым голоском, как будто кровь радовалась и пела, что не стала она осклизлой гниющей массой, а струится, веселая и красная, по широким и свободным путям. И такая же веселая, она переполняла сердце, и оно пело вместе с нею и торжествующе отбивало свой гимн жизни.

«Жить! Жить!» — думал Сергей Петрович, сгибая и разгибая послушные, гибкие пальцы. Пусть он будет несчастным, гонимым, обездоленным; пусть все презирают его и смеются над ним; пусть он будет последним из людей, ничтожеством, грязью, которую стряхивают с ног, — но он будет жить, жить! Он увидит солнце, он будет дышать, он будет сгибать и разгибать пальцы, он будет жить... жить! И это — такое счастье, такая радость, и никто не отнимет ее, и она будет продолжаться долго, долго... всегда! Бесконечное множество дней впереди зажигают свою зарю, и в каждой из них он будет жить, жить! И тут впервые за много дней Сергей Петрович вспомнил отца и мать — и ужаснулся и умилился. Он мысленно целовал морщины, по которым должны были скатиться слезы, и сердце его разрывалось от ликующего победного крика: я живу, живу! И когда он заснул легким, радостным сном, последним ощущением был соленый вкус слезы, омочившей губы.

День был морозный, и солнце светило, когда Сергей Петрович проснулся. Он долго не понимал, почему постель сделана, как всегда, и он лежит в ней живой, тогда как вчера он должен был умереть. Голова немного болела, и все тело ныло, как после сильных побоев. Постепенно, мысль за мыслью, он вспомнил все, что прошло вчера в его голове, и не понял, почему он так сильно испугался и что было страшного во всем том, что он знал всегда и десятки раз представлял себе. Смерть, похороны, могила... Ну а как же может иначе быть, если человек умирает? Конечно, его хоронят и для этого выкапывают могилу, и в могиле труп разлагается. И еще раз он внимательно и недоверчиво взгляделся во вчерашние страшные представления, но они были совсем бледные и тусклые и

все более бледнели, как это бывает с видениями сна, которые так ярки в первую минуту пробуждения и так скоро и бесследно стираются живыми впечатлениями действительности и дня. И в картинах смерти не было ничего страшного, и радость жизни представлялась непонятною и дикою.

И, как разгадка всего, мелькнула мысль, что он, Сергей Петрович, — трус и бахвал.

Он вспомнил про посланное к Новикову письмо, в котором он сообщает о своей смерти как о совершившемся факте, — и покраснел от стыда, почувствовал, что решение умереть стоит в нем такое же неизменное, спокойное и неотвратимое, как и вчера, когда он еще не поддавался приступу малодушного и непонятного страха. Страх исчез, но жгучий стыд медлил уходить, и всеми силами измученной души Сергей Петрович возмутился против исчезнувшего страха, этого позорнейшего звена на длинной и тяжелой цепи раба. Равнодушная слепая сила, вызвавшая Сергея Петровича из темных недр небытия, сделала последнюю попытку заковать его в колодки, как трусливого беглеца-неудачника, и хоть на несколько часов, но это удалось ей.

С новою силою вспыхнул жгучий стыд, и пламя его испепелило самую память о минутном приступе страха. И когда потухло его зарево, исчезла и тупая, ноющая боль тела, и все оно стало легким, почти неощутимым. Перестала болеть и голова, и мозг заработал с безумной быстротой и такою силой и ясностью, как это случается только при горячке. Губы содрогались от желания говорить, и на язык приходили слова, каких никогда не употреблял Сергей Петрович и не знал. И он говорил, что, если он останется жить теперь, он возненавидит себя, и ему придется выпить такую полную чашу самопрезрения, перед которой яд кажется нектаром. Его я, то независимое и благородное я, которое на миг почувствовало себя победителем и испытало безмерную радость торжества смелого духа над слепой и деспотической материей, убьет его, если не убьет яд. И Сергею Петровичу казалось, что

он чувствует в себе мощный рост этого *я*, чувствует, как поднимается он ввысь и громовые раскаты его голоса заглушают жалкий писк тела, сильного только ночью. Пусть сгибаются те, кто хочет, а он ломает свою железную клетку. И, жалкий, тупой и несчастный человек, в эту минуту он поднимается выше гениев, королей и гор, выше всего, что существует высокого на земле, потому что в нем побеждает самое чистое и прекрасное в мире — смелое, свободное и бессмертное человеческое *я*! Его не могут победить темные силы природы, оно господствует над жизнью и смертью — смелое, свободное и бессмертное *я*!

То, что испытывал Сергей Петрович, было похоже на горделивый и беспорядочный бред мании величия, как думали некоторые, читавшие третье письмо его к Новикову, выдержки из которого мы привели. Писал он его не одеваясь, на клочке бумаги, оказавшемся счетом от прачки, попало оно к Новикову после долгих мытарств, побывав в полиции и у мирового судьи. Тут же, не отходя от стола, он выпил и яд, и когда пришла горничная с самоваром, Сергей Петрович был уже без сознания. Раствор яда оказался приготовленным неумелыми руками и слабым, и Сергея Петровича поспели отвезти в Екатерининскую больницу, где он скончался только к вечеру.

Телеграмма к матери Сергея Петровича запоздала, и она приехала уже после похорон. Студенты, вызвавшие ее, находили, что это к лучшему, так как в гробу, с вскрытым и опорожненным черепом и пятнами на лице, Сергей Петрович был очень нехорош и даже страшен и мог произвести тяжелое впечатление. И все, что она нашла от своего сына, заключалось в книгах и подержанном платье, среди которого была и заношенная тужурка, разорванная под мышками и свежепочиненная.



## ЖИЛИ-БЫЛИ

### I

Богатый и одинокий купец Лаврентий Петрович Кошеверов приехал в Москву лечиться, и, так как болезнь у него была интересная, его приняли в университетскую клинику. Свой чемодан с вещами и шубу он оставил внизу, в швейцарской, а вверху, где находилась палата, с него сняли черную суконную пару и белье и дали в обмен казенный серый халат, чистое белье с черной меткой «Палата № 8» и туфли. Рубашка оказалась для Лаврентия Петровича мала, и нянька пошла искать новую.

— Уж очень вы велики! — сказала она, выходя из ванной, в которой производилось переодевание больных.

Полуобнаженный Лаврентий Петрович терпеливо и покорно ожидал и, наклонив большую лысую голову, сосредоточенно рассматривал свою высокую, отвислую, как у старой женщины, грудь и припухший живот, лежавший на коленях. Каждую субботу Лаврентий Петрович бывал в бане и видел там свое тело,

но теперь, покрывшееся от холода мурашками, бледное, оно показалось ему новым и, при всей своей видимой силе, очень жалким и больным. И весь он казался не принадлежащим себе с той минуты, когда с него сняли его привычное платье, и готов был делать все, что прикажут. Вернулась с бельем нянька, и, хотя силы у Лаврентия Петровича оставалось еще настолько, что он мог пришибить няньку одним пальцем, он послушно позволил ей одеть себя и неловко просунул голову в рубашку, собранную в виде хомута. С тою же покорною неловкостью он ждал, закинув голову, пока нянька завязывала у ворота тесемки, и затем пошел вслед за нею в палату. И ступал он своими медвежьими, вывернутыми ногами так нерешительно и осторожно, как делают это дети, которых неизвестно куда ведут старшие, — может быть для наказания. Рубашка все же оказалась ему узка, тянула при ходьбе плечи и трещала, но он не решился заявить об этом няньке, хотя дома, в Саратове, один его суровый взгляд заставлял судорожно метаться десятки людей.

— Вот ваше место, — указала нянька на высокую чистую постель и стоявший возле нее небольшой столик.

Это было очень маленькое место, только угол палаты, но именно поэтому оно понравилось измученному жизнью человеку. Торопливо, точно спасаясь от погони, Лаврентий Петрович снял халат, туфли и лег. И с этого момента все, что еще только утром гневило и мучило его, отошло от него, стало чужим и неважным. Память его быстро, в одной молниезарной картине, воспроизвела всю его жизнь за последние годы: неумолимую болезнь, день за днем пожиравшую силы; одиночество среди массы алчных родственников, в атмосфере лжи, ненависти и страха; бегство сюда, в Москву, — и так же внезапно потушила эту картину, оставив на душе одну тупую, замирающую боль. И без мыслей, с приятным ощущением чистого белья и покоя, Лаврентий Петрович погрузился в тяжелый и крепкий сон. Последними мелькнули в его полузакрытых глазах снежно-белые стены, луч солн-

ца на одной стене, и потом наступили часы долгого и полного забвения.

На другой день над головою Лаврентия Петровича появилась надпись на черной дощечке: «Купец Лаврентий Кошеверов, 52 л., поступил 25 февраля». Такие же дощечки и надписи были у двух других больных, находившихся в восьмой палате; на одной стояло: «Дьякон Филипп Сперанский, 50 л.», на другой — «Студент Константин Торбецкий, 23 л.». Белые меловые буквы красиво, но мрачно выделялись на черном фоне, и, когда больной лежал навзничь, закрыв глаза, белая надпись продолжала что-то говорить о нем и приобретала сходство с надмогильными оповещениями, что вот тут, в этой сырой или мерзлой земле, зарыт человек. В тот же день Лаврентия Петровича свешали, — оказалось в нем шесть пудов двадцать четыре фунта. Сказав эту цифру, фельдшер слегка улыбнулся и пошутил:

— Вы самый тяжелый человек на все клиники.

Фельдшер был молодой человек, говоривший и поступавший как доктор, так как только случайно он не получил высшего образования. Он ожидал, что в ответ на шутку больной улыбнется, как улыбались все, даже самые тяжелые, больные на ободрительные шутки докторов, но Лаврентий Петрович не улыбнулся и не сказал ни слова. Глубоко запавшие глаза смотрели вниз, и массивные скулы, поросшие редкой седоватой бородой, были стиснуты, как железные. И ожидавшему ответа фельдшеру сделалось неловко и неприятно: он уже давно, между прочим, занимался физиognомикой и по обширной матовой лысине причислил купца к отделу добродушных; теперь приходилось переместить его в отдел злых. Все еще не доверяя своим наблюдениям, фельдшер — звали его Иваном Ивановичем — решил со временем попросить у купца какую-нибудь его собственноручную записку, чтобы по характеру почерка сделать более точное определение его душевных свойств.

Вскоре после взвешивания Лаврентия Петровича впервые осматривали доктора; одеты они были в бе-

лые балахоны и оттого казались особенно важными и серьезными. И затем каждодневно они осматривали его по разу, по два, иногда одни, а чаще в сопровождении студентов. По требованию докторов Лаврентий Петрович снимал рубашку и все так же покорно ложился на постель, возвышаясь на ней огромной мясистою грудой. Доктора стукали по его груди молоточком, прикладывали трубку и слушали, перекидываясь друг с другом замечаниями и обращая внимание студентов на те или иные особенности. Часто они начинали расспрашивать Лаврентия Петровича о том, как он жил раньше, и он неохотно, но покорно отвечал. Выходило из его отрывочных ответов, что он много ел, много пил, много любил женщин и много работал; и при каждом новом «много» Лаврентий Петрович все менее узнавал себя в том человеке, который рисовался по его словам. Странно было думать, что это действительно он, купец Кошеверов, поступал так нехорошо и вредно для себя. И все старые слова: водка, жизнь, здоровье — становились полны нового и глубокого содержания.

Выслушивали и выстукивали его студенты. Они часто являлись в отсутствие докторов, и одни коротко и прямо, другие с робкою нерешительностью просили его раздеться, и снова начиналось внимательное и полное интереса рассматривание его тела. Сознанием важности производимого ими дела они вели дневник его болезни, и Лаврентию Петровичу думалось, что весь он перенесен теперь на страницы записей. С каждым днем он все менее принадлежал себе, и в течение целого почти дня тело его было раскрыто для всех и всем подчинено. По приказанию нянек он тяжело носил это тело в ванную или сажал его за стол, где обедали и пили чай все могущие двигаться больные. Люди ощупывали его со всех сторон, занимались им так, как никто в прежней жизни, и при всем том в продолжение целого дня его не покидало смутное чувство глубокого одиночества. Похоже было на то, что Лаврентий Петрович куда-то очень далеко едет, и все вокруг него носило характер временности,

неприспособленности для долгого житья. От белых стен, не имевших ни одного пятна, и высоких потолков веяло холодной отчужденностью; полы были всегда слишком блестящи и чисты, воздух слишком ровен, — в самых даже чистых домах воздух всегда пахнет чем-то особенным, тем, что принадлежит только этому дому и этим людям. Здесь же он был безразличен и не имел запаха. Доктора и студенты были всегда внимательны и предупредительны: шутили, похлопывали по плечу, утешали, но, когда они отходили от Лаврентия Петровича, у него являлась мысль, что это были возле него служащие, кондуктора на этой неведомой дороге. Уже тысячи людей перевезли они и каждый день перевозят, и их разговоры и распросы были только вопросами о билете. И чем больше занимались они телом, тем глубже и страшнее становилось одиночество души.

— Когда у вас бывают приемные дни? — спросил Лаврентий Петрович няньку. Он говорил коротко, не глядя на того, к кому были обращены слова.

— По воскресеньям и четвергам. Но если попросить доктора, то можно и в другие дни, — словоохотливо ответила нянька.

— А можно сделать так, чтобы совсем ко мне не пускали?

Нянька удивилась, но ответила, что можно, и этот ответ, видимо, обрадовал угрюмого больного. И весь этот день он был немного веселее и хотя не стал разговорчивее, но уже не с таким хмурым видом слушал все, что весело, громко и обильно болтал ему больной дьякон.

Приехал дьякон из Тамбовской губернии и в клинику поступил на один день раньше Лаврентия Петровича, но был уже хорошо знаком с обитателями всех пяти палат, помещавшихся наверху. Он был невысок ростом и так худ, что при раздевании у него каждое ребро выпячивалось, а живот втягивался, и все его слабосильное тельце, белое и чистое, походило на тело десятилетнего несложившегося мальчика. Волоса у него были густые, длинные, иссеры-седые и на

концах желтели и закручивались. Как из большой, не по рисунку, рамки выглядывало из них маленькое темное лицо с правильными, но миниатюрными чертами. По сходству его с темными и сухими лицами древних образов фельдшер Иван Иванович причислил дьякона к отделу людей суровых и нетерпимых, но после первого же разговора изменил свой взгляд и даже на некоторое время разочаровался в значении науки физиогномики. Отец дьякон, как все его называли, охотно и откровенно рассказывал о себе, о своей семье и о своих знакомых и так любознательно и наивно расспрашивал о том же других, что никто не мог сердиться и все так же откровенно рассказывали. Когда кто-нибудь чихал, о. дьякон издалека кричал веселым голосом:

— Исполнение желаний! За милую душу! — и кланялся.

К нему никто не приходил, и он был тяжело болен, но он не чувствовал себя одиноким, так как познакомился не только со всеми больными, но и с их посетителями, и не скучал. Больным он ежедневно по несколько раз желал выздороветь, здоровым желал, чтобы они в веселье и благополучии проводили время, и всем находил сказать что-нибудь доброе и приятное. Каждое утро он всех поздравлял: в четверг — с четвергом, в пятницу — с пятницей, и, что бы ни творилось на воздухе, которого он не видал, он постоянно утверждал, что погода сегодня приятная на редкость. При этом он постоянно и радостно смеялся продолжительным и неслышным смехом, прижимал руки ко впалому животу, хлопал руками по коленям, а иногда даже бил в ладоши. И всех благодариł, — иногда трудно было решить за что. Так, после чая он благодариł угрюмого Лаврентия Петровича за компанию.

— Так это мы с вами хорошо чайку попили — по небесному! Верно, отец, а? — говорил он, хотя Лаврентий Петрович пил чай отдельно и никому компании составлять не мог.

Он очень гордился своим дьяконским саном, который получил только три года тому назад, а раньше

был псаломщиком. И у всех — и у больных, и у приходящих — он спрашивал, какого роста их жены.

— А у меня жена очень высокая, — с гордостью говорил он после того или иного ответа. — И дети все в нее. Гренадеры, за милую душу!

Все в клиниках — чистота, дешевизна, любезность докторов, цветы в коридоре — вызывало его восторг и умиление. То смеясь, то крестясь на икону, он изливал свои чувства перед молчащим Лаврентием Петровичем и, когда слов не хватало, восклицал:

— За милую душу! Вот как перед Богом, за милую душу!

Третьим больным в восьмой палате был черный студент Торбецкий. Он почти не вставал с постели, и каждый день к нему приходила высокая девушка со скромно опущенными глазами и легкими, уверенными движениями. Стойная и изящная в своем черном плаще, она быстро проходила коридор, садилась у изголовья больного студента и просиживала от двух ровно до четырех часов, когда, по правилам, кончался прием посетителей и няньки подавали больным чай. Иногда они много и оживленно говорили, улыбаясь и понижая голос, но случайно вырывались отдельные громкие слова, как раз те, которые нужно было сказать шепотом: «Радость моя!» — «Я люблю тебя»; иногда они подолгу молчали и только глядели друг на друга загадочным, затуманенным взглядом. Тогда о. дьякон кашлял и со строгим деловым видом выходил из палаты, а Лаврентий Петрович, притворявшийся спящим, видел сквозь прищуренные глаза, как они целовались. И в сердце у него загоралась боль, и биться оно начинало неровно и сильно, а массивные скулы выдавались буграми и двигались. И с тою же холодною отчужденностью смотрели белые стены, и в их безупречной белизне была странная и грустная насмешка.

## II

День в палате начинался рано, когда еще только мутно серело от первых лучей рассвета, и был длин-

ный, светлый и пустой. В шесть часов больным подавали утренний чай, и они медленно пили его, а потом ставили градусник, измеряя температуру. Многие, как о. дьякон, впервые узнали о существовании у них температуры, и она представлялась чем-то загадочным, и измерение ее — делом очень важным. Небольшая стеклянная палочка со своими черными и красными черточками становилась показательницей жизни, и одна десятая градуса выше или ниже делала больного веселым или печальным. Даже вечно веселый о. дьякон впадал в минутное уныние и недоуменно качал головой, если температура его тела оказывалась ниже той, которую ему называли нормальной.

— Вот, отец, штука-то. Аз и ферт, — говорил он Лаврентию Петровичу, держа в руке градусник и с неодобрением рассматривая его.

— А ты подержи еще, поторгуйся, — насмешливо отвечал Лаврентий Петрович.

И о. дьякон торговался и, если ему удавалось добить еще одну десятую градуса, становился весел и горячо благодарил Лаврентия Петровича за науку. Измерение настраивало мысли на целый день на вопросы о здоровье, и все, что рекомендовалось докторами, выполнялось пунктуально и с некоторой торжественностью. Особенную торжественность в свои действия вносил о. дьякон и, держа градусник, глотая лекарство или выполняя какое-нибудь отправление, делал лицо важным и строгим, как при разговоре о посвящении его в сан. Ему дали, для надобностей анализа, несколько стаканчиков, и он в строгом порядке расставил их, а номера — первый, второй, третий... — попросил надписать студента, так как сам писал недостаточно красиво. На тех больных, которые не исполняли предписаний докторов, он сердился и постоянно со строгостью увещевал толстяка Минаева, лежавшего в десятой палате: Минаеву доктора не велели есть мяса, а он потихоньку таскал его у соседей по обеденному столу и, не жуя, глотал.

С семи часов палату заливал яркий дневной свет, проходивший в громадные окна, и становилось так

светло, как в поле, и белые стены, постели, начищенные медные тазы и полы — все блестело и сверкало в этом свете. К самым окнам редко кто-нибудь подходил: улица и весь мир, бывший за стенами клиники, потеряли свой интерес. Там люди жили; там, полная народа, пробегала конка, проходил серый отряд солдат, проезжали блестящие пожарные, открывались и закрывались двери магазинов, — здесь больные люди лежали в постелях, едва имея силы повернуть к свету ослабевшую голову; одетые в серые халаты, вяло бродили по гладким полам; здесь они болели и умирали. Студент получал газету, но ни он сам, ни другие почти не заглядывали в нее, и какая-нибудь неправильность в отправлении желудка у соседа волновала и трогала больше, чем война и те события, которые потом получают название мировых. Около одиннадцати часов приходили доктора и студенты, и опять начинался внимательный осмотр, длившийся часами. Лаврентий Петрович лежал всегда спокойно и смотрел в потолок, отвечая однозначно и хмуро; о. дьякон волновался и говорил так много и так невразумительно, с таким желанием всем доставить удовольствие и всем оказать уважение, что его трудно было понять.

О себе он говорил:

— Когда я пожаловал в клинику...

О няньке передавал:

— Они изволили поставить мне клизму...

Он всегда в точности знал, в каком часу и в какую минуту была у него изжога или тошнота, в каком часу ночи он просыпался и сколько раз. По уходе докторов он становился веселее, благодарил, умилялся и бывал очень доволен собою, если ему удавалось при прощании сделать не один общий поклон всем докторам, а каждому порознь.

— Так это чинно, — радовался он, — по-небесному!

И еще раз показывал молчащему Лаврентию Петровичу и улыбающемуся студенту, как он сделал поклон сперва доктору Александру Ивановичу и потом доктору Семену Николаевичу.

Он был болен неизлечимо, и дни его были сочтены, но он этого не знал, с восторгом говорил о путешествии в Троице-Сергиеву лавру, которое он совершил по выздоровлении, и о яблоне в своем саду, которая называлась белый налив и с которой нынешним летом он ожидал плодов. И в хороший день, когда стены и паркетный пол палаты щедро заливались солнечными лучами, ни с чем не сравнимыми в своей могучей силе и красоте, когда тени на снежном белье постелей становились прозрачно-синими, совсем летними, о. дьякон громко напевал трогательную песнь: «Высшую небес и чистейшую светлостей солнечных, избавльшую нас от клятвы, Владычицу мира песнями почтим!..»

Голос его, слабый и нежный тенор, начинал дрожать, и в волнении, которое он старался скрыть от окружающих, о. дьякон подносил к глазам платок и улыбался. Потом, пройдясь по комнате, он вплотную подходил к окну и вскидывал глаза к глубокому, безоблачному небу: просторное, далекое от земли, безмятежно красивое, оно само казалось величавою божественною песнью. И к ее торжественным звукам робко присоединялся дрожащий человеческий голос, полный трепетной и страшной мольбы: «От многих моих грехов немоществует тело, немоществует и душа моя: к Тебе прибегаю, благодатней, надежде ненадежных, Ты мне помози!..»

В определенный час подавался обед, снова чай и ужин, а в девять часов электрическая лампочка задерживалась синим матерчатым абажуром и начиналась такая же длинная и пустая ночь.

Клиники затихали.

Только в освещенном коридоре, куда выходили постоянно открытые двери палат, вязали чулки сиделки и тихо шептались и переругивались, да изредка, громко стучали ногами, проходил кто-нибудь из служителей, и каждый его шаг выделялся отчетливо и замирал в строгой постепенности. К одиннадцати часам замирали и эти последние отголоски минувшего дня, и звонкая, словно стеклянная, тишина, чутко сторожившая каждый легкий звук, передавала из палаты в палату

сонное дыхание выздоравливающих, кашель и слабые стоны тяжелых больных. Легки и обманчивы были эти ночные звуки, и часто в них таилась страшная загадка: хрюпит ли больной или же сама смерть уже бродит среди белых постелей и холодных стен.

Кроме первой ночи, в которую Лаврентий Петрович забылся крепким сном, все остальные夜里 он не спал, и они полны были новых и жутких мыслей. Закинув волосатые руки за голову, не шевелясь, он пристально смотрел на светившуюся сквозь синий абажур изогнутую проволоку и думал о своей жизни. Он не верил в Бога, не хотел жизни и не боялся смерти. Все, что было в нем силы и жизни, все было растрачено и изжито без нужды, без пользы, без радости. Когда он был молод и волосы его кучерявились на голове, он воровал у хозяина, его ловили и жестоко, без пощады били, и он ненавидел тех, кто его бил. В средних годах он душил своим капиталом маленьких людей и презирал тех, кто попадался в его руки, а они платили ему жгучей ненавистью и страхом. Пришла старость, пришла болезнь — и стали обкрадывать его самого, и он ловил неосторожных и жестоко, без пощады бил их... Так прошла вся его жизнь, и была она одною горькою обидой и ненавистью, в которой быстро гасли летучие огоньки любви и только холодную золу да пепел оставляли на душе. Теперь он хотел уйти от жизни, позабыть, но тихая ночь была жестока и безжалостна, и он то смеялся над людской глупостью и глупостью своей, то судорожно стискивал железные скулы, подавляя долгий стон. С недоверием к тому, что кто-нибудь может любить жизнь, он поворачивал голову к соседней постели, где спал дьякон. Долго и внимательно он рассматривал белый, неопределенный в своих очертаниях бугорок и темное пятно лица и бороды и злорадно шептал:

— Ду-рак!

Потом он глядел на спящего студента, которого днем целовала девушка, и еще с большим злорадством поправлялся:

— Дура-ки!

А днем душа его замирала, и тело послушно исполняло все, что прикажут, принимало лекарство и ворочалось. Но с каждым днем оно слабело и скоро было оставлено почти в полном покое, неподвижное, громадное и в этой обманчивой громадности кажущееся здоровым и сильным.

Слабел и о. дьякон: меньше ходил по палатам, реже смеялся, но, когда в палату заглядывало солнце, он начинал болтать весело и обильно, благодарили всех — и солнце и докторов — и вспоминал все чаще о яблоне белый налив. Потом он пел «Высшую небес», и темное, осунувшееся лицо его становилось более светлым, но также и более важным, сразу видно было, что это поет дьякон, а не псаломщик. Кончив песнь, он подходил к Лаврентию Петровичу и рассказывал, какую бумагу ему дали при посвящении.

— Вот этакая огромная, — показывал он руками, — и по всей буквы, буквы. Какие черные, какие с золотой тенью. Редкость, ей-богу!

Он крестился на икону и с уважением к себе добавлял:

— А внизу печать архиерейская. Огромадная, ей-богу, — чисто ватрушка. Одно слово, за милую душу! Верно, отец?

И он закатисто смеялся, скрывая светлеющие глаза в сети тоненьких морщинок. Но солнце пряталось за серой снежной тучей, в палате тускнело, и, вздыхая, о. дьякон ложился в постель.

### III

В поле и садах еще лежал снег, но улицы давно были чисты от него, сухи и в местах большой езды даже пыльны. Только из палисадников, обнесенных железными решетками, да со дворов выбегали тоненькие струйки воды и расплывались лужей по ровному асфальту; и от каждой такой лужи в обе стороны тянулись следы мокрых ног, вначале темные и частые, но дальше редкие и малозаметные, как будто проходившая здесь толпа разом была подхвачена на воздух и



опущена только у следующей лужи. Солнце лило в палату целые потоки света и так пригревало, что приходилось от него прятаться, как летом, и не верилось, что за тонкими стеклами окон воздух холоден, свеж и сыр. Сама палата, с ее высокими потолками, казалась при этом свете узким и душным закоулком, в котором нельзя протянуть руки, чтобы не наткнуться на стену. Голос улицы не проникал в клинику сквозь двойные рамы, но когда по утрам в палате открывали большую откидную фортуку — внезапно, без переходов, врывался в нее пьяно-веселый и шумный крик воробьев. Все остальные звуки затихали перед ним, скромные и как будто обиженные, а он торжествующе разносился по коридорам, подымался по лестницам, дерзко врывался в лабораторию, звонко перебегая по стеклянным колбочкам. Удаленные в коридор больные улыбались наивному, мальчишески дерзкому крику,

а о. дьякон закрывал глаза, протягивал вперед руки и шептал:

— Воробей! За милую душу, воробей!

Фортка закрывалась, звонкий воробышний крик умирал так же внезапно, как и родился, но больные точно еще надеялись найти спрятанные отголоски его, торопливо входили в палату, беспокойно оглядывали ее и жадно дышали распльывающимися волнами свежего воздуха.

Теперь больные чаще подходили к окнам и подолгу простоявали у них, протирая пальцами и без того чистые стекла; неохотно, с ворчаньем ставили градусники и говорили только о будущем. И у всех будущее это представлялось светлым и хорошим, даже у того мальчика из одиннадцатой палаты, который однажды утром был перенесен сторожами в отдельный номер, а затем неведомо куда исчез, — «выписался», как говорили няньки. Многие из больных видели, когда его переносили вместе с постелью в отдельный номер; несли его головою вперед, и он был неподвижен, только темные впавшие глаза переходили с предмета на предмет, и было в них что-то такое безропотно-печальное и жуткое, что никто из больных не выдерживал их взгляда — и отворачивался. И все догадались потом, что мальчик умер, но никого эта смерть не взволновала и не испугала: здесь она была тем обыкновенным и простым, чем кажется она, вероятно, на войне. Умер за это время и другой больной из той же одиннадцатой палаты. Это был низенький и на вид довольно еще свежий старичок, разбитый параличом; ходил он переваливаясь, одним плечом вперед, и всем больным рассказывал одну и ту же историю: о крещении Руси при Владимире Святом. Что трогало его в этой истории, так и осталось неизвестным, так как говорил он очень тихо и непонятно, закругляя слова и скрадывая окончания, но сам он, видимо, был в восторге, размахивал правой рукой и вращал правым глазом, — левая сторона тела была у него парализована. Если настроение его было хорошее, он заканчивал рассказ неожиданно громким и победным возгласом: «С нами Бог!» — по-

сле чего торопливо уходил, сконфуженно смеясь и наивно закрывая рукою лицо. Но чаще он бывал печален и жаловался, что ему не дают теплой ванны, от которой он обязательно должен поправиться. За несколько дней до смерти ему назначили вечером теплую ванну, и он весь тот день восклицал: «С нами Бог!» — и смеялся; когда он уже сидел в ванне, проходившие мимо больные слышали торопливое и полное блаженства воркование: это старичок в последний раз передавал наблюдавшему за ним сторожу историю о крещении Руси при Владимире Святом. В положении больных восьмой палаты заметных перемен не произошло: студент Торбецкий поправлялся, а Лаврентий Петрович и о. дьякон с каждым днем слабели; жизнь и сила выходили из них с такой зловещей бесшумностью, что они и сами почти не догадывались об этом, и казалось, что никогда они и не ходили по палате, а все так же спокойно лежали в постелях.

И все так же регулярно приходили доктора в своих белых балахонах и студенты, выслушивали и выступали и говорили между собою.

В пятницу, на пятой неделе Великого поста, о. дьякона водили на лекцию, и вернулся он из аудитории возбужденный и разговорчивый. Он закатисто смеялся, как и в первое время, крестился и благодарил и по временам подносил к глазам платок, после чего глаза становились красными.

— Чего это вы плачете, отец дьякон? — спросил студент.

— Ах, отец, и не говорите, — с умилением отозвался дьякон, — так это хорошо, за милую душу! Посадили меня Семен Николаевич в кресло, сами стали рядом и говорят студентам: «Вот, — говорят, — дьякон...»

Здесь о. дьякон сделал важное лицо, нахмурился, но слезы снова навернулись на его глазах, и, стыдливо отвернувшись, он пояснил:

— Уж очень трогательно читают Семен Николаевич! Так трогательно, что вся душа перевертывается. «Жил, — говорят, — был дьякон...»

О. дьякон всхлипнул.

— Жил-был дьякон...

Дальше от слез о. дьякон продолжать не мог, но, уже улегшись в постель, из-под одеяла шепнул сдавленным голосом:

— Всю жизнь рассказали. Как это я был псаломщиком, недоедал. Про жену тоже, спасибо им, упомянули. Так трогательно, так трогательно: будто помер ты, и над тобою читают. Жил, говорят... был, говорят... дьякон...

И пока о. дьякон говорил, всем стало видно, что этот человек умрет, стало видно с такою непреложною и страшною ясностью, как будто сама смерть стояла здесь, между ними. Невидимым страшным холодом и тьмою повеяло от веселого дьякона, и, когда с новым всхлипыванием он скрылся под одеялом, Торбецкий нервно потер похолодевшие руки, а Лаврентий Петрович грубо рассмеялся и закашлялся.

Последние дни Лаврентий Петрович сильно волновался и непрестанно повертыwał голову по направлению к сиявшему сквозь окно голубому небу; изменив своей неподвижности, он судорожно ворочался на постели, кряхтел и сердился на нянек. С тем же волнением он встречал доктора при ежедневном осмотре, и тот под конец заметил это. Был он добрый и хороший человек и участливо спросил:

— Что с вами?

— Скучно, — сказал Лаврентий Петрович. И сказал он это таким голосом, каким говорят страдающие дети, и закрыл глаза, чтобы скрыть слезы.

А в его «дневнике», среди заметок о том, каковы у больного пульс и дыхание и сколько раз его слабило, появилась новая отметка: «Больной жалуется на скуку».

К студенту по-прежнему приходила девушка, которую он любил, и щеки ее от свежего воздуха горели такой живой и нежной краской, что было приятно и почему-то немного грустно смотреть на них. Наклоняясь к самому лицу Торбецкого, она говорила:

— Посмотри, какие горячие щеки.

И он смотрел, но не глазами, а губами, и смотрел долго и очень крепко, так как стал выздоравливать и силы у него прибавилось. Теперь они не стеснялись других больных и целовались открыто; дьякон при этом деликатно отвертывался, а Лаврентий Петрович, не притворяясь уже спящим, с вызовом и насмешкою смотрел на них. И они любили о. дьякона и не любили Лаврентия Петровича.

В субботу о. дьякон получил из дома письмо. Он ждал его уже целую неделю, и все в клинике знали, что о. дьякон ждет письма, и беспокоились вместе с ним. Приободрившийся и веселый, он встал с постели и медленно бродил по палатам, всюду показывая письмо, принимая поздравления, кланяясь и благодаря. Всем давно уже было известно об очень высоком росте его жены, а теперь он сообщил о ней новую подробность:

— Здорово она у меня храпит. Когда ляжет в кровать, так ты ее хоть оглоблей бей — не подымешь. Храпит, да и все тут. Молодец, ей-богу!

Потом о. дьякон плутовато подмаргивал и воскликнул:

— А этакую штуку видел? Отец, а отец?

И он показывал четвертую страницу письма, на которой неумелыми, дрожащими линиями был обведен контур растопыренной детской руки, и посередине, как раз на ладони, было написано: «Тосик руку приложил». Перед тем как приложить руку, Тосик, по-видимому, был занят каким-нибудь делом, связанным с употреблением воды и грязи, так как на тех местах, что приходились против выпуклостей ладони и пальцев, бумага сохраняла явственные следы пятен.

— Внук-то хорош? Четыре года всего, а умен, так умен, что не могу я вам этого выразить. Руку приложил, а?

В восторге от остроумной шутки, о. дьякон хлопал себя руками по коленям и сгибался от приступа неподержимого тихого смеха. И лицо его, давно не видевшее воздуха, изжелта-бледное, становилось на минуту

ту лицом здорового человека, дни которого еще не сочтены. И голос его делался крепким и звонким, и бодростью дышали звуки трогательной песни: «Высшую небес и чистейшую светлостей солнечных, избавльшую нас от клятвы, Владычицу мира песньми почтим!..»

В этот же день водили на лекцию Лаврентия Петровича. Пришел он оттуда взволнованный, с дрожащими руками и кривой усмешкой, сердито оттолкнул няньку, помогавшую ему ложиться в постель, и тотчас же закрыл глаза. Но о. дьякон, сам переживший лекцию, дождался момента, когда глаза Лаврентия Петровича приоткрылись, и с участливым любопытством начал допрашивать о подробностях осмотра.

— Как, отец, трогательно, а? Тоже небось и про тебя говорили: жил, говорят, был купец...

Лицо Лаврентия Петровича гневно передернулось; обжегши дьякона взглядом, он повернулся к нему спиной и снова решительно закрыл глаза.

— Ничего, отец, ты не беспокойся. Выздоровеешь, да еще как откальывать-то начнешь — по-небесному! — продолжал о. дьякон.

Он лежал на спине и мечтательно глядел в потолок, на котором играл неведомо откуда отраженный солнечный луч. Студент ушел курить, и в минуты молчания слышалось только тяжелое и короткое дыхание Лаврентия Петровича.

— Да, отец, — медленно, с спокойной радостью говорил о. дьякон, — если будешь в наших краях, ко мне заезжай. От станции пять верст, — тебя всякий мужик довезет. Ей-богу, приезжай, угощу тебя за милую душу. Квас у меня — так это выразить я тебе не могу, до чего сладостен!

О. дьякон вздохнул и, помолчав, продолжал:

— К Троице я вот схожу. И за твое имя просфору выну. Потом соборы осмотрю. В баню пойду. Как они, отец, прозываются: торговые, что ли?

Лаврентий Петрович не ответил, и о. дьякон решил сам:

— Торговые. А там, за милую душу — домой!

Дьякон блаженно умолк, и в наступившей тишине короткое и прерывистое дыхание Лаврентия Петровича напоминало гневное сопение паровика, удерживаемого на запасном пути. И еще не рассеялась перед глазами дьякона вызванная им картина близкого счастья, когда в ухо его вошли непонятные и ужасные слова. Ужас был в одном их звуке; ужас был в грубом и злобном голосе, одно за одним ронявшем бессмысленные жестокие слова:

— На Ваганьково кладбище пойдешь — вот куда!

— Что ты говоришь, отец? — не понимал дьякон.

— На Ваганьково, на Ваганьково, говорю, пора, — ответил Лаврентий Петрович. Он повернулся лицом к о. дьякону и даже голову спустил с подушки, чтобы ни одно слово не миновало того, в кого оно было направлено. — А то в анатомический тебя сволокут и так там тебя взрежут — за милую душу!

Лаврентий Петрович рассмеялся.

— Что ты, что ты, Бог с тобой! — бормотал о. дьякон.

— Со мною-то ничего, а вот как тут покойников хоронят, так это потеха. Сперва руку отрежут — руку похоронят. Потом ногу отрежут — ногу похоронят. Так иного-то незадачливого покойника целый год таскают, перетаскать не могут.

Дьякон молчал и остановившимся взглядом смотрел на Лаврентия Петровича, а тот продолжал говорить. И было что-то отвратительное и жалкое в бесстыдной прямоте его речи.

— Смотрю я на тебя, отец дьякон, и думаю: старый ты человек, а глуп, прямо сказать, до святости. Ну и чего ты ерепенишься: «К Троице поеду, в баню пойду». Или вот тоже про яблоню белый налив. Жить тебе всего неделю, а ты...

— Неделя?

— Ну да, неделя. Не я говорю — доктора говорят. Лежал я намедни, будто спал, а тебя в палате не было, вот студенты и говорят: а скоро, говорят, нашему дьякону и того. Недельку протянет.

— Протянет?

— А ты думаешь, она помилует? — Слово «она» Лаврентий Петрович выговорил с страшной выразительностью. Затем он поднял кверху свой огромный бугроватый кулак и, печально полюбовавшись его массивными очертаниями, продолжал: — Вот, глянька! Приложу кого, так тут ему аз и хверт и будет. А тоже... Ну да, тоже. Эх, дьякон пустоголовый: «К Троице, в баню пойду». Получше тебя люди жили, да и те помирали.

Лицо о. дьякона было желто, как шафран; ни говорить, ни плакать он не мог, ни даже стонать. Молча и медленно он опустился на подушку и старательно, убегая от света и от слов Лаврентия Петровича, завернулся в одеяло и притих. Но тот не мог не говорить: каждым словом, которым он поражал дьякона, он приносил себе отраду и облегчение. И с притворным добродушием он повторял:

— Так-то, отче. Через недельку. Как ты говоришь: аз и хверт? Вот тебе аз и хверт. А ты в баню, — чудасия! Разве вот на том свете нас с тобой горячими вениками попарят — это, отчего же, очень возможно.

Но тут вошел студент, и Лаврентий Петрович неохотно умолк. Он попробовал закрыться одеялом, как и о. дьякон, но скоро высунул голову из тьмы и насмешливо поглядел на студента.

— А сестрица-то ваша сегодня, вижу, опять не придут? — спросил он студента с тем же притворным добродушием и нехорошой улыбкой.

— Да, нездорова, — коротко от окна бросил студент хмурый ответ.

— Какая жалость! — покачал головой Лаврентий Петрович. — Что же такое с ними?

Но студент не ответил: кажется, он не слыхал вопроса. Уже три раза девушка, которую он любил, пропускала часы свиданий; не придет она и сегодня. Торбецкий делал вид, что смотрит в окно на улицу так, от безделья, но в действительности старался заглянуть влево, где находился невидимый подъезд, и прижимался лбом к самому стеклу. И так между окном и часами, глядя то на одно, то на другое, провел он

время обычного приема посетителей, от двух до четырех часов. Усталый и побледневший, он неохотно выпил стакан чаю и лег в постель, не заметив ни странной молчаливости о. дьякона, ни такой же странной разговорчивости Лаврентия Петровича.

— Не пришли сестрица! — говорил Лаврентий Петрович и улыбался нехорошой улыбкой.

#### IV

В эту ночь, томительно долгую и пустую, так же горела лампочка под синим абажуром, и звонкая тишина вздрагивала и пугалась, разнося по палатам тихие стоны, храп и сонное дыхание больных. Где-то упала на камень чайная ложка, и звук получился чистый, как от колокольчика, и долго еще жил в тихом и неподвижном воздухе. В палате № 8 никто не спал в эту ночь, но все лежали тихо и походили на спящих. Один Торбецкий, не думавший о присутствии в палате посторонних людей, беспокойно ворочался, ложась то на спину, то на лицо, густо вздыхал и поправлял сплюзнувшее одеяло. Разва два он ходил курить и наконец заснул, так как поздоровевший организм брал свое. И сон его был крепок, и грудь подымалась ровно и легко. Должно быть, и сны пришли к нему хорошие: на губах у него появилась улыбка и долго не сходила, странная и трогательная при глубокой неподвижности тела и закрытых глазах.

Далеко, в темной и пустынной аудитории, пробило три часа, когда в ухо начавшего дремать Лаврентия Петровича вошел тихий, дрожащий и загадочный звук. Он родился тотчас за музыкальным боем часов и в первую секунду показался нежным и красивым, как далекая печальная песня. Лаврентий Петрович прислушался: звукширился ирос и, все такой же мелодичный, походил теперь на тихий плач ребенка, которого заперли в темную комнату, и он боится тьмы и боится тех, кто его запер, и сдерживает бьющиеся в груди рыдания и вздохи. В следующую секунду Лаврентий Петрович проснулся совсем

и разом понял загадку: плакал кто-то взрослый, плакал некрасиво, давясь слезами, задыхаясь.

— Кто это? — испуганно спросил Лаврентий Петрович, но не получил ответа.

Плач замер, и от этого в палате стало еще печальнее и тосклинее. Белые стены были неподвижны и холодны, и не было никого живого, кому можно было бы пожаловаться на одиночество и страх и просить защиты.

— Кто это плачет? — повторил Лаврентий Петрович. — Дьякон, это ты?

Рыданье словно пряталось где-то тут же, возле Лаврентия Петровича, и теперь, ничем не сдерживаемое, вырвалось на свободу. Одеяло, укрывавшее о. дьякона, заколыхалось, и металлическая дощечка дребезжащим стуком ударила об железку.

— Что ты! Что ты! — бормотал Лаврентий Петрович. — Не плачь.

Но о. дьякон плакал, и все чаще ударялась дощечка, сотрясаемая рыдающим и бьющимся телом. Лаврентий Петрович сел на постель, задумался и потом медленно спустил на пол затекшие ноги. Когда он встал на них, в голову ему ударило чем-то теплым и шумящим, словно целый десяток жерновов завертелся и загрохотал в его мозгу, дыхание прервалось, и потолок быстро поплыл куда-то вниз. С трудом удержавшись на ногах от приступа головокружения, ощущая толчки сердца так ясно, как будто изнутри груди кто-то бил молотком, Лаврентий Петрович отышался и решительно перешагнул пространство, отделявшее его от постели о. дьякона, — полтора шага. Здесь ему снова пришлось передохнуть. Прерывисто и тяжело сопя носом, он положил руку на вздрагивающий бугорок, пододвинувшийся, чтобы дать ему место на постели, и просительно сказал:

— Не плачь. Ну, чего плакать?! Боишься умирать?

О. дьякон порывисто сдернулся с головы и жалобно вскрикнул:

— Ах, отец!

— Ну что? Боишься?

— Нет, отец, не боюсь, — тем же жалобно поющим голосом ответил дьякон и энергично покачал головой. — Нет, не боюсь, — повторил он и, снова повернувшись на бок, застонал и дрогнул от рыданий.

— Ты на меня не сердись, что я тебе давеча сказал, — попросил Лаврентий Петрович. — Глупо, брат, сердиться.

— Да я не сержусь. Чего я буду сердиться? Разве это ты смерть накликал? Сама приходит... — И о. дьякон вздохнул высоким, все подымающимся звуком.

— Чего же ты плачешь? — все так же медленно и недоуменно спрашивал Лаврентий Петрович.

Жалость к о. дьякону начала проходить и сменялась мучительным недоумением. Он вопросительно переводил глазами с темного дьяконова лица на его седенькую бороденку, чувствовал под рукою бессильное трепыхание худенького тельца и недоумевал.

— Чего же ты ревешь? — настойчиво спрашивал он.

О. дьякон охватил руками лицо и, раскачивая головой, произнес высоким, поющим голосом:

— Ах, отец, отец! Солнышка жалко. Кабы ты знал... как оно у нас... в Тамбовской губернии, светит. За ми... за милую душу!

— Какое солнце? — Лаврентий Петрович не понял и рассердился на дьякона. Но тут же он вспомнил тот поток горячего света, что днем вливался в окно и золотил пол, вспомнил, как светило солнце в Саратовской губернии на Волгу, на лес, на пыльную тропинку в поле, — и всплеснул руками, и ударил ими себя в грудь, и с хриплым рыданием упал лицом вниз на подушку, бок о бок с головой дьякона. Так плакали они оба. Плакали о солнце, которого больше не увидают, о яблоне белый налив, которая без них даст свои плоды, о тьме, которая охватит их, о милой жизни и жестокой смерти. Звонкая тишина подхватывала их рыдания и вздохи и разносила по палатам, смешивая их с здоровым храпом сиделок, утомленных за день, со стонами и кашлем тяжелых больных и легким

дыханием выздоравливающих. Студент спал, но улыбка исчезла с его уст, и синие мертвенные тени лежали на его лице, неподвижном и в неподвижности своей грустном и страдающем. Немигающим, безжизненным светом горела электрическая лампочка, и белые высокие стены смотрели равнодушно и тупо.

Умер Лаврентий Петрович в следующую ночь, в пять часов утра. С вечера он крепко уснул, проснулся с сознанием, что он умирает и что ему нужно что-то сделать: позвать на помощь, крикнуть или перекреститься, — и потерял сознание. Высоко поднялась и опустилась грудь, дрогнули и разошлись ноги, свисла с подушки отяженевшая голова, и размашисто скатился с груди массивный кулак. О. дьякон услышал сквозь сон скрип постели и, не открывая глаз, спросил:

— Ты что, отец?

Но никто не ответил ему, и он снова уснул. Днем доктора уверили его, что он будет жить, и он поверил им и был счастлив: кланялся с постели одной головой, благодарил и поздравлял всех с праздником.

Счастлив был и студент и спал крепко, как здоровый. В этот день девушка приходила к нему, горячо целовала его и просидела дольше назначенного часа ровно на двадцать минут.

Солнце всходило.

5—16 февраля 1901 г.



## РАССКАЗ О СЕМИ ПОВЕШЕННЫХ

*Посвящается Л. Н. Толстому*

### 1. В ЧАС ДНЯ, ВАШЕ ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВО

Так как министр был человек очень тучный, склонный к апоплексии, то со всякими предосторожностями, избегая вызвать опасное волнение, его предупредили, что на него готовится очень серьезное покушение. Видя, что министр встретил известие спокойно и даже с улыбкой, сообщили и подробности: покушение должно состояться на следующий день, утром, когда он выедет с докладом; несколько человек террористов, уже выданных провокатором и теперь находящихся под неусыпным наблюдением сыщиков, должны с бомбами и револьверами собраться в час дня у подъезда и ждать его выхода. Здесь их и схватят.

— Постойте, — удивился министр, — откуда же они знают, что я поеду в час дня с докладом, когда я сам узнал об этом только третьего дня?

Начальник охраны неопределенно развел руками:

— Именно в час дня, ваше превосходительство.

Не то удивляясь, не то одобряя действия полиции, которая устроила все так хорошо, министр покачал головою и хмуро улыбнулся толстыми темными губами; и с тою же улыбкой, покорно, не желая и в дальнейшем мешать полиции, быстро собрался и уехал ночевать в чей-то чужой гостеприимный дворец. Также увезены были из опасного дома, около которого собираются завтра бомбометатели, его жена и двое детей.

Пока горели огни в чужом дворце и приветливые знакомые лица кланялись, улыбались и негодовали, сановник испытывал чувство приятной возбужденности — как будто ему уже дали или сейчас дадут большую и неожиданную награду. Но люди разъехались, огни погасили, и сквозь зеркальные стекла на потолок и стены лег кружевной и призрачный свет электрических фонарей; посторонний дому, с его картинаами, статуями и тишиной, входившей с улицы, сам тихий и неопределенный, он будил тревожную мысль о тщете запоров, охраны и стен. И тогда ночью, в тишине и одиночестве чужой спальни, сановнику стало невыносимо страшно.

У него было что-то с почками, и при каждом сильном волнении наливались водою и опухали его лицо, ноги и руки, и от этого он становился как будто еще крупнее, еще толще и массивнее. И теперь, горою вздутого мяса возвышаясь над придавленными пружинами кровати, он с тоскою больного человека чувствовал свое опухшее, словно чужое лицо и неотвязно думал о той жестокой судьбе, какую готовили ему люди. Он вспомнил, один за другим, все недавние ужасные случаи, когда в людей его сановного и даже еще более высокого положения бросали бомбы и бомбы рвали на клочки тело, разбрзгивали мозг по грязным кирпичным стенам, вышибали зубы из гнезд. И от этих воспоминаний собственное тучное больное тело, раскинувшееся на кровати, казалось уже чужим, уже испытывающим огненную силу взрыва; и чудилось, будто руки в плече отделяются от туловища, зубы выпадают, мозг разделяется на частицы, ноги немеют и лежат

покорно, пальцами вверх, как у покойника. Он усиленно шевелился, дышал громко, кашлял, чтобы ничем не походить на покойника, окружал себя живым шумом звенящих пружин, шелестящего одеяла; и чтобы показать, что он совершенно жив, ни капельки не умер и далек от смерти, как всякий другой человек, громко и отрывисто басил в тишине и одиночестве спальни:

— Молодцы! Молодцы! Молодцы!

Это он хвалил сыщиков, полицию и солдат, всех тех, кто охраняет его жизнь и так своевременно, так ловко предупредили убийство. Но шевелясь, но хваля, но усмехаясь насильственной кривой улыбкой, чтобы выразить свою насмешку над глупыми террористами-неудачниками, он все еще не верил в свое спасение, в то, что жизнь вдруг, сразу, не уйдет от него. Смерть, которую замыслили для него люди и которая была только в их мыслях, в их намерениях, как будто уже стояла тут, и будет стоять, и не уйдет, пока тех не схватят, не отнимут у них бомб и не посадят их в крепкую тюрьму. Вон в том углу она стоит и не уходит — не может уйти, как послушный солдат, чьей-то волею и приказом поставленный на караул.

— В час дня, ваше превосходительство! — звучала сказанная фраза, переливалась на все голоса: то весело-насмешливая, то сердитая, то упрямая и тупая. Словно поставили в спальню сотню заведенных граммофонов, и все они, один за другим, с идиотской старательностью машины выкрикивали приказанные им слова:

— В час дня, ваше превосходительство!

И этот завтрашний «час дня», который еще так недавно ничем не отличался от других, был только спокойным движением стрелки по циферблату золотых часов, вдруг приобрел зловещую убедительность, выскочил из циферблата, стал жить отдельно, вытянулся, как огромный черный столб, всю жизнь разрезающий надвое. Как будто ни до него, ни после него не существовало никаких других часов, а он только один, наглый и самомнительный, имел право на какое-то особенное существование.

— Ну? Чего тебе надо? — сквозь зубы, сердито спросил министр.

Орали граммофоны:

— В час дня, ваше превосходительство! — И черный столб ухмылялся и кланялся.

Скрипнув зубами, министр приподнялся на постели и сел, опершись лицом на ладони, — положительно он не мог заснуть в эту отвратительную ночь.

И с ужасающей яркостью, зажимая лицо пухлыми надушенными ладонями, он представил себе, как завтра утром он вставал бы, ничего не зная, потом пил бы кофе, ничего не зная, потом одевался бы в прихожей. И ни он, ни швейцар, подававший шубу, ни лакей, приносивший кофе, не знали бы, что совершиенно бессмысленно пить кофе, надевать шубу, когда через несколько мгновений все это: и шуба, и его тело, и кофе, который в нем, будет уничтожено взрывом, взято смертью. Вот швейцар открывает стеклянную дверь... И это он, милый, добрый, ласковый швейцар, у которого голубые солдатские глаза и ордена во всю грудь, сам, своими руками открывает страшную дверь, — открывает, потому что не знает ничего. Все улыбаются, потому что ничего не знают.

— Ого! — вдруг громко сказал он и медленно отвел от лица ладони.

И, глядя в темноту, далеко перед собою, остановившись, напряженным взглядом, так же медленно протянул руку, нашупал рожок и зажег свет. Потом встал и, не надевая туфель, босыми ногами по ковру обошел чужую, незнакомую спальню, нашел еще рожок от стенной лампы и зажег. Стало светло и приятно, и только взбудораженная постель со свалившимся на пол одеялом говорила о каком-то не совсем еще прошедшем ужасе.

В ночном белье, с взлохматившейся от беспокойных движений бородою, с сердитыми глазами, сановник был похож на всякого другого сердитого старика, у которого бессонница и тяжелая одышка. Точно оголила его смерть, которую готовили для него люди, оторвала от пышности и внушительного великолепия,

которые его окружали, и трудно было поверить, что это у него так много власти, что это его тело, такое обыкновенное, простое человеческое тело, должно было погибнуть страшно, в огне и грохоте чудовищного взрыва. Не одеваясь и не чувствуя холода, он сел в первое попавшееся кресло, подпер рукою взлохмаченную бороду и сосредоточенно, в глубокой и спокойной задумчивости, уставил глазами в лепной незнакомый потолок.

Так вот в чем дело! Так вот почему он так струсили и так взволновался! Так вот почему она стоит в углу и не уходит и не может уйти!

— Дураки! — сказал он презрительно и веско.

— Дураки! — повторил он громче и слегка повернулся голову к двери, чтобы слышали те, к кому это относится. А относилось это к тем, кого недавно он называл молодцами и кто в излишке усердия подробно рассказал ему о готовящемся покушении.

«Ну конечно, — думал он глубоко, внезапно окрепшую и плавною мыслью, — ведь это теперь, когда мне рассказали, я знаю и мне страшно, а ведь тогда бы я ничего не знал и спокойно пил бы кофе. Ну а потом, конечно, эта смерть, — но разве я так боюсь смерти? Вот у меня болят почки, и умру же я когда-нибудь, а мне не страшно, потому что ничего не знаю. А эти дураки сказали: «В час дня, ваше превосходительство!» И думали, дураки, что я буду радоваться, а вместо того она стала в углу и не уходит. Не уходит, потому что это моя мысль. И не смерть страшна, а знание ее; и было бы совсем невозможно жить, если бы человек мог вполне точно и определенно знать день и час, когда умрет. А эти дураки предупреждают: «В час дня, ваше превосходительство!»

Стало так легко и приятно, словно кто-то сказал ему, что он совсем бессмертен и не умрет никогда. И, снова чувствуя себя сильным и умным среди этого стада дураков, что так бессмысленно и нагло врываются в тайну грядущего, он задумался о блаженстве неведения тяжелыми мыслями старого, больного, много испытавшего человека. Ничему живому,

ни человеку, ни зверю, не дано знать дня и часа своей смерти. Вот он был болен недавно, и врачи сказали ему, что умрет, что нужно сделать последние распоряжения, — а он не поверил им и действительно остался жив. А в молодости было так: запутался он в жизни и решил покончить с собой; и револьвер подготовил, и письма написал, и даже назначил час дня самоубийства, — а перед самым концом вдруг передумал. И всегда в самое последнее мгновение может что-нибудь измениться, может явиться неожиданная случайность, и оттого никто не может про себя сказать, когда он умрет.

«В час дня, ваше превосходительство», — сказали ему эти любезные ослы, и, хотя сказали только потому, что смерть предотвращена, одно уже знание ее возможного часа наполнило его ужасом. Вполне допустимо, что когда-нибудь его и убьют, но завтра этого не будет — завтра этого не будет, — и он может спать спокойно, как бессмертный. Дураки, они не знали, какой великий закон они свернули с места, какую дыру открыли, когда сказали с этой своею идиотской любезностью: «В час дня, ваше превосходительство».

— Нет, не в час дня, ваше превосходительство, а неизвестно когда. Неизвестно когда. Что?

— Ничего, — ответила тишина. — Ничего.

— Нет, ты говоришь что-то.

— Ничего, пустяки. Я говорю: завтра, в час дня.

И с внезапной острой тоскою в сердце он понял, что не будет ему ни сна, ни покоя, ни радости, пока не пройдет этот проклятый, черный, выхваченный из циферблата час. Только тень знания о том, о чем не должно знать ни одно живое существо, стояла там, в углу, и ее было достаточно, чтобы затмить свет и нагнать на человека непроглядную тьму ужаса. Потревоженный однажды страх смерти расплывался по телу, внедрялся в кости, тянул бледную голову из каждой поры тела.

Уже не завтрашних убийц боялся он — они исчезли, забылись, смешались с толпою враждебных лиц

и явлений, окружающих его человеческую жизнь, — а чего-то внезапного и неизбежного: апоплексического удара, разрыва сердца, какой-то тоненькой глупой аорты, которая вдруг не выдержит напора крови и лопнет, как тугу натянутая перчатка на пухлых пальцах.

И страшно казалась короткая толстая шея, и невыносимо было смотреть на заплывшие короткие пальцы, чувствовать, как они коротки, как они полны смертельною влагой. И если раньше, в темноте, он должен был шевелиться, чтобы не походить на мертвеца, то теперь, в этом ярком, холодно-враждебном, страшном свете, казалось ужасным, невозможным пошевелиться, чтобы достать папиресу позвонить кого-нибудь. Нервы напрягались. И каждый нерв казался похожим на вздыбившуюся, выгнутую проволоку, на вершине которой маленькая головка с безумно вытаращенными от ужаса глазами, судорожно разинутым, задохнувшимся, безмолвным ртом. Нечем дышать.

И вдруг в темноте, среди пыли и паутины, где-то под потолком ожил электрический звонок. Маленький металлический язычок судорожно, в ужасе, бился о край звенящей чашки, замолкал — и снова трепетал в непрерывном ужасе и звоне. Это звонил из своей комнаты его превосходительство.

Забегали люди. Там и здесь, в люстрах и по стене, вспыхнули отдельные лампочки, — их мало было для света, но достаточно для того, чтобы появились тени. Всюду появились они: встали в углах, протянулись по потолку; трепетно цепляясь за каждое возвышение, прилегли к стенам; и трудно было понять, где находились раньше все эти бесчисленные уродливые молчаливые тени, безгласные души безгласных вещей.

Что-то громко говорил густой дрожащий голос. Потом требовали доктора по телефону: сановнику было дурно. Вызвали и жену его превосходительства.

## 2. К СМЕРТНОЙ КАЗНИ ЧЕРЕЗ ПОВЕШЕНИЕ

Вышло так, как загадала полиция. Четверых террористов, трех мужчин и одну женщину, вооруженных бомбами, адскими машинами и револьверами, схватили у самого подъезда, пятую — нашли и арестовали на конспиративной квартире, хозяйкою которой она состояла. Захватили при этом много динамиту, полуснаряженных бомб и оружия. Все арестованные были очень молоды: старшему из мужчин было двадцать восемь лет, младшей из женщин всего девятнадцать. Судили их в той же крепости, куда заключили после ареста, судили быстро и глухо, как делалось в то беспощадное время.

На суде все пятеро были спокойны, но очень серьезны и очень задумчивы: так велико было их презрение к судьям, что никому не хотелось лишней улыбкой или притворным выражением веселья подчеркнуть свою смелость. Ровно настолько были они спокойны, сколько нужно для того, чтобы оградить свою душу и великий предсмертный мрак ее от чужого, злого и враждебного взгляда. Иногда отказывались отвечать на вопросы, иногда отвечали — коротко, просто и точно, словно не судьям, а статистикам отвечали они для заполнения каких-то особенных таблиц. Трое, одна женщина и двое мужчин, назвали свои настоящие имена, двое откаzzались назвать их и так и остались для судей неизвестными. И ко всему происходившему на суде обнаруживали они то смягченное, сквозь дымку, любопытство, которое свойственно людям или очень тяжело больным, или же захваченным одною огромною, всепоглощающей мыслью. Быстро взглядывали, ловили на лету какое-нибудь слово, более интересное, чем другие, — и снова продолжали думать, с того же места, на каком остановилась мысль.

Первым от судей помещался один из назвавших себя — Сергей Головин, сын отставного полковника, сам бывший офицер. Это был совсем еще молодой, белокурый, широкоплечий юноша, такой здоровый, что ни тюрьма, ни ожидание неминуемой смерти не мог-

ли стереть краски с его щек и выражения молодой, счастливой наивности с его голубых глаз. Все время он энергично пощипывал лохматую светлую бородку, к которой еще не привык, и неотступно, щурясь и мигая, глядел в окно.

Это происходило в конце зимы, когда среди снежных бурь и тусклых морозных дней недалекая весна посыпала, как предтечу, ясный, теплый, солнечный день или даже один только час, но такой весенний, такой жадно молодой и сверкающий, что воробы на улице сходили с ума от радости и точно пьянили люди. И теперь в верхнее запыленное, с прошлого лета не протиравшееся окно было видно очень странное и красивое небо: на первый взгляд оно казалось молочно-серым, дымчатым, а когда смотреть дольше — в нем начинала проступать синева, оно начинало голубеть все глубже, все ярче, все беспредельнее. И то, что оно не открывалось все сразу, а целомудренно таилось в дымке прозрачных облаков, делало его милым, как девушки, которую любишь; и Сергей Головин глядел в небо, пощипывал бородку, щурил то один, то другой глаз с длинными пушистыми ресницами и что-то усиленно соображал. Один раз он даже быстро защепелил пальцами и наивно сморщился от какой-то радости, — но взглянул кругом и погас, как искра, на которую наступили ногою. И почти мгновенно сквозь краску щек, почти без перехода в бледность, проступила землистая, мертвенная синева; и пушистый волос, с болью выдираясь из гнезда, сжался, как в тисках, в побелевших на кончиках пальцах. Но радость жизни и весны была сильнее — и через несколько минут прежнее, молодое, наивное лицо тянулось к весеннему небу.

Туда же, в небо, смотрела молодая бледная девушка, неизвестная, по прозвищу Муся. Она была моложе Головина, но казалась старше в своей строгости, в черноте своих прямых и гордых глаз. Только очень тонкая, нежная шея да такие же тонкие девичьи руки говорили о ее возрасте, да еще то неуловимое, что есть сама молодость и что звучало так ясно в ее голосе, чи-

стом, гармоничном, настроенном безупречно, как дорогой инструмент, в каждом простом слове, восклициании, открывающем его музыкальное содержание. Была она очень бледна, но не мертвенно бледностью, а той особенной горячей белизной, когда внутри человека как бы зажжен огромный, сильный огонь и тело прозрачно светится, как тонкий севрский фарфор. Сидела она почти не шевелясь и только изредка незаметным движением пальцев ощупывала углубленную полоску на среднем пальце правой руки, след какого-то недавно снятого кольца. И на небо она смотрела без ласки и радостных воспоминаний, только потому, что во всей грязной казенной зале этот голубой кусочек неба был самым красивым, самым чистым и правдивым — ничего не выпытывал у ее глаз.

Сергея Головина судьи жалели, ее же ненавидели.

Также не шевелясь, в несколько чопорной позе, сложив руки между колен, сидел сосед ее, неизвестный, по прозвищу Вернер. Если лицо можно замкнуть, как глухую дверь, то свое лицо неизвестный замкнул, как дверь железную, и замок на ней повесил железный. Смотрел он неподвижно вниз, на дощатый грязный пол, и нельзя было понять: спокоен он или волнуется бесконечно, думает о чем-нибудь или слушает, что показывают перед судом сыщики. Роста он был невысокого; черты лица имел тонкие и благородные. Нежный и красивый настолько, что напоминал лунную ночь где-нибудь на юге, на берегу моря, где кипарисы и черные тени от них, он в то же время будил чувство огромной спокойной силы, непреоборимой твердости, холодного и дерзкого мужества. Самая вежливость, с какою давал он короткие и точные ответы, казалась опасною в его устах, в его полупоклоне; и если на всех других арестантский халат казался нелепым щутовством, то на нем его не было видно совсем — так чуждо было платье человеку. И хотя у других террористов были найдены бомбы и адские машины, а у Вернера только черный револьвер, судьи считали почему-то главным его и обращались к нему с некоторой почтительностью, так же кратко и деловито.

Следующий за ним, Василий Каширин, весь состоял из одного сплошного, невыносимого ужаса смерти и такого же отчаянного желания сдержать этот ужас и не показать его судьям. С самого утра, как только повели их на суд, он начал задыхаться от учащенного биения сердца; на лбу все время капельками выступал пот, так же потны и холодны были руки, и липла к телу, связывая его движения, холодная потная рубаха. Сверхъестественным усилием воли он заставлял пальцы свои не дрожать, голос быть твердым и отчетливым, глаза спокойными. Вокруг себя он ничего не видел, голоса приносились к нему как из тумана, и в этот же туман посыпал он свои отчаянные усилия — отвечать твердо, отвечать громко. Но, ответив, он тотчас забывал как и вопрос, так и ответ свой и снова молчаливо и страшно боролся. И так явственно выступала в нем смерть, что судьи избегали смотреть на него, и трудно было определить его возраст, как у трупа, который уже начал разлагаться. По паспорту же ему было всего двадцать три года. Раз или два Вернер тихо прикасался рукою к его колену, и каждый раз он отвечал одним словом:

— Ничего.

Самое страшное было для него, когда являлось вдруг нестерпимое желание кричать — без слов, животным отчаянным криком. Тогда он тихо прикасался к Вернеру, и тот, не поднимая глаз, отвечал ему тихо:

— Ничего, Вася. Скоро кончится.

И, всех обнимая материнским заботливым оком, изнывала в тревоге пятая террористка, Таня Ковальчук. У нее никогда не было детей, она была еще очень молода и краснощека, как Сергей Головин, но казалась матерью всем этим людям: так заботливы, так бесконечно любовны были ее взгляды, улыбка, страхи. На суд она не обращала никакого внимания, как на нечто совсем постороннее, и только слушала, как отвечают другие: не дрожит ли голос, не боится ли, не дать ли воды.

На Васю она не могла смотреть от тоски и только тихонько ломала свои пухлые пальцы; на Мусю и Вернера смотрела с гордостью и почтением и лицо делала серьезное и сосредоточенное, а Сергею Головину все старалась передать свою улыбку.

«Милый, на небо смотрит. Посмотри, посмотри, голубчик, — думала она про Головина. — А Вася? Что же это, боже мой, боже мой... Что же мне с ним делать? Сказать что-нибудь — еще хуже сделаешь: вдруг заплачет?»

И, как тихий пруд на заре, отражающий каждое бегущее облако, отражала она на пухлом, милом, добром лице своем всякое быстрое чувство, всякую мысль тех четверых. О том, что ее также судят и также повесят, она не думала совсем — была глубоко равнодушна. Это у нее на квартире открыли склад бомб и динамита; и, как ни странно, это она встретила полицию выстрелами и ранила одного сыщика в голову.

Суд кончился часов в восемь, когда уже стемнело. Постепенно гасло перед глазами Муси и Сергея Головина синеющее небо, но не порозовело оно, не улыбнулось тихо, как в летние вечера, а замутилось, посерело, вдруг стало холодным и зимним. Головин вздохнул, потянулся, еще раза два взглянул в окно, но там стояла уже холодная ночная тьма; и, продолжая пощипывать бородку, он начал с детским любопытством разглядывать судей, солдат с ружьями, улыбнулся Тане Ковальчук. Муся же, когда небо погасло, спокойно, не опуская глаз на землю, перевела их в угол, где тихо колыхалась паутинка под незаметным напором духового отопления; и так оставалась до объявления приговора.

После приговора, простившись с защитниками во фраках и избегая их беспомощно-растерянных, жалобных и виноватых глаз, обвиненные столкнулись на минуту в дверях и обменялись короткими фразами.

— Ничего, Вася. Кончится скоро все, — сказал Вернер.

— Да я, брат, ничего, — громко, спокойно и даже как будто весело ответил Каширин.

И действительно, лицо его слегка порозовело и уже не казалось лицом разлагающегося трупа.

— Чтобы черт их побрал, ведь повесили-таки! — наивно обругался Головин.

— Так и нужно было ожидать, — ответил Вернер спокойно.

— Завтра будет объявлен приговор в окончательной форме, и нас посадят вместе, — сказала Ковальчук, утешая. — До самой казни вместе будем сидеть.

Муся молчала. Потом решительно двинулась вперед.

### 3. МЕНЯ НЕ НАДО ВЕШАТЬ

За две недели перед тем, как судили террористов, тот же военно-окружной суд, но только в другом составе, судил и приговорил к смертной казни через повешение Ивана Янсона, крестьянина.

Этот Иван Янсон был батраком у зажиточного фермера и ничем особенным не отличался от других таких же работников-бобылей. Родом он был эстонец, из Вензенберга, и постепенно, в течение нескольких лет, переходя из одной фермы в другую, приединился к самой столице. По-русски он говорил очень плохо, а так как хозяин его был русский, по фамилии Лазарев, и эстонцев поблизости не было, то почти все два года Янсон молчал. По-видимому, и вообще он не был склонен к разговорчивости; и молчал не только с людьми, но и с животными: молча поил лошадь, молча запрягал ее, медленно и лениво двигаясь вокруг нее маленькими, неуверенными шажками, а когда лошадь, недовольная молчанием, начинала капризничать и заигрывать, молча бил ее кнутовищем. Бил он ее жестоко, с холодной и злой настойчивостью, и если это случалось в то время, когда он находился в тяжелом состоянии похмелья, то доходил до неистовства. Тогда до самого дома доносился хлест кнута и испуганный, дробный, полный боли стук копыт по дощатому полу сараев. За то, что Янсон бьет лошадь, хозяин бил его самого, но исправить не мог и так и бросил.

Раз или два в месяц Янсон напивался, и происходило это обычно в те дни, когда он отвозил хозяина на большую железнодорожную станцию, где был буфет. Ссадив хозяина, он отъезжал на полверсты от станции и там, завязив в снегу в стороне от дороги сани и лошадь, пережидал отхода поезда. Сани стояли боком, почти лежали, лошадь по пузу уходила в сугроб раскоряченными ногами и изредка тянула морду вниз, чтобы лизнуть мягкого пушистого снега, а Янсон полулежал в неудобной позе на санях и как будто дремал. Развязанные наушники его облезлой меховой шапки бессильно свисали вниз, как уши у легавой собаки, и было влажно под маленьким красноватым носиком.

Потом Янсон возвращался на станцию и быстро напивался.

Назад на ферму, все десять верст, он несся вскачь. Избитая, доведенная до ужаса лошаденка скакала всеми четырьмя ногами как угорелая, сани раскатывались, наклонялись, бились о столбы, а Янсон, опустив вожжи и каждую минуту почти вылетая из саней, не то пел, не то выкрикивал что-то по-эстонски отрывистыми, слепыми фразами. А чаще даже и не пел, а молча, крепко стиснув зубы от наплыва неведомой ярости, страданий и восторга, несся вперед и был как слепой: не видел встречных, не окрикивал, не замедлял бешеного хода ни на заворотах, ни на спусках. Как он не задавил кого-нибудь, как сам не разбился насмерть в одну из таких диких поездок — оставалось непонятным.

Его уже давно следовало прогнать, как прогоняли его и с других мест, но он был дешев и другие работники бывали не лучше, и так оставался он два года. Событий в жизни Янсона не было никаких. Однажды он получил письмо по-эстонски, но так как сам был неграмотен, а другие по-эстонски не знали, то так письмо и осталось непрочитанным; и с каким-то диким, изуверским равнодушием, точно не понимая, что письмо несет вести с родины, Янсон бросил его в навоз. Попробовал еще Янсон поухаживать за стряпуш-

хой, томясь, видимо, по женщины, но успеха не имел и был грубо отвергнут и осмеян: был он маленького роста, щуплый, лицо имел веснушчатое, дряблое и сонные глазки бутылочного, грязного цвета. И неудачу свою Янсон встретил равнодушно и больше к стряпухе не приставал.

Но, мало говоря, Янсон все время к чему-то прислушивался. Слушал он и унылое снежное поле, с бугорками застывшего навоза, похожего на ряд маленьких, занесенных снегом могил, и синие нежные дали, и телеграфные гудящие столбы, и разговоры людей. Чего говорило ему поле и телеграфные столбы, знал только он один, а разговоры людей были тревожны, полны слухами об убийствах, о грабежах, о поджогах. И было слышно однажды ночью, как в соседнем поселке жидкко и беспомощно треныхал на кирхе маленький колокол, похожий на колокольчик, и трещало пламя пожара: то какие-то приезжие ограбили богатую ферму, хозяина и жену его убили, а дом подожгли.

И на ихней ферме жили тревожно: не только ночью, но и днем спускали собак, и хозяин ночью клал возле себя ружье. Такое же ружье, но только однствольное и старое, он хотел дать Янсону, но тот повертел ружье в руках, покачал головою и почему-то отказался. Хозяин не понял причины отказа и обругал Янсона, а причина была в том, что Янсон больше верил в силу своего финского ножа, чем этой старой ржавой штуке.

— Она меня самого убьет, — сказал Янсон, сонно смотря на хозяина стеклянными глазками.

И хозяин в отчаянии махнул рукою:

— Ну и дурак же ты, Иван. Вот тут и поживи с такими работниками.

И вот этот самый Иван Янсон, не доверявший ружью, в один зимний вечер, когда другого работника услали на станцию, совершил весьма сложное покушение на вооруженный грабеж, на убийство и на изнасилование женщины. Сделал он это как-то удивительно просто: запер стряпуху в кухне, лениво, с ви-

дом человека, которому смертельно хочется спать, подошел сзади к хозяину и быстро, раз за разом, ударили его в спину ножом. Хозяин в беспамятстве свалился, хозяйка заметалась и завопила, а Янсон, оскалив зубы, размахивая ножом, начал разворачивать сундуки, комоды. Достал деньги, а потом точно впервые увидел хозяйку и неожиданно для себя самого кинулся к ней, чтобы изнасиловать. Но так как нож при этом он упустил, то хозяйка оказалась сильнее и не только не дала себя изнасиловать, а чуть не удушила его. А тут заворочался на полу хозяин, загремела ухватом кухарка, вышибая кухонную дверь, и Янсон убежал в поле. Схватили его через час, когда он, сидя на корточках за углом сарая и зажигая одну за другую тухнущие спички, совершил покушение на поджог.

Через несколько дней хозяин умер от заражения крови, а Янсона, когда наступил его черед в ряду других грабителей и убийц, судили и приговорили к смертной казни. На суде он был такой же, как всегда: маленький, щуплый, веснушчатый, с стеклянными сонными глазками. Он как будто не совсем понимал значение происходящего и по виду был совершенно равнодушен: моргал белыми ресницами, тупо, без любопытства, оглядывал незнакомую важную залу и ковырял в носу жестким, заскорузлым, негнущимся пальцем. Только те, кто видел его по воскресеньям в кирхе, могли бы догадаться, что он несколько принарядился: надел на шею вязаный грязно-красный шарф и кое-где примочил волосы на голове; и там, где волосы были примочены, они темнели и лежали гладко, а на другой стороне торчали светлыми и редкими вихрами, как соломинки на тощей, градом побитой ниве.

Когда был объявлен приговор: к смертной казни через повешение, Янсон вдруг заволновался. Он густо покраснел и начал завязывать и развязывать шарф, точно он душил его. Потом бестолково замахал руками и сказал, обращаясь к тому судье, который не читал приговора, и показывая пальцем на того, который читал:

— Она сказала, что меня надо вешать.  
— Какая такая она? — густо, басом, спросил председатель, читавший приговор.

Все улыбнулись, пряча улыбки под усами и в бумагах, а Янсон ткнул указательным пальцем на председателя и сердито, исподлобья ответил:

— Ты!

— Ну?

Янсон опять обратил глаза к молчавшему, сдержанно улыбавшемуся судье, в котором чувствовал друга и человека, к приговору совершенно не причастного, и повторил:

— Она сказала, что меня надо вешать. Меня не надо вешать.

— Уведите обвиняемого.

Но Янсон успел еще раз убедительно и веско повторить:

— Меня не надо вешать.

Он так был нелеп с своим маленьkim сердитым лицом, которому напрасно пытался придать важность, с своим протянутым пальцем, что даже конвойный солдат, нарушая правила, сказал ему вполголоса, уводя из залы:

— Ну и дурак же ты, парень.

— Меня не надо вешать, — упрямко повторил Янсон.

— Вздернут за мое почтение, дрыгнуть не успеешь.

— Ну-ну, помалкивай! — сердито окрикнул другой конвойный. Но не утерпел сам и добавил: — Тоже грабитель! За что, дурак, душу человеческую загубил? Вот теперь и повиси.

— Может, помилуют? — сказал первый солдат, которому жалко стало Янсона.

— Как же! Таких миловать... Ну, буде, поговорили.

Но Янсон уже замолчал. И опять его посадили в ту камеру, в которой он уже сидел месяц и к которой успел привыкнуть, как привыкал ко всему: к побоям, к водке, к унылому снежному полю, усеянному круглыми бугорками, как кладбище. И теперь ему даже весело стало, когда он увидел свою кровать, свое окно

с решеткой, и ему дали поесть — с утра он ничего не ел. Неприятно было только то, что произошло на суде, но думать об этом он не мог, не умел. И смерти через повешение не представлял совсем.

Хотя Янсон и приговорен был к смертной казни, но таких, как он, было много, и важным преступником его в тюрьме не считали. Поэтому с ним разговаривали без опаски и без уважения, как со всяkim другим, кому не предстоит смерть. Точно не считали его смерти за смерть. Надзиратель, узнав о приговоре, сказал ему наставительно:

— Что, брат? Вот и повесили!

— А когда меня будут вешать? — недоверчиво спросил Янсон.

Надзиратель задумался.

— Ну, это, брат, придется тебе погодить. Пока партию не собьют. А то для одного, да еще для такого, и стараться не стоит. Тут нужен подъем.

— Ну а когда? — настойчиво спрашивал Янсон.

Ему нисколько не было обидно, что одного его даже вешать не стоит, и он этому не поверил, счел за предлог, чтобы отсрочить казнь, а потом и совсем отменить ее. И радостно стало: смутный и страшный момент, о котором нельзя думать, отодвигался куда-то вдаль, становился сказочным и невероятным, как всякая смерть.

— Когда, когда! — рассердился надзиратель, стариk тупой и угрюмый. — Это тебе не собаку вешать: отвел за сарай, раз — и готово. А ты так бы и хотел, дурак!

— А я не хочу! — вдруг весело сморщился Янсон. — Это она сказала, что меня надо вешать, а я не хочу!

И может быть, в первый раз в своей жизни он замсмеялся: скрипучим, нелепым, но страшно веселым и радостным смехом. Как будто гусь закричал: га-га-га! Надзиратель с удивлением посмотрел на него, потом нахмурился строго: эта нелепая веселость человека, которого должны казнить, оскорбляла тюрьму и самую казнь и делала их чем-то очень странным. И вдруг на одно мгновение, на самое коротенькое мгновение,

старому надзирателю, всю жизнь проведшему в тюрьме, ее правила признавшему как бы за законы природы, показалась и она, и вся жизнь чем-то вроде сумасшедшего дома, причем он, надзиратель, и есть самый главный сумасшедший.

— Тыфу, чтоб тебя! — отплонулся он. — Чего зубы скалишь, тут тебе не кабак!

— А я не хочу — га-га-га! — смеялся Янсон.

— Сатана! — сказал надзиратель, чувствуя потребность перекреститься.

Менее всего был похож на сатану этот человек с маленьkim дряблым лицом, но было в его гусином гоготанье что-то такое, что уничтожало святость и крепость тюрьмы. Посмейся он еще немного — и вот развалятся гнилостно стены, и упадут размокшие решетки, и надзиратель сам выведет арестантов за ворота: пожалуйте, господа, гуляйте себе по городу, а может, кто и в деревню хочет? Сатана!

Но Янсон уже перестал смеяться и только щурился лукаво.

— Ну то-то! — сказал надзиратель с неопределенной угрозой и ушел, оглядываясь.

Весь этот вечер Янсон был спокоен и даже весел. Он повторял про себя сказанную фразу: меня не надо вешать, и она была такою убедительною, мудрою, неопровергимой, что ни о чем не стоило беспокоиться. О своем преступлении он давно забыл и только иногда жалел, что не удалось изнасиловать хозяйку. А скоро забыл и об этом.

Каждое утро Янсон спрашивал, когда его будут вешать, и каждое утро надзиратель сердито отвечал:

— Успеешь еще, сатана. Посиди! — и уходил поскорее, пока не успел Янсон рассмеяться.

И от этих однообразно повторяющихся слов, и от того, что каждый день начинался, проходил и кончался как самый обыкновенный день, Янсон бесповоротно убедился, что никакой казни не будет. Очень быстро он стал забывать о суде и целыми днями валялся на койке, смутно и радостно грезя об унылых снежных полях с их бугорками, о станционном буфете

те, о чем-то еще более далеком и светлом. В тюрьме его хорошо кормили, и как-то очень быстро, за несколько дней, он пополнился и стал немного важничать.

«Теперь она меня и так бы полюбила, — подумал он как-то про хозяйку. — Теперь я толстый, не хуже хозяина».

И только выпить водки очень хотелось — выпить и быстро-быстро прокатиться на лошадке.

Когда террористов арестовали, весть об этом дошла до тюрьмы; и на обычный вопрос Янсона надзиратель вдруг неожиданно и дико ответил:

— Теперь скоро.

Глядел на него спокойно и важно говорил:

— Теперь скоро. Думаю так, что через недельку.

Янсон побледнел и, точно совсем засыпая — так мутен был взгляд его стеклянных глаз, спросил:

— Ты шутишь?

— То дождаться не мог, а то шутишь. У нас шуток не полагается. Это вы шутить любите, а у нас шуток не полагается, — сказал надзиратель с достоинством и ушел.

Уже к вечеру этого дня Янсон похудел. Его растянувшаяся, на время разгладившаяся кожа вдруг собралась в множество маленьких морщинок, кое-где даже обвисла как будто. Глаза сделались совсем сонными, и все движения стали так медленны и вялы, словно каждый поворот головы, движение пальцев, шаг ногою был таким сложным и громоздким предприятием, которое раньше нужно очень долго обдумывать. Ночью он лег на койку, но глаз не закрыл, и так, сонные, до утра они оставались открыты.

— Ага! — сказал надзиратель с удовольствием, увидев его на следующий день. — Тут тебе, голубчик, не кабак.

С чувством приятного удовлетворения, как учений, опыт которого еще раз удался, он с ног до головы, внимательно и подробно оглядел осужденного; теперь все пойдет как следует. Сатана посрамлен, восстановлена святость тюрьмы и казни, — и снис-

ходительно, даже жалея искренно, старик осведомился:

— Видеться с кем будешь или нет?

— Зачем видеться?

— Ну, проститься. Мать, например, или брат.

— Меня не надо вешать, — тихо сказал Янсон и искоса поглядел на надзирателя. — Я не хочу.

Надзиратель посмотрел — и молча махнул рукой.

К вечеру Янсон несколько успокоился. День был такой обыкновенный, так обыкновенно светило облачное зимнее небо, так обыкновенно звучали в коридоре шаги и чей-то деловой разговор, так обыкновенно, и естественно, и обычно пахли щи из кислой капусты, что он опять перестал верить в казнь. Но к ночи стало страшно. Прежде Янсон ощущал ночь просто как темноту, как особенное темное время, когда нужно спать, но теперь он почувствовал ее таинственную и грозную сущность. Чтобы не верить в смерть, нужно видеть и слышать вокруг себя обычновенное: шаги, голоса, свет, щи из кислой капусты, а теперь все было необыкновенное, и эта тишина, и этот мрак и сами по себе были уже как будто смертью.

И чем дальше тянулась ночь, тем все страшнее становилось. С наивностью дикаря или ребенка, считающих возможным все, Янсону хотелось крикнуть солнцу: свети! И он просил, он умолял, чтобы солнце светило, но ночь неуклонно влекла над землею свои черные часы, и не было силы, которая могла бы остановить ее течение. И эта невозможность, впервые так ясно представшая слабому мозгу Янсона, наполнила его ужасом: еще не смея почувствовать это ясно, он уже сознал неизбежность близкой смерти и мертвящей ногою ступил на первую ступень эшафота.

День опять успокоил его, и ночь опять запугала, и так было до той ночи, когда он и сознал и почувствовал, что смерть неизбежна и наступит через три дня, на рассвете, когда будет вставать солнце.

Он никогда не думал о том, что такое смерть, и образа для него смерть не имела, но теперь он почув-

ствовал ясно, увидел, ощутил, что она вошла в камеру и ищет его, шаря руками. И, спасаясь, он начал бегать по камере.

Но камера была такая маленькая, что, казалось, не острые, а тупые углы в ней, и все толкают его на середину. И не за что спрятаться. И дверь заперта. И светло. Несколько раз молча ударился туловищем о стены, раз стукнулся о дверь — глухо и пусто. Наткнулся на что-то и упал лицом вниз и тут почувствовал, что она его хватает. И, лежа на животе, прилипая к полу, прячась лицом в его темный грязный асфальт, Янсон завопил от ужаса. Лежал и кричал во весь голос, пока не пришли. И когда уже подняли с пола, и посадили на койку, и вылили на голову холодной воды, Янсон все еще не решался открыть крепко зажмуренных глаз. Приоткроет один, увидит светлый пустой угол или чей-то сапог в пустоте и опять начнет кричать.

Но холодная вода начала действовать. Помогло и то, что дежурный надзиратель, все тот же старик, несколько раз лекарственно ударил Янсона по голове. И это ощущение жизни действительно прогнало смерть, и Янсон открыл глаза и остальную часть ночи, с помутившимся мозгом, крепко проспал. Лежал на спине, с открытым ртом, и громко, заливисто храл; и между неплотно закрытых век белел плоский и мертвый глаз без зрачка.

А дальше все в мире — и день, и ночь, и шаги, и голоса, и щи из кислой капусты стали для него сплошным ужасом, повергли его в состояние дикого, ни с чем не сравнимого изумления. Его слабая мысль не могла связать этих двух представлений, так чудовищно противоречащих одно другому: обычно светлого дня, запаха и вкуса капусты — и того, что через два дня, через день он должен умереть. Он ничего не думал, он даже не считал часов, а просто стоял в немом ужасе перед этим противоречием, разорвавшим его мозг на две части; и стал он ровно бледный, ни белее, ни краснее, и по виду казался спокойным. Только ничего не ел и совсем перестал спать: или всю ночь, под-

жав пугливо под себя ноги, сидел на табурете, или, тихонько, крадучись и сонно озираясь, прогуливался по камере. Рот у него все время был полураскрыт, как бы от непрестанного величайшего удивления; и, прежде чем взять в руки какой-нибудь самый обыкновенный предмет, он долго и тупо рассматривал его и брал недоверчиво.

И когда он стал таким, и надзиратели и солдат, наблюдавший за ним в окошечко, перестали обращать на него внимание. Это было обычное для осужденных состояние, сходное, по мнению надзирателя, никогда его не испытавшего, с тем, какое бывает у убиваемой скотины, когда ее оглушат ударом обуха по лбу.

— Теперь он оглох, теперь он до самой смерти ничего не почувствует, — говорил надзиратель, глядываясь в него опытными глазами. — Иван, слышишь? А, Иван?

— Меня не надо вешать, — тускло отозвался Янсон, и снова нижняя челюсть его отвисла.

— А ты бы не убивал, тебя бы и не повесили, — наставительно сказал старший надзиратель, еще молодой, но очень важный мужчина в орденах. — А то убить убил, а вешаться не хочешь.

— Захотел человека на дармовщинку убить. Глуп, глуп, а хитер.

— Я не хочу, — сказал Янсон.

— Что ж, милый, не хоти, дело твое, — равнодушно сказал старший. — Лучше бы, чем глупости говорить, имуществом распорядился — все что-нибудь да есть.

— Ничего у него нету. Одна рубаха да порты. Да вот еще шапка меховая — франт!

Так прошло время до четверга. А в четверг, в двенадцать часов ночи, в камеру к Янсону вошло много народа, и какой-то господин с погонами сказал:

— Ну-с, собирайтесь. Надо ехать.

Янсон, двигаясь все так же медленно и вяло, надел на себя все, что у него было, и повязал грязно-красный шарф. Глядя, как он одевается, господин в погонах, куривший папироску, сказал кому-то:

— А какой сегодня теплый день. Совсем весна.

Глазки у Янсона слипались, он совсем засыпал и ворочался так медленно и туго, что надзиратель прикрикнул:

— Ну, ну, живее! Заснул!

Вдруг Янсон остановился.

— Я не хочу, — сказал он вяло.

Его взяли под руки и повели, и он покорно зашагал, поднимая плечи. На дворе его сразу обвеяло весенним влажным воздухом, и под носиком стало мокро; несмотря на ночь, оттепель стала еще сильнее, и откуда-то звонко падали на камень частые веселые капли. И в ожидании, пока в черную без фонарей карету влезали, стуча шашками и сгибаясь, жандармы, Янсон лениво водил пальцем под мокрым носом и поправлял плохо завязанный шарф.

#### 4. МЫ, ОРЛОВСКИЕ

Тем же присутствием военно-окружного суда, которое судило Янсона, был приговорен к смертной казни через повешение крестьянин Орловской губернии, Елецкого уезда, Михаил Голубец, по кличке Мишка Цыганок, он же Татарин. Последним преступлением его, установленным точно, было убийство трех человек и вооруженное ограбление; а дальше уходило в загадочную глубину его темное прошлое. Были смутные намеки на участие его в целом ряде других грабежей и убийств, чувствовались позади его кровь и темный пьяный разгул. С полной откровенностью, совершиенно искренно, он называл себя разбойником и с иронией относился к тем, которые по-модному величали себя «экспроприаторами». О последнем преступлении, где запирательство не вело ни к чему, он рассказывал подробно и охотно, на вопросы же о прошлом только скалил зубы и посвистывал:

— Ищи ветра в поле!

Когда ж очень приставали с расспросами, Цыганок принимал серьезный и достойный вид.

— Мы все, орловские, проломленные головы, — говорил он степенно и рассудительно. — Орел да Кромы — первые воры. Каравеев да Ливны — всем ворам дивны. А Елец — так тот всем ворам отец. Что ж тут толковать!

Цыганком его прозвали за внешность и воровские ухватки. Был он до странности черноволос, худощав, с пятнами желтого пригары на острых татарских скулаках; как-то по-лошадиному выворачивал белки глаз и вечно куда-то торопился. Взгляд у него был короткий, но до жуткости прямой и полный любопытства, и вещь, на которую он коротко взглянул, точно теряла что-то, отдавала ему часть себя и становилась другою. Папиросу, на которую он взглянул, так же неприятно и трудно было взять, как будто она уже побывала в чужом рту. Какой-то вечный неугомон сидел в нем и то скручивал его, как жгут, то разбрасывал его широким спнопом извивающихся искр. И воду он пил чуть ли не ведрами, как лошадь.

На все вопросы на суде он, вскакивая быстро, отвечал коротко, твердо и даже как будто с удовольствием:

— Верно!

Иногда подчеркивал:

— Вер-р-но!

И совершенно неожиданно, когда речь шла о другом, вскочил и попросил председателя:

— Дозвольте засвистать!

— Это зачем? — удивился тот.

— А как они показывают, что я давал знак товарищам, то вот. Очень интересно.

Слегка недоумевая, председатель согласился. Цыганок быстро вложил в рот четыре пальца, по два от каждой руки, свирепо выкатил глаза — и мертвый воздух судебной залы прорезал настоящий, дикий, разбойничий посвист, от которого прядают и садятся на задние ноги оглушенные лошади и бледнеет невольно человеческое лицо. И смертельная тоска того, кого убивают, и дикая радость убийцы, и грозное предсторожение, и зов, и тьма осенней ненастной ночи, и

одиночество — все было в этом пронзительном и не человеческом и не зверином вопле.

Председатель что-то закричал, потом замахал на Цыганка рукою, и тот послушно смолк. И, как артист, победоносно исполнивший трудную, но всегда успешную арию, сел, вытер о халат мокрые пальцы и самодовольно оглядел присутствующих.

— Вот разбойник! — сказал один из судей, потирая ухо.

Но другой, с широкой русской бородою и татарскими, как у Цыганка, глазами, мечтательно поглядел куда-то поверх Цыганка, улыбнулся и возразил:

— А ведь действительно интересно.

И с спокойным сердцем, без жалости и без малейшего угрызения совести судьи вынесли Цыганку смертный приговор.

— Верно! — сказал Цыганок, когда приговор был прочитан. — Во чистом поле да перекладинка. Верно!

И, обратясь к конвойному, молодецки бросил:

— Ну, идем, что ли, кислая шерсть. Да ружье крепче держи — отыму!

Солдат сурово, с опаскою взглянул на него, переглянулся с товарищем и пощупал замок у ружья. Другой сделал так же. И всю дорогу до тюрьмы солдаты точно не шли, а летели по воздуху — так, поглощенные преступником, не чувствовали они ни земли под ногами, ни времени, ни самих себя.

До казни Мишке Цыганку, как и Янсону, пришлось провести в тюрьме семнадцать дней. И все семнадцать дней пролетели для него так быстро, как один — как одна неугасающая мысль о побеге, о воле и о жизни. Неугомон, владевший Цыганком и теперь сдавленный стенами, и решетками, и мертвым окном, в которое ничего не видно, обратил всю свою ярость внутрь и жег мысль Цыганка, как разбросанный по доскам уголь. Точно в пьяном угаре, роились, сшибались и путались яркие, но незаконченные образы, неслись мимо в неудержимом ослепительном вихре и все устремлялись к одному — к побегу, к воле, к жизни. То, раздувая ноздри, как лошадь,

Цыганок по целым часам нюхал воздух — ему чудилось, что пахнет коноплями и пожарным дымком, бесцветной и едкой гарью; то волчком крутился по камере, быстро ощупывая стены, постукивая пальцем, примеряясь, точа взглядом потолок, перепиливая решетки. Свою неугомонностью он измучил солдата, наблюдавшего за ним в глазок, и уже несколько раз в отчаянии солдат грозил стрелять; Цыганок грубо и насмешливо возражал, и только потому дело кончалось мирно, что препирательство скоро переходило в простую, мужицкую, неоскорбительную брань, при которой стрельба казалась нелепой и невозможной.

Ночи свои Цыганок спал крепко, почти не шевелясь, в неизменной, но живой неподвижности, как бездействующая временно пружина. Но, вскочив, тотчас принимался вертеться, соображать, ощупывать. Руки у него постоянно были сухие и горячие, но сердце иногда вдруг холодело, точно в грудь клали кусок нетающего льду, от которого по всему телу разбегалась мелкая сухая дрожь. И без того темный, в эти минуты Цыганок чернел, принимал оттенок синеватого чугуна. И странная привычка у него появилась: точно объевшись чего-то чрезмерно и невыносимо сладкого, он постоянно облизывал губы, чмокал и с шипением, сквозь зубы, сплевывал на пол набегающую слону. И не договаривал слов: так быстро бежали мысли, что язык не успевал догнать их.

Однажды днем в сопровождении конвойного к нему вошел старший надзиратель. Покосился на заплеванный пол и угрюмо сказал:

— Ишь запакостили!

Цыганок быстро возразил:

— Ты вот, жирная морда, всю землю запакостили, а я тебе ничего. Зачем прилез?

Все так же угрюмо надзиратель предложил ему стать палачом. Цыганок оскалил зубы и захохотал.

— Ай не находится? Ловко! Вот и повесь, поди, хаха! И шея есть, и веревка есть, а вешать-то некому. Ей-богу, ловко!

- Жив останешься зато.
- Ну еще бы: не мертвый же я тебе вешать-то буду. Сказал, дурак!
- Так как же? Тебе-то все равно: так или этак.
- А как у вас вешают? Небось втихомолку душат!
- Нет, с музыкой, — огрызнулся надзиратель.
- Ну и дурак. Конечно, надо с музыкой. Вот так! — И он запел что-то залихватское.
- Совсем ты, милый, порешился, — сказал надзиратель. — Ну, так как же, говори толком.

Цыганок оскалился:

— Какой скорый! Еще разок приди, тогда скажу.

И в хаос ярких, но незаконченных образов, угнеставших Цыганка своею стремительностью, ворвался новый: как хорошо быть палачом в красной рубахе. Он живо представлял себе площадь, залитую народом, высокий помост и как он, Цыганок, в красной рубахе разгуливает по нему с топориком. Солнце освещает головы, весело поблескивает на топорике, и так все весело и богато, что даже тот, кому сейчас рубить голову, тоже улыбается. А за народом видны телеги и морды лошадей — то мужики наехали из деревни; а дальше видно поле.

— Щ-ах! — чмокал Цыганок, облизываясь, и сплевывал набегавшую слону.

И вдруг точно меховую шапку нахлобучили ему до самого рта: становилось темно и душно, и куском нетающего льду делалось сердце, посыпая мелкую сухую дрожь.

Еще раза два заходил надзиратель, и, оскалив зубы, Цыганок говорил:

— Какой скорый. Еще разок зайди.

И наконец мельком, в форточку, надзиратель крикнул:

— Проворонил свое счастье, ворона! Другого нашли!

— Ну и черт с тобой, вешай сам! — огрызнулся Цыганок. И перестал мечтать о палачестве.

Но под конец, чем ближе к казни, стремительность разорванных образов становилась невыносимою. Цыганку уже хотелось остановиться, раскорячить ноги и остановиться, но крутящийся поток уносил его, и ухватиться не за что было: все плыло кругом. И уже стал беспокойным сон: появились новые, выпуклые, тяжелые, как деревянные, раскрашенные чурки, сновидения, еще более стремительные, чем мысли. Уже не поток это был, а бесконечное падение с бесконечной горы, кружащийся полет через весь видимо красочный мир. На воле Цыганок носил одни довольно франтовские усы, а в тюрьме у него отросла короткая, черная, колючая борода, и это делало его страшным и сумасшедшим по виду. Временами Цыганок действительно забывался и совершенно бессмысленно кружился по камере, но все еще ощупывал шершавые штукатуренные стены. И воду пил как лошадь.

Как-то к вечеру, когда зажгли огонь, Цыганок стал на четвереньки посреди камеры и завыл дрожащим волчьим воем. Был он как-то особенно серьезен при этом и выл так, будто делал важное и необходимое дело. Набирал полную грудь воздуха и медленно выпускал его в продолжительном, дрожащем вое; и внимательно, зажмурив глаза, прислушивался, как выходит. И самая дрожь в голосе казалась несколько умышленною; и не кричал он бестолково, а выводил тщательно каждую ноту в этом зверином вопле, полном несказанного ужаса и скорби.

Потом сразу оборвал вой и несколько минут, не поднимаясь с четверенек, молчал. Вдруг тихонько, в землю, забормотал:

— Голубчики, миленькие... Голубчики, миленькие, пожалейте... Голубчики!.. Миленькие!..

И тоже как будто прислушивался, как выходит. Скажет слово и прислушивается.

Потом вскочил — и целый час, не переводя духа, ругался по-матерщине.

— У, такие-сякие, туда-та-та-та! — орал он, выворачивая налившиеся кровью глаза. — Вешать так вешать, а не то... У, такие-сякие...

И белый как мел солдат, плача от тоски, от ужаса, тыкал в дверь дулом ружья и беспомощно кричал:

— Застрелю! Ей-богу, застрелю! Слышишь!

Но стрелять не смел: в приговоренных к казни, если не было настоящего бунта, никогда не стреляли. А Цыганок скрипел зубами, бранился и плевал — его человеческий мозг, поставленный на чудовищно острую грань между жизнью и смертью, распадался на части, как комок сухой и выветрившейся глины.

Когда явились ночью в камеру, чтобы везти Цыганка на казнь, он засуетился и как будто ожил. Во рту стало еще сладче, и слюна набиралась неудержимо, но щеки немного порозовели, и в глазах заискрилось прежнее, немного дикое лукавство. Одеваясь, он спросил чиновника:

— Кто будет вешать-то? Новый? Поди, еще руку не набил.

— Об этом вам нечего беспокоиться, — сухо ответил чиновник.

— Как же не беспокоиться, ваше благородие, вешать-то будут меня, а не вас. Вы хоть мыла-то казенного на удавочку не пожалейте.

— Хорошо, хорошо, прошу вас замолчать.

— А то он у вас тут все мыло поел, — указал Цыганок на надзирателя, — ишь как рожа-то лоснится.

— Молчать!

— Уж не пожалейте!

Цыганок захочотал, но во рту становилось все сладче, и вдруг как-то странно начали неметь ноги. Все же, выйдя на двор, он сумел крикнуть:

— Карету графа Бенгальского!

## 5. ПОЦЕЛУЙ — И МОЛЧИ

Приговор относительно пяти террористов был объявлен в окончательной форме и в тот же день confirmed<sup>1</sup>. Осужденным не сказали, когда будет казнь, но по тому, как делалось обычно, они знали,

<sup>1</sup> Конфирмовать — утверждать судебный приговор.

что их повесят в эту же ночь или, самое позднее, в следующую. И когда им предложили видеться на следующий день, то есть в четверг, с родными, они поняли, что казнь будет в пятницу на рассвете.

У Тани Ковальчук близких родных не было, а те, что и были, находились где-то в глухи, в Малороссии, и едва ли даже знали о суде и предстоящей казни; у Муси и Вернера, как неизвестных, родных совсем не предполагалось, и только двоим, Сергею Головину и Василию Каширину, предстояло свидание с родителями. И оба они с ужасом и тоскою думали об этом свидании, но не решились отказать старикам в последнем разговоре, в последнем поцелуе.

Особенно мучился предстоящим свиданием Сергей Головин. Он очень любил отца своего и мать, еще совсем недавно виделся с ними и теперь был в ужасе — что это будет такое. Самая казнь, во всей ее чудовищной необычности, в поражающем мозг безумии ее, представлялась воображению легче и казалась не tanto страшною, как эти несколько минут, коротких и непонятных, стоящих как бы вне времени, как бы вне самой жизни. Как смотреть, что думать, что говорить — отказывался понять его человеческий мозг. Самое простое и обычное: взять за руку, поцеловать, сказать: «Здравствуй, отец», —казалось непостижимо ужасным в своей чудовищной, нечеловеческой, безумной лживости.

После приговора осужденных не посадили вместе, как предполагала Ковальчук, а оставили каждого в своей одиночке; и все утро, до одиннадцати часов, когда пришли родители, Сергей Головин шагал бешено по камере, щипал бородку, морщился жалко и что-то ворчал. Иногда на всем ходу останавливался, набирал полную грудь воздуха и отдувался, как человек, который слишком долго пробыл под водою. Но так он был здоров, так крепко сидела в нем молодая жизнь, что даже в эти минуты жесточайших страданий кровь играла под кожей и окрашивала щеки и светло и наивно голубели глаза.

Произошло все, однако, гораздо лучше, чем ожидал Сергей.

Первым вошел в комнату, где происходило свидание, отец Сергея, полковник в отставке, Николай Сергеевич Головин. Был он весь ровно белый, лицо, борода, волосы и руки, как будто снежную статую обрядили в человеческое платье; и все тот же был сюртучок, старенький, но хорошо вычищенный, пахнущий бензином, с новенькими поперечными погонаами; и вошел он твердо, парадно, крепкими, отчетливыми шагами. Протянул белую сухую руку и громко сказал:

— Здравствуй, Сергей!

За ним мелко шагала мать и странно улыбалась. Но тоже пожала руку и громко повторила:

— Здравствуй, Сереженька!

Поцеловала в губы — и молча села. Не бросилась, не заплакала, не закричала, не сделала чего-то ужасного, чего ожидал Сергей, — а поцеловала и молча села. И даже расправила дрожащими руками черное шелковое платье.

Сергей не знал, что всю предыдущую ночь, затворившись в своем кабинетике, полковник с напряжением всех своих сил обдумывал этот ритуал. «Не отягчить, а облегчить должны мы последнюю минуту нашему сыну», — твердо решил полковник и тщательно взвешивал каждую возможную фразу завтрашнего разговора, каждое движение. Но иногда запутывался, терял и то, что успел приготовить, и горько плакал в углу клеенчатого дивана. А утром объяснил жене, как нужно держать себя на свидании.

— Главное, поцелуй — и молчи! — учил он. — Потом можешь и говорить, несколько спустя, а когда поцелуешь, то молчи. Не говори сразу после поцелоя, понимаешь? — а то скажешь не то, что следует.

— Понимаю, Николай Сергеевич, — отвечала мать, плача.

— И не плачь. Избавь тебя Господи плакать! Да ты его убьешь, если плакать будешь, старуха!

— А зачем же ты сам плачешь?

— С вами заплачешь! Не должна плакать, слышишь?

— Хорошо, Николай Сергеевич.

На извозчике он хотел еще раз повторить наставление, но позабыл. И так и ехали они молча, согнувшись, оба седые и старые, и думали, а город весело шумел: была Масленая неделя и на улицах было шумно и людно.

Сели. Полковник стал в приготовленной позе, заложив правую руку за борт сюртука. Сергей посидел одно мгновение, встретил близко морщинистое лицо матери и вскочил.

— Посиди, Сереженька, — попросила мать.

— Сядь, Сергей, — подтвердил отец.

Помолчали. Мать странно улыбалась.

— Как мы хлопотали за тебя, Сереженька.

— Напрасно это, мамочка...

Полковник твердо сказал:

— Мы должны были сделать это, Сергей, чтобы ты не думал, что родители оставили тебя.

Опять помолчали. Было страшно произнести слово, как будто каждое слово в языке потеряло свое значение и значило только одно: смерть. Сергей посмотрел на чистенький, пахнущий бензином сюртучок отца и подумал: «Теперь денщика нет, значит, он сам его чистил. Как же это я раньше не замечал, когда он чистит сюртук? Утром, должно быть». И вдруг спросил:

— А как сестра? Здорова?

— Ниночка ничего не знает, — поспешно ответила мать.

Но полковник строго остановил ее:

— Зачем лгать? Девочка прочла в газетах. Пусть Сергей знает, что все... близкие его... в это время... думали, и...

Дальше он не сумел продолжать и остановился. Вдруг лицо матери как-то сразу смялось, расплылось, заколыхалось, стало мокрым и диким. Выцветшие глаза безумно таращились, дыхание делалось все чаще, и короче, и громче.

— Се... Сер... Се... Се... — повторяла она, не сдвигая губ. — Се...

— Мамочка!

Полковник шагнул вперед и, весь трясясь, каждой складкой своего сюртука, каждою морщинкою лица, не понимая, как сам он ужасен в своей мертвенноной белизне, в своей вымученной отчаянной твердости, заговорил жене:

— Молчи! Не мучь его! Не мучь! Не мучь! Ему умирать! Не мучь!

Испуганная, она уже молчала, а он все еще сдержанно тряс перед грудью сжатыми кулаками и твердил:

— Не мучь!

Потом отошел назад, заложил за борт сюртука дрожащую руку и громко, с выражением усиленного спокойствия, спросил белыми губами:

— Когда?

— Завтра утром, — такими же белыми губами ответил Сергей.

Мать смотрела вниз, жевала губами и как будто ничего не слышала. И, продолжая жевать, точно выронила простые и странные слова:

— Ниночка велела поцеловать тебя, Сереженька.

— Поцелуй ее от меня, — сказал Сергей.

— Хорошо. Еще Хвостовы тебе кланяются.

— Какие Хвостовы? Ах да!

Полковник перебил:

— Ну, надо идти. Поднимайся, мать, надо.

Вдвоем они подняли ослабевшую мать.

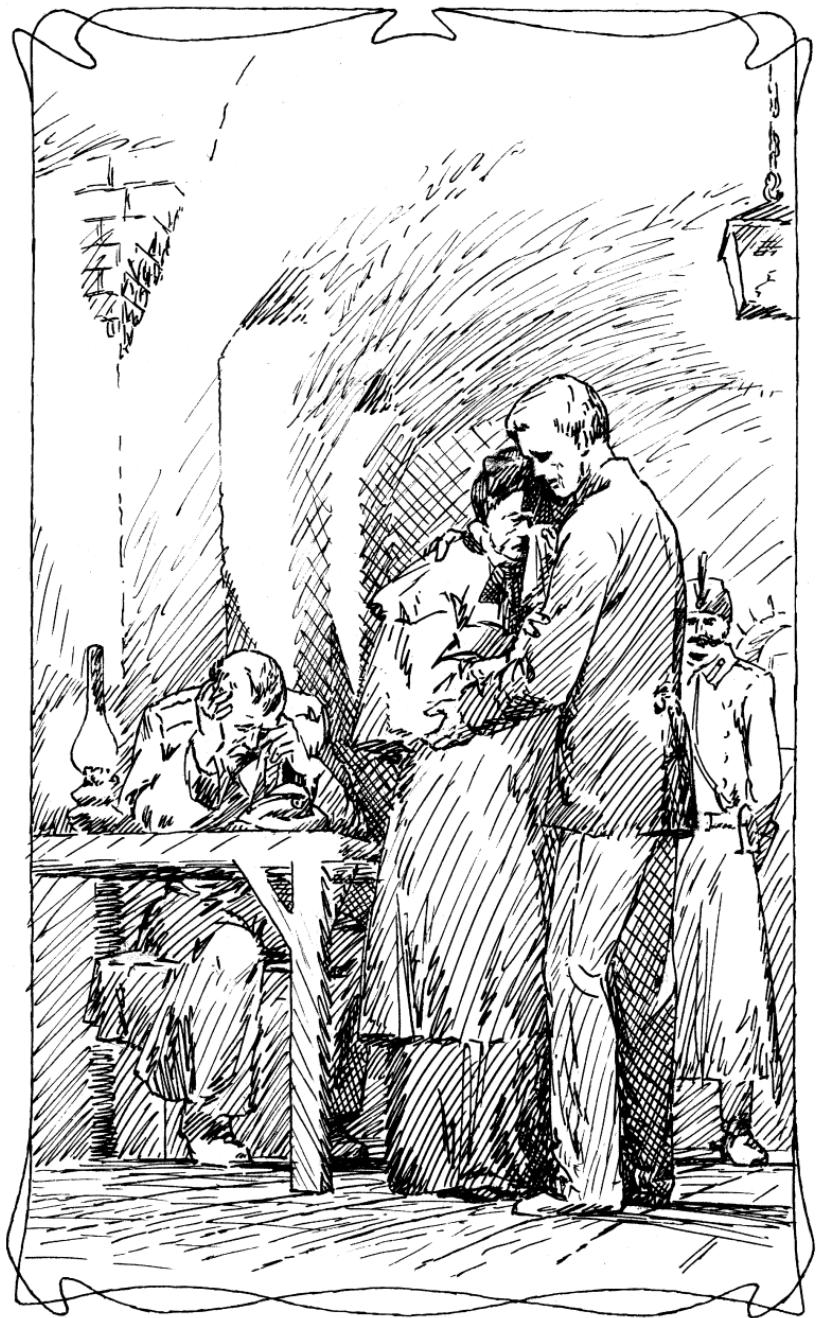
— Простись! — приказал полковник. — Перекрести.

Она сделала все, что ей говорили. Но, крестя и целуя сына коротким поцелуем, она качала головою и твердила бессмысленно:

— Нет, это не так. Нет, не так. Нет, нет. Как же я потом? Как же я скажу? Нет, не так.

— Прощай, Сергей! — сказал отец.

Они пожали руки и крепко, но коротко поцеловались.



— Ты... — начал Сергей.

— Ну? — отрывисто спросил отец.

— Нет, не так. Нет, нет. Как же я скажу? — твердила мать, покачивая головою. Она уже опять успела сесть и вся покачивалась.

— Ты... — опять начал Сергей.

Вдруг лицо его жалко, по-ребячыи, сморщилось, и глаза сразу залило слезами. Сквозь их искрящуюся грань он близко увидел белое лицо отца с такими же глазами.

— Ты, отец, благородный человек.

— Что ты! Что ты! — испугался полковник.

И вдруг, точно сломавшись, упал головою на плечо к сыну. Был он когда-то выше Сергея, а теперь стал низеньkim, и пушистая сухая голова беленьkim комочком лежала на плече сына. И оба молча жадно цевовали: Сергей — пушистые белые волосы, а он — арестантский халат.

— А я? — вдруг сказал громкий голос.

Оглянулись: мать стояла и, закинув голову, смотрела с гневом, почти с ненавистью.

— Что ты, мать? — крикнул полковник.

— А я? — говорила она, качая головою, с безумной выразительностью. — Вы целуетесь, а я? Мужчины, да? А я? А я?

— Мамочка! — бросился к ней Сергей.

Тут было то, о чем нельзя и не надо рассказывать. Последними словами полковника были:

— Благословляю тебя на смерть, Сережа. Умри храбро, как офицер.

И они ушли. Как-то ушли. Были, стояли, говорили — и вдруг ушли. Вот здесь сидела мать, вот здесь стоял отец — и вдруг как-то ушли. Вернувшись в камеру, Сергей лег на койку, лицом к стене, чтобы укрыться от солдат, и долго плакал. Потом устал от слез и крепко уснул.

---

К Василию Каширину пришла только мать — отец, богатый торговец, не пожелал прийти. Василий

встретил старуху, шагая по комнате и дрожа от холода, хотя было тепло и даже жарко. И разговор был короткий, тяжелый.

— Не стоило вам, мамаша, приходить. Только себя и меня измучите.

— Зачем ты это, Вася! Зачем ты это сделал! Господи!

Старуха заплакала, утираясь кончиками черного шерстяного платка. И с привычкою, которая была у него и его братьев, кричать на мать, которая ничего не понимает, он остановился и, дрожа от холода, сердито заговорил:

— Ну вот! Так я и знал! Ведь вы же ничего не понимаете, мамаша! Ничего!

— Ну, ну, хорошо. Что тебе — холодно?

— Холодно... — отрезал Василий и опять зашагал, искоса, сердито глядя на мать.

— Может, простудился?

— Ах, мамаша, какая тут простуда, когда...

И безнадежно махнул рукою. Старуха хотела сказать: «А наш-то с понедельника велел блины ставить», — но испугалась и заголосила:

— Говорила я ему: ведь сын ведь, пойди, дай отпущение. Нет, уперся, старый козел...

— Ну его к черту! Какой он мне отец! Как был всю жизнь мерзавцем, так и остался.

— Васенька, это про отца-то! — Старуха вся укоризненно вытянулась.

— Про отца.

— Про родного отца!

— Какой он мне родной отец.

Было дико и нелепо. Впереди стояла смерть, а тут вырастало что-то маленькое, пустое, ненужное, и слова трещали, как пустая скорлупа орехов под ногою. И, почти плача — от тоски, от того вечного непонимания, которое стеною всю жизнь стояло между ним и близкими и теперь, в последний предсмертный час, дико таращило свои маленькие глупые глаза, Василий закричал:

— Да поймите же вы, что меня вешать будут! Вешать! Понимаете или нет? Вешать!

— А ты бы не трогал людей, тебя бы... — кричала старуха.

— Господи! Да что же это! Ведь этого даже у зверей не бывает. Сын я вам или нет?

Он заплакал и сел в угол. Заплакала и старуха в своем углу. Бессильные хоть на мгновение слиться в чувстве любви и противопоставить его ужасу грядущей смерти, плакали они холодными, не согревающими сердца слезами одиночества. Мать сказала:

— Ты вот говоришь, мать я тебе или нет, упрекаешь. А я за эти дни совсем поседела, старухой стала. А ты говоришь, упрекаешь.

— Ну хорошо, хорошо, мамаша. Простите. Идти вам надо. Братьев там поцелуйте.

— Разве я не мать? Разве мне не жалко?

Наконец ушла. Плакала горько, утираясь кончиками платка, не видела дороги. И чем дальше отходила от тюрьмы, тем горючее лились слезы. Пошла назад к тюрьме, потом заблудилась дико в городе, где родилась, выросла, состарилась. Забрела в какой-то пустынный садик с несколькими старыми, обломанными деревьями и села на мокрой, оттаявшей лавочке. И вдруг поняла: его завтра будут вешать.

Старуха вскочила, хотела бежать, но вдруг крепко закружилась голова, и она упала. Ледяная дорожка обмокла, была скользкая, и старуха никак не могла подняться: вертелась, приподнималась на локтях и коленях и снова валилась на бок. Черный платок сполз с головы, открыв на затылке лысинку среди грязно-серых волос, и почему-то чудилось ей, что она пирует на свадьбе: женят сына, и она выпила вина и захмелела сильно.

— Не могу. Ей-же-богу, не могу! — отказывалась она, мотая головою, и ползала по ледяному мокрому насту, а ей все лили вино, все лили.

И уже больно становилось сердцу от пьяного смеха, от угощений, от дикого пляса, — а ей все лили вино. Все лили.

## 6. ЧАСЫ БЕГУТ

В крепости, где сидели осужденные террористы, находилась колокольня с старинными часами. Каждый час, каждые полчаса, каждую четверть часа вызывали что-то тягучее, что-то печальное, медленно тающее в высоте, как отдаленный и жалобный клик перелетных птиц. Днем эта странная и печальная музыка терялась в шуме города, большой и людной улицы, проходившей возле крепости. Гудели трамваи, чокали копыта лошадей, далеко вперед кричали покачивающиеся автомобили; на Масленицу из окрестностей города понаехали особенные масленичные извозчики-крестьяне, и бубенцы на шее их малорослых лошаденок наполняли воздух жужжанием. И говор стоял, немного пьяный, веселый масленичный говор; и так шла к разноголосице молодая весенняя оттепель, мутные лужи на панели, вдруг почерневшие деревья сквера. С моря широкими влажными порываами дул теплый ветер: казалось, глазами можно было видеть, как в дружном полете уносятся в безбрежную свободную даль крохотные свежие частички воздуха и смеются, летя.

Ночью улица затихала в одиноком свете больших электрических солнц. И тогда огромная крепость, в плоских стенах которой не было ни одного огонька, уходила в мрак и тишину, чертою молчания, неподвижности и тьмы отделяла себя от вечно живого, движущегося города. И тогда слышен становился бой часов; чуждая земле, медленно и печально рождалась и гасла в высоте странная мелодия. Снова рождалась, обманывая ухо, звенела жалобно и тихо — обрываясь — снова звенела. Как большие, прозрачные, стеклянные капли, с неведомой высоты падали в металлическую, тихо звенящую чашу часы и минуты. Или перелетные птицы летели.

В камеры, где сидели по одному осужденные, и днем и ночью приносился только один этот звон. Сквозь крышу, сквозь толщу каменных стен проникал он, колебля тишину, — уходил незаметно, чтобы сно-

ва, так же незаметно, прийти. Иногда о нем забывали и не слышали его; иногда с отчаянием ждали его, живя от звона и до звона, уже не доверяя тишине. Только для важных преступников была предназначена тюрьма, особенные в ней были правила, суровые, твердые и жесткие, как угол крепостной стены; и если в жестокости есть благородство, то была благородна глухая, мертвая, торжественно-немая тишина, ловящая шорохи и легкое дыхание.

И в этой торжественной тишине, колеблемой печальным звоном убегающих минут, отделенные от всего живого, пять человек, две женщины и трое мужчин, ожидали наступления ночи, рассвета и казни, и каждый по-своему готовился к ней.

## 7. СМЕРТИ НЕТ

Как во всю жизнь свою Таня Ковальчук думала только о других и никогда о себе, так и теперь только за других мучилась она и тосковала сильно. Смерть она представляла себе постольку, поскольку предстоит она как нечто мучительное, для Сережи Головина, для Муси, для других, — ее же самой она как бы не касалась совсем.

И, вознаграждая себя за вынужденную твердость на суде, она целыми часами плакала, как умеют плакать старые женщины, знавшие много горя, или молодые, но очень жалостливые, очень добрые люди. И предположение о том, что у Сережи может не оказаться табаку, а Вернер, может быть, лишен своего привычного крепкого чаю, и это еще вдобавок к тому, что они должны умереть, мучило ее, пожалуй, не меньше, чем самая мысль о казни. Казнь — это что-то неизбежное и даже постороннее, о чем и думать не стоит, а если у человека в тюрьме, да еще перед казнью, нет табаку — это совсем невыносимо. Вспоминала, перебирала милье подробности совместного житья и замирала от страха, воображая встречу Сергея с родителями.

И особенно жалостью жалела она Мусю. Уже давно ей казалось, что Муся любит Вернера, и, хотя это

была совершенная неправда, все же мечтала для них обоих о чем-то хорошем и светлом. На свободе Муся носила серебряное колечко, на котором был изображен череп, кость и терновый венец вокруг них; и часто с болью смотрела Таня Ковальчук на это кольцо, как на символ обреченности, и то шутя, то серьезно упрашивала Мусю снять его.

— Подари его мне, — упрашивала она.

— Нет, Танечка, не подарю. А у тебя скоро на пальце другое кольцо будет.

Почему-то, в свою очередь, о ней думали, что она непременно и в скором времени должна выйти замуж, и это обижало ее — никакого мужа она не хотела. И, вспоминая эти полуслутливые разговоры свои с Мусей и то, что Муся теперь действительно обречена, она задыхалась от слез, от материнской жалости. И всякий раз, как били часы, поднимала заплаканное лицо и прислушивалась: как там, в тех камерах, принимают этот тягучий, настойчивый зов смерти.

А Муся была счастлива.

Заложив за спину руки в большом, не по росту, арестантском халате, делающем ее странно похожей на мужчину, на мальчика-подростка, одевшегося в чужое платье, она шагала ровно и неутомимо. Рукава халата были ей длинны, и она отвернула их, и тонкие, почти детские, исхудальные руки выходили из широких отверстий, как стебли цветка из отверстия грубого, грязного кувшина. Тонкую белую шею шерстила и натирала жесткая материя, и изредка движением обеих рук Муся высвобождала горло и осторожно нашупывала пальцем то место, где краснела и саднила раздраженная кожа.

Муся шагала — и оправдывалась перед людьми, волнуясь и краснея. И оправдывалась она в том, что ее, молоденькую, незначительную, сделавшую так мало и совсем не герoinю, подвергнут той самой почетной и прекрасной смерти, какою умирали до нее настоящие герои и мученики. С непоколебимой верой в людскую доброту, в сочувствие, в любовь она представляла себе, как теперь волнуются из-за нее люди,

как мучатся, как жалеют, — и ей было совестно до красноты. Точно, умирая на виселице, она совершила какую-то огромную неловкость.

Она уже просила при последнем свидании своего защитника, чтобы он достал ей яду, но вдруг спохватилась: а если он и другие подумают, что это она из рисовки или из трусости, и вместо того, чтобы умереть скромно и незаметно, наделает шума еще больше? И торопливо добавила:

— Нет, впрочем, не надо.

И теперь она хотела только одного: объяснить людям и доказать им точно, что она не героиня, что умирать вовсе не страшно и чтобы о ней не жалели и не заботились. Объяснить им, что она вовсе не виновата в том, что ее, молоденькую, незначительную, подвергают такой смерти и поднимают из-за нее столько шума.

Как человек, которого действительно обвиняют, Муся искала оправданий, пыталась найти хоть что-нибудь, что возвысило бы ее жертву, придало бы ей настоящую цену. Рассуждала:

— Конечно, я молоденькая и могла бы еще долго жить. Но...

И, как меркнет свеча в блеске взошедшего солнца, тусклой и темной казалась молодость и жизнь перед тем великим и лучезарным, что должно озарить ее скромную голову. Нет оправдания.

Но, быть может, то особенное, что она носит в душе, — безгранична любовь, безгранична готовность к подвигу, безграничное пренебрежение к себе? Ведь она действительно не виновата, что ей не дали сделать всего, что она могла и хотела, — убили ее на пороге храма, у подножия жертвенника.

Но если это так, если человек ценен не только по тому, что он сделал, а и по тому, что он хотел сделать, — тогда... тогда она достойна мученического венца.

«Неужели? — думает Муся стыдливо. — Неужели я достойна? Достойна того, чтобы обо мне плакали

люди, волновались, обо мне, такой маленькой и незначительной?»

И несказанная радость охватывает ее. Нет ни сомнений, ни колебаний, она принята в лоно, она превомерно вступает в ряды тех светлых, что извека через костер, пытки и казни идут к высокому небу. Ясный мир и покой и безбрежное, тихо сияющее счастье. Точно отошла она уже от земли и приблизилась к неведомому солнцу правды и жизни и бесплотно парит в его свете.

«И это — смерть. Какая же это смерть?» — думает Муся блаженно.

И если бы собрались к ней в камеру со всего света ученые, философы и палачи, разложили перед нею книги, скальпели, топоры и петли и стали доказывать, что смерть существует, что человек умирает и убивается, что бессмертия нет, — они только удивили бы ее. Как бессмертия нет, когда уже сейчас она бессмертна? О каком же еще бессмертии, о какой еще смерти можно говорить, когда уже сейчас она мертва и бессмертна, жива в смерти, как была жива в жизни?

И если бы к ней в камеру, наполняя ее зловонием, внесли гроб с ее собственным разлагающимся телом и сказали:

— Смотри! Это ты!

Она посмотрела бы и ответила:

— Нет. Это не я.

И когда ее стали бы убеждать, пугая зловещим видом разложения, что это она — она! — Муся ответила бы с улыбкой:

— Нет. Это вы думаете, что *это* — я, но *это* — не я. Я — та, с которой вы говорите, как же я могу быть *этим*?

— Но ты умрешь и станешь *этим*.

— Нет, я не умру.

— Тебя казнят. Вот петля.

— Меня казнят, но я не умру. Как могу я умереть, когда уже сейчас я — бессмертна?

И отступили бы ученые, философы и палачи, говоря с содроганием:

— Не касайтесь этого места. Это место — свято. О чем еще думала Муся? О многом думала она, ибо нить жизни не обрывалась для нее смертью и плелась спокойно и ровно. Думала о товарищах — и о тех далеких, что с тоскою и болью переживают их казнь, и о тех близких, что вместе взойдут на эшафот. Удивлялась Василию, чего он так испугался, — он всегда был очень храбр и даже мог шутить со смертью. Так, еще утром во вторник, когда они надевали с Василием на пояса разрывные снаряды, которые через несколько часов должны были взорвать их самих, у Тани Ковальчук руки дрожали от волнения и ее пришлось отстранить, а Василий шутил, паясничал, вертелся, был так неосторожен даже, что Вернер строго сказал:

— Не нужно фамильярничать со смертью.

Чего же теперь он испугался? Но так чужд душе Муси был этот непонятный страх, что скоро она перестала думать о нем и разыскивать причину, — вдруг отчаянно захотелось увидеть Сережу Головина и о чем-то посмеяться с ним. Подумала — и еще отчаяннее захотелось увидеть Вернера и в чем-то убедить его. И, представляя, что Вернер ходит рядом с нею своею четкой, размеренной, вбивающей каблуками в землю походкой, Муся говорила ему:

— Нет, Вернер, голубчик, это все пустяки, это совсем не важно, убил ты NN или нет. Ты умный, но ты точно в свои шахматы играешь: взять одну фигуру, взять другую — тогда и выиграно. Здесь важно, Вернер, что мы сами готовы умереть. Понимаешь? Ведь эти господа что думают? Что нет ничего страшнее смерти. Сами выдумали смерть, сами ее боятся и нас пугают. Мне бы даже так хотелось: выйти одной перед целым полком солдат и начать стрелять в них из браунинга. Пусть я одна, а их тысячи, и я никого не убью. Это-то и важно, что их тысячи. Когда тысячи убивают одного, то, значит, победил этот один. Это правда, Вернер, голубчик.

Но и это было так ясно, что не хотелось доказывать дальше, — Вернер теперь и сам понял, наверное.

А может, и просто не хотелось ее мысли останавливаться на одном — как легко парящей птице, которой видимы безбрежные горизонты, которой доступны весь простор, вся глубина, вся радость ласкающей и нежной синевы. Звонили часы непрестанно, колебля глухую тишину; и в этот гармоничный, отдаленно прекрасный звук вливались мысли и тоже начинали звеньять; и музыкою становились плавно скользящие образы. Словно тихою темною ночью ехала куда-то Муся по широкой и ровной дороге, и покачивались мягкие рессоры, и бубенцы звенели. Отошли все тревоги и волнения, растворилось во тьме усталое тело, и радостно-усталая мысль спокойно творила яркие образы, упивалась их красками и тихим покоем. Вспомнила Муся трех товарищ ее своих, повешенных недавно, и лица их были ясны, и радостны, и близки — ближе тех уже, что в жизни. Так утром радостно думает человек о доме своих друзей, куда войдет он вечером с приветом на смеющихся устах.

Очень устала Муся ходить. Прилегла осторожно на койку и продолжала грезить с легко закрытыми глазами. Звонили часы непрестанно, колебля немую тишину, и в их звенящих берегах тихо плыли светлые поющие образы. Муся думала: «Неужели это смерть? Боже мой, как она прекрасна! Или это жизнь? Не знаю, не знаю. Буду смотреть и слушать».

Уже давно, с первых дней заключения, начал фантазировать ее слух. Очень музыкальный, он обострялся тишиною и на фоне ее из скучных крупиц действительности, с ее шагами часовых в коридоре, звоном часов, шелестом ветра на железной крыше, скрипом фонаря, творил целые музыкальные картины. Сперва Муся боялась их, отгоняла от себя, как болезненные галлюцинации, потом поняла, что сама она здорова и никакой болезни тут нет, и стала отдаваться им спокойно.

И теперь вдруг совершенно ясно и отчетливо она услыхала звуки военной музыки. В изумлении она открыла глаза, приподняла голову — за окном стояла ночь, и часы звонили. «Опять, значит!» — подумала

она спокойно и закрыла глаза. И как только закрыла, музыка заиграла снова. Ясно слышно, как из-за угла здания, справа, выходят солдаты, целый полк, и проходят мимо окна. Ноги равномерно отбивают такт по мерзлой земле: раз-два! раз-два! — слышно даже, как поскрипывает иногда кожа на сапоге, вдруг оскользается и тут же выпрямляется чья-то нога. И музыка ближе: совершенно незнакомый, но очень громкий и бодрый праздничный марш. Очевидно, в крепости какой-то праздник.

Вот оркестр поравнялся с окном, и вся камера полна веселых, ритмичных, дружно-разноголосых звуков. Одна труба, большая, медная, резко фальшивит, то запаздывает, то смешно забегает вперед — Муся видит солдатика с этой трубой, его старательную физиономию, и смеется.

Все удаляется. Замирают шаги: раз-два! раз-два! Издалека музыка еще красивее и веселее. Еще раз другой громко и фальшиво-радостно вскрикивает медным голосом труба, и все гаснет. И снова на колокольне вызывают часы, медленно, печально, еле-еле колебля тишину.

«Ушли!» — думает Муся с легкой грустью. Ей жаль ушедших звуков, таких веселых и смешных; жаль даже ушедших солдатиков, потому что эти старательные, с медными трубами, с поскрипывающими сапогами, совсем иные, совсем не те, в кого хотела она стрелять из браунинга.

— Ну, еще! — просит она ласково.

И приходят еще. Склоняются над нею, окружают ее прозрачным облаком и поднимают вверх, туда, где несутся перелетные птицы и кричат, как герольды. Направо, налево, вверх и вниз — кричат, как герольды<sup>1</sup>. Зовут, оповещают, далеко возвещают о полете своем. Широко машут крылами, и тьма их держит, как держит их и свет; и на выпуклых грудях, разрезающих воздух, отсвечивает снизу голубым сияющий город. Все ровнее бьется сердце, все спокойнее и тише дыхание

---

<sup>1</sup> Герольд — глашатай.

Муси. Она засыпает. Лицо устало и бледно; под глазами круги, и так тонки девичьи исхудалые руки, — а на устах улыбка. Завтра, когда будет всходить солнце, это человеческое лицо исказится нечеловеческой гри- масой, зальется густою кровью мозг и вылезут из ор- бит остекленевшие глаза, — но сегодня она спит тихо и улыбается в великом бессмертии своем.

Заснула Муся.

А в тюрьме идет своя жизнь, глухая и чуткая, слепая и зоркая, как сама вечная тревога. Где-то ходят. Где-то шепчут. Где-то звякнуло ружье. Кажется, кто-то крикнул. А может быть, и никто не кричал — про- сто чудится от тишины.

Вот бесшумно отпала форточка в двери — в темном отверстии показывается темное усатое лицо. Долго и удивленно таращит на Мусю глаза — и пропадает бесшумно, как явилось.

Звонят и поют куранты — долго, мучительно. Точ- но на высокую гору, ползут к полуночи усталые часы, и все труднее и тяжелее подъем. Обрываются, сколь- зят, летят со стоном вниз — и вновь мучительно пол- зут к своей черной вершине.

Где-то ходят. Где-то шепчут. И уже впряжен ко-ней в черные без фонарей кареты.

## 8. ЕСТЬ И СМЕРТЬ, ЕСТЬ И ЖИЗНЬ

О смерти Сергей Головин никогда не думал, как о чем-то постороннем и его совершенно не касающемся. Он был крепкий, здоровый, веселый юноша, одаренный той спокойной и ясной жизнерадостностью, при которой всякая дурная, вредная для жизни мысль или чувство быстро и бесследно исчезает в организме. Как быстро заживали у него всякие порезы, раны и уколы, так и все тягостное, ранящее душу, немедленно выталкивалось наружу и уходило. И во всякое дело или даже забаву, была ли то фотография, велосипед или приготовление к террористическому акту, он вносил ту же спо- койную и жизнерадостную серьезность: все в жизни весело, все в жизни важно, все нужно делать хорошо.

И все он делал хорошо: великолепно управлялся с парусом, стрелял из револьвера прекрасно; был крепок в дружбе, как и в любви, и фанатически верил в «честное слово». Свои смеялись над ним, что если сыщик, рожа, заведомый шпион даст ему честное слово, что он не сырщик, — Сергей поверит ему и пожмет товарищески руку. Один был недостаток: был уверен, что поет хорошо, тогда как слуху не имел ни малейшего, пел отвратительно и фальшивил даже в революционных песнях; и обижался, когда смеялись.

— Или вы все осли, или я осел, — говорил он серьезно и обиженно.

И так же серьезно, подумав, все решали:

— Ты осел, по голосу слышно.

Но за недостаток этот, как иногда бывает с хорошими людьми, его любили, пожалуй, даже больше, чем за достоинства.

Смерти он настолько не боялся и настолько не думал о ней, что в роковое утро, перед уходом из квартиры Тани Ковальчук, он один как следует, с аппетитом, позавтракал: выпил два стакана чаю, наполовину разбавленного молоком, и съел целую пятикопеечную булку. Потом посмотрел с грустью на нетронутый хлеб Вернера и сказал:

— А ты что же не ешь? Ешь, подкрепиться надо.

— Не хочется.

— Ну так я съем. Ладно?

— Ну и аппетит же у тебя, Сережа.

Вместо ответа Сергей с набитым ртом, глухо и фальшиво запел:

Вихри враждебные веют над нами...

После ареста он было загрустил: сделано нехорошо, провалились, но подумал: «Есть теперь другое, что нужно сделать хорошо, — умереть», — и развеселился. И, как ни странно, со второго же утра в крепости начал заниматься гимнастикой по необыкновенно рациональной системе какого-то немца Мюллера, которой увлекался: разделся голый и, к тревожному

удивлению наблюдавшего часового, аккуратно проделал все предписанные восемнадцать упражнений. И то, что часовой наблюдал и, видимо, удивлялся, было ему приятно, как пропагандисту мюллеровской системы; и хотя знал, что ответа не получит, все же сказал торчащему в окошечке глазу:

— Хорошо, брат, укрепляет. Вот бы у вас в полку ввести что надо! — крикнул он убеждающе и кротко, чтобы не испугать, не подозревая, что солдат считает его просто сумасшедшим.

Страх смерти начал являться к нему постепенно и как-то толчками: точно возьмет кто и снизу, изо всей силы, подтолкнет сердце кулаком. Скорее больно, чем страшно. Потом ощущение забудется — и через несколько часов явится снова, и с каждым разом становится оно все продолжительнее и сильнее. И уже ясно начинает принимать мутные очертания какого-то большого и даже невыносимого страха.

«Неужели я боюсь? — подумал Сергей с удивлением. — Вот еще глупости!»

Боялся не он — боялось его молодое, крепкое, сильное тело, которое не удавалось обмануть ни гимнастикой немца Мюллера, ни холодными обтираниями. И чем крепче, чем свежее оно становилось после холодной воды, тем острее и невыносимее делались ощущения мгновенного страха. И именно в те минуты, когда на воле он ощущал особый подъем жизнерадостности и силы, утром, после крепкого сна и физических упражнений, тут появлялся этот острый, как бы чужой страх. Он заметил это и подумал: «Глупо, брат Сергей. Чтобы оно умерло легче, его надо ослабить, а не укреплять. Глупо!»

И бросил гимнастику и обтирания. А солдату в объяснение и в оправдание крикнул:

— Ты не смотри, что я бросил! Штука, брат, хорошая. Только для тех, кого вешать, не годится, а для всех других очень хорошо.

И действительно, стало как будто легче. Попробовал также поменьше есть, чтобы ослабеть еще, но, несмотря на отсутствие чистого воздуха и упражнений,

аппетит был очень велик, трудно было сладить, съедал все, что приносили. Тогда начал делать так: еще не принимаясь за еду, выливал половину горячего в ушат; и это как будто помогло: появилась тупая сонливость, истома.

— Я тебе покажу! — грозил он телу, а сам с грустью, нежно водил рукою по вялым, обмякшим мускулам.

Но скоро тело привыкло и к этому режиму, и страх смерти появился снова, — правда, не такой острый, не такой огневый, но еще более нудный, похожий на тошноту. «Это оттого, что тянут долго», — подумал Сергей, — хорошо бы все это время, до казни, прощать», — и старался как можно дольше спать. Вначале удавалось, но потом, оттого ли, что переспал он, или по другой причине, появилась бессонница. И с нею пришли острые, зоркие мысли, а с ними и тоска о жизни.

«Разве я ее, дьявола, боюсь? — думал он о смерти. — Это мне жизни жалко. Великолепная вещь, что бы там ни говорили пессимисты. А что, если пессимиста повесить? Ах, жалко жизни, очень жалко. И зачем борода у меня выросла? Не росла, не росла, а то вдруг выросла. И зачем?»

Покачивал головою грустно и вздыхал продолжительными тяжелыми вздохами. Молчание — и продолжительный, глубокий вздох; опять короткое молчание — и снова еще более продолжительный, тяжелый вздох.

Так было до суда и до последнего страшного свидания со стариками. Когда он проснулся в камере с ясным сознанием, что с жизнью все покончено, что впереди только несколько часов ожидания в пустоте и смерть, — стало как-то странно. Точно его оголили всего, как-то необыкновенно оголили — не только одежду с него сняли, но отодрали от него солнце, воздух, шум и свет, поступки и речи. Смерти еще нет, но нет уже и жизни, а есть что-то новое, поразительно непонятное, и не то совсем лишенное смысла, не то имеющее смысл, но такой глубокий, таинственный и нечеловеческий, что открыть его невозможно.

— Фу ты, черт! — мучительно удивлялся Сергей. — Да что же это такое? Да где же это я? Я... какой я?

Оглядел всего себя, внимательно, с интересом, начиная от больших арестантских туфель, кончая животом, на котором оттопыривался халат. Прошелся по камере, растопырив руки и продолжая оглядывать себя, как женщина в новом платье, которое ей длинно. Повертел головою — вертится. И это, несколько страшное почему-то, есть он, Сергей Головин, и этого — не будет.

И все сделалось странно.

Попробовал ходить по камере — странно, что ходит. Попробовал сидеть — странно, что сидит. Попробовал выпить воды — странно, что пьет, что глотает, что держит кружку, что есть пальцы и эти пальцы дрожат. Поперхнулся, закашлялся и, кашляя, думал: «Как это странно — я кашляю».

«Да что я, с ума, что ли, схожу! — подумал Сергей, холода. — Этого еще недоставало, чтобы черт их побрал!»

Потер лоб рукою, но и это было странно. И тогда, не дыша, на целые, казалось, часы он замер в неподвижности, гася всякую мысль, удерживая громкое дыхание, избегая всякого движения, ибо всякая мысль было безумие, всякое движение было безумие. Времени не стало, как бы в пространство превратилось оно, прозрачное, безвоздушное, в огромную площадь, на которой все — и земля, и жизнь, и люди; и все это видимо одним взглядом, все до самого конца, до загадочного обрыва — смерти. И не в том было мучение, что видна смерть, а в том, что сразу видны и жизнь и смерть. Святотатственною рукою была отдернута завеса, сывека скрывающая тайну жизни и тайну смерти, и они перестали быть тайной, — но не сделались они и понятными, как истина, начертанная на неведомом языке. Не было таких понятий в его человеческом мозгу, не было таких слов на его человеческом языке, которые могли бы охватить увиденное. И слова: «мне страшно» — звучали в нем только

потому, что не было иного слова, не существовало и не могло существовать понятия, соответствующего этому новому, нечеловеческому состоянию. Так было бы с человеком, если бы он, оставаясь в пределах человеческого разумения, опыта и чувств, вдруг увидел самого Бога, — увидел и не понял бы, хотя бы и знал, что это называется Бог, и содрогнулся бы неслыханными муками неслыханного непонимания.

— Вот тебе и Мюллер! — вдруг громко, с чрезвычайной убедительностью произнес он и качнул головою. И с тем неожиданным переломом в чувстве, на который так способна человеческая душа, весело и искренно захохотал. — Ах ты, Мюллер! Ах ты, мой милый Мюллер! Ах ты, мой распрекрасный немец! И все-таки — ты прав, Мюллер, а я, брат Мюллер, осел.

Быстро несколько раз прошелся по камере и, к новому, величайшему удивлению наблюдавшего в глазок солдата, быстро разделся догола и весело, с крайней старательностью проделал все восемнадцать упражнений; вытягивал и растягивал свое молодое, несколько похудевшее тело, приседал, вдыхал и выдыхал воздух, становясь на носки, выбрасывал ноги и руки. И после каждого упражнения говорил с удовольствием:

— Вот это так! Вот это настояще, брат Мюллер!

Щеки его раскраснелись, из пор выступили капельки горячего, приятного пота, и сердце стучало крепко и ровно.

— Дело в том, Мюллер, — рассуждал Сергей, выпячивая грудь так, что ясно обрисовались ребра под тонкой натянутой кожей, — дело в том, Мюллер, что есть еще девятнадцатое упражнение — подвешивание за шею в неподвижном положении. И это называется казнь. Понимаешь, Мюллер? Берут живого человека, скажем Сергея Головина, пеленают его, как куклу, и вешают за шею, пока не умрет. Глупо это, Мюллер, но ничего не поделаешь — приходится.

Перегнулся на правый бок и повторил:

— Приходится, брат Мюллер.

## 9. УЖАСНОЕ ОДИНОЧЕСТВО

Под тот же звон часов, отделенный от Сергея и Муси несколькими пустыми камерами, но одинокий столъ тяжко, как если бы во всей вселенной существовал он один, в ужасе и тоске оканчивал свою жизнь несчастный Василий Каширин.

Потный, с прилипшей к телу мокрой рубахой, распухшимися, прежде курчавыми волосами, он судорожно и безнадежно метался по камере, как человек, у которого нестерпимая зубная боль. Присаживался, вновь бегал, прижимался лбом к стене, останавливался и что-то разыскивал глазами, словно искал лекарства. Он так изменился, что как будто имелись у него два разных лица, и прежнее, молодое, ушло куда-то, а на место его стало новое, страшное, пришедшее из темноты.

К нему страх смерти пришел сразу и овладел им безраздельно и властно. Еще утром, идя на явную смерть, он фамильярничал с нею, а уже к вечеру, заключенный в одиночную камеру, был закружен и захлестнут волною бешеного страха. Пока он сам, своею волею, шел на опасность и смерть, пока свою смерть, хотя бы и страшную по виду, он держал в собственных руках, ему было легко и весело даже: в чувстве безбрежной свободы, смелого и твердого утверждения своей дерзкой и бесстрашной воли бесследно утопал маленький, сморщеный, словно старушечий, страшок. Опоясанный адской машиной, он сам как бы превратился в адскую машину, включил в себя жестокий разум динамита, присвоил себе его огненную смертоносную мощь. И, идя по улице, среди суетливых, будничных, озабоченных своими делами людей, торопливо спасающихся от извозчичьих лошадей и трамвая, он казался себе пришлецом из иного, неведомого мира, где не знают ни смерти, ни страха.

И вдруг сразу резкая, дикая, ошеломляющая перемена. Он уже не идет куда хочет, а его везут — куда хотят. Он уже не выбирает места, а его сажают в каменную клетку и запирают на ключ, как вещь. Он уже

не может выбрать свободно: жизнь или смерть, как все люди, а его непременно и неизбежно умретвят. За мгновение бывший воплощением воли, жизни и силы, он становится жалким образом единственного в мире бессилия, превращается в животное, ожидающее бойни, в глухую и безгласную вещь, которую можно переставлять, жечь, ломать. Что бы он ни говорил, слов его не послушают, а если станет кричать, то заткнут рот тряпкой, и будет ли он сам передвигать ногами, его отведут и повесят; и станет ли он сопротивляться, баражаться, ляжет наземь — его осилят, поднимут, связуют и связанного поднесут к виселице. И то, что эту машинную работу над ним исполнят люди, такие же, как и он, придает им новый, необыкновенный и зловещий вид: не то призраков, чего-то притворяющегося, явившегося только нарочно, не то механических кукол на пружине — берут, хватают, ведут, вешают, дергают за ноги. Обрезают веревку, кладут, везут, закапывают.

И с первого же дня тюрьмы люди и жизнь превратились для него в непостижимо ужасный мир призраков и механических кукол. Почти обезумев от ужаса, он старался представить, что люди имеют язык и говорят, и не мог — казались немыми; старался вспомнить их речь, смысл слов, которые они употребляют при сношениях, — и не мог. Рты раскрываются, что-то звучит, потом они расходятся, передвигая ноги, и нет ничего.

Так чувствовал бы себя человек, если бы ночью, когда он в доме один, все вещи ожили, задвигались и приобрели над ним, человеком, неограниченную власть. Вдруг стали бы его судить: шкаф, стул, письменный стол и диван. Он бы кричал и метался, умолял, звал на помощь, а они что-то говорили бы по-своему между собою, потом повели его вешать: шкаф, стул, письменный стол и диван. И смотрели бы на это остальные вещи.

И все стало казаться игрушечным Василию Каширину, присужденному к смертной казни через повешение: его камера, дверь с глазком, звон заведенных ча-

сов, аккуратно вылепленная крепость, и особенно та механическая кукла с ружьем, которая стучит ногами по коридору, и те другие, которые, пугая, заглядывают к нему в окошечко и молча подают еду. И то, что он испытывал, не было ужасом перед смертью; скорее смерти он даже хотел: во всей извечной загадочности и непонятности своей она была доступнее разуму, чем этот так дико и фантастично превратившийся мир. Более того: смерть как бы уничтожалась совершенно в этом безумном мире призраков и кукол, теряла свой великий и загадочный смысл, становилась также чем-то механическим и только поэтому страшным. Берут, хватают, ведут, вешают, дергают за ноги. Обрезают веревку, кладут, везут, закапывают.

#### Исчез из мира человек.

На суде близость товарищей привела Каширина в себя, и он снова на мгновение увидел людей: сидят и судят его и что-то говорят на человеческом языке, слушают и как будто понимают. Но уже на свидании с матерью он, с ужасом человека, который начинает сходить с ума и понимает это, почувствовал ярко, что эта старая женщина в черном платочек — просто искусно сделанная механическая кукла вроде тех, которые говорят: «па-па», «ма-ма», но только лучше сделанная. Старался говорить с нею, а сам, вздрагивая, думал: «Господи! Да ведь это же кукла. Кукла матери. А вот та кукла солдата, а там, дома, кукла отца, а вот это — кукла Василия Каширина».

Казалось, еще немного — и он услышит где-то треск механизма, поскрипывание несмазанных колес. Когда мать заплакала, на один миг снова мелькнуло что-то человеческое, но при первых же ее словах исчезло, и стало любопытно и ужасно смотреть, что из глаз куклы течет вода.

Потом, в своей камере, когда ужас стал невыносим, Василий Каширин попробовал молиться. От всего того, чем под видом религии была окружена его юношеская жизнь в отцовском купеческом доме, остался один противный, горький и раздражающий осадок, и веры не было. Но когда-то, быть может в

раннем еще детстве, он услыхал три слова, и они поразили его трепетным волнением и потом на всю жизнь остались обвеянными тихой поэзией. Эти слова были: «Всех скорбящих Радость»<sup>1</sup>.

Случалось, в тяжелые минуты он шепнет про себя, без молитвы, без определенного сознания: «Всех скорбящих Радость» — и вдруг станет легче и захочется пойти к кому-то милому и жаловаться тихо:

— Наша жизнь... да разве это жизнь! Эх, милая вы моя, да разве это жизнь!

А потом вдруг и смешно станет, и захочется кучерявить волосы, выкинуть колено, подставить грудь под чьи-то удары: нá, бей!

Никому, даже самым близким товарищам, он не говорил о своей «Всех скорбящих Радости» и даже сам как будто не знал о ней — так глубоко крылась она в душе его. И вспоминал не часто, с осторожностью.

И теперь, когда ужас неразрешимой, воочию представшей тайны с головою покрыл его, как вода в половодье прибрежную лозиночку, он захотел молиться. Хотел стать на колени, но стыдно сделалось перед солдатом, и, сложив руки у груди, тихо прошептал:

— «Всех скорбящих Радость»!

И с тоскою, выговаривая умильно, повторил:

— «Всех скорбящих Радость», приди ко мне, поддержи Ваську Каширина.

Давно еще, когда он был на первом курсе университета и покупчивал еще, до знакомства с Вернером и вступления в общество, он называл себя хвастливо и жалко Васькой Кашириным — теперь почему-то захотелось называться так же. Но мертвое и неотзычивое прозвучали слова:

— «Всех скорбящих Радость»!

Вскользнулось что-то. Будто проплыл в отдалении чей-то тихий и скорбный образ и тихо погас, не озарив предсмертной тьмы. Били заведенные часы на колокольне. Застучал чем-то, шашкой не то ружьем,

<sup>1</sup> «Всех скорбящих Радость» — чудотворная икона Божией Матери.

солдат в коридоре и продолжительно, с переходами, зевнул.

— «Всех скорбящих Радость! И ты молчишь! И ты ничего не хочешь сказать Ваське Каширину?

Улыбался умильно и ждал. Но было пусто и в душе, и вокруг. И не возвращался тихий и скорбный образ. Вспоминались ненужно и мучительно восковые горящие свечи, поп в рясе, нарисованная на стене икона и как отец, согбаясь и разгибаясь, молится и кладет поклоны, а сам смотрит исподлобья, молится ли Васька, не занялся ли баловством. И стало еще страшнее, чем до молитвы.

Исчезло все.

Безумие тяжко наползало. Сознание погасало, как потухающий разбросанный костер, холодело, как труп только что скончавшегося человека, у которого тепло еще в сердце, а ноги и руки уже окоченели. Еще раз, кроваво вспыхнув, сказала угасающая мысль, что он, Васька Каширин, может здесь сойти с ума, испытать муки, для которых нет названия, дойти до такого предела боли и страданий, до каких не доходило еще ни одно живое существо; что он может биться головою о стену, выколоть себе пальцем глаза, говорить и кричать, что ему угодно, уверять со слезами, что больше выносить он не может, — и ничего. Будет ничего.

И ничего наступило. Ноги, у которых свое сознание и своя жизнь, продолжали ходить и носить дрожащее мокре тело. Руки, у которых свое сознание, тщетно пытались запахнуть расходящийся на груди халат и согреть дрожащее мокре тело. Тело дрожало и зябло. Глаза смотрели. И это был почти что покой.

Но был еще момент дикого ужаса. Это когда вошли люди. Он даже не подумал, что это значит — пора ехать на казнь, а просто увидел людей и испугался, почти по-детски.

— Я не буду! Я не буду! — шептал он неслышно помертвевшими губами и тихо отодвигался в глубь камеры, как в детстве, когда поднимал руку отец.

— Надо ехать.

Говорят, ходят вокруг, что-то подают. Закрыл глаза, покачался — и тяжело начал собираться. Должно быть, сознание стало возвращаться: вдруг попросил у чиновника папиросу. И тот любезно раскрыл серебряный с декадентским рисунком портсигар.

## 10. СТЕНЫ ПАДАЮТ

Неизвестный, по прозвищу Вернер, был человек, уставший от жизни и от борьбы. Было время, когда он очень сильно любил жизнь, наслаждался театром, литературой, общением с людьми; одаренный прекрасной памятью и твердой волей, изучил в совершенстве несколько европейских языков, мог свободно выдавать себя за немца, француза или англичанина. По-немецки он говорил обычно с баварским акцентом, но мог при желании говорить как настоящий, прирожденный берлинец. Любил хорошо одеваться, имел прекрасные манеры и один из всей своей братии, без риска быть узнанным, смел появляться на велико-светских балах.

Но уже давно, невидимо для товарищей, в душе его зрело темное презрение к людям; и отчаяние там было, и тяжелая, почти смертельная усталость. По природе своей скорее математик, чем поэт, он не знал до сих пор вдохновения и экстаза и минутами чувствовал себя как безумец, который ищет квадратуру круга в лужах человеческой крови. Тот враг, с которым он ежедневно боролся, не мог внушить ему уважения к себе; это была частая сеть глупости, предательства и лжи, грязных плевков, гнусных обманов. Последнее, что на всегда, казалось, уничтожило в нем желание жить, — было убийство провокатора, совершенное им по поручению организации. Убил спокойно, а когда увидел это мертвое, лживое, но теперь спокойное и все же жалкое человеческое лицо, вдруг перестал уважать себя и свое дело. Не то чтобы почувствовал раскаяние, а просто вдруг перестал ценить себя, стал для себя самого неинтересным, неважным, скучно-посторонним. Но из организации, как человек единой, нерас-

щепленной воли, не ушел и внешне остался тот же — только в глазах залегло что-то холодное и жуткое. И никому ничего не сказал.

Обладал он и еще одним редким свойством: как есть люди, которые никогда не знали головной боли, так он не знал, что такое страх. И когда другие боялись, относился к этому без осуждения, но и без особенного сочувствия, как к довольно распространенной болезни, которою сам, однако, ни разу не хворал. Товарищей своих, особенно Васю Каширину, он жалел; но это была холодная, почти официальная жалость, которой не чужды были, вероятно, и некоторые из судей.

Вернер понимал, что казнь не есть просто смерть, а что-то другое, но во всяком случае решил встретить ее спокойно, как нечто постороннее: жить до конца так, как будто ничего не произошло и не произойдет. Только этим он мог выразить высшее презрение к казни и сохранить последнюю, неотторжимую свободу духа. И на суде — и этому, пожалуй, не поверили бы даже товарищи, хорошо знавшие его холодное бесстрашие и надменность, — он думал не о смерти и не о жизни: он сосредоточенно, с глубочайшей и спокойной внимательностью, разыгрывал трудную шахматную партию. Превосходный игрок в шахматы, он с первого дня заключения начал эту партию и продолжал безостановочно. И приговор, присуждавший его к смертной казни через повешение, не сдвинул ни одной фигуры на невидимой доске.

Даже то, что партии кончить ему, видимо, не придется, не остановило его; и утро последнего дня, который оставался ему на земле, он начал с того, что исправил один вчерашний не совсем удачный ход. Сжав опущенные руки между колен, он долго сидел в неподвижности; потом встал и начал ходить, размышляя. Походка у него была особенная: он несколько клонил вперед верхнюю часть туловища и крепко и четко бил землю каблуками — даже на сухой земле его шаги оставляли глубокий и приметный след. Тихо, одним дыханием, он насыщивал несложную итальянскую арийку — это помогало думать.

Но дело в этот раз шло почему-то плохо. С неприятным чувством, что он совершил какую-то крупную, даже грубую ошибку, он несколько раз возвращался назад и проверял игру почти сначала. Ошибки не находилось, но чувство совершенной ошибки не только не уходило, а становилось все сильнее и досаднее. И вдруг явилась неожиданная и обидная мысль: не в том ли ошибка, что игрою в шахматы он хочет отвлечь свое внимание от казни и оградиться от того страха смерти, который будто бы неизбежен для осужденного?

— Нет, зачем же! — отвечал он холодно и спокойно закрыл невидимую доску. И с той же сосредоточенной внимательностью, с какою играл, будто отвечая на строгом экзамене, постарался дать отчет в ужасе и безвыходности своего положения: осмотрев камеру, стараясь не пропустить ничего, сосчитал часы, что остаются до казни, нарисовал себе приблизительную и довольно точную картину самой казни и пожал плечами.

— Ну? — ответил он кому-то полу вопросом. — Вот и все. Где же страх?

Страха действительно не было. И не только не было страха, но нарастало что-то как бы противоположное ему — чувство смутной, но огромной и смелой радости. И ошибка, все еще не найденная, уже не вызывала ни досады, ни раздражения, а также говорила громко о чем-то хорошем и неожиданном, словно счел он умершим близкого дорогого друга, а друг этот оказался жив и невредим и смеется.

Вернер снова пожал плечами и попробовал свой пульс: сердце билось учащенно, но крепко и ровно, с особенной звонкой силой. Еще раз внимательно, как новичок, впервые попавший в тюрьму, оглядел стены, запоры, привинченный к полу стул и подумал: «Отчего мне так легко, радостно и свободно? Именно свободно. Подумаю о завтрашней казни — и как будто ее нет. Посмотрю на стены — как будто нет и стен. И так свободно, словно я не в тюрьме, а только что вышел из какой-то тюрьмы, в которой сидел всю жизнь. Что это?»

Начинали дрожать руки — невиданное для Вернера явление. Все яростнее билась мысль. Словно огненные языки вспыхивали в голове — наружу хотел пробиться огонь и осветить широко еще ночную, еще темную даль. И вот пробился он наружу, и засияла широко озаренная даль.

Исчезла мутная усталость, томившая Вернера два последних года, и отпала от сердца мертвая, холодная, тяжелая змея с закрытыми глазами и мертвенно сомкнутым ртом — перед лицом смерти возвращалась, играя, прекрасная юность. И это было больше чем прекрасная юность. С тем удивительным просвещением духа, которое в редкие минуты осеняет человека и поднимает его на высочайшие вершины созерцания, Вернер вдруг увидел и жизнь и смерть и поразился великолепием невиданного зрелища. Словно шел по узкому, как лезвие ножа, высочайшему горному хребту и на одну сторону видел жизнь, а на другую видел смерть, как два сверкающих, глубоких, прекрасных моря, сливающихся на горизонте в один безграничный широкий простор.

— Что это! Какое божественное зрелище! — медленно сказал он, привставая невольно и выпрямляясь, как в присутствии высшего существа. И, уничтожая стены, пространство и время стремительностью всепроникающего взора, он широко взглянул куда-то в глубь покидаемой жизни.

И новою предстала жизнь. Он не пытался, как прежде, запечатлеть словами увиденное, да и не было таких слов на все еще бедном, все еще скучном человеческом языке. То маленькое, грязное и злое, что будило в нем презрение к людям и порою вызывало даже отвращение к виду человеческого лица, исчезло совершенно: так для человека, поднявшегося на воздушном шаре, исчезают сор и грязь тесных улиц покинутого городка и красотою становится безобразное.

Бессознательным движением Вернер шагнул к столу и оперся на него правой рукою. Гордый и властный от природы, никогда еще не принимал он такой гордой, свободной и властной позы, не поворачивал шеи

так, не глядел так, ибо никогда еще не был свободен и властен, как здесь, в тюрьме, на расстоянии нескольких часов от казни и смерти.

И новыми предстали люди, по-новому милыми и прелестными показались они его просветленному взору. Паря над временем, он увидел ясно, как молодо человечество, еще вчера только зверем завывавшее в лесах; и то, что казалось ужасным в людях, непростительным и гадким, вдруг стало милым, как мило в ребенке его неумение ходить походкою взрослого, его бессвязный лепет, блестающий искрами гениальности, его смешные промахи, ошибки и жестокие ушибы.

— Милые вы мои! — вдруг неожиданно улыбнулся Вернер и сразу потерял всю внушительность своей позы, снова стал арестантом, которому и тесно, и неудобно взаперти, и скучно немного от надоевшего пытливого глаза, торчащего в плоскости двери.

И странно: почти внезапно он позабыл то, что увидел только что так выпукло и ясно; и еще страннее — даже и вспомнить не пытался. Просто сел поудобнее, без обычной сухости в положении тела, и с чужой, не вернеровской, слабой и нежной улыбкой оглядел стены и решетки. Произошло еще новое, чего никогда не бывало с Вернером: вдруг заплакал.

— Милые товарищи мои! — шептал он и плакал горько. — Милые товарищи мои!

Какими тайными путями пришел он от чувства гордой и безграничной свободы к этой нежной и страстной жалости? Он не знал и не думал об этом. И жалел ли он их, своих милых товарищих, или что-то другое, еще более высокое и страшное, таили в себе его слезы, — не знало и этого его вдруг воскресшее, зазленевшее сердце. Плакал и шептал:

— Милые товарищи мои! Милые вы, товарищи мои!

В этом горько плачущем и сквозь слезы улыбающемся человеке никто не признал бы холодного и надменного, усталого и дерзкого Вернера — ни судьи, ни товарищи, ни он сам.

## 11. ИХ ВЕЗУТ

Перед тем как рассаживать осужденных по каретам, их всех пятерых собрали в большой холодной комнате со сводчатым потолком, похожей на канцелярию, где больше не работают, или на пустую приемную. И позволили разговаривать между собою.

Но только Таня Ковальчук сразу воспользовалась позволением. Остальные молча и крепко пожали руки, холодные как лед и горячие как огонь, и молча, стараясь не глядеть друг на друга, столпились неловкой рассеянной кучкой. Теперь, когда они были вместе, они как бы совестились того, что каждый из них испытал в одиночестве; и глядеть боялись, чтобы не увидеть и не показать того нового, особенного, немножко стыдного, что каждый чувствовал или подозревал за собою.

Но раз-другой взглянули, улыбнулись и сразу почувствовали себя непринужденно и просто, как прежде: никакой перемены не произошло, а если и произошло что-то, то так ровно легло на всех, что для каждого в отдельности стало незаметно. Все говорили и двигались странно: порывисто, толчками, или же слишком медленно, или же слишком быстро; иногда захлебывались словами и многократно повторяли их, иногда же не договаривали начатой фразы или считали ее сказанной — не замечали этого. Все щурились и с любопытством, не узнавая, рассматривали обыкновенные вещи, как люди, которые ходили в очках и вдруг сняли их; все часто и резко оборачивались назад, точно все время из-за спины их кто-то окликнул и что-то показывал. Но не замечали они и этого. У Муси и Тани Ковальчук щеки и уши горели; Сергей вначале был несколько бледен, но скоро оправился и стал такой, как всегда.

И только на Василия обратили внимание. Даже среди них он был необыкновенен и страшен. Вернер всколыхнулся и тихо сказал Мусе с нежным беспокойством:

— Что это, Мусечка? Неужели он того, а? Что?  
Надо к нему.

Василий откуда-то издали, точно не узнавая, посмотрел на Вернера и опустил глаза.

— Вася, что это у тебя с волосами, а? Да ты что?  
Ничего, брат, ничего, ничего, сейчас кончится. Надо держаться, надо, надо.

Василий молчал. И когда начало уже казаться, что он и совсем ничего не скажет, пришел глухой, запоздалый, страшно далекий ответ — так на многие зовы могла бы ответить могила:

— Да я ничего. Я держусь.

И повторил:

— Я держусь.

Вернер обрадовался:

— Вот, вот. Молодец. Так, так.

Но встретил темный, отяжелевший, из глубочайшей дали устремленный взор и подумал с мгновенною тоскою: «Откуда он смотрит? Откуда он говорит?» И с глубокой нежностью, как говорят только могиле, сказал:

— Вася, ты слышишь? Я очень люблю тебя.

— И я тебя очень люблю, — ответил, тяжело ворочаясь, язык.

Вдруг Муся взяла Вернера за руку и, выражая удивление, усиленно, как актриса на сцене, сказала:

— Вернер, что с тобой? Ты сказал: люблю? Ты никогда никому не говорил: люблю. И отчего ты весь такой... светлый и мягкий? А, что?

— А, что?

И, как актер, также усиленно выражая то, что он чувствовал, Вернер крепко сжал Мусину руку:

— Да, я теперь очень люблю. Не говори другим, не надо — совестно, но я очень люблю.

Встретились их взоры и вспыхнули ярко, и все погасло кругом — так в мгновенном блеске молнии гаснут все иные огни и бросает на землю тень само желтое тяжелое пламя.

— Да, — сказала Муся. — Да, Вернер.

— Да, — ответил он. — Да, Муся, да!

Было понято нечто и утверждено ими непоколебимо. И, светясь взорами, Вернер всколыхнулся снова к быстро шагнул к Сергею.

— Сережа!

Но ответила Таня Ковальчук. В восторге, почти плача от материнской гордости, она неистово дергала Сергея за рукав.

— Вернер, ты послушай! Я тут о нем плачу, я убиваюсь, а он — гимнастикой занимается!

— По Мюллеру? — улыбнулся Вернер.

Сергей сконфуженно нахмурился:

— Ты напрасно смеешься, Вернер. Я окончательно убедился...

Все рассмеялись. В общении друг с другом черпая крепость и силу, постепенно становились они такими, как прежде, но не замечали и этого, думали, что всё одни и те же. Вдруг Вернер оборвал смех и с чрезвычайно серьезностью сказал Сергею:

— Ты прав, Сережа. Ты совершенно прав.

— Нет, ты пойми, — обрадовался Головин. — Конечно, мы...

Но тут предложили ехать. И были так любезны, что разрешили рассесться парами как хотят. И вообще были очень, даже до чрезмерности любезны: не то старались выказать свое человеческое отношение, не то показать, что их тут совсем нет, а все делается само собою. Но были бледны.

— Ты, Муся, с ним, — показал Вернер на Василия, стоявшего неподвижно.

— Понимаю, — кивнула Муся головою. — А ты?

— Я? Таня с Сергеем, ты с Васей... Я один. Это ничего, я ведь могу, ты знаешь.

Когда вышли во двор, влажная темнота мягко, но тепло и сильно ударила в лицо, в глаза, захватила дыхание, вдруг очищающее и нежно пронизала все вздрогнувшее тело. Трудно было поверить, что это удивительное — просто ветер весенний, теплый влажный ветер. И настоящая удивительная весенняя ночь запахла тающим снегом, безгранично ширью, зазвенела капелями. Хлопотливо и часто, догоняя друг

друга, падали быстрые капельки и дружно чеканили звонкую песню; но вдруг съется одна с голоса — и все запутается в веселом плеске, в торопливой неразберихе. А потом ударит твердо большая строгая капля, и снова четко и звонко чеканится торопливая весенняя песня. И над городом, поверх крепостных крыш, стояло бледное зарево от электрических огней.

— У-ах! — широко вздохнул Сергей Головин и задержал дыхание, точно жалея выпускать из легких такой свежий и прекрасный воздух.

— Давно такая погода? — осведомился Вернер. — Совсем весна.

— Второй только день, — был предупредительный и вежливый ответ. — А то все больше морозы.

Одна за другою мягко подкатывали темные кареты, забирали по двое, уходили в темноту, туда, где качался под воротами фонарь. Серыми силуэтами окружали каждый экипаж конвойные, и подковы их лошадей чокали звонко или хлябали по мокрому снегу.

Когда Вернер, согнувшись, намеревался лезть в карету, жандарм сказал неопределенно:

— Тут с вами еще один едет.

Вернер удивился:

— Куда? Куда же он едет? Ах да! Еще один? Кто же это?

Солдат молчал. Действительно, в углу кареты, в темноте, прижималось что-то маленькое, неподвижное, но живое — при косом луче от фонаря блеснул открытый глаз. Усаживаясь, Вернер толкнул ногою его колено.

— Извините, товарищ.

Тот не ответил. И только, когда тронулась карета, вдруг спросил ломанным русским языком, запинаясь:

— Кто вы?

— Я Вернер, присужден к повешению за покушение на NN. А вы?

— Я — Янсон. Меня не надо вешать.

Они ехали, чтобы через два часа стать перед лицом неразгаданной великой тайны, из жизни уйти в смерть, — и знакомились. В двух плоскостях одновре-

менно шли жизнь и смерть, и до конца, до самых смешных и нелепых мелочей оставалась жизнью жизнь.

— А что вы сделали, Янсон?

— Я хозяина резал ножом. Деньги крал.

По голосу казалось, что Янсон засыпает. В темноте Вернер нашел его вялую руку и пожал. Янсон также вяло отобрал руку.

— Тебе страшно? — спросил Вернер.

— Я не хочу.

Они замолчали. Вернер снова нашел руку эстонца и крепко зажал между своими сухими и горячими ладонями. Лежала она неподвижно, дощечкой, но отобратить ее Янсон больше не пытался.

В карете было тесно и душно, пахло солдатским сукном, затхлостью, навозом и кожей от мокрых сапог. Молоденький жандарм, сидевший против Вернера, горячо дышал на него смешанным запахом луку и дешевого табаку. Но в какие-то щели пробивался острый и свежий воздух, и от этого в маленьком, душном, движущемся ящики весна чувствовалась еще сильнее, чем снаружи. Карета заворачивала то направо, то налево, то как будто возвращалась назад; казалось иногда, что уже целые часы они кружатся зачем-то на одном месте. Вначале сквозь опущенные густые занавески в окнах пробивался голубоватый электрический свет; потом вдруг, после одного поворота, потемнело, и только по этому можно было догадаться, что они свернули на глухие окраинные улицы и приближаются к С—скому вокзалу. Иногда при крутых заворотах живое согнутое колено Вернера дружески билось о такое же живое согнутое колено жандарма, и трудно было поверить в казнь.

— Куда мы едем? — спросил вдруг Янсон.

У него слегка кружилась голова от продолжительного верчения в темном ящики и слегка тошило.

Вернер ответил и крепче сжал руку эстонца. Хотелось сказать что-то особенно дружеское, ласковое этому маленькому сонному человеку, и уже любил он его так, как никого в жизни.

— Милый! Тебе, кажется, неудобно сидеть. Подвигайся сюда, ко мне.

Янсон помолчал и ответил:

— Ну спасибо. Мне хорошо. А тебя тоже будут вешать?

— Тоже! — неожиданно весело, почти со смехом ответил Вернер и как-то особенно развязно и легко махнул рукою. Точно речь шла о какой-то нелепой и вздорной шутке, которую хотят проделать над ними милые, но страшно смешливые люди.

— Жена есть? — спросил Янсон.

— Нету. Какая там жена! Я один.

— Я тоже один. Одна, — поправился Янсон, подумав.

И у Вернера начинала кружиться голова. И казалось минутами, что они едут на какой-то праздник; странно, но почти все ехавшие на казнь ощущали то же и, наряду с тоскою и ужасом, радовались смутно тому необыкновенному, что сейчас произойдет. Упивалась действительность безумием, и призраки родила смерть, сочетавшаяся с жизнью. Очень возможно, что на домах развевались флаги.

— Вот и приехали! — сказал Вернер любопытно и весело, когда карета остановилась, и выпрыгнул легко.

Но с Янсоном дело затянулось: молча и как-то очень вяло он упирался и не хотел выходить. Схватится за ручку — жандарм разожмет бессильные пальцы и отдерет руку; схватится за угол, за дверь, за высокое колесо — и тотчас же, при слабом усилии со стороны жандарма, отпустит. Даже не хватался, а скорее сонно прилипал ко всякому предмету молчаливый Янсон — и отдирался легко и без усилий. Наконец встал.

Флагов не было. По-ночному был темен, пуст и безжизнен вокзал; пассажирские поезда уже не ходили, а для того поезда, который на пути безмолвно ожидал этих пассажиров, не нужно было ни ярких огней, ни суеты. И вдруг Вернеру стало скучно. Не страшно, не тоскливо, а скучно огромной, тягучей, томительной скучкой, от которой хочется куда-то уйти, лечь, закрыть крепко глаза. Вернер потянулся и продолжи-

тельно зевнул. Потянулся и быстро, несколько раз подряд зевнул и Янсон.

— Хоть бы поскорее! — сказал Вернер устало.

Янсон молчал и ежился.

Когда на безлюдной платформе, оцепленной солдатами, осужденные двигались к тускло освещенным вагонам, Вернер очутился возле Сергея Головина; и тот, показав куда-то в сторону рукою, начал говорить, и было ясно слышно только слово «фонарь», а окончание утонуло в продолжительной и усталой зевоте.

— Ты что говоришь? — спросил Вернер, отвечая также зевотой.

— Фонарь. Лампа в фонаре коптит, — сказал Сергей.

Вернер оглянулся: действительно, в фонаре сильно коптела лампа, и уже покернели вверху стекла.

— Да, коптит.

И вдруг подумал: «А какое, впрочем, мне дело, что лампа коптит, когда...» То же, очевидно, подумал и Сергей: быстро взглянул на Вернера и отвернулся. Но зевать они оба перестали.

Все до вагонов шли сами, и только Янсона пришлось вести под руки: сперва он упирался ногами и точно приклеивал подошвы к доскам платформы, потом подогнул колени и повис в руках жандармов, ноги его волоклись, как у сильно пьяного, и носки скребли дерево. И в дверь его пропихивали долго, но молча.

Двигался сам и Василий Каширин, смутно копируя движения товарищей, — все делал, как они. Но, всходя на площадку в вагоне, он оступился, и жандарм взял его за локоть, чтобы поддержать, — Василий затрясся и крикнул пронзительно, отдергивая руку:

— Ай!

— Вася, что с тобою? — рванулся к нему Вернер.

Василий молчал и трясся тяжело. Смущенный и даже огорченный жандарм объяснил:

— Я хотел их поддержать, а они...

— Пойдем, Вася, я поддержу тебя, — сказал Вернер и хотел взять его за руку.

Но Василий отдернул руку опять и еще громче крикнул:

— Ай!

— Вася, это я, Вернер.

— Я знаю. Не трогай меня. Я сам.

И, продолжая трястись, сам вошел в вагон и сел в угол. Наклонившись к Мусе, Вернер тихо спросил ее, указывая глазами на Василия:

— Ну как?

— Плохо, — так же тихо ответила Муся. — Он уже умер. Вернер, скажи мне, разве есть смерть?

— Не знаю, Муся, но думаю, что нет, — ответил Вернер серьезно и вдумчиво.

— Я так и думала. А он? Я измучилась с ним в карете, я точно с мертвецом ехала.

— Не знаю, Муся. Может быть, для некоторых смерть и есть. Пока, а потом совсем не будет. Вот и для меня смерть была, а теперь ее нет.

Побледневшие несколько щеки Муси вспыхнули:

— Была, Вернер? Была?

— Была. Теперь нет. Как для тебя.

В дверях вагона послышался шум. Громко стучали каблуками, громко дыша и отплевываясь, вошел Мишка Цыганок. Метнул глазами и остановился упрямо.

— Тут местов нету, жандарм! — крикнул он утомленному, сердито глядевшему жандарму. — Ты мне давай так, чтобы свободно, а то не поеду, вешай тут, на фонаре. Карету тоже дали, сукины дети, — разве это карета? Чертова требуха, а не карета!

Но вдруг наклонил голову, вытянул шею и так пошел вперед, к другим. Из растрепанной рамки волос и бороды черные глаза его глядели дико и остро, с несколько безумным выражением.

— А! Господа! — протянул он. — Вот оно что. Здравствуй, барин.

Он ткнул Вернеру руку и сел против него. И, наклонившись близко, подмигнул одним глазом и быстро провел рукою по шее.

— Тоже? А?

— Тоже! — улыбнулся Вернер.  
— Да неужто всех?  
— Всех.  
— Ого! — оскалился Цыганок и быстро ощупал глазами всех, на мгновение дольше остановился на Мусе и Янсоне. И снова подмигнул Вернеру:  
— Министра?  
— Министра. А ты?  
— Я, барин, по другому делу. Куда нам до министра! Я, барин, разбойник — вот я кто. Душегуб. Ничего, барин, потеснись, не своей волей в компанию за-тесался. На том свете всем места хватит.

Он дико, из-под взлохматившихся волос, обвел всех одним стремительным недоверчивым взглядом. Но все смотрели на него молча и серьезно и даже с видимым участием. Оскалился и быстро несколько раз похлопал Вернера по коленке.

— Так-то, барин! Как в песне поется: не шуми ты, мать зеленая дубравушка.

— Зачем ты зовешь меня барином, когда мы все...  
— Верно, — с удовольствием согласился Цыганок. — Какой ты барин, когда рядом со мной висеть будешь! Вот он кто, барин-то, — ткнул он пальцем на молчаливого жандарма. — Э, а вот энтот-то ваш того, не хуже нашего, — указал он глазами на Василия. — Барин, а барин, боишься, а?

— Ничего, — ответил туто ворочающейся языком.

— Ну уж какой там ничего. Да ты не стыдись, тут стыдиться нечего. Это собака только хвостом виляет да зубы скалит, как ее вешать ведут, а ты ведь человек. А этот кто, лopoухий? Этот не из ваших?

Он быстро перескакивал глазами и непрестанно, с шипением сплевывал набегающую сладкую слону. Янсон, неподвижным комочком прижавшийся в угол, слегка шевельнул крыльями своей облезлой меховой шапки, но ничего не ответил. Ответил за него Вернер:

— Хозяина зарезал.  
— Господи! — удивился Цыганок. — И как таким позволяют людей резать!

Уже давно, искоса, Цыганок приглядывался к Мусе и теперь, быстро повернувшись, резко и прямо уставился на нее.

— Барышня, а барышня! Вы что же это! И щечки розовенькие, и смеется. Гляди, она вправду смеется, — схватил он Вернера за колено цепкими, точно железными пальцами. — Гляди, гляди!

Покраснев, с несколько смущенной улыбкой, Муся также смотрела в его острые, несколько безумные, тяжело и дико вопрошающие глаза.

Все молчали.

Дробно и деловито постукивали колеса, маленькие вагончики попрыгивали по узеньким рельсам и старательно бежали. Вот на закруглении или у переезда жидкко и старательно засвистел паровозик — машинист боялся кого-нибудь задавить. И дико было подумать, что в повешение людей вносится так много обычной человеческой аккуратности, старания, деловитости, что самое безумное на земле дело совершается с таким простым разумным видом. Бежали вагоны, в них сидели люди, как всегда сидят, и ехали, как они обычно ездят; а потом будет остановка, как всегда — «поезд стоит пять минут».

И тут наступит смерть — вечность — великая тайна.

## 12. ИХ ПРИВЕЗЛИ

Старатально бежали вагончики.

Несколько лет подряд Сергей Головин жил с родными на даче по этой самой дороге, часто ездил днем и ночью и знал ее хорошо. И если закрыть глаза, то можно было подумать, что и теперь он возвращался домой, — запоздал в городе у знакомых и возвращается с последним поездом.

— Теперь скоро, — сказал он, открыв глаза и взглянув в темное, забранное решеткой, ничего не говорящее окно.

Никто не пошевельнулся, не ответил, и только Цыганок быстро, раз за разом, сплюнул сладкую слю-

ну. И начал бегать глазами по вагону, ощупывать окна, двери, солдат.

— Холодно, — сказал Василий Каширин тугими, точно и вправду замерзшими, губами; и вышло у него это слово так: хо-а-дна.

Таня Ковальчук засуетилась.

— Нá платок, повяжи шею. Платок очень теплый.

— Шею? — неожиданно спросил Сергей и испугался вопроса.

Но так как и все подумали то же, то никто его не слыхал, — как будто никто ничего не сказал или все сразу сказали одно и то же слово.

— Ничего, Вася, повяжи, повяжи, теплее будет, — посоветовал Вернер, потом обернулся к Янсону и неожиданно спросил:

— Милый, а тебе не холодно, а?

— Вернер, может быть, он хочет курить. Товарищи, вы, быть может, хотите курить? — спросила Муся. — У нас есть.

— Хочу!

— Дай ему папиросу, Сережа, — обрадовался Вернер.

Но Сергей уже доставал папиросу. И все с любопытством смотрели, как пальцы Янсона брали папиросу, как горела спичка и изо рта Янсона вышел синий дымок.

— Ну спасибо, — сказал Янсон. — Хорошо.

— Как странно! — сказал Сергей.

— Что странно? — обернулся Вернер. — Что странно?

— Да вот: папироса.

Он держал папиросу, обыкновенную папиросу, между обыкновенными живыми пальцами и бледный, с удивлением, даже как будто с ужасом смотрел на нее. И все уставились глазами на тоненькую трубочку, из конца которой крутящейся голубой ленточкой бежал дымок, относимый в сторону дыханием, и темнел, набираясь, пепел. Потухла.

— Потухла, — сказала Таня.

— Да, потухла.

— Ну и к черту! — сказал Вернер, нахмурившись и с беспокойством глядя на Янсона, у которого рука с папиросой висела, как мертвая.

Вдруг Цыганок быстро повернулся, близко, лицом к лицу, наклонился к Вернеру и, выворачивая белки, как лошадь, прошептал:

— Барин, а что, если бы конвойных того... а? Попробовать?

— Не надо, — так же шепотом ответил Вернер. — Выпей до конца.

— А для чаи? В драке-то оно все веселее, а? Я ему, он мне, и сам не заметил, как порешили. Будто и не помирал.

— Нет, не надо, — сказал Вернер и обернулся к Янсону: — Милый, отчего не куришь?

Вдруг дряблое лицо Янсона жалко сморщилось: словно кто-то дернул сразу за ниточку, приводящую в движение морщины, и все они перекосились. И, как сквозь сон, Янсон захныкал, без слез, сухим, почти притворным голосом:

— Я не хочу курить. Аг-ха! Аг-ха! Аг-ха! Меня не надо вешать. Аг-ха, аг-ха, аг-ха!

Около него засуетились. Таня Ковальчук, обильно плача, гладила его по рукаву и поправляла свисавшие крылья облезлой шапки:

— Родненький ты мой! Миленький, да не плачь, да родненький же ты мой! Да несчастненький же ты мой!

Муся смотрела в сторону. Цыганок поймал ее взгляд и оскалился.

— Чудак его благородие! Чай пьет, а пузо холодное, — сказал он с коротким смешком. Но у самого лица стало иссиня-черное, как чугун, и ляскали большие желтые зубы.

Вдруг вагончики дрогнули и явственно замедлили ход. Все, кроме Янсона и Каширина, привстали и так же быстро сели опять.

— Станция! — сказал Сергей.

Как будто сразу из вагона выкачали весь воздух: так трудно стало дышать. Выросшее сердце распирало грудь, становилось поперек горла, металось безум-

но — кричало в ужасе своим кроваво-полным голо-  
сом. А глаза смотрели вниз, на подрагивающий пол,  
а уши слушали, как все медленнее вертелись коле-  
са — скользили — опять вертелись — и вдруг стали.

Поезд остановился.

Тут наступил сон. Не то чтобы было очень страш-  
но, а призрачно, беспамятно и как-то чуждо: сам гре-  
зящий оставался в стороне, а только призрак его бес-  
телесно двигался, говорил беззвучно, страдал без стра-  
дания. Во сне выходили из вагона, разбивались на  
пары, нюхали особенно свежий, лесной, весенний воз-  
дух. Во сне тупо и бессильно сопротивлялся Янсон, и  
молча выволакивали его из вагона.

Спустились со ступенек.

— Разве пешком? — спросил кто-то почти весело.

— Тут недалеко, — ответил другой кто-то так же  
весело.

Потом большой, черной, молчаливой толпою шли  
среди леса по плохо укатанной, мокрой и мягкой ве-  
сенней дороге. Из леса, от снега перло свежим, креп-  
ким воздухом; нога скользила, иногда проваливалась  
в снег, и руки невольно хватались за товарища; и,  
громко дыша, трудно, по цельному снегу двигались по  
бокам конвойные. Чей-то голос сердито сказал:

— Дороги не могли прочистить. Кувыркайся тут  
в снегу!

Кто-то виновато оправдывался:

— Чистили, ваше благородие. Ростепель только,  
ничего не поделаешь.

Сознание возвращалось, но неполно, отрывками,  
странными кусочками. То вдруг мысль деловито под-  
тверждала: «Действительно, не могли дороги прочис-  
тить». То снова угасало все, и оставалось одно только  
обоняние: нестерпимо яркий запах воздуха, леса, таю-  
щего снега. То необыкновенно ясно становилось все: и  
лес, и ночь, и дорога, и то, что их сейчас, сию минуту  
повесят. Обрывками мелькал сдержанnyй, шепотом,  
разговор:

— Скоро четыре.

— Говорил: рано выезжаем.

— Светает в пять.

— Ну да, в пять. Вот и нужно было...

В темноте, на полянке, остановились. В некотором отдалении, за редкими, прозрачными по-зимнему деревьями, молчаливо двигались два фонарика: там стояли виселицы.

— Калошу потерял, — сказал Сергей Головин.

— Ну? — не понял Вернер.

— Калошу потерял. Холодно.

— А где Василий?

— Не знаю. Вон стоит.

Темный и неподвижный, стоял Василий.

— А где Муся?

— Я здесь. Это ты, Вернер?

Начали оглядываться, избегая смотреть в ту сторону, где молчаливо и страшно понятно продолжали двигаться фонарики. Налево обнаженный лес как будто редел, проглядывало что-то большое, белое, плоское. И оттуда шел влажный ветер.

— Море, — сказал Сергей Головин, внюхиваясь и ловя ртом воздух. — Там море.

Муся звучно отзывалась:

— Мою любовь, широкую, как море!

— Ты что, Муся?

— Мою любовь, широкую, как море, вместить не могут жизни берега.

— Мою любовь, широкую, как море... — подчиняясь звуку голоса и словам, повторил задумчиво Сергей.

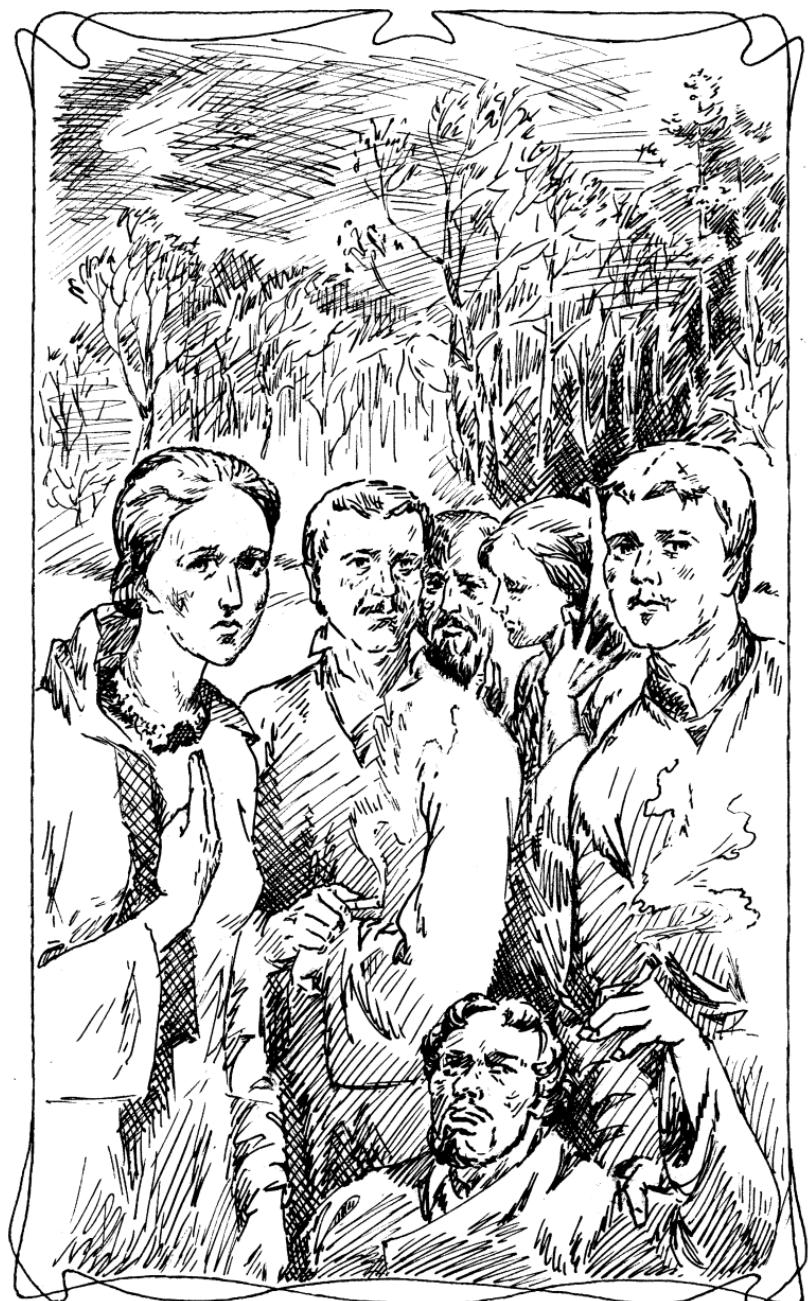
— Мою любовь, широкую, как море... — повторил Вернер и вдруг весело удивился: — Муська! Как ты еще молода!

Вдруг близко, у самого уха Вернера, послышался горячий, задыхающийся шепот Цыганка:

— Барин, а барин! Лес-то, а? Господи, что же это! А там это что, где фонарики, вешалка, что ли? Что же это, а?

Вернер взглянул: Цыганок маялся предсмертным томлением.

— Надо проститься... — сказала Таня Ковальчук.



— Погоди, еще приговор будут читать, — ответил Вернер. — А где Янсон?

Янсон лежал на снегу, и возле него с чем-то возились. Вдруг остро запахло нашатырным спиртом.

— Ну что там, доктор? Вы скоро? — спросил кто-то нетерпеливо.

— Ничего, простой обморок. Потрите ему уши снегом. Он уже отходит, можно читать.

Свет потайного фонарика упал на бумагу и белые без перчаток руки. И то и другое немного дрожало; дрожал и голос:

— Господа, может быть, приговора не читать, ведь вы его знаете? Как вы?

— Не читать, — за всех ответил Вернер, и фонарик быстро погас.

От священника также все отказались. И темный широкий силуэт молча и быстро отодвинулся вглубь и исчез. По-видимому, рассвет наступал: снег побелел, потемнели фигуры людей и лес стал реже, печальнее и проще.

— Господа, идти надо по двое. В пары становитесь как хотите, но только прошу поторопиться.

Вернер указал на Янсона, который уже стоял на ногах, поддерживаемый двумя жандармами:

— Я с ним. А ты, Сережа, бери Василия. Идите вперед.

— Хорошо.

— Мы с тобою, Мусечка? — спросила Ковальчук. — Ну, поцелуемся.

Быстро перецеловались. Цыганок целовал крепко, так что чувствовались зубы; Янсон мягко и вяло, полураскрытым ртом, — впрочем, он, кажется, и не понимал, что делает. Когда Сергей Головин и Каширин уже отошли на несколько шагов, Каширин вдруг остановился и сказал громко и отчетливо, но совершенно чужим, незнакомым голосом:

— Прощайте, товарищи!

— Прощай, товарищ! — крикнули ему.

Ушли. Стало тихо. Фонарики за деревьями остановились неподвижно. Ждали вскрика, голоса, какого-

нибудь шума, но было тихо там, как и здесь, и неподвижно желтели фонарики.

— Ах, боже мой! — дико прохрипел кто-то. Оглянулись — это в предсмертном томлении маялся Цыганок. — Вешают!

Отвернулись, и снова стало тихо. Цыганок маялся, хватая руками воздух:

— Как же это так! Господа, а? Мне-то одному, что ль? В компании-то оно веселее. Господа! Что же это?

Схватил Вернера за руку сжимающимися и распашающимися, точно играющими, пальцами:

— Барин, милый, хоть ты со мной, а? Сделай милость, не откажи!

Вернер, страдая, ответил:

— Не могу, милый. Я с ним.

— Ах ты боже мой! Одному, значит. Как же это? Господи!

Муся шагнула вперед и тихо сказала:

— Пойдемте со мной.

Цыганок отшатнулся и дико выворотил на нее белки.

— С тобою?

— Да.

— Ишь ты. Маленькая какая! А не боишься? А то уж я один лучше. Чего там!

— Нет, не боюсь.

Цыганок оскалился.

— Ишь ты! А я ведь разбойник. Не брезгаешь? А то лучше не надо. Я сердиться на тебя не буду.

Муся молчала, и в слабом озарении рассвета лицо ее казалось бледным и загадочным. Потом вдруг быстро подошла к Цыганку и, закинув руки ему за шею, крепко поцеловала его в губы. Он взял ее пальцами за плечи, отодвинул от себя, потряс — и, громко чмокая, поцеловал в губы, в нос, в глаза.

— Идем!

Вдруг ближайший солдат как-то покачнулся и разжал руки, выпустив ружье. Но не наклонился, чтобы поднять его, а постоял мгновение неподвижно, повер-

нулся круто и, как слепой, зашагал в лес по цельному снегу.

— Куда ты? — испуганно шепнул другой. — Стой!

Но тот все так же молча и трудно лез по глубокому снегу; должно быть, наткнулся на что-нибудь, взмахнул руками и упал лицом вниз. Так и остался лежать.

— Ружье подымы, кислая шерсть! А то я подыму! — грозно сказал Цыганок. — Службы не знаешь!

Вновь хлопотливо забегали фонарики. Наступала очередь Вернера и Янсона.

— Прощай, барин! — громко сказал Цыганок. — На том свете знакомы будем, увидишь когда, не отворачивайся. Да водицы когда испить принеси — жарко мне там будет.

— Прощай.

— Я не хочу, — сказал Янсон вяло.

Но Вернер взял его за руку, и несколько шагов эстонец прошел сам; потом видно было — он остановился и упал на снег. Над ним нагнулись, подняли его и понесли, а он слабо барабахтался в несущих его руках. Отчего он не кричал? Вероятно, забыл, что у него есть голос.

И вновь неподвижно остановились желтеющие фонарики.

— А я, значит, Мусечка, одна, — печально сказала Таня Ковальчук. — Вместе жили, и вот...

— Танечка, милая...

Но горячо вступился Цыганок. Держа Мусю за руку, словно боясь, что еще могут отнять, он заговорил быстро и деловито:

— Ах, барышня! Тебе одной можно, ты чистая душа, ты куда хочешь одна можешь. Поняла? А я нет. Яко разбойника... понимаешь? Невозможно мне одному. Ты куда, скажут, лезешь, душегуб? Я ведь и коней воровал, ей-богу! А с нею я, как... как со младенцем, понимаешь. Не поняла?

— Поняла. Что же, идите. Дай я тебя еще поцелую, Мусечка.

— Поцелуйтесь, поцелуйтесь, — поощрительно сказал женщинам Цыганок. — Дело ваше такое, нужно проститься хорошо.

Двинулись Муся и Цыганок. Женщина шла осторожно, оскользаясь и по привычке поддерживая юбки; и крепко под руку, остерегая и нащупывая ногу дорогу, вел ее к смерти мужчина.

Огни остановились. Тихо и пусто было вокруг Тани Ковальчук. Молчали солдаты, все серые в бесцветном и тихом свете начинающегося дня.

— Одна я, — вдруг заговорила Таня и вздохнула. — Умер Сережа, умер и Вернер, и Вася. Одна я. Солдатики, а солдатики, одна я. Одна...

Над морем всходило солнце.

Складывали в ящик трупы. Потом повезли. С вытянутыми шеями, с безумно вытаращенными глазами, с опухшим синим языком, который, как неведомый ужасный цветок, высовывался среди губ, орошенных кровавой пеной, плыли трупы назад, по той же дороге, по которой сами, живые, пришли сюда. И так же был мягок и пахуч весенний снег, и так же свеж и крепок весенний воздух. И чернела в снегу потерянная Сергеем мокрая стоптанская калоша.

Так люди приветствовали восходящее солнце.



## ЖИЗНЬ ВАСИЛИЯ ФИВЕЙСКОГО

### I

Над всей жизнью Василия Фивейского тяготел суровый и загадочный рок. Точно проклятый неведомым проклятием, он с юности нес тяжелое бремя печали, болезней и горя, и никогда не заживали на сердце его кровоточащие раны. Среди людей он был одинок, словно планета среди планет, и особенный, казалось, воздух, губительный и тлетворный, окружал его, как невидимое прозрачное облако. Сын покорного и терпеливого отца, захолустного священника, он сам был терпелив и покорен и долго не замечал той зловещей и таинственной преднамеренности, с какою стекались бедствия на его некрасивую вихрастую голову. Быстро падал и медленно поднимался; снова падал и снова медленно поднимался, — и хворостинка за хворостинкой, песчинка за песчинкой трудолюбиво восстановлял он свой непрочный муравейник при большой дороге жизни. И когда он сделался священником, женился на хорошей девушке и родил от нее сына и дочь, то подумал, что все у него

стало хорошо и прочно, как у людей, и пребудет таким навсегда. И благословил Бога, так как верил в него торжественно и просто: как иерей<sup>1</sup> и как человек с незлобивой душою.

И случилось это на седьмой год его благополучия, в знаменитый июльский полдень, — пошли деревенские ребята купаться, и с ними сын о. Василия, тоже Василий и такой же, как он, черненький и тихонький. И утонул Василий. Молодая попадья, прибежавшая на берег с народом, навсегда запомнила простую и страшную картину человеческой смерти: и тягучие, глухие стуки своего сердца, как будто каждый удар его был последним; и необыкновенную прозрачность воздуха, в котором двигались знакомые, простые, но теперь обособленные и точно отодранные от земли фигуры людей; и оборванность смутных речей, когда каждое сказанное слово круглится в воздухе и медленно тает среди новых, нарождающихся слов. И на всю жизнь почувствовала она страх к ярким солнечным дням. Ей чудятся тогда широкие спины, залитые солнцем, босые ноги, твердо стоящие среди поломанных кочанов капусты, и равномерные взмахи чего-то белого, яркого, на дне которого окружно перекатывается легонькое тельце, страшно близкое, страшно далекое и навеки чужое. И много времени спустя, когда Васю похоронили и трава выросла на его могиле, попадья все еще твердила молитву всех несчастных матерей: «Господи, возьми мою жизнь, но отдай мое дитя!»

Скоро и все в доме о. Василия стали бояться ярких летних дней, когда слишком светло горит солнце и нестерпимо блестит зажженная им обманчивая река. В такие дни, когда кругом радовались люди, животные и поля, все домочадцы о. Василия со страхом глядели на попадью, умышленно громко разговаривали и смеялись, а она вставала, ленивая и тусклая, смотрела в глаза пристально и странно, так что от взгляда ее отворачивались, и вяло бродила по дому, отыскивая какие-нибудь вещи: ключи, или ложку,

---

<sup>1</sup> Иерей — священник.

или стакан. Все вещи, какие нужно, старались класть на виду, но она продолжала искать и искала все упорнее, все тревожнее, по мере того как все выше поднималось на небе веселое, яркое солнце. Она подходила к мужу, клала холодную руку на его плечо и вопросительно твердила:

— Вася! А Вася?

— Что, милая? — покорно и безнадежно отвечал о. Василий и дрожащими загорелыми пальцами с грязными от земли, нестриженными ногтями оправлял ее сбившиеся волосы. Была она еще молода и красива, и на плохонькой домашней ряске мужа рука ее лежала как мраморная: белая и тяжелая. — Что, милая? Может быть, чайку бы выпила — ты еще не пила?

— Вася, а Вася? — повторяла она вопросительно, снимала с плеча словно лишнюю и ненужную руку и снова искала все нетерпеливее, все беспокойнее.

Из дома, обойдя все его неприбранные комнаты, она шла в сад, из сада во двор, потом опять в дом, а солнце поднималось все выше, и видно было сквозь деревья, как блестит тихая и теплая река. И шаг за шагом, цепко держась рукой за платье, угрюмо таскалась за попадьей дочь Настя, серьезная и мрачная, как будто и на ее шестилетнее сердце уже легла черная тень грядущего. Она старательно подгоняла свои маленькие шажки к крупным рассеянным шагам матери, исподлобья с тоскою оглядывала сад, знакомый, но вечно таинственный и манящий, и свободная рука ее угрюмо тянулась к кислому крыжовнику и незаметно рвала, царапаясь об острые колючки. И от этих острых, как иглы, колючек и от кислого хрустящего крыжовника становилось еще скучнее и хотелось скучить, как заброшенному щенку.

Когда солнце поднималось к зениту, попадья нагло закрывала ставни в своей комнате и в темноте напивалась пьяная, в каждой рюмке черпая острую тоску и жгучее воспоминание о погившем сыне. Она плакала и рассказывала тягучим неловким голосом, каким читают трудную книгу неумелые чтецы, рассказывала все одно и то же, все одно и то же, о тихоньком

черненьком мальчике, который жил, смеялся и умер; и в певучих книжных словах ее воскресали глаза его, и улыбка, и старчески разумная речь. «,,Вася, — говорю я ему, — Вася, зачем ты обижашь киску? Не нужно обижать, родненький. Бог всех велел жалеть: и лошадок, и кошечек, и цыпляток“. А он, миленький, поднял на меня свои ясные глазки и говорит: „А зачем кошка не жалеет птичек? Вот голубки разных там птенчиков выведут, а кошка голубков съела, а птенчики все ищут, ищут и ищут мамашу“».

И о. Василий покорно и безнадежно слушал ее, а снаружи, под закрытой ставней, среди лопуха, репейника и глухой крапивы, сидела на земле Настя и утрюмо играла в куклы. И всегда игра ее состояла в том, что кукла нарочно не слушалась, а она наказывала: больно вывертывала ей руки и ноги и секла крапивой.

Когда о. Василий в первый раз увидел пьяную жену и по мятежно-взволнованному, горько-радостному лицу ее понял, что это навсегда, — он весь сжался и захохотал тихим бессмысленным хохотком, потирая сухие горячие руки. Он долго смеялся и долго потирал руки; крепился, пытался удержать неуместный смех и, отвернувшись в сторону от горько плачущей жены, фыркал исподтишка, как школьник. Но потом он сразу стал серьеzen, и челюсти его замкнулись как железные: ни слова утешения не мог он сказать мечтавшейся попадье, ни слова ласки не мог сказать ей. Когда попадья заснула, поп трижды перекрестил ее, отыскал в саду Настю, холодно погладил ее по голове и пошел в поле.

Он долго шел тропинкою среди высоко поднявшейся ржи и смотрел вниз, на мягкую белую пыль, сохранившую кое-где глубокие следы каблуков и округлые живые очертания чьих-то босых ног. Ближайшие к дорожке колосья были согнуты и поломаны, некоторые лежали поперек тропинки, и колос их был раздавленный, темный и плоский.

На повороте тропинки о. Василий остановился. Впереди и кругом далеко во все стороны зыблись на тонких стеблях тяжелые колосья, над головой было

безбрежное пламенное июльское небо, побелевшее от жары, — и ничего больше: ни деревца, ни строения, ни человека. Один он был, затерянный среди частых колосьев, перед лицом высокого пламенного неба. О. Василий поднял глаза кверху — они были маленькие, ввалившиеся, черные как уголь, и ярким светом горел в них отразившийся небесный пламень, — приложил руки к груди и хотел что-то сказать. Дрогнули, но не подались сомкнутые железные челюсти, скрипнув зубами, поп с силою развел их, — и с этим движением уст его, похожим на судорожную зевоту, прозвучали громкие, отчетливые слова:

— Я — верю.

Без отзыва потерялся в пустыне неба и частых колосьев этот молитвенный вопль, так безумно похожий на вызов. И точно кому-то возражая, кого-то страстно убеждая и предостерегая, он снова повторил:

— Я — верю.

А вернувшись домой, снова, хворостинка за хворостинкой, принялся восстанавливать свой разрушенный муравейник: наблюдал, как доили коров, сам расчесал угрюмой Насте длинные жесткие волосы и, несмотря на поздний час, поехал за десять верст к земскому врачу посоветоваться о болезни жены. И доктор дал ему пузырек с каплями.

## II

О. Василия не любил никто — ни прихожане, ни причт<sup>1</sup>. Церковную службу отправлял он плохо, не благолепно: был сух голосом, мямлил, то торопился так, что дьякон едва успевал за ним, то непонятно медлил. Корыстолюбив он не был, но так неловко принимал деньги и приношения, что все считали его очень жадным и за глаза насмехались. И все окрест знали, что он очень несчастлив в своей жизни, и презрительно сторонились от него, считая за дурную примету всякую с ним встречу и разговор. На свои именины, праздно-

<sup>1</sup> Причт — священнослужители и церковнослужители, служащие при одной церкви.

вавшиеся 28 ноября, он приглашал к обеду многих гостей, и на его низкие поклоны все отвечали согласием, но приходил только причт, а из почетных прихожан не являлся никто. И было совестно перед причтом, и обиднее всего было попадье, у которой даром пропадали привезенные из города закуски и вина.

— Никто и идти к нам не хочет, — говорила она, трезвая и печальная, когда расходились перепившиеся и развязные гости, не уважающие ни дорогих вин, ни закусок и все валявшие как в пропасть.

Хуже всех относился к попу церковный староста Иван Порфирий Чопров: он открыто презирал неудачника и, после того как стали известны селу страшные запои попадьи, отказался целовать у попа руку. И благодушный дьякон тщетно убеждал его:

— Постыдись! Не человеку поклоняешься, а сану.

Но Иван Порфирий упрямо не хотел отделить сан от человека и возражал:

— Нестоящий он человек. Ни себя содержать он не умеет, ни жену. Разве это порядок, чтобы у духовного лица жена запоем пила, без стыда, без совести? Попробуй моя запить, я б ей прописал!

Дьякон укоризненно покачивал головой и рассказывал про многострадального Иова: как Бог любил его и отдал сатане на испытание, а потом сторицею вознаградил за все муки. Но Иван Порфирий насмешливо ухмылялся в бороду и без стеснения перебивал ненравившуюся речь:

— Нечего рассказывать, и сами знаем. Так то Иов-праведник, святой человек, а это кто? Какая у него праведность? Ты, дьякон, лучше другое вспомни: Бог шельму метит. Тоже не без ума пословица складена.

— Ну погоди: задаст тебе ужотка поп, как руки не поцелуешь. Из церкви выгонит.

— Посмотрим.

— Посмотрим.

И они спорили на четверть вишневки — выгонит поп или не выгонит. Выиграл староста: он дерзко отвернулся, и протянутая рука, коричневая от загара,

сиротливо осталась в воздухе, а сам о. Василий густо покраснел и не сказал ни слова.

И после этого случая, о котором говорило все село, Иван Порфирийч укрепился во мнении, что поп дурной и недостойный человек, и стал подбивать крестьян пожаловаться на о. Василия в епархию<sup>1</sup> и просить себе другого священника. Сам Иван Порфирийч был богатый, очень счастливый и всеми уважаемый человек. У него было представительное лицо, с твердыми выпуклыми щеками и огромной черной бородою, и такие же черные волосы шли по всему его телу, особенно по ногам и груди, и он верил, что эти волосы приносят ему особенное счастье. Он верил в это так же крепко, как и в Бога, считал себя избранником среди людей, был горд, самонадеян и постоянно весел. В одном страшном железнодорожном крушении, где погибло много народа, он потерял только фуражку, засосанную глиной.

— Да и та была старая! — самодовольно добавлял он и ставил этот случай в особенную себе заслугу.

Всех людей он искренно считал подлецами и дураками, не знал жалости ни к тем, ни к другим и собственноручно вешал щенят, которых ежегодно в изобилии приносила черная сучка Цыганка. Одного из щенят, который покрупнее, он оставлял для завода и, если просили, охотно раздавал остальных, так как считал собак животными полезными. В суждениях своих Иван Порфирийч был быстр и неоснователен и легко отступался от них, часто сам того не замечая, но поступки его были тверды, решительны и почти всегда безошибочны.

И все это делало старосту страшным и необыкновенным в глазах запуганного попа. При встрече он первый с неприличной торопливостью снимал широкополую шляпу и, уходя, чувствовал, как чаще и лотошлиевее становятся его шаги — шаги человека, которому стыдно и страшно, — и путаются в длинной ярсе жилистые ноги. Точно вся жестокая загадочная

---

<sup>1</sup> Е п á р х и я — территория, в церковном отношении подчиненная архиерею.

судьба его воплотилась в этой огромной черной бороде, волосатых руках и прямой, твердой поступи, и если о. Василий не сожмется весь, не посторонится, не спрячется за своими стенами, — эта грозная туша раздавит его, как муравья. И все, что принадлежало Ивану Порфиричу Копрову и касалось его, интересовало попа так, что иногда по целым дням он не мог думать ни о чем другом, кроме старости, его жены, его детей и богатства. Работая в поле вместе с крестьянами, сам похожий на крестьянина в своих грубых смазных сапогах и посконной рубахе, о. Василий часто оборачивался к селу, и первое, что он видел после церкви, была красная железная крыша старостины двухэтажного дома. Потом среди завернувшейся от ветра серой зелени ветел он с трудом отыскивал деревянную потемневшую крышу своего домика, — и было в двух этих непохожих крышах что-то такое, от чего жутко и безнадежно становилось на сердце у попа.

Однажды на Воздвижение попадья пришла из церкви вся в слезах и рассказала, что Иван Порфирич оскорбил ее. Когда попадья проходила на свое место, он сказал из-за конторки так громко, что все слышали:

— Эту пьяницу совсем бы в церковь пускать не следовало. Стыд!

Попадья рассказывала и плакала, и о. Василий видел с беспощадною и ужасной ясностью, как постарела она и опустилась за четыре года со смерти Васи. Молода она еще была, а в волосах у нее пролегали уже серебристые нити, и белые зубы почернели, и запухли глаза. Теперь она курила, и странно и больно было видеть в руках ее папироску, которую она держала неумело, по-женски, между двумя выпрямленными пальцами. Она курила и плакала, и папироска дрожала в ее опухших от слез губах.

— Господи, за что? Господи! — тоскливо повторяла она и с тупою пристальностью смотрела в окно, за которым моросил сентябрьский дождь.

Стекла были мутны от воды, и призрачной, расплывающейся тенью колыхалась отяжелевшая берег-

за. В доме еще не топили, жалея дров, и воздух был сырой, холодный и неприютный, как на дворе.

— Что ж с ними поделаешь, Настенька! — оправдывался поп, потирая горячие сухие руки. — Терпеть надо.

— Господи! Господи! И защитить некому! — пла-калась попадья; а в углу сквозь жесткие спутанные волосы неподвижно и сухо горели волчьи глаза угрюмой Нasti.

К ночи попадья напилась, и тогда началось для о. Василия то самое страшное, омерзительное и жалкое, о чем он не мог думать без целомудренного ужаса и нестерпимого стыда. В болезненной темноте закрытых ставен, среди чудовищных грез, рожденных алкоголем, под тягучие звуки упорных речей о погибшем первенце у жены его явилась безумная мысль: родить нового сына, и в нем воскреснет безвременно погибший. Воскреснет его милая улыбка, воскреснут его глаза, сияющие тихим светом, и тихая разумная речь его, — воскреснет весь он в красоте своего непорочного детства, каким был он в тот ужасный июльский день, когда ярко горело солнце и ослепительно сверкала обманчивая река. И, сгорая в безумной надежде, вся красивая и безобразная от охватившего ее огня, попадья требовала от мужа ласк, униженно молила о них. Она прихорашивалась и заигрывала с ним, но ужас не сходил с его темного лица; она мучительно старалась снова стать той нежной и желанной, какой была десять лет назад, и делала скромное девичье лицо и шептала наивные девичьи речи, но хмельной язык не слушался ее, сквозь опущенные ресницы еще ярче и понятнее сверкал огонь страстного желания, — и не сходил ужас с темного лица ее мужа. Он закрывал руками горящую голову и бессильно шептал:

— Не надо! Не надо!

Тогда она становилась на колени и хрипло молила:

— Пожалей! Отдай мне Васю! Отдай, поп! Отдай, тебе я говорю, проклятый!

А в наглухо закрытые ставни упорно стучал осенний дождь, и тяжко и глубоко вздыхала ненастная

ночь. Отрезанные стенами и ночью от людей и жизни, они точно крутились в вихре дикого и безысходного сна, и вместе с ними крутились, не умирая, дикие жалобы и проклятия. Само безумие стояло у дверей; его дыханием был жгучий воздух, его глазами — багровый огонь лампы, задыхавшийся в глубине черного, закопченного стекла.

— Не хочешь? Не хочешь? — кричала попадья и в яростной жажде материнства рвала на себе одежды, бесстыдно обнажаясь вся, жгучая и страшная, как вакханка, трогательная и жалкая, как мать, тоскующая о сыне. — Не хочешь? Так вот же перед Богом говорю тебе: на улицу пойду! Голая пойду! К первому мужчине на шею брошуся. Отдай мне Васю, проклятый!

И страсть ее побеждала целомудренного попа. Под долгие стоны осенней ночи, под звуки безумных реций, когда сама вечно лгущая жизнь словно обнажала свои темные таинственные недра, — в его помраченном сознании мелькала, как зарница, чудовищная мысль о каком-то чудесном воскресении, о какой-то далекой и чудесной возможности. И на бешеную страсть попадь он, целомудренный и стыдливый, отвечал такою же бешеною страстью, в которой было все: и светлая надежда, и молитва, и безмерное отчаяние великого преступника.

Позднею ночью, когда попадья уснула, о. Василий взял шляпу и палку и, не одеваясь, в старенькой нанковой ряске, отправился в поле. Тонкая водяная пыль влажным и холодным слоем лежала над размокшей землей; черно было небо, как земля, и великой бесприютностью дышала осенняя ночь. Во тьме ее бесследно сгинул человек; стукнула палка о подвернувшийся камень — и все стихло, и наступило долгое молчание. Мертвая водяная пыль своими ледяными объятиями душила всякий робкий звук, и не колыхалась омертвевшая листва, и не было ни голоса, ни крика, ни стона. Была долгая и мертвая тишина.

И далеко за селом, за много верст от жилья, прозвучал во тьме невидимый голос. Он был надломлен-

ный, придушенный и глухой, как стон самой великой бесприютности. Но слова, сказанные им, были ярки, как небесный огонь.

— Я — верю, — сказал невидимый голос.

Угроза и молитва, предостережение и надежда были в нем.

### III

Весною попадья забеременела, целое лето не пила, и в доме о. Василия воцарился тихий и радостный покой. По-прежнему незримый враг наносил удары: то сдох двенадцатипудовый боров, приготовленный для продажи; то у Нasti пошли по всему телу какие-то лишай и не поддавались лечению, — но все это выносилось легко, и попадья в тайниках души даже радовалась: она все еще сомневалась в своем великом счастье, и все эти неприятности казались ей платою за него. Казалось, что если сдохнет дорогой боров, побоится Настя и произойдет другое печальное, то будущего сына ее никто не осмелится тронуть и обидеть. А за него не только дом и Настю, но и себя, и душу свою отдала бы она с радостью тому невидимому и беспощадному, кто требовал неустанных жертв.

Она похорошела, перестала бояться Ивана Порфирьча и в церкви, идя на свое место, гордо выпячивала округлившийся живот и бросала на людей смелые, самоуверенные взгляды. Чтобы как-нибудь не повредить ребенку, она перестала работать тяжелую домашнюю работу и целые дни проводила в соседнем казенном лесу, собирая грибы. Она очень боялась родов и по грибам загадывала, будут они благополучны или нет; большею частью выходило, что будут благополучны. Иногда среди прошлогодней, слежавшейся листвы, темной и пахучей, под непроницаемым зеленым сводом высоких ветвей она отыскивала семейку белых грибов; они тесно прижимались друг к другу и, темноголовые, наивные, казались ей похожими на маленьких детей и вызывали острую нежность и умиление. С той особенной, правдивой улыбкою,

какая бывает у людей, когда у них хорошие мысли и они одни, она осторожно раскалывала вокруг корней волокнистую серо-пепельную землю, садилась около грибов и долго любовалась ими, немного бледная от зеленых теней леса, но красивая, спокойная и добрая. Потом опять шла развалистой и осторожной походкой беременной женщины, и густой лес, в котором прятались маленькие грибки, казался ей живым, умным и ласковым. Один раз она захватила с собою Настю, но та прыгала, шумела, рыскала среди кустов, как развеселившийся волчонок, и мешала попадье думать, — и больше она ее не брала.

И зима проходила хорошо и спокойно. По вечерам попадья шила маленькие распашонки и свивальники, задумчиво расправляя материю белыми пальцами, озаренными ярким светом лампы. Она расправляла и разглаживала рукою мягкую ткань, точно ласкала ее, и думала что-то свое, особенное, материнское, и в голубой тени абажура красивое лицо ее казалось попу освещенным изнутри каким-то мягким и нежным светом. Боясь неосторожным движением спугнуть ее прекрасную и радостную думу, о. Василий тихо расхаживал по комнате, и ноги его в мягких туфлях ступали неслышно и нежно. Он посматривал то на уютную комнату, добрую и приятную, как друг, то на жену, и все было хорошо, как у людей, и от всего исходил радостный и глубокий покой. И душа его тихо улыбалась, и он не замечал и не знал, что во лбу его, где-то между бровями, безмолвно пролегает прозрачная тень великой скорби. Ибо и в эти дни покоя и отдыха над жизнью его тяготел суровый и загадочный рок.

На Крещение, ночью, попадья благополучно разрешилась от бремени мальчиком, и нарекли его Василием. Была у него большая голова и тоненькие ножки и что-то странно-тупое и бессмысленное в неподвижном взгляде округлых глаз. Три года провели поп и попадья в страхе, сомнениях и надежде, и через три года ясно стало, что новый Вася родился идиотом.

В безумии зачатый, безумным явился он на свет.

## IV

Прошел еще один год в тяжком оцепенении горя, и когда люди очнулись и взглянули вокруг себя — над всеми мыслями и жизнью их господствовал страшный образ идиота. Как прежде, топились печи, и велось хозяйство, и люди разговаривали о своих делах, но было нечто новое и страшное; ни у кого не стало охоты жить, и от этого все приходило в расстройство. Работники ленились, не делали что приказывают и часто без причины уходили, а новых через два-три дня охватывала та же странная тоска и равнодушие, и они начинали грубить. Обед подавался то поздно, то рано, и всегда кого-нибудь не хватало за столом: или попадьи, или Насти, или самого о. Василия. Откуда-то появилось множество рваного белья и одежды, и попадья все твердила, что нужно заштопать мужу носки, и как будто штопала, а вместе с тем носки всегда были рваные, и о. Василий натирал ногу. И по ночам все ворочались и мучились от клопов; они лезли из всех щелей, на глазах ползали по стене, и ничем нельзя было остановить их отвратительного нашествия.

И куда бы люди ни шли, что бы они ни делали, они ни на минуту не забывали, что там, в полутемной комнате, сидит некто неожиданный и страшный, безумием рожденный. Когда они выходили из дома на свет, они старались не оборачиваться и не глядеть назад, но не могли выдержать и оборачивались — и тогда казалось им, что сам деревянный дом сознает страшную перемену: он точно сжался весь, и скрчился, и прислушивается к тому страшному, что содер-жится в глубине его, и все его вытаращенные окна, глухо замкнутые двери с трудомдерживают крик смертельного испуга. Попадья часто уходила в гости и целыми часами просиживала у дьяконицы, но и там не находила она покоя, как будто между идиотом и ею протягивались тонкие, как паутина, нити и соединяли ихочно и навсегда. И если она уйдет на край света, скроется за высокими стенами монастыря или даже умрет — и туда, во мрак могилы, потянутся за

нею тонкие, как паутина, нити и опутают ее беспокойством и страхом. И не были спокойны их ночи: бесстрастны были лица спящих, а под их черепом, в кошмарных грезах и снах, вырастал чудовищный мир безумия, и владыкою его был все тот же загадочный и страшный образ полуребенка-полузверя.

Ему было четыре года, но он еще не начал ходить и умел говорить одно только слово: «дай»; был зол и требователен и, если чего-нибудь не давали, громко кричал злым животным криком и тянул вперед руки с хищно скрюченными пальцами. В своих привычках он был нечистоплотен, как животное, все делал под себя, на постилку, и менять ее было каждый раз мучением: с злой хитростью он выжидал момента, когда к нему наклонится голова матери или сестры, и впивался в волосы руками, выдергивая целые пряди. Однажды он укусил Настю; та повалила его на кровать и долго и безжалостно била, точно он был не человек и не ребенок, а кусок злого мяса; и после этого случая он полюбил кусаться и угрожающе скалил зубы, как собака.

Так же трудно было кормить его: жадный и нетерпеливый, он не умел рассчитывать своих движений, опрокидывал чашку, давился и злобно тянулся к волосам скрюченными пальцами. И был отвратителен и страшен его вид: на узеньких, совсем еще детских плечах сидел маленький череп с огромным, неподвижным и широким лицом, как у взрослого. Что-то тревожное и пугающее было в этом диком несоответствии между головой и телом, и казалось, что ребенок надел зачем-то огромную и страшную маску.

И, как прежде, стала пить измученная попадья. Пила она много, до потери сознания и болезни, но и могучий алкоголь не мог вывести ее из железного круга, в середине которого царил страшный и необыкновенный образ полуребенка-полузверя. Как прежде, искала она в водке жгучих и скорбных воспоминаний о погившем первенце, но они не приходили, и тяжелая, мертвая пустота не дарила ей ни образа, ни звука. Всеми силами разгоряченного мозга она вызыва-

ла милое лицо тихонького мальчика, напевала песенки, какие пел он, улыбалась, как он улыбался, представляла, как давился он и захлебывался молчаливой водой; и уже, казалось, становился близок он, и зажигалась в сердце великая, страстно желанная скорбь, — когда внезапно, неуловимо для зрения и слуха, все пропадало, все исчезало, и в холодной, мертвой пустоте появлялась страшная и неподвижная маска идиота. И казалось попадье, что во второй раз похоронила она Васю и глубоко зарыла его; и хотелось разбить голову, в самых недрах которой нагло царит чуждый и отвратительный образ. В страхе она металась по комнате и звала мужа:

— Василий! Василий! Скорее сюда!

О. Василий приходил и молча усаживался в неосвещенном углу; и был так безучастен он и спокоен, как будто не было ни крика, ни безумия, ни страха. И глаз его не видно было, и под тяжелою надбровною аркою неподвижно чернели два глубоких пятна, от которых исходавшее лицо казалось похожим на череп. Опершись подбородком на костлявую руку, он застывал в тяжелом молчании и неподвижности, пока успокоенная попадья с безумной старательностью загораживала дверь, за которой находился идиот. Она сдвигала столы и стулья, набрасывала подушки и пластия, но этого казалось ей мало. И с силой пьяного человека она срывала с места тяжелый старинный комод и двигала его к двери, царапая пол.

— Стулья отодвинь! — запыхавшись, кричала она мужу, и тот молча вставал, освобождал место и снова садился в свой угол.

На минуту попадья успокаивалась и садилась, сдерживая рукой тяжелое дыхание, но тотчас же вскакивала и, откинув с уха распустившиеся волосы, с ужасом прислушивалась к тому, что грезилось ей за стеной.

— Слышишь? Василий, слышишь?

Два черных пятна неподвижно глядели на нее, и безучастный далекий голос отвечал:

— Там тихо. Он спит. Успокойся, Настя.

Попадья улыбалась радостно и светло, как ребёнок, и нерешительно присаживалась на кончик стула.

— Правда? Спит? Ты сам видел? Не лги: лгать грешно.

— Да, видел. Спит.

— А кто же говорит там?

— Никого там нет. Это послышалось тебе.

И попадье становилось так весело, что она громко смеялась, шутливо покачивала головой и неопределенно отмахивалась, как будто хотел кто-то злой пощутить над нею и напугать, а она поняла его шутку и теперь смеется. Но без отзыва, как камень в бездонную пропасть, падал и тут же умирал одинокий смех, и еще кривился усмешкою рот, когда в глазах ее уже нарастал холодный страх. И такая тишина стояла, словно никогда и никто не смеялся в этой комнате, и с разбросанных подушек, с перевернутых стульев, таких странных, когда смотреть на них снизу, с тяжелого комода, неуклюже стоящего на необычном месте, — отовсюду глядело на нее голодное ожидание какой-то страшной беды, каких-то неведомых ужасов, доселе не испытанных еще человеком. Она обворачивалась к мужу — в черном углу мутно серело что-то длинное, прямое, смутное, как призрак; она наклонялась ближе — на нее смотрело лицо, но смотрело оно не глазами, сокрытыми черною тенью бровей, а белыми пятнами острых скул и лба. И, часто дыша громким дыханием страха, она тихо жаловалась:

— Вася! Я боюсь тебя. Какой ты, право! Иди сюда, к свету.

О. Василий покорно перешагнул к столу, и теплый свет лампы пал на его лицо, но не согрел его. Но оно было спокойно, на нем не было страха, и этого было достаточно для попадьи. Приблизив губы к самому уху о. Василия, она шепотом спросила:

— Поп, а поп! Ты помнишь Васю... того Васю?

— Нет.

— Ага! — обрадовалась попадья. — Тоже нет. И я нет. Тебе страшно, поп? А? Страшно?

— Нет.

— А зачем ты стонешь во сне? Зачем ты стонешь?

— Так. Нездоров.

Попадья сердито засмеялась.

— Ты? Нездоров? Это ты нездоров? — Она ткнула пальцем в его костлявую, но широкую и твердую грудь. — Зачем ты лжешь?

О. Василий молчал. Попадья злобно взглянула на его холодное лицо, давно не стриженную бороду, прозрачными клочками выступавшую из впалых щек, и с отвращением передернула плечами:

— У-ах! Какой ты стал! Противный, злой, холодный, как лягушка. У-ах! Разве я виновата, что он родился такой? Ну говори же! О чем ты думаешь? О чем ты постоянно думаешь, думаешь, думаешь?

О. Василий молчал и внимательным раздражающим взглядом изучал бледное и измученное лицо попадьи. И когда смолкали последние звуки ее бессвязной речи, жуткая, ненарушимая тишина железными кольцами охватывала ее голову и грудь и словно выдавливала оттуда торопливые и неожиданные слова:

— А я знаю!.. А я знаю! Я знаю, поп.

— Что знаешь?

— Знаю, о чем ты думаешь. Ты... — Попадья остановилась и со страхом отодвинулась от мужа. — Ты... в Бога не веришь. Вот что!

И когда уже сказала, почувствовала она, как ужасно сказанное ею, и жалкая улыбка, просиящая о прощении, раздвинула ее опухшие, искусанные губы, согретые водкой и красные как кровь. И обрадовалась, когда побледневший поп резко и наставительно ответил:

— Это неправда! Думай, что говоришь! Я верю в Бога.

И опять молчание, опять тишина, — но было в ней что-то ласковое, мягко обнимавшее попадью, как теплая вода. И, потупив глаза, она стыдливо просила:

— Можно мне, Вася, я выпью немногого? Скорее засну потом, а то ведь поздно.

Она наливала четверть стакана водки, нерешительно добавляла еще и выпивала до дна, маленькими непрерывными глотками, как пьют женщины. В группе становилось горячо, хотелось какого-то веселья, шума и света и людских громких голосов.

— Знаешь, что мы сделаем, Вася? Давай играть в карты, в дурачки. Позови Настю. Вот славно будет; люблю я играть в дурачки. Васечка, милый, позови! Я поцелую тебя за это.

— Поздно. Она уже спит.

Попадья топнула ногой.

— Разбуди!.. Ну, ступай.

Пришла Настя, тонкая, высокая, как отец, с большими руками, загрубевшими в работе; ей было холодно, она зябко куталась в короткий платок и молча проверяла засаленную колоду.

И молча садились они играть в веселую и смешную игру — в хаосе сдвинутых с мест и перевернутых вещей, среди глубокой ночи, когда давно уже спало все: и люди, и животные, и поля. Попадья штутила, смеялась, крала из колоды козырные карты, и ей чудилось, что все смеются и шутят; но, лишь замирал последний звук ее речи, та же ненарушимая и грозная тишина смыкалась над нею и душила. И страшно было смотреть на две пары немых костлявых рук, бесшумно и медленно двигавшихся по столу, как будто только одни эти руки были живые и не было людей, которым они принадлежат. Вздрогнув, с пьяно-безумным ожиданием сверхъестественного она глядела поверх стола — два холодных, два бледных, два угрюмых лица одиноко выдвигались из темноты и качались в странной немой пляске — два холодных, два угрюмых лица. Что-то пробурчав, попадья выпивала водки, и снова бесшумно двигались костлявые руки, и тишина начинала гудеть, и кто-то новый, четвертый появлялся за столом. Хищно скрюченные пальцы перебирали карты, потом двигались к попадье, бежали, как пауки, по ее коленям, подбирались к горлу...

— Кто тут? — вскрикивала попадья и вставала и удивлялась, что все уже стоят и со страхом смотрят на нее.

И было их только двое: муж и Настя.

— Успокойся, Настя. Мы тут. Больше никого.

— А он?

— Он спит.

Попадья села, и на минуту все перестало качаться и твердо стало на свое место. И лицо у о. Василия было доброе.

— Вася! А что же будет с нами, когда он начнет ходить?

Ответила Настя:

— Сегодня я собирала ему ужинать и видела: он шевелил ножкой.

— Неправда, — сказал поп, но слово это прозвучало далеко и глоухо.

И сразу в бешеном вихре закружилось все, заплясали огни и мрак, и отовсюду закачались на попадью безглазые призраки. Они качались и слепо лезли на нее, ощупывали ее скрюченными пальцами, рвали одежду, душили за горло, впивались в волосы и кудато влекли. А она цеплялась за пол обломанными ногтями и кричала.

Попадья билась головой, порывалась куда-то бежать и рвала на себе платье. И так сильна была в охватившем ее безумии, что не могли с нею справиться о. Василий и Настя, и пришлось звать кухарку и работника. Вчетвером они осилили ее, связали полотенцами руки и ноги и положили на кровать, и остался с нею один о. Василий. Он неподвижно стоял у кровати и смотрел, как судорожно изгибалось и корчилось тело и слезы текли из-под закрытых век. Охрипшим от крику голосом она молила:

— Помогите! Помогите!

Дико-жалобен и страшен был одинокий крик о помощи, и ниоткуда не было ответа. Как саван, облипала его глухая и бесстрастная тишина, и был он мертв в этой одежде мертвых; нелепо задирали ножки опрокинутые стулья истыдливо сверкали днищами; рас-

терянно кривился старый комод, и ночь молчала. И все слабее, все жалобнее становился одинокий крик о помощи:

— Помогите! Больно! Помогите! Вася, миленький мой Вася...

Холодным и странно-спокойным жестом, не двигаясь с места, о. Василий поднял руки и взял себя за голову, как за полчаса перед тем попадья, и так же неторопливо и спокойно опустил руки, и между пальцами их дрожали длинные исчерна-седые нити волос.

## V

Среди людей, их дел и разговоров о. Василий был так видимо обособлен, так непостижимо чужд всему, как если бы он не был человеком, а только движущейся оболочкою его. Он делал все, что делают другие, разговаривал, работал, пил и ел, но иногда казалось, что он только подражает действиям живых людей, а сам живет в другом, куда нет доступа никому. И кто бы ни видел его, всякий спрашивал себя: о чем думает этот человек? Так явственно была начертана глубокая дума на всех его движениях.

Была она в его тяжелой поступи, в медлительности запинающейся речи, когда между двумя сказанными словами зияли черные провалы притаившейся далекой мысли; тяжелой пеленою висела она над его глазами, и туманен был далекий взор, тускло мерцающий из-под нависших бровей. Иногда приходилось по два раза окликать его, прежде чем он услышит и отзовется; другим он забывал поклониться, и за это стали считать его гордым. Так, не поклонился он однажды Ивану Порфиричу; тот сперва удивился, потом быстро нагнал медленно шагавшего попа.

— Загордели, батюшка! Кланяться не хотите, — насмешливо сказал он.

О. Василий с недоумением посмотрел на него, покраснел слегка и извинился:

— Извините, Иван Порфирич, не заметил.

Староста строго, сверху вниз, хотел посмотреть на попа и тут впервые заметил, что поп выше его ростом, хотя сам он считался самым высоким человеком в округе. И что-то приятное мелькнуло в этом открытии, и неожиданно для себя староста пригласил:

— Заходите как-нибудь.

И долго оборачивался и мерял глазами попа. Приятно стало и о. Василию, но только на мгновение: уже через два шага та же постоянная дума, тяжелая и тугая, как мельничный жернов, придавила воспоминание о старостиных добрых словах и на пути к устам раздавила тихую и несмелую улыбку. И снова он думал — думал о Боге, и о людях, и о таинственных судьбах человеческой жизни.

И случилось это на исповеди: окованный своею неподвижною думой, о. Василий равнодушно предлагал какой-то старухе обычные вопросы, когда внезапно поразила его странность, которой не замечал он раньше: он стоит и спокойно расспрашивает о самых сокровенных помыслах и чувствах, а какой-то человек пугливо смотрит на него и отвечает правду — ту правду, которой не дано знать никому другому. И морщинистое лицо старухи сразу сделалось особенным и ярким, как будто кругом была ночь, а на него на одного падал дневной свет. И неожиданно, на полслове перебивая ее, он спросил:

— А ты правду говоришь, старуха?

Но что ответила старуха, он не слышал. Отпал туман от его лица, и блестящими, точно обмытыми, глазами он изумленно глядел на лицо женщины, и оно было особенное — на нем была начертана какая-то и ясная и загадочная правда о Боге и о жизни. На голове у старухи под ситцевым платком о. Василий заметил пробор — серенькую полоску кожи среди тщательно расчесанных волос. И этот жалкий пробор, эта глухая забота о старой, некрасивой, никому не нужной голове были также правдой — печальной правдой о вечно одинокой, вечно скорбной человеческой жизни. И тут впервые на сороковом году своего бытия о. Василий Фивейский понял глазами, и слухом, и все-

ми чувствами своими, что кроме него есть на земле другие люди — подобные ему существа, и у них своя жизнь, свое горе, своя судьба.

— А дети у тебя есть? — быстро спросил он, снова перебивая старуху.

— Умерли, батюшка.

— Все умерли? — удивился поп.

— Все умерли, — повторила женщина, и глаза ее покраснели.

— Как же ты живешь? — с недоумением спросил о. Василий.

— Какая же наша жизнь, — заплакала старуха. — Кто милостыньку подаст, тем и живу.

Вытянув шею вперед, о. Василий с высоты своего огромного роста впивался в старуху глазами и молчал. И длинное, костлявое лицо его, обрамленное свесившимися волосами, показалось старухе необыкновенным и страшным, и руки ее, сложенные на груди, похолодели.

— Ну, ступай, — прозвучал над нею суровый голос.

Странные дни начались для о. Василия, и небывалое творилось в уме его. До сих пор было так: существовала крохотная земля, и на ней жил один огромный о. Василий со своим огромным горем и огромными сомнениями, а других людей как будто не жило совсем. Теперь же земля выросла, стала необъятною и вся заселилась людьми, подобными о. Василию. Их было множество, и каждый из них по-своему жил, по-своему страдал, по-своему надеялся и сомневался, и среди них о. Василий чувствовал себя как одинокое дерево в поле, вокруг которого внезапно вырос бы безграничный и густой лес. Не стало одиночества, но вместе с ним скрылось и солнце, и пустынные светлые дали, и плотнее сделался мрак ночи.

Все люди говорили ему правду. Когда он не слышал их правдивых речей, он видел их дома и лица: и на домах и на лицах была начертана неумолимая правда жизни. Он чувствовал эту правду, но не умел ее назвать и жадно искал новых лиц и новых речей. Исповедни-

ков в Рождественском посту бывало немного, но каждого из них поп держал на исповеди по целым часам и допрашивал пытливо, настойчиво, забираясь в самые заповедные уголки души, куда сам человек заглядывает редко и со страхом. Он не знал, чего он ищет, и беспощадно переворачивал все, на чем держится и чем живет душа. В вопросах своих он был безжалостен и бесстыден, и страха не знала его родившаяся мысль. И уже скоро понял о. Василий, что те люди, которые говорят ему одну правду, как самому Богу, сами не знают правды о своей жизни. За тысячами их маленьких, разрозненных, враждебных правд сквозили туманные очертания одной великой, всеразрешающей правды. Все чувствовали ее, и все ее ждали, но никто не умел назвать ее человеческим словом — эту огромную правду о Боге, и о людях, и о таинственных судьбах человеческой жизни.

Начал чувствовать ее о. Василий, и чувствовал ее то как отчаяние и безумный страх, то как жалость, гнев и надежду. И был он по-прежнему суров и холден с виду, когда ум и сердце его уже плавились на огне непознаваемой правды и новая жизнь входила в старое тело.

Во вторник на последней неделе перед Рождеством о. Василий поздно вернулся из церкви; в темных холодных сенях его остановила чья-то рука, и охрипший голос прошептал:

— Василий, не ходи туда.

По страху в голосе он узнал, что это попадья, и остановился.

— Я уж час жду тебя. Замерзла вся! — Она ляскнула зубами от внезапной дрожи.

— Что случилось? Пойдем.

— Нет! Нет! Слушай! Настя... я вошла, а она стоит перед зеркалом и делает лицо, как он, и руки, как он...

— Пойдем.

Он силой увел в комнаты сопротивлявшуюся попадью, и там, озираясь, дрожа от холода и страха, она рассказала. Она шла в комнату, чтобы полить цветы, и увидела: Настя стоит тихо перед зеркалом, и в зеркале видно ее лицо, но не такое, как всегда, а странно бес-

смысленное, с дико искривленным ртом и перекосившимися глазами. Потом так же тихо Настя подняла руки и, загнув напряженно пальцы, как у идиота, потянулась ими к своему изображению — и все кругом было так тихо, и все это было так страшно и так не похоже на правду, что попадья вскрикнула и уронила лейку. А Настя убежала. И теперь она не знает наверное, было ли это в действительности, или ей пригрезилось.

— Позови Настю и уходи сама, — приказал поп.

Пришла Настя и остановилась у порога. Лицо у нее было длинное, костлявое, как у отца, и стояла она, как обычно стоял он при разговоре: вытянув шею немногоХ набок, с угрюмым взглядом исподлобья. И руки держала назади, как он.

— Настя! Зачем ты делаешь это? — сурово, но спокойно спросил о. Василий.

— Что?

— Мать видела тебя перед зеркалом. Зачем ты делаешь? Ведь он больной.

— Нет, он не больной. Он дерет меня за волосы.

— Зачем же ты делаешь как он? Разве тебе нравится лицо как у него?

Настя угрюмо смотрела в сторону.

— Не знаю, — ответила она. И со странной откровенностью взглянула в глаза отцу и решительно добавила: — Нравится.

О. Василий всматривался в нее и молчал.

— А вам не нравится? — полуутвердительно спросила Настя.

— Нет.

— А зачем же вы о нем думаете? Я бы его убила.

О. Василию показалось, что и сейчас Настя делает лицо, как у идиота: что-то тупое и зверское пробежало в скулах и сдвинуло глаза.

— Ступай! — резко сказал он.

Но Настя не двигалась с места и с тою же странною откровенностью смотрела отцу прямо в глаза. И лицо ее не было похоже на отвратительную маску идиота.



— А обо мне вы не думаете, — сказала она просто, как безразличную правду.

И тогда в нарастающей мгле зимних сумерек между ними, похожими и разными, произошел короткий и странный разговор:

— Ты дочь моя? Почему же я этого не знал? Ты знаешь?

— Нет.

— Пойди и поцелуй меня.

— Не хочу.

— Ты меня не любишь?

— Нет. Я никого не люблю.

— Как и я! — И ноздри попа раздулись от сдержанного смеха.

— А вы тоже никого не любите? А маму? Она очень пьет. Ее я тоже бы убила.

— А меня?

— Вас нет. Вы со мною разговариваете. Мне вас бывает жалко. Очень, знаете ли, тяжело, когда такой сын — дурачок. Он страшно злой. Вы еще не знаете, какой он злой. Он живых прусаков ест. Я ему дала десять штук, и он всех съел.

Не отходя от двери, она осторожно присела на краешек стула, как служанка, сложила руки на коленях и ждала.

— Скучно, Настя! — задумчиво сказал поп.

Неторопливо и важно она согласилась:

— Конечно, скучно.

— А Богу ты молишься?

— Как же, молюсь. Только по вечерам, а утром никогда: работы много. Подмети, постели убери, посуду помой, Ваське чаю приготовь, подай — сами знаете, сколько дела.

— Как горничная, — неопределенно сказал о. Василий.

— Что вы? — не поняла Настя.

О. Василий молчал, низко склонив голову; и был он огромный и черный на фоне тускло белевшего окна, и слова его казались Насте черными и блестя-

щими, как стеклярус. Она долго ждала, но отец молчал, и робко она окликнула:

— Папа!

Не поднимая головы, о. Василий повелительно махнул рукой — раз и другой раз. Настя вздохнула и поднялась, и лишь только обернулась к двери, что-то прошумело сзади нее, две сильные костлявые руки подняли ее на воздух, и смешной голос прошептал в самое ухо:

— Обнимай за шею. Я отнесу тебя.

— Что вы! Я ведь большая.

— Ничего! Держись.

Трудно было дышать от рук, сжимавших ее, как железные обручи, нужно было нагибаться в дверях, чтобы не удариться головой, и она не знала, хорошо ей или только странно. И она не знала, послышалось ей или отец действительно прошептал:

— Жалей маму.

Но, уже помолившись Богу и укладываясь спать, Настя долго сидела на кровати и размышила. Худенькая спина ее, с острыми лопатками и отчетливыми звеньями хребта, сильно горбилась; грязная рубашка спустилась с острого плеча; обняв руками колени и покачиваясь, похожая на черную сердитую птицу, застигнутую в поле морозом, она смотрела вперед своими немигающими глазами, простыми и загадочными, как глаза зверя. И с задумчивым упрямством прошептала:

— А я бы ее все-таки убила.

Позднею ночью, когда все спали, о. Василий тихо вошел в комнату, и лицо его было холодно и сурово. Не взглянув на Настю, он поставил лампу на пол и наклонился над тихо спящим идиотом. Он лежал на взничье, выпятив уродливо грудь, раскинув руки, и маленькая сжатая голова его запрокидывалась назад, белея маленьким срезанным подбородком. Во сне, под бледным отраженным светом, падавшим с потолка, с закрытыми веками, скрывавшими бессмыслие глаз, лицо его не казалось таким страшным, как днем. И утомленным было оно, как лицо актера, измученно-

го трудною игрою, и вокруг огромного сомкнутого рта лежала тень суровой печали. Как будто две души было в нем, и когда одна спала, просыпалась другая, все знающая и скорбная.

О. Василий медленно выпрямился и с тем же строгим и бесстрастным лицом, не взглянув на Настю, пошел к себе. Шел он медленно и спокойно, тяжелым и мертвым шагом глубокой думы, и тьма разбегалась перед ним, длинными тенями забегала сзади и лукаво кралась по пятам. Лицо его ярко белело под светом лампы, и глаза пристально смотрели вперед, далеко вперед, в самую глубину бездонного пространства, пока медленно и тяжело переступали ноги.

Была поздняя ночь, и уже пропели вторые петухи.

## VI

Пришел Великий пост. Одноцветно затренькали глухой колокол, и его серые, печальные, скромно зовущие звуки не могли разорвать зимней тишины, еще лежавшей над занесенными полями. Робко выскачивали они из колокольни в гущу мглистого воздуха, падали вниз и умирали, и долго никто из людей не являлся на тихий, но все более настойчивый, все более требовательный зов маленькой церкви.

К концу первой недели пришли две старухи, серые, мглистые, глухие, как самый воздух умиравшей зимы, долго шамкали беззубыми ртами и повторяли — бесконечно повторяли — глухие оборванные жалобы, не имевшие начала, не приходившие к концу. Как будто и слезы и слова тоже состарились на долгой службе и хотят покоя. Уже отпущены были их грехи, а они не понимали этого и все о чем-то просили, глухие и мглистые, как обрывки тяжелого сна. За ними потянулся народ; и много молодых, горячих слез, много молодых слов, заостренных и сверкающих, врезалось в душу о. Василия.

Когда крестьянин Семен Мосягин трижды отбил земной поклон и, осторожно шагая, двинулся к попу, тот смотрел на него пристально и остро и стоял в позе,

не подобающей мести: вытянув шею вперед, сложив руки на груди и пальцами одной пощипывая бороду. Мосягин подошел вплотную и изумился: поп глядел на него и тихо смеялся, раздувая ноздри, как лошадь.

— А я тебя давно поджидаю, — сказал, усмехаясь, поп. — Зачем пришел, Мосягин?

— Исповедаться, — быстро и охотно ответил Мосягин и дружелюбно оскалил белые зубы, такие ровные, как будто они были отрезаны по нитке.

— Что же, легче станет, когда исповедаешься? — продолжал поп и усмехался весело и дружелюбно, как казалось Мосягину.

И такой же улыбкой ответил он:

— Известно, легче.

— А правда, что ты лошадь продал, и овцу последнюю продал, и телегу заложил?

Мосягин серьезно и с неудовольствием взглянул на попа: лицо его было бесстрастно и глаза опущены. И оба молчали. О. Василий медленно повернулся к аналою<sup>1</sup> и приказал:

— Ну, сказывай грехи.

Мосягин откашлянулся, сделал служебное лицо и осторожно, грудью и головой подавшись к священнику, громким шепотом заговорил. И по мере того как он говорил, все недоступнее и суровее становилось лицо попа, точно каменело оно под градом больно бьющих, нудных слов мужика. И дышал он глубоко и часто, как будто задыхался он в том бессмысленном, тупом и диком, что называлось жизнью Семена Мосягина и обивалось вокруг него, как черные кольца неведомой змеи. Словно сам строгий закон причинности не имел власти над этой простой и фантастической жизнью: так неожиданно, так шутовски нелепо сцеплялись в ней маленький грех и большое страдание, крепкая стихийная воля к такому же стихийному могучему творчеству — и уродливое прозябанье где-то на границе между жизнью и

<sup>1</sup> Аналой — высокая, с покатым верхом подставка для богослужебных книг, икон и других церковных принадлежностей.

смертью. Ясный умом и слегка насмешливый, сильный, как лесной зверь, выносливый настолько, как будто в груди его билось целых три сердца, и когда умирало одно от невыносимых страданий, другие два давали жизнь новому, — он мог, казалось, перевернуть самую землю, на которой неуклюже, но крепко стояли его ноги. А в действительности происходило так: был он постоянно голоден, голодала его жена, и дети, и скотина; и замутившийся ум его блуждал, как пьяный, не находящий дверей своего дома. В отчаянных потугах что-то построить, что-то создать он распластавался по земле — и все рассыпалось, все валилось, все отвечало ему дикой насмешкой и глумлением. Он был жалостлив и взял к себе сироту-приемыша, и все брали его за это; а сирота пожил немного и умер от постоянного голода и болезни, и тогда он сам начал бранить себя и перестал понимать, нужно быть жалостливым или нет. Казалось, что слезы не должны были высыхать на глазах этого человека, крики гнева и возмущения не должны были замирать на его устах, а вместо того он был постоянно весел и шутлив и бороду имел какую-то нелепо веселую, огненно-рыжую бороду, в которой все волоски точно кружились и свивались в бесконечной затейливой пляске. Ходил в хороводах наравне с молодыми девками и ребятами; пел жалобные песни высоким переливчатым голосом, и тому, кто его слышал, плакать хотелось, а он насмешливо и тихо улыбался.

И грехи его были ничтожные, формальные: то землемер, которого он возил на Петровки, дал ему скромного пирога, и он съел, — и так долго он рассказывал об этом, как будто не пирог съел, а совершил убийство; то в прошлом году перед причастием он выкурил папиросу, — и об этом он говорил долго и мучительно.

— Кончил! — весело, другим голосом сказал Мосьгин и вытер со лба пот.

О. Василий медленно повернул к нему костлявую голову.

— А кто помогает тебе?

— Кто помогает-то? — повторил Мосягин. — Да никто не помогает. Скудно кормятся жители-то, сам знаешь. Между прочим, Иван Порфирич помог, — мужик осторожно подмигнул попу, — дал три пуда муки, а к осени чтобы четыре.

— А Бог?

Семен вздохнул, и лицо его сделалось грустным.

— Бог-то? Стало быть, не заслужил.

От ненужных вопросов попа Мосягину стало скучно; он через плечо покосился на пустую церковь, осторожно посчитал волосы в редкой бороде попа, заметил его гнилые, черные зубы и подумал: «Много, должно, сахару ест». И вздохнул.

— Чего ты ждешь?

— Чего жду-то? А чего ж мне ждать?

И снова молчание. В церкви темнело и холодно было, и холод забирался под рубаху мужика.

— Так, значит, и будет? — спросил поп, и слова его звучали далеко и глухо, как комья земли на опущенный в могилу гроб.

— Так, значит, и будет. Так, значит, и будет, — повторил Мосягин, вслушиваясь в свои слова.

И представилось ему то, что было в его жизни: голодные лица детей, попреки, каторжный труд и тупая тяжесть под сердцем, от которой хочется пить водку и драться; и оно будет опять, будет долго, будет непрерывно, пока не придет смерть. Часто моргая белыми ресницами, Мосягин вскинул на попа влажный, затуманенный взор и встретился с его острыми блестящими глазами — и что-то увидели они друг в друге близкое, родное и страшно печальное. Несознаваемым движением они подались один к другому, и о. Василий положил руку на плечо мужика; легко и нежно легла она, как осенняя паутинка. Мосягин ласково дрогнул плечом, доверчиво поднял глаза и сказал, жалко усмехаясь половиною рта:

— А может, полегчает?

Поп неслышно снял руку и молчал. Белые ресницы заморгали быстрее, еще веселее заплясали волосы

ки в огненно-рыжей бороде, и язык залопотал что-то невнятное и невразумительное:

— Да. Стало быть, не полегчает. Конечно, вы правы говорите...

Но поп не дал ему кончить. Сдержанно топнув ногой, он обжег мужика гневным, враждебным взглядом и зашипел на него, как рассерженный уж:

— Не плачь! Не смей плакать! Ревут, как телята. Что я могу сделать? — Он ткнул пальцем себе в грудь. — Что я могу сделать? Что я — Бог, что ли? Его проси. Ну, проси! Тебе говорю.

Он толкнул мужика.

— Становись на колени.

Мосягин стал.

— Молись!

Сзади надвигалась пустынная и темная церковь, над головой сердитый поп кричал: «Молись, молись!» И, не отдавая себе отчета, Мосягин быстро закрестился и начал отбивать земные поклоны. От быстрых и однообразных движений головы, от необычности всего совершающегося, от сознания, что весь он подчинен сейчас какой-то сильной и загадочной воле, мужику становилось страшно и оттого особенно легко. Ибо в самом этом страхе перед кем-то могущественным и строгим зарождалась надежда на заступничество и милость. И все яростнее прижимался он лбом к холодному полу, когда поп коротко приказал:

— Будет.

Мосягин встал, перекрестился на все ближайшие образа, и весело, с радостной готовностью заплясали и закрутились огненно-рыжие волоски, когда он снова подошел к попу. Теперь он знал наверное, что ему полегчает, и спокойно ждал дальнейших приказаний.

Но о. Василий только посмотрел на него с суровым любопытством и дал отпущение грехов. У выхода Мосягин обернулся: на том же месте расплывчато темнела одинокая фигура попа; слабый свет восковой свечки не мог охватить ее всю, она казалась огромной и черной, как будто не имела она определенных гра-

ниц и очертаний и была только частицею мрака, наполнявшего церковь.

С каждым днем все больше являлось исповедников, и перед о. Василием непрестанно чередовались морщилистые и молодые лица. Все так же настойчиво и сурово допрашивал он, и целыми часами входила в ухо его робкая неразборчивая речь, и смысл каждой речи был страдание, страх и великое ожидание. Все осуждали жизнь, но никто не хотел умирать, и все чего-то ждали, напряженно и страстно, и не было начала ожиданию, и казалось, что от самого первого человека идет оно. Прошло оно через все умы и сердца, уже исчезнувшие из мира и еще живые, и оттого стало оно таким повелительным и могучим. И горьким оно стало, ибо впитало в себя всю печаль несбывшихся надежд, всю горечь обманутой веры, всю пламенную тоску беспредельного одиночества. Соки сердца всех людей, живых и мертвых, питали его, и мощным деревом раскинулось оно над жизнью. И минутами, теряясь среди душ, как путник среди бесконечного леса, он терял все выстраданное им, суровой скорбью увенчавшее его голову, и сам начинал чего-то ждать — ждать нетерпеливо, ждать грозно.

Теперь он не хотел человеческих слез, но они лились неудержимо, вне его воли, и каждая слеза была требованием, и все они, как отравленные иглы, входили в его сердце. И с смутным чувством близкого ужаса он начал понимать, что он не господин людей и не сосед их, а их слуга и раб и блестящие глаза великого ожидания ищут его и приказывают ему — его зовут. Все чаще, с сдержаным гневом, он говорил:

— Его проши! Его проши!

И отворачивался.

А ночью живые люди превращались в призрачные тени и бесшумною толпою ходили вместе с ним, думали вместе с ним — и прозрачными сделали они стены его дома и смешными все замки и оплоты. И мучительные, дикие сны огненной лентой развивались под его черепом.

На пятой неделе поста, когда весной пахнуло с поля и сумерки стали синими и прозрачными, с попадьей случился запой. Четыре дня подряд она пила, кричала от страха и билась, а на пятый — в субботу вечером — потушила в своей комнате лампадку, сделала из полотенца петлю и повесилась. Но, как только петля начала душить ее, она испугалась и закричала, и, так как двери были открыты, тотчас прибежали о. Василий и Настя и освободили ее. Все ограничилось только испугом, да и больше ничего быть не могло, так как полотенце было связано неумело и удавиться на нем было невозможно. Сильнее всех испугалась попадья: она плакала и просила прощения; руки и ноги у нее дрожали и тряслась голова, и весь вечер она не отпускала от себя мужа и старалась ближе сесть к нему. По ее просьбе снова зажгли потушенную лампадку в ее комнате, а потом и перед всеми образами, и стало похоже на канун большого и светлого праздника. После первой минуты испуга о. Василий стал спокоен и холодно-ласков, даже шутил; рассказал что-то очень смешное из семинарской жизни, потом перешел к совсем далекому детству и к тому, как он с мальчишками воровал яблоки. И так трудно было представить, что это его сторож вел за ухо, что Настя не поверила и не засмеялась, хотя сам о. Василий смеялся тихим и детским смехом и лицо у него было правдивое и добroe. Понемногу попадья успокоилась, перестала коситься на темные углы и, когда Настю отослали спать, спросила мужа, тихо и робко улыбаясь:

— Испугался?

Лицо о. Василия сделалось недобрым и неправдивым, и усмехнулись одни губы, когда он ответил:

— Конечно, испугался. Что это ты надумала?

Попадья вздрогнула, как от внезапно пронесшегося ветра, и нерешительно произнесла, разбирая дрожащими пальцами бахрому теплого платка:

— Не знаю, Вася. Так, тоска очень. И страшно мне всего. Всего страшно. Делается что-то, а я ничего не понимаю, как это. Вот весна идет, а за нею будет лето. Потом опять осень, зима. И опять будем мы сидеть вот

так, как сейчас, — ты в том углу, а я в этом. Ты не сердись, Вася, я понимаю, что нельзя иначе. А все-таки...

Она вздохнула и продолжала, не поднимая глаз от платка:

— Прежде я хоть смерти не боялась, думала, вот станет мне совсем плохо, я и умру. А теперь и смерти боюсь. Как же мне быть, Васенька, милый? Опять... пить?

Она недоуменно подняла на о. Василия печальные глаза, и была в них смертельная тоска и отчаяние без границ и глухая покорная мольба о пощаде. В городе, где учился Фивейский, он видел однажды, как засаленный татарин вел на живодерню лошадь: у нее было сломано копыто и болталось на чем-то, и она ступала на камни прямо окровавленной мостолыжкой; было холодно, а белый пар облаком окутывал ее, блестела мокрая от испарины шерсть, и глаза смотрели неподвижно вперед — и страшны были они своею кротостью. И такие глаза были у попадьи. И он подумал, что если бы кто-нибудь вырыл могилу, своими руками бросил туда эту женщину и живую засыпал землей, — тот поступил бы хорошо.

Попадья тщетно старалась раскурить дрожащими губами давно потухшую папиросу и продолжала:

— Опять же он. Ты понимаешь, о ком я. Конечно, ребенок, и жаль его, а вот скоро начнет ходить — загрызет он меня. И ниоткуда нет помощи. Вот тебе пожаловалась, а что из этого? Как быть, и не знаю.

Она вздохнула и тихо развела ладонями. И вздохнула с нею вся низкая, придавленная комната, и заметались в тоске ночные тени, бесшумно толпою окружавшие о. Василия. Они рыдали безумно, и простирали бессильные руки, и молили о пощаде, о милости, о правде.

— А-а-а! — длительным стоном отозвалась костлявая грудь попа.

Он вскочил, резким движением опрокинув стул, и быстро заходил по комнате, потрясая сложенными руками, что-то шепча, натыкаясь на стулья и стены, как слепой или безумный. И, натыкаясь на стену, он

бегло ощупывал ее костлявыми пальцами и бежал назад; и так кружился он в узкой клетке немых стен, как одна из фантастических теней, принявшая страшный и необыкновенный образ. И, странно противореча безумной подвижности тела, неподвижны, как у слепого, оставались его глаза, и в них были слезы — первые слезы со смерти Васи.

Забыв о себе, попадья с ужасом следила за мужем и кричала:

— Вася, что с тобою? Что с тобою?

О. Василий резко обернулся, быстро подошел к жене, точно раздавить ее хотел, и положил на голову тяжелую прыгающую руку. И долго в молчании держал ее, точно благословляя и ограждая от зла. И сказал, и каждый громкий звук в слове был как звонкая металлическая слеза:

— Бедная, бедная.

И снова быстро заходил, огромный и страшный в своем отчаянии, как зверь, у которого отнимают детей. Лицо его исступленно дергалось, и прыгающие губы ломали отрывистые, беспредельно скорбные слова:

— Бедная. Бедная. Все бедные. Все плачут. И нет помощи! О-о-о!..

Он остановился и, подняв кверху остановившийся взор, пронизывая им потолок и мглу весенней ночи, закричал пронзительно и исступленно:

— И Ты терпишь это! Терпишь! Так вот же...

Он высоко поднял сжатый кулак, но у ног его, охватив руками колени, билась в истерике попадья и бормотала, захлебываясь слезами и хохотом:

— Не надо! Не надо! Голубчик, милый. Я не буду больше!..

Проснулся и замычал идиот; прибежала испуганная Настя, и челюсти попа замкнулись, как железные. Молча и по виду холодно он ухаживал за женою, уложил ее в постель и, когда она заснула, держа его руку в обеих своих руках, просидел у постели до утра. И всю ночь до утра горели перед образом лампадки, и похоже было на канун большого и светлого праздника.

На другой день о. Василий был таким, как всегда, — холодным и спокойным, и ни словом не вспоминал о случившемся. Но в его голосе, когда он говорил с попадьею, в его взгляде, обращенном на нее, была тихая нежность, которую одна только она могла уловить своим измученным сердцем. И так сильна была эта мужественная, молчаливая нежность, что робко улыбнулось измученное сердце и в глубине, как драгоценнейший дар, сохранило улыбку. Они мало говорили между собой, и просты и обыкновенны были скучные речи; они редко бывали вместе, разрозненные жизнью, — но полным страдания сердцем они непрестанно искали друг друга; и никто из людей, ни сама жестокая судьба не могла, казалось, догадаться, с какой безнадежной тоскою и нежностью любят они. Уже давно, с рождения идиота, они перестали быть мужем и женою, и похожи были они на нежных и несчастных влюбленных, у которых нет надежды на счастье и даже сама мечта не смеет принять живого образа. И вернувшись к женщине потерянная стыдливость и желание быть красивой; она краснела, когда муж видел ее голые руки, и что-то такое сделала со своим лицом и волосами, от чего стали они молодыми и новыми и в строгой печали своей странно-прекрасными. И когда приходил страшный запой, попадья исчезала в темноте своей комнаты, как прячутся собаки, почувствовавшие начало бешенства, и одиноко и молча выносила борьбу с безумием и рожденными им призраками.

И каждую ночь, когда все спало, попадья неслышно прокрадывалась к постели мужа и крестила его голову, отгоняя от нее тоску и злые мысли. Она поцеловать бы его руку хотела, но не осмеливалась, и тихо уходила назад, смутно белея во мраке, как те туманные и печальные образы, что ночью встают над болотами и над могилами умерших и забытых людей.

## VII

Все так же однозвучно и уныло вызыванивал великопостный колокол, и казалось, что с каждым глухим

ударом он приобретает новую силу над совестью людей; все больше собирались их, и отовсюду тянулись к церкви бесцветные, как колокольный звон, молчаливые фигуры. Еще ночь царила над обнажившимися полями и еще не начинали звенеть подмерзшие ручьи, когда на всех тропинках, на всех дорогах появлялись люди и строго печальной вереницею, одинокие и чем-то связанные, двигались к одной невидимой цели. И каждый день, с раннего утра до позднего вечера, перед о. Василием стояли человеческие лица, то ярко во всех морщинах своих освещенные желтым огнем свечей, то смутно выступавшие из темных углов, как будто и самий воздух церкви превратился в людей, ждущих милости и правды. Люди теснились, неуклюже толкаясь и топоча ногами, нестройным, разрозненным движением валились на колени, вздыхали и с неумолимою настойчивостью несли попу свои грехи и свое горе.

У каждого страданий и горя было столько, что хватило бы на десяток человеческих жизней, и попу, оглушенному, потерявшемуся, казалось, что весь живой мир принес ему свои слезы и муки и ждет от него помощи — ждет кротко, ждет повелительно. Он искал правды когда-то, и теперь он захлебывался ею, этою беспощадною правдою страдания, и в мучительном сознании бессилия ему хотелось бежать на край света, умереть, чтобы не видеть, не слышать, не знать. Он позвал к себе горе людское — и горе пришло. Подобно жертвеннику, пылала его душа, и каждого, кто подходил к нему, хотелось ему заключить в братские объятия и сказать: «Бедный друг, давай бороться вместе и плакать и искать. Ибо ниоткуда нет человеку помощи». Но не этого ждали от него измученные жизнью люди, и с тоскою, с гневом, с отчаянием он твердил:

— Его проси! Его проси!

Печально они верили ему и уходили, а на смену им надвигались новые серые ряды, и снова как исступленный повторял он страшные и беспощадные слова:

— Его проси! Его проси!

И несколько часов, когда он слышал правду, казались ему годами, и то, что было утром до исповеди,

становилось бледным и тусклым, как все образы далекого прошлого. Когда последним он уходил из церкви, уже темнота царила, и тихо сияли звезды, и молчаливый воздух весенней ночи ласкался нежно. Но он не верил в спокойствие звезд; ему чудилось, что и оттуда, из этих отдаленных миров, несутся стоны, и крики, и глухие мольбы о пощаде. И так стыдно ему было, как будто он совершил все преступления, какие есть в мире, он пролил все слезы, он истерзал и изорвал в клочки человеческие сердца. Стыдно ему было придавленных домов, мимо которых он шел, стыдно было входить в свой дом, где безраздельно и нагло, силою зла и безумия, царил страшный образ полуребенка-полузверя.

И в церковь по утрам он шел так, как идут люди на позорную и страшную казнь, где палачами являются все: и бесстрастное небо, и оторопелый, бессмысленно хохочущий народ, и собственная беспощадная мысль. Каждый страдающий человек был палачом для него, бессильного служителя всемогущего Бога, — и было палачей столько, сколько людей, и было кнутов столько, сколько доверчивых и ожидающих взоров. Все были неумолимо серьезны, и никто не смеялся над попом, но каждую минуту он с трепетом ожидал взрыва какого-то страшного, сатанинского хохота и боялся оборачиваться к людям спиной. Все дикое и злое рождается за спиной человека, а пока он смотрит, никто не смеет напасть на него. И он смотрит, мучая своим взглядом, и часто посматривает он на ту сторону, где за канторкой стоит Иван Порфирийч Копров.

Один он громко разговаривал в церкви, спокойно торговал свечами и дважды посыпал сторожа и мальчиков собирать деньги. Потом звонко считал медяки, складывал стопочками и часто щелкал замком; когда все валились на колени, он только наклонял голову и крестился; и видно было, что он считает себя близким и нужным Богу человеком и знает, что без него Богу было бы трудно устроить все так хорошо и в таком порядке. Давно, сначала поста, он сердился на о. Василия, что тот так долго исповедует, — он не мог понять, какие могут быть у этих людей интерес-

ные и большие грехи, о которых стоило бы долго разговаривать. И относил это к неумению о. Василия жить и обращаться с людьми.

— Ты думаешь, они это оценят? — говорил он благодушному дьякону, измученному, как и весь причт, тяжелой великопостной работой. — Нипочем. Над ним же смеяться будут.

Но то, что о. Василий был суров, нравилось ему, как и его большой рост; настоящий священнослужитель казался ему похожим на строгого и честного приказчика, который должен требовать точного и верного отчета. Сам Иван Порфирыч говел всегда на последней неделе и задолго приготовлялся к исповеди, стараясь вспомнить и собрать все самые маленькие грехи. И был горд собою, что грехи у него в таком же порядке, как и дела.

В среду на Страстной неделе, когда силы уже начали покидать о. Василия, было у него особенно много исповедников. Последним был негодный мужичонка Трифон, калека, таскавшийся на своих костылях по Знаменскому и окрестным селам. Вместо ног, когда-то давно раздавленных на заводской работе и отрезанных по самый живот, у него были коротенькие обрубки, обтянутые кожей; на приподнятых от костылей плечах глубоко сидела грязная, точно паклей покрытая голова, с такою же грязною, свалвшейся бородою и наглыми глазами нищего, пьяницы и вора. Он был отвратителен и грязен, как животное, пресмыкался в грязи и пыли, как гад, и такая же темная и таинственная, как души животных, была его душа. Трудно было понять, как он живет такой, а он жил, напивался пьян, дрался и даже имел женщин, каких-то фантастических, неправдоподобных женщин, так же мало похожих на человека, как и он.

О. Василию пришлось низко наклониться, чтобы принять исповедь калеки, и в открыто спокойном зловонии его тела, в паразитах, липко ползавших по его голове и шее, как сам он ползал по земле, попу открылась вся ужасная, не допустимая совестью, постыдная нищета этой искалеченной души. И с грозной яснос-

тью он понял, как ужасно и безвозвратно лишен этот человек всего человеческого, на что он имел такое же право, как короли в своих палатах, как святые в своих кельях. И содрогнулся.

— Ступай! Бог отпустит твои грехи, — сказал он.

— Погодите. Еще скажу, — прохрипел нищий, за-дирая вверх побагровевшее лицо.

И рассказал, как десять лет назад он изнасиловал в лесу подростка-девочку и дал ей, плачущей, три копейки; а потом ему жаль стало своих денег, и он удущил ее и закопал. Так ее и не нашли. Десять раз десяти различным попам рассказывал он эту историю, и от повторения она стала казаться ему простой и обыкновенной и не относящейся к нему, как какая-нибудь сказка. Иногда он разнообразил рассказ: заменял лето осенью и девочку представлял то белокуренькой, то смуглой, — но три копейки оставались неизменными. Некоторые ему не верили и смеялись над ним, — утверждали, что за десять лет в округе не было убито и не пропадало ни одной девочки; ловили его в бесчисленных и грубых противоречиях и с очевидностью доказывали, что всю эту страшную историю он выдумал спьяну, валяясь в лесу. И это приводило его в ярость: он кричал, божился, поминая черта так же часто, как и Бога, и начинал рассказывать такие отвратительные и грязные подробности, что самые старые священники краснели и негодовали. И теперь он ждал, поверит ли знаменский поп или нет, и был доволен, что поп поверил, — отшатнулся от него, побледнел и поднял руку, как для удара.

— Правда это? — глухо спросил о. Василий.

Нищий быстро закрестился:

— Ну, ей-богу, правда. Ну вот провалиться мне...

— Так ведь за это же ад! — крикнул поп. — Ты понимаешь, ад!

— Бог милостив, — угрюмо и обиженно пробормотал нищий.

Но по злым и испуганным глазам его видно было, что сам он ждет ада и уж свыкся с ним, как и с своею странною историей о задушенной девочке.

— На земле — ад, в небе — ад. Где же твой рай? Будь ты червь, я раздавил бы тебя ногой, — но ведь ты человек! Человек! Или червь? Да кто же ты, говори! — кричал поп, и волосы его качались, как от ветра. — Где же твой Бог? Зачем оставил Он тебя?

«Поверил!» — с радостью думал нищий, чувствуя себя под словами попа как под горячей водой.

О. Василий присел на корточки и, в унизительности необычайной позы черпая странную и мучительную гордость, зашептал страстно:

— Слушай! Ты не бойся. Ада не будет. Это я верно тебе говорю. Я сам убил человека. Девочку. Настя ее зовут. И ада не будет! Ты будешь в раю. Понимаешь, со святыми, с праведниками. Выше всех. Выше всех — это я тебе говорю!

В тот вечер о. Василий вернулся домой поздно, когда уже поужинали. Был он сильно утомлен и бледен, и до колен мокр, и покрыт грязью, как будто долго и без дорог бродил он по размокшим полям. В доме готовились к Пасхе, и попадья была занята, но, прибегая на минутку из кухни, она каждый раз с тревогой смотрела на мужа. И веселой она старалась казаться и скрывала тревогу.

А ночью, когда, по обыкновению, она пришла на цыпочках и, трижды перекрестив изголовье, хотела уходить, ее остановил тихий и испуганный голос, не похожий на голос сурового о. Василия:

— Настя! Я не могу идти в церковь.

В голосе был ужас и что-то детское и молящее. Как будто так огромно было несчастье, что нельзя уже и не нужно было одеваться гордостью и скользкими, лживыми словами, за которыми прячут люди свои чувства. Попадья стала на колени у постели мужа и взглянула ему в лицо: при слабом синеватом свете лампадки оноказалось бледным, как у мертвеца, и неподвижным, и черные глаза одни косились на нее; и лежал он навзничь, как тяжелобольной или ребенок, которого напугал страшный сон и он не смеет пошевельнуться.

— Молись, Вася! — прошептала попадья, гладя его холодные руки, сложенные на груди, как у покойника.

— Не могу. Мне страшно. Зажги огонь, Настя!

Пока она зажигала лампу, о. Василий начал одеваться, медленно и неловко, как тяжелобольной, давно не встававший с постели. Крючки на подряснике он не мог застегнуть сам и попросил жену:

— Застегни.

— Куда ты? — удивилась попадья.

— Никуда. Я так.

И медленно он начал ходить по комнате, ступая неуверенно и слабо подгибающимися ногами. Голова его тряслась еле заметною и ровною дрожью, и нижняя челюсть бессильно отвисла; с усилием он подбирал ее, облизывая языком сухие пересмякшие губы, но через минуту она падала снова и открывала черное отверстие рта. Надвигалось что-то огромное и невыразимо ужасное, как беспредельная пустота и беспредельное молчание. И не было земли, и людей, и мира за стенами дома — там был тот же зияющий, бездонный провал и вечное молчание.

— Вася! Неужели это правда? — спросила попадья, замирая от страха.

О. Василий взглянул на нее тусклыми, без блеска глазами и с минутным приливом силы замахал рукой:

— Не надо. Не надо. Молчи.

И снова заходил, и снова отпала бессильная челюсть. И так ходил он медленно, как само время, а на постели сидела бледная женщина, замирающая от страха, и медленно, как время, двигались ее глаза и следили. И надвигалось что-то огромное. Вот пришло оно и стало и охватило их пустым и всеобъемлющим взглядом — огромное, как пустота, страшное, как вечное молчание.

О. Василий остановился против жены и, тускло глядя на нее, сказал:

— Темно. Зажги еще огонь.

«Он умирает», — подумала попадья и трясущими-ся руками, роняя спички, зажгла свечу. И снова он попросил:

— Зажги еще.

И она зажигала, все зажигала, и уже много горело ламп и свечей. Как маленькая голубая звездочка, тे-рялась лампадка в живом и смелом блеске огня, и было похоже на то, что уже наступил большой и свет-лый праздник. И медленный, как время, тихо двигал-ся он в сияющей пустоте. Теперь, когда пустота све-тилась, увидела попадья и поняла на одно короткое, но ужасное мгновение, что он одинок, не принадлежит ей и никому и ни она и никто не может этого изме-нить. Если бы сошлись добрые и сильные люди со всего мира, обнимали его, говорили бы ему слова уте-шения и ласки, он остался бы так же одинок.

И снова подумала, холodeя: «Он умирает».

Так проходила ночь. И когда уже близилась она к концу, шаги о. Василия стали тверже, он выпрямил-ся, несколько раз взглянул на попадью и сказал:

— Зачем столько огня? Потуши.

Попадья потушила свечи и лампы и нерешитель-но заговорила:

— Вася!..

— Завтра поговорим. Ну, ступай к себе. Нужно ло-житься.

Но попадья не уходила и о чем-то умоляла его гла-зами. И, по-прежнему высокий и сильный, он подошел и, как ребенка, погладил ее по голове.

— Так-то, попадья! — сказал он и улыбнулся.

А лицо его было бледно прозрачной бледностью смерти, и вокруг глаз лежали черные круги, как буд-то притаилась там ночь и не хотела уходить.

Наутро о. Василий объявил жене: он снимает с себя сан, и осенью, собравши деньги, они уедут дале-ко — еще неизвестно куда. А идиот останется: он буд-дет отдан на воспитание. И попадья плакала и смея-лась и в первый раз после рождения идиота поцело-вала мужа в губы, краснея и смущаясь.

Было в это время Василию Фивейскому сорок лет и жене его тридцать четыре года.

## VIII

Три месяца отдыхала их душа; и снова вернулась в их дом потерянная надежда и радость. Всею силою пережитых страданий поверила попадья в новую жизнь, совсем новую и совсем особенную, какой нет и не может быть у других людей. Она смутно чувствовала то, что происходит в сердце ее мужа, но она видела его особенную бодрость, спокойную и ровную, как пламя свечи, видела особенный блеск его глаз, какого не было раньше, и верила в его силу. О. Василий пытался иногда говорить с нею о том, куда они уедут и как будут жить, но она не хотела его слушать: точные и определенные слова отпугивали ее широкую и бесформенную мечту и как-то странно и страшно сближали будущее с мучительным прошлым. Одного только она хотела: чтоб это было далеко, за пределами знакомого ей и по-прежнему страшного мира. Как и раньше, случались запои, но проходили быстро, и она не боялась их: верила, что скоро перестанет пить совсем. «Там будет другое, там не нужно будет пить», — думала она, озаренная светом неопределенной и прекрасной мечты. Когда наступило лето, она снова начала на целые дни уходить в лес и поле, возвращалась в сумерки и поджидала у калитки, когда приедет с сенокоса о. Василий. Неслыshно и медленно нарастала тьма короткой летней ночи; и казалось, что никогда не придет ночь и не погасит дня; и только взглянув на смутные очертания рук, лежавших на коленях, она чувствовала, что есть что-то между нею и ее руками и это — ночь с своей прозрачною и таинственною мглою. И уже беспокоиться она начинала, когда приезжал о. Василий, высокий, сильный, веселый, окруженный резким и приятным запахом травы и поля. Лицо у него было темное от ночи, а глаза ласково светились, и в сдержанном голосе словно таилась необъятная ширь

полей и запахов трав и радость продолжительной работы.

— Хорошо на земле, — говорил он и сдержанно смеялся загадочным и темным смехом, как будто насмехался он над кем-то или над самим собою.

— Ну, ну, Вася. Конечно, хорошо! — говорила попадья убедительно, и они шли ужинать.

После простора полей о. Василию казалось тесно в маленькой комнате; он стеснялся своих длинных рук и ног и так неуклюже и смешно двигал ими, что попадья весело щутила:

— Вот бы заставить тебя написать проповедь. Ты сейчас и пера не удержишь, — говорила она.

И они смеялись.

Но когда о. Василий оставался один, лицо его делалось серьезно и строго: наедине с мыслями своими не смел он щутить и смеяться. И глаза его смотрели сурово и с гордым ожиданием, ибо чувствовал он, что и в эти дни покоя и надежды над жизнью его тяготеет все тот же жестокий и загадочный рок.

Двадцать седьмого июля, вечером, о. Василий с работником возил с поля снопы.

Тень от ближнего леса стала косая и длинная, и по всему полю отовсюду шли такие же длинные и косые тени, когда со стороны Знаменского принесся жидкий и еле слышный звон, странный своею неурочностью. О. Василий быстро обернулся: там, где темнела среди ветел крыша его домика, неподвижно стоял густой клуб черного смолистого дыма, и под ним извивалось, словно придавленное, багровое, без свету, пламя. Пока побросали снопы с телеги, пока прискакали в село, уже темнело и пожар кончался: догорали, как свечи, черные, обугленные столбы, смутно белела кафлями обнаженная печь, и низко стлался белый дым, похожий на пар. Он окутывал ноги тушивших мужиков, и на фоне догорающей зари они словно висели в воздухе плоскими смутными тенями.

Вся улица была запруженна народом; мужики толкались в свежей грязи, образовавшейся от пролитой воды, возбужденно и громко разговаривали и внимали

тельно присматривались друг к другу, точно не узнавали сразу ни знакомых лиц, ни голосов. С поля пригнали стадо, и оно тревожно металось. Коровы мычали, овцы неподвижно глядели стеклянными выпуклыми глазами, растерянно терлись между ног и шарахались в сторону от беспричинного испуга, дробно попыливая копытцами. За ними гонялись бабы, и по всему селу слышался однообразный призыв: кыть-кыть-кыть. И от этих темных фигур с темными, как будто бронзовыми лицами, от этого однообразного и странного призыва, от людей и животных, слившихся в одном стихийном чувстве страха, веяло чем-то дикарским, первобытным.

День был безветренный, и сгорел один только поповский дом. Как рассказывали, пожар начался в комнате, где отдыхала пьяная попадья, — вероятно, от зароненного огня с папиросы или от небрежно брошенной спички. Весь народ был в поле; и успели спасти только перепуганного идиота да кое-какие вещи, а сама попадья сильно обгорела, и ее вытащили чуть живою, без памяти. Когда рассказывали это прискакавшему о. Василию, ожидали от него взрыва горя и слез и были удивлены: вытянув шею вперед, он слушал сосредоточенно и внимательно, с напряженно сомкнутыми губами; и был у него такой вид, точно он уже знал то, что ему рассказывают, и только проверял рассказ. Как будто в этот короткий сумасшедший час, пока он, стоя с разметавшимися волосами и прикованным к огненному столбу взглядом, бешено скакал на подпрыгивающей телеге, он догадался обо всем: и о том, отчего должен был произойти пожар, и о том, что все имущество и попадья должны были погибнуть, а идиот и Настя уцелеть.

Мгновение он стоял молча с опущенными глазами — и, вскинув назад голову, решительно и прямо направился через толпу к дому дьякона, где нашла приют умиравшая попадья.

— Где она? — спросил он громко у молчавших людей.

И молча ему указали. Он подошел, низко наклонился к бесформенной, глухо стонущей массе, увидел сплошной белый пузьрь, страшно заменивший собой знакомое и дорогое лицо, и в ужасе отшатнулся и закрыл лицо руками.

Попадья глухо заволновалась; вероятно, она пришла в себя, и ей нужно было что-то сказать, но вместе слов из горла ее выходил глухой отрывистый хрип. О. Василий отнял руки от лица: на нем не было слез, оно было вдохновенно и строго, как лицо пророка. И когда он заговорил, раздельно и громко, как говорят с глухими, в голосе его звучала непоколебимая и страшная вера. В ней не было человеческого, дрожащего и в силе своей; так мог говорить только тот, кто испытал неизъяснимую и ужасную близость Бога.

— Во имя Божие, — слышишь ли ты меня? — воскликнул он. — Я здесь, Настя. Я здесь, около тебя. И дети здесь. Вот Василий. Вот Настя.

По неподвижному и страшному лицу попадьи нельзя было понять: слышит она что-нибудь или нет. И, еще повысив голос, о. Василий продолжал, обращаясь к бесформенной, обгоревшей массе:

— Прости меня, Настя. Безвинно погубил я тебя. Погубил. Прости, единая любовь моя. И благослови детей в сердце своем. Вот они: вот Настя, вот Василий. Благослови. И отыди с миром. Не страшись смерти. Бог простил тебя. Бог любит тебя. Он даст тебе покой. Отыди с миром. Там увидишь Васю. Отыди с миром.

Разошлись все, тоскуя и плача, и унесли заснувшего идиота. Один о. Василий остался с умирающей — на всю короткую летнюю ночь, в приход которой не верила попадья. Он стал на колени и, положив голову возле умирающей, обоняя легкий и страшный запах горелого мяса, заплакал тихими и обильными слезами нестерпимой жалости. Он плакал о ней, молодой и красивой, доверчиво жаждущей радостей и ласк; о ней, потерявшей сына; о ней, безумной и жалкой, объятой страхом, гонимой призраками; он плакал о ней, которая ждала его в летние сумерки, покорная и

светлая. Это ее тело, необласканное, нежное тело, пожирал огонь, и оно так пахнет. Что она — кричала, билась, звала мужа?

О. Василий дико оглянулся помутившимися глазами и встал. Тихо было — так тихо, как бывает только в присутствии смерти. Он посмотрел на жену: она была неподвижна той особенной неподвижностью трупа, когда все складки одежд и покрывал кажутся изваянными из холодного камня, когда блекнут на одеждах яркие цвета жизни и точно заменяются бледными искусственными красками.

Умерла попадья.

В открытое окно дышала теплая и мягкая ночь, и где-то далеко, подчеркивая тишину комнаты, гармонично стрекотали кузнечики. Около лампы бесшумно метались налетевшие в окно ночные бабочки, падали и снова кривыми болезненными движениями устремлялись к огню, то пропадая во тьме, то белея, как хлопья кружашегося снега. Умерла попадья.

— Нет! Нет! — заговорил поп громко и испуганно. — Нет! Нет! Я верю! Ты прав. Я верю!

Он пал на колени, потом приник лицом к залитому полу, среди клочков грязной ваты и перевязок, точно жаждал он превратиться в прах и смешаться с прахом. И с восторгом беспредельной униженности, изгоняя из речи своей самое слово «я», сказал:

— Верую!

И снова молился, без слов, без мыслей, молитвою всего своего смертного тела, в огне и смерти познавшего неизъяснимую близость Бога. Самую жизнь свою перестал он чувствовать, как будто порвалась извечная связь тела и духа, и, свободный от всего земного, свободный от самого себя, поднялся дух на неведомые и таинственные высоты. Ужасы сомнений и пытующей мысли, страстный гнев и смелые крики возмущенной гордости человека — все было повергнуто во прах вместе с поверженным телом; и один дух, разорвавший тесные оковы своего «я», жил таинственной жизнью созерцания.

Когда о. Василий поднялся, уже светло было, и солнечный луч, длинный и красный, ярким пятном лежал на окаменевших одеждах покойницы. И это удивило его, так как последнее, что он помнил, было темное окно и бабочки, метавшиеся вокруг огня. Несколько обожженных бабочек темными комочками лежало около лампы, все еще горевшей почти невидимым желтым светом; одна серая, мохнатая, с большой уродливой головой, была еще жива, но не имела сил улететь и беспомощно ползала по стеклу. Вероятно, ей было больно, она искала теперь ночи и тьмы, но отовсюду лился на нее беспощадный свет и обжигал маленькое, уродливое, рожденное для мрака тело. С отчаянием она начинала трепетать короткими, опаленными крыльшками, но не могла подняться на воздух и снова угловатыми и кривыми движениями, припадая на один бок, ползала и искала.

О. Василий загасил лампу, выбросил в окно трепетавшую бабочку и, бодрый, как после крепкого сна, полный ощущением силы, новизны и необыкновенного спокойствия, отправился в дьяконский сад. Там он долго ходил по прямой дорожке, заложив руки назад, задевая головой низкие ветви яблонь и черешни, ходил и думал. Солнце начало пригревать его голову сквозь просветы дерев и на повороте огненным потоком вливалось в глаза и слепило; падали, тихо стукая, подъеденные червем яблоки, и под черешнями, в сухой и рыхлой земле, копалась и кудахтала наседка с дюжиной пушистых желтых цыплят, — а он не замечал ни солнца, ни стука яблок и думал. И чудны были его мысли — яркие и чистые они были, как воздух ясного утра, и какие-то новые: таких мыслей никогда еще не пробегало в его голове, омраченной скорбными и тягостными думами. Он думал, что там, где видел он хаос и злую бессмыслицу, там могучею рукою был начертан верный и прямой путь. Через горнило бедствий, насильственно отторгая его от дома, от семьи, от суэтных забот о жизни вела его могучая рука к великому подвигу, к великой жертве. Всю жизнь его Бог обратил в пустыню, но лишь для того,

чтобы не блуждал он по старым, изъезженным дорогам, по кривым и обманчивым путям, как блуждают люди, а в безбрежном и свободном просторе ее искал нового и смелого пути. Вчерашний столб дыма и огня — разве он не был тем огненным столбом, что указывал евреям дорогу в бездорожной пустыне? Он думал: «Боже, хватит ли слабых сил моих?» — но ответом был пламень, озарявший его душу, как новое солнце.

Он избран.

На неведомый подвиг и неведомую жертву избран он, Василий Фивейский, тот, что святотатственно и безумно жаловался на судьбу свою. Он избран. Пусть под ногами его развернется земля и ад взглянет на него своими красными лукавыми очами, он не поверит самому аду. Он избран. И разве не тверда земля под его ногою?

О. Василий остановился и топнул ногой. Обеспокоенно закудахтала и насторожилась испуганная курица, ссывая цыплят. Один из них был далеко и быстро побежал на зов, но на дороге его схватили и подняли большие, костлявые и горячие руки. Улыбаясь, о. Василий подышал на желтенького цыплена горячим и влажным дыханием, мягко сложил руки, как гнездо, бережно прижал к груди и снова заходил по длинной дорожке.

— Какой подвиг? Я не знаю. Но разве смею я знать? Вот знал я про судьбу мою, жестокой называл ее — и знание мое было ложь. Вот думал я родить сына — и чудовище, без образа, без смысла, вошло в мой дом. Вот думал я умножить имущество и покинуть дом — а он раньше меня покинул, сожженный огнем небесным. И это — мое знание. А она — безмерно несчастная женщина, оскорблена в самом чреве своем, исплакавшая все слезы, ужаснувшаяся всеми ужасами? Вот ждала она новой жизни на земле, и была бы скорбной эта жизнь, — а теперь лежит она там, мертвая, и душа ее смеется сейчас и знание свое называет ложью. Он знает. Он дал мне много: Он дал мне видеть жизнь

и испытать страдание и остирем моего горя проникнуть в страдание людей; Он дал мне почувствовать их великое ожидание и любовь к ним дал. Разве они не ждут и разве я не люблю? Милые братья! Пожалел нас Господь, настал для нас час милости Божией!

Он поцеловал пушистую головку цыпленка и продолжал:

— Мой путь. Но разве думает о пути стрела, посланная сильной рукой? Она летит и пробивает цель, покорная воле пославшего. Мне дано видеть, мне дано любить — и что выйдет из этого видения, из этой любви, то и будет Его святая воля — мой подвиг, моя жертва.

Пригретый теплой рукой цыпленок заволок глаза и заснул, и улыбнулся поп.

— Вот — стиснуть только руку, и он умрет. А он лежит в моих руках, на моей груди и спит доверчиво. И разве я — не в руке Его? И смею я не верить в Божию милость, когда этот верит в мою человеческую благость, в мое человеческое сердце?

Он тихо засмеялся, открыв черные, гнилые зубы, и на суровом, недоступном лице его улыбка разбежалась в тысячах светлых морщинок, как будто солнечный луч заиграл на темной и глубокой воде. И ушли большие, важные мысли, испуганные человеческою радостью, и долго была только радость, только смех, свет солнечный и нежно-пушистый заснувший цыпленок.

Но вот сгладились морщинки, лицо сделалось строго и важно, и вдохновенно засверкали глаза. Самое большое, самое важное предстало перед ним, и называлось оно — чудо. Туда не смела заглянуть его все еще человеческая, слишком человеческая мысль. Там была граница мысли. Там, в бездонных солнечных глубинах, неясно обрисовывался новый мир, и он уже не был Землею. Мир любви, мир божественной справедливости, мир светлых и безбоязненных лиц, не опозоренных морщинами страданий, голода, болезней. Как огромный чудовищный брильянт, сверкал этот мир в бездон-

ных солнечных глубинах, и больно и страшно было взглянуть на него человеческим глазам. И, покорно склонив голову, о. Василий промолвил:

— Да будет святая воля Твоя.

В саду показались люди: дьякон, его жена и многие другие. Они издалека увидели попа и, дружелюбно кивая головами, поспешно направлялись к нему, подошли ближе, замедлили шаги — и остановились в оцепенении, как останавливаются перед огнем, перед бушующей водою, перед спокойно-загадочным взглядом познавшего.

— Что вы так смотрите на меня? — удивленно спросил о. Василий.

Но они не двигались и смотрели. Перед ними стоял высокий человек, совсем незнакомый, совсем чужой, и чем-то могуче-спокойным отдалял их от себя. Был он темен и страшен, как тень из другого мира, а по лицу его разбегалась в светлых морщинках искристая улыбка, как будто солнце играло на черной и глубокой воде. И в костлявых больших руках он держал пухленького желтого цыпленка.

— Что вы так смотрите на меня? — повторил он, улыбаясь. — Разве я — чудо?

## IX

Видимо для всех о. Василий Фивейский поспешил сбросывать с себя последнее, связывавшее его с прошлым и суэтными заботами о жизни. Быстро списавшись с сестрою своею, жившей в городе, он отоспал к ней Настю; и дня одного не промедлил он с отправлением дочери, боясь, что укрепится в сердце его родительская любовь и многое отнимет у людей. Настя уехала без радости и горя; она была довольна, что мать умерла, и жалела только, что не пришлось сгореть идиоту. Уже сидя в повозке, в старомодном плащье, перешитом из материного, в криво надетой детской шляпке, больше похожая на странно наряженную некрасивую девушку, чем на подростка, она равнодушно поглядывала на суевившегося дьякона

своими волчьими глазами и говорила отцовским сухим голосом:

— Да бросьте, отец дьякон. Хорошо мне сидеть, и так доеду. Прощайте, папаша.

— Прощай, Настенька. Учись, смотри не ленись.

Телега дернулась, встряхнув Настю, но уж в следующее мгновение она снова стала прямою, как палка, и не покачивалась в стороны на колеях, а только подпрыгивала. Дьякон вынул платок, чтобы помахать отъезжавшей, но Настя не обернулась; и, покачав укоризненно головой, дьякон с долгим вздохом высыпался в платок и положил обратно в карман. Так уехала она, чтоб никогда больше не вернуться в Знаменское.

— А вы бы, отец Василий, и сынка бы отправили. А то ведь трудно вам будет с одной кухаркой. Глупая она у вас баба и глухая к тому же, — сказал дьякон, когда уже и пыль улеглась за скрывшейся телегой.

О. Василий задумчиво посмотрел на него.

— Чтобы я людям свой грех подкинул? Нет, дьякон. Мой грех — со мною ему и быть надлежит. Какнибудь проживем, старый да малый, — так, отче?

Он улыбнулся ласково и приятно, с безобидной насмешливостью над чем-то, что знает он один, и похлопал дьякона по толстому плечу.

Пользование своею землею о. Василий передал причту, выговорив себе на содержание небольшую сумму, «вдовью», как он ее называл.

— А может, и этого брать не стану, — загадочно промолвил он, улыбаясь приятно, с безобидною насмешкою над тем, что знает он один.

И еще одно дело совершил он: определил пухнувшего от голода Мосягина в работники к Ивану Порфиричу. Последний сперва прогнал явившегося к нему с просьбой Мосягина, но, поговорив с попом, не только принял мужика, но и самому о. Василию прислал тесу на постройку дома. А жене своей, вечно молчаливой и вечно беременной женщине, сказал:

— Помни мое слово: наделает делов этот поп.

— Каких делов? — равнодушно спросила жена.

— А таких. Только как по тому слушаю, что мое дело сторона, я и молчу. А то бы... — Он неопределенно посмотрел в окно, на дорогу в губернский город.

И неизвестно откуда — с загадочных ли слов страсти или из другого источника — по селу, а потом и дальше пошли смутные и тревожные слухи о знаменском попе. Как дымная гарь от далекого лесного пожара, они двигались медленно и глухо, и никто не замечал их прихода, и, только взглянув друг на друга и на потускневшее солнце, люди понимали, что пришло что-то новое, необычное и тревожное.

К половине октября был отстроен новый дом, но совсем отделать и покрыть крышею успели только половину; другая половина, без стропил и наката, с пустыми, незарамленными окнами, прицеплялась к жилой части, как скелет к живому человеку, и по ногам казалась покинутою и страшною. Новой обстановки о. Василий заводить не стал: среди голых бревенчатых стен, на которых не успели еще затвердеть янтарные капельки смолы, во всех четырех комнатах стояли две некрашеные табуретки, стол да постели. Глухая, бестолковая кухарка печи топила плохо, в комнатах всегда пахло дымом, и часто болела голова от угаря, сизым облаком ползавшего по грязному, исслеженному полу. И холодно было. В сильные морозы стекла изнутри покрывались белым слоем пушистого инея, и в доме царил холодный белый полусвет; на подоконниках намерзли с начала зимы огромные куски льда, и от них по полу тянулись водяные потоки. Даже неприхотливые мужики, приходившие к попу за требами, смущенно и виновато косились на убожество поповского жилья, а дьякон сердито называл его «мерзостью запустения».

Когда о. Василий впервые вступил в новый дом, он долго и радостно ходил по пустым и холодным, как амбар, комнатам и весело сказал идиоту:

— Важно заживем мы с тобою, Василий!

Идиот облизнул губы длинным, как у животного, языком и загугукал прыгающими, однообразными и громкими звуками:

— Гу-гу! Гу-гу!

Ему было весело, и он смеялся. Но уже скоро он почувствовал холод, одиночество и скуку заброшенного жилища, сердился, кричал, бил себя по щекам и пробовал сползти на пол, но падал и больно ушибался. Временами он впадал в состояние тяжелого оцепенения, похожего на странную кошмарную задумчивость. Подперев голову тонкими длинными пальцами, слегка высунув кончик языка, он неподвижно смотрел перед собою из-под узеньких звериных век. И тогда чудилось, что он вовсе не идиот, что он думает что-то особенное, непохожее на мысли всех людей; и что он знает что-то тоже особенное, простое и загадочное, чего не знает никто из них. И думалось, глядя на его приплюснутый нос с широкими вывернутыми ноздрями, на его срезанный затылок, животной линией переходивший прямо в спину, что, если бы дать ему крепкие и быстрые ноги, он убежал бы в лес и зажил бы там таинственной лесной жизнью, полной игр, жестокости и темной лесной мудрости.

И бок о бок с ним, вечно вдвоем, вечно наедине, то оглушаемый его злым, бесстыдным криком, то преследуемый окаменевшим загадочным взглядом, зажил о. Василий столь же таинственною жизнью духа, отрекшегося от плоти. Он чистым хотел быть для великого подвига и еще неведомой великой жертвы — и все дни и ночи его стали одною непрерывною молитвою, одним безлагольным излиянием. Со смерти попадьи он наложил на себя строгий пост: не пил чаю, не вкушал мясного и рыбного и в дни постные, в среду и пятницу, питался одним хлебом, размоченным в воде. И с непонятною суровостью, похожей на месть, такой же строгий пост возложил он на идиота, и тот мучился, как голодное животное, кричал, царапался и даже плакал скучными собачьими слезами, но не мог добиться ни одного лишнего куска. Людей поп видел мало и только по необходимости, старательно скра-

щая время пребывания с ними, и все часы, с короткими перерывами для отдыха и сна, посвящал коленопреклоненной молитве. А когда уставал, садился и читал Евангелие, Деяния святых апостолов и жития святых. Обычно церковная служба отправлялась только по праздникам — теперь он ежедневно совершал раннюю литургию. Престарелый дьякон отказался служить с ним, и помогал ему псаломщик, грязный и одинокий старик, давно когда-то лишенный дьяконского сана за пьянство.

Еще затемно, дрожа от утреннего холода, о. Василий пробирался в церковь. Идти было недалеко, а времени уходило много: часто за ночь наносило сугубы снега, ноги утопали и расползались в сухой искристой массе, и каждый шаг стоил десяти. В церкви как сле-дует не топили и холод стоял лютый — тот особен-ный, пронизывающий холод, какой свойствен нежи-лым зданиям зимою; при дыхании шел сильный пар, и до металлических вещей больно было дотронуться. Собственно для попа псаломщик, он же и сторож, расстапливал одну печку, и у открытой дверцы ее, при-сев на корточки, о. Василий отогревал руки, иначе крест не держался в негнувшихся, залубеневших паль-цах. Тут, в эти десять минут, он шутил со стариком относительно холода и цыганского пота, и псаломщик угрюмо и снисходительно слушал его; от постоянно-го пьянства и от холода нос у псаломщика был багро-во-синий, а щетинистый подбородок, который начал он брить после разжалования, равномерно двигался, точно при жевании.

Потом о. Василий облачался в старую ризу, на которой в местах золотой вышивки торчали обтертые нитки; в кадило бросалась крупинка ладана, и в по-лучьме, смутно различая друг друга, но двигаясь уве-ренно, как слепые в знакомом месте, они начинали служить. Два восковых огарка — один у псаломщи-ка, другой на амвоне у образа Спасителя — только сгу-щали тьму; и острое пламя их медленно колыхалось в стороны, подчиняясь движению двух неторопливых людей.

Служили долго, служили медленно и крепко; и каждое слово дрожало и расплывалось в очертаниях своих, подхватываемое холодным эхом пустынной церкви. И было только эхо, и тьма, и двое служащих Богу людей; и постепенно разгоралось что-то в груди старого пьяного псаломщика. Подставив ухо, он бережно ловил каждое слово попа и задолго начинал двигать колючим подбородком; и уходила куда-то одинокая и грязная старость, и уходила вся неудачная, тоскливая жизнь, — а то, что являлось на смену, было необычно и радостно до слез. Часто на возглас псаломщика из алтаря долго не слышалось ответа; наступала долгая и строгая тишина, и неподвижно желтели острые язычки свеч; потом издалека приносился голос, налитый слезами и радостью. И снова уверенно двигались в полутьме две неторопливые фигуры, и пламя колыхалось, подчиняясь их неспешным, размеренным движениям.

Когда служба кончалась, уже светло становилось, и о. Василий говорил:

— Смотри, Никон, как потеплело-то.

А изо рта его шел пар. Морщины на щеках Никона розовели; строго и пытливо он взглядывал на попа и недоверчиво спрашивал:

— А завтра — будем? А то, может, нельзя?

— Как же, Никон, будем, будем.

Почтительно он провожал попа до дверей и шел к себе в сторожку. Там визгом и лаем его встречал десяток собак, взрослых и щенков; окруженный ими, как детьми, он кормил их и ласкал, а сам думал о попе. Думал о попе — и удивлялся. Думал о попе — и улыбался, не разжимая рта и отворачиваясь от собак, чтобы и они не видели его улыбки. И все думал, думал — до самой ночи. А наутро ждал — не обманет ли поп, и не сдастся ли перед тьмою и морозом. Но поп приходил, прогрязнувший, но веселый, и снова от устья печки в самую глубину темной церкви уходила багрово-красная полоса, и по ней тянулась черная тающая тень.

Вначале, прослышиав о странностях попа, многие нарочно приходили, чтобы посмотреть на него, и удивлялись. Иные из смотревших находили его безумным, иные умилялись и плакали, но были такие, и их было много, в сердце которых вырастала острыя и непреодолимая тревога. Ибо в прямом, безбоязненно открытом и светлом взоре попа они уловили мерцание тайны, глубочайшей и сокровеннейшей, полной необъяснимых угроз и зловещих обещаний. Но скоро любопытные отстали, и церковь долго оставалась пустою в темные, предутренние часы, и никто не нарушал покоя двух молящихся людей. Но прошло еще время — и на возгласы попа стали приходить из темноты церкви робкие, сдержаные вздохи; чьи-то колени глухо стучали о каменный пол; чьи-то уста шептали; чьи-то руки ставили цельную маленькую свечу, и среди двух огарков она была как молоденькая стройная березка среди порубленного леса.

И стала крепнуть тревожная, глухая и безлицая молва. Она вползала всюду, где только были люди, и оставляла после себя что-то, какой-то осадок страха, надежды и ожидания. Говорили мало, говорили неопределенно, больше качали головами и вздыхали, но уже в соседней губернии, за сотню верст от Знаменского, кто-то серый и молчаливый вдруг громко заговорил о «новой вере» и опять скрылся в молчании. А молва все двигалась — как ветер, как тучи, как дымная гарь далекого лесного пожара.

Позже всего дошли слухи до города — словно больно и трудно им было прорицаться сквозь каменные стены по шумным и людным улицам. И какие-то голые, ободранные, как воры, пришли они — говорили, что кто-то себя сжег, что открылась новая изуверская секта. В Знаменское приехали люди в мундирах, ничего не нашли, а дома и бесстрастные лица ничего им не сказали, — и они уехали обратно, позякивая колокольцами.

А слухи после этого посещения стали еще упорнее и злее, — и каждое утро совершил служение о. Василий Фивейский.

## X

Все долгие зимние вечера о. Василий проводил вдвоем с идиотом, как в одну скорлупу, заключенный вместе с ним в белую клетку сосновых стен и потолка.

От прошлого он сохранил любовь к яркому свету — и на столе, нагревая комнату, белым огнем пылала большая лампа с пузатым стеклом. Замерзшие окна, запущенные инеем, светлели под огнем и искрились, были непроницаемы, как стены, и отделяли людей от серой ночи. Безграничным кольцом она облегала дом, давила на него сверху, искала отверстия, куда бы пропустить свой серый коготь, и не находила. Она бесновалась у дверей, мертвыми руками ощупывала стены, дышала холодом, с гневом поднимала мириады сухих, злобных снежинок и бросала их с размаху в стекла, — а потом, бесноватая, отбегала в поле, кувыркалась, пела и плашмя бросалась на снег, крестообразно обнимая закоченевшую землю. Потом поднималась, садилась на корточки и долго и тихо смотрела на освещенные окна, поскрипывая зубами. И снова с визгом бросалась на дом, выла в трубе голодным воем ненасытимой злобы и тоски и обманывала: у нее не было детей, она сожрала их и скончала в поле, в поле...

— Метель, — говорил о. Василий, прислушиваясь, и снова опускал глаза на книгу.

Она нашла. Огонь большой лампы проточил кругжок в пушистой броне, и заблестело мокрое стекло, и снаружи она прильнула к нему серым бесцветным глазом. Их двое, двое, двое... Ободранные голые стены с блестящими капельками янтарной смолы, сияющая пустота воздуха и люди. Их двое.

Склонив маленький и тесный череп, идиот kleил из картона коробочки: мазал kleem, держа кисть за кончик длинной ручки, и резал бумагу, и каждый лязг ножниц отчетливо и громко разносился по пустому дому. Коробочки выходили плохие, кривобокие, грязные, с торчащей и отклеивающейся бумагой, но он не знал этого и продолжал работать. Изредка он поднимал голову и неподвижным взглядом из-под уз-

ких звериных век смотрел в освещенное пространство комнаты. Там толкались, метались и кружились звуки. Шуршание, шорох, треск, протяжный вздох. Они вились над ним, паутиной пробегали по лицу и входили в голову — шуршание, шорох и протяжные, длительные вздохи. А человек против него был неподвижен и молчал.

Бах! — стреляло высыхающее дерево, и, вздрогнув, о. Василий отрывал глаза от белых страниц. И тогда видел он и голые стены, и запущенные окна, и серый глаз ночи, и идиота, застывшего с ножницами в руках. Мелькало все, как видение, — и снова перед опущенными глазами развертывался непостижимый мир чудесного, мир любви, мир кроткой жалости и прекрасной жертвы.

— Па-па, — бормотал идиот недавно узнанное слово и исподлобья сердито и тревожно смотрел на отца.

Но человек не слышал и молчал, и вдохновенным было светлое лицо его. Он грезил дивными грезами светлого, как солнце, безумия; он верил — верою тех мучеников, что всходили на костер, как на радостное ложе, и умирали, славословя. И любил он — могучей, несдержанной любовью властелина, того, кто повелевает над жизнью и смертью и не знает мук трагического бессилия человеческой любви. Радость, радость, радость!

— Па-па! Па-па! — еще раз пробормотал идиот, но не получил ответа и снова взялся за ножницы. Но скоро бросил их — и, уставившись неподвижными глазами, оттопырив большие уши, терпеливо ловил бегающие звуки. Шипение и шорох, визг и свист. И хохот. Она играла. Она сидилась на бревна покинутого сруба, качалась и барабанила в снег и тихо кралась в угол и рыла там могилу — для чужих, для чужих. И пела: для чужих, для чужих. И с радостью взметывала вверх и раскидывала широкие серые крылья, высматривая; камнем падала вниз и, кружась, проносилась в темные окна заиндевевшего сруба, с визгом и свистом. За снежинками гонялась она, — и, бледные от страха, вытянувшись вперед, они молчаливо бежали.

— Па-па! — громко кричал идиот. — Па-па!

Человек слышит и поднимает голову — с длинными исседа-черными волосами, как метель и ночь, обволакивающими лицо. На минуту перед ним встают голые стены, и злобно-испуганное лицо идиота, и визг разыгравшейся выюги — и наполняют душу его мучительным восторгом. Свершается — свершилось!

— Ну что, Василий? Чего не клеишь — клей!

— Па-па!

— Что волнуешься? Метель? Да, да. Метель.

О. Василий прильнул к стеклу — глаз в глаз с серою ночью — и смотрит. И шепчет с ужасом:

— Отчего он не звонит? Что, если кто-нибудь блуждает в поле?

Она плачет: в поле, в поле, в поле!..

— Погоди, Василий. Я схожу к Никону. Я сейчас вернусь.

— Па-па!

Дверь хлопает, впуская звуки. Они жмутся у дверей, но там нет никого. Светло и пусто. Один за другим они крадутся к идиоту — по полу, по потолку, по стенам, — заглядывают в его звериные глаза, шепчутся, смеются и начинают играть. Все веселее, все резвее. Они гоняются, прыгают и падают; что-то делают в соседней темной комнате, дерутся и плачут. Нет никого. Светло и пусто. Нет никого.

Бо-о-ом! — откуда-то сверху падает первый тяжелый удар колокола и разгоняет маленькие испуганные звуки. Бо-о-ом! — падает второй, глухой, вязкий и разорванный, точно захватило ветром широкую пасть колокола, он задохнулся и стонет.

Убежали маленькие звуки.

— Вот и я! — говорит о. Василий.

Он весь белый и дрожит. Тугие, красные пальцы никак не могут перевернуть белой страницы. Он дует на них, трет руки одну о другую, и снова шуршат тихо страницы, и все исчезает: голые стены, отвратительная маска идиота и равномерные глухие звуки колокола. Снова безумным восторгом горит его лицо. Радость, радость!

Бо-о-ом!

Она играет с колоколом. Она ловит его гулкие толстые звуки, обвивает их шипением и свистом, рвет, разбрасывает, тяжело катит их в поле, зарывает в снег и прислушивается, склонив голову набок. И снова бежит навстречу новым звукам, неутомимая, злая и такая хитрая, как бес.

— Па-па! — кричит идиот и бросает на пол звякнувшие ножницы.

— Ну что?.. Ну успокойся.

— Па-па!

Молчание в комнате, свист и злое шипение мете ли и вязкие, глухие удары. Идиот туго ворочает головой, и тоненькие, безжизненные ноги его с согнутыми пальцами и нежной, не знающей земли подошвой слабо шевелятся, бессильно порываясь к бегу. И зовет:

— Па-па!

— Ну хорошо. Перестань. Слушай, что я прочту тебе.

О. Василий перевернул назад страницу и начал строгим и важным голосом, как в церкви:

— «И, проходя, увидел человека, слепого от рождения...»

Он поднял руку и, бледнея, взглянул на Васю.

— Понимаешь! Слепого от рождения. Никогда не видел солнца, ни лиц друзей и близких. Явился в жизнь — и тьма объяла его. Бедный человек! Слепой человек!

Голос попа звучит крепкою верою и восторгом насытившейся жалости. Он молчит и смотрит тихо, улыбающимся взглядом, точно не хочет он расстаться с этим бедным человеком, который был слеп от рождения, не видел лица друга и не думал, как близка к нему божественная милость. Милость — и жалость и жалость!..

Бо-о-ом!

— Ну, слушай же, сын. «Ученики Его спросили у Него: „Равви! кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?“ Иисус отвечал: „Не согрешил ни

он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии».

Крепчает голос попа и наполняет всю обнаженную комнату своими раскатами. И его широкие звуки пронизывают тихое шипение, и шорох, и свист, и растянутый, разорванный, блуждающий гул задохнувшегося колокола. Идиоту весело от огненного голоса, от блестящих глаз, от шума, свиста и гула. Он хлопает себя по оттопыренным ушам, мычит, и густая слюна двумя грязными рукавами ползет по низкому подбородку.

— Па-па! Па-па!

— Слушай, слушай. «„Мне должно делать дела Пославшего Меня, доколе есть день; приходит ночь, когда никто не может делать. Доколе Я в мире, Я свет миру“». Во веки веков, во веки веков! — посыает он в ночь и метель страстные торжествующие крики. — Во веки веков!

Зовет блуждающих колокол, и в бессилии плачет его старый, надорванный голос. И она качается на его черных слепых звуках и поет: их двое, двое, двое! И к дому мчится, колотится в его двери и окна и воет: их двое, их двое!

И о. Василий смутно слышит ее и сурово спрашивает идиота:

— Ты что бурчишь там?

Но идиот молчит, и, еще раз с недоверием взглянув на него, о. Василий продолжает:

— «....Я свет миру». Сказав это, Он плонул на землю, сделал брение из плюновения и помазал бреением глаза слепому и сказал ему: „Пойди умойся в купальне Силоам“ (что значит «посланный»). Он пошел и умылся и пришел зрячим».

— Зрячим, Вася, зрячим! — грозно крикнул поп и, сорвавшись с места, быстро заходил по комнате. Потом остановился посреди не и возопил:

— Верую, Господи! Верую!

И тихо стало. И громкий скачущий хохот прорвал тишину, удариł в спину попа — и со страхом он обернулся.

— Ты что? — испуганно спросил он, отступая.

Идиот смеялся. Бессмысленный зловещий смех разодрал до ушей неподвижную огромную маску, и в широкое отверстие рта неудержимо рвался странно-пустой, прыгающий хохот: «Гу-гу-гу! Гу-гу-гу!»

## XI

Под Троицу, под светлый и веселый праздник весны, брали красный песок, чтобы посыпать дорожки. Глубокие ямы, где знаменские крестьяне уже нескользко лет добывали для себя песок, находились верстах в двух от села, среди невысоких и густых вырубок бересклета, осины и дубка. Еще было только начало июня месяца, а трава поднималась уже до пояса и до половины закрывала пышную и могучую зелень разметавшихся кустов с крупными влажно-зелеными листьями. И цветов много было в тот год, и пчела отовсюду налетела на цветы, и на дно глубокой выемки с осыпающимися и сползающими стенами вливалось ровное и жаркое жужжение и нежный простой аромат. И уже нескользко дней все ждало грозы и чувствовало ее. Она была в раскаленном, безветренном воздухе, в безросных душных ночных; ее звала измученная скотина и просительна мычала, задирая головы. И людям было и душно и хорошо. Неподвижный воздух давил и угнетал, а что-то беспокойное звало к движению, к громким отрывочным разговорам и беспричинному смеху.

Работали двое: псаломщик Никон, бравший песок для церкви, и работник старосты, Семен Мосягин. Иван Порфирийч любил, чтобы песку у него было много и на улице перед домом, и на мощеном дворе, и Семен уже успел с утра отвезти одну телегу, а теперь накладывал другую, бойко швыряя полные лопаты золотистого, красивого песку. Ему было весело от жаркого жужжания, от запаха и приятной работы; он задорно поглядывал на мрачного псаломщика, лениво ковырявшего песок щербатым скребком, и дразнил его:

— Эх, брат Никон Иваныч, даром наша с тобой красота пропадает!

— Скажи другой раз, — отвечал псаломщик с ленивой и неопределенной угрозой, и, пока он говорил, курившаяся трубка свешивалась изо рта на седую щетину подбородка и постукивала.

— Гляди, соску уронишь! — предостерег Семен.

Никон ничего не ответил, и Семен, не обижаясь, весело продолжал копать. За полгода жизни у Ивана Порфирыча он стал гладкий и круглый, как свежий огурец, и легкая работа не могла взять всех его сил и внимания; он быстро долбил, подкапывал и бросал и с ловкостью и быстротой подбирающей зерна курицы собирая рассеянные крупинки золотистого песку, шевеля лопатой, как широким и ловким языком. Но яма, из которой еще накануне брали песок, истощилась, и Семен решительно плонул в нее.

— Ну, тут немного накопаешь. Разве там поковырять? — посмотрел он на низенькую полупещерку, подкопанную в непрочной стене и пестревшую красными и зеленовато-серыми пластами, и решительно направился к ней.

Псаломщик посмотрел на пещерку, подумал: «А ведь завалится», — но ничего не сказал. Но Семен почувствовал эту мысль в виде смутной тревоги, похожей на внезапную и легкую тошноту, и остановился.

— Как думаешь, не завалится? — спросил он, обертываясь.

— А я почем знаю! — ответил сторож.

В темноте овального отверстия, напоминавшего открытый рот, было что-то предательское, выжидающее, и Семен колебался. Но сверху, где повис над ямой дубовый куст и резко вычерчивал на голубом небе свой резной трепещущий лист, пахнуло возбуждающим запахом листвы и цветов, и хотелось от этого запаха делать что-нибудь смелое и веселое. Послюнявив ладони, Семен взял лопату, и, когда только второй раз ткнул ею, что-то слабо хрустнуло, вся стена беззвучно сползла вниз и накрыла его. И только удержавшийся на корнях дубовый куст слабо закачал листьями да ссохшийся круглый комочек песку подкатился к самым ногам побледневшего сторожа и

остановился, такой простой и невинный. Через два часа Семена откопали мертвым. Широко открытый рот с чистыми и ровными, точно по нитке обрезанными, зубами был туго набит золотистым песком; и по всему лицу — во впадинах глаз, среди белых ресниц, в русых волосах и огненно-рыжей бороде — желтел тот же красивый, золотистый песок. И все так же зевивались и плясали рыжие волосики, и диким глумлением отзывалась эта нелепо веселая, залихватская пляска вокруг бледного, помертвелого лица.

С собравшимся народом прибежал сын погибшего Мосягина, Сенька. Его не взяли на лошадь, и во всю дорогу он бежал сзади едущих, так что слышно было его тяжелое дыхание; и, пока откапывали отца, стоял неподвижно в стороне, на куче глины, и так же неподвижны были его глаза, которыми впивался он в тающую песчаную гору.

Мертвеца положили на телегу, поверх накопанного им золотистого песку, прикрыли рогожей и тихим шагом повезли в Знаменское по корчеватой лесной дороге; позади враздробь тихо шли мужики, рассыпавшись между деревьями, и рубахи их под солнечными пятнами вспыхивали красным огнем. И когда проезжали мимо двухэтажного дома Ивана Порфирича, псаломщик предложил поставить покойнику к нему:

— Его работник — ему и хоронить.

Ни в окнах, ни около дома никого не было, и лавка была заперта висячим железным замком. Долго стучали в высокие ворота с большими черными шляпками железных гвоздей, потом дергали в большой звонок, и слышно было, как громко и резко звонил он где-то за углом и заливались на дворе собаки, но никто не показывался. Наконец вышла старуха кухарка и сказала, что Мосягина хозяин велит везти домой и дает на похороны, не в зачет жалованья, десять рублей. А пока она объяснялась с толпою, сам Иван Порфирич, злой и испуганный, смотрел из-за занавесок на страшную рогожу и шепотом говорил жене:

— Запомни мои слова: ежели поп миллион будет давать мне, руки не протяну, пусть лучше отсохнет. Страшный он человек.

И неизвестно откуда — с загадочных ли слов страсти и его отказа принять покойника или из другого неведомого источника — по селу быстро заползали и всюду зашипели взъерошенные, жуткие слухи. Говорили о Семене, о его неожиданной и страшной смерти, а думали о попе и сами не знали, почему о нем думают и чего от него ждут. Когда о Василий шел на панихиду, бледный, отягощенный какою-то неясной думою, но веселый и улыбающийся, перед ним широко расступались и долго не решались стать на то место, где невидимо горели следы его тяжелых больших ног. Вспомнили пожар и долго говорили о нем; вспомнили сгоревшую попадью и сына ее, безногого дурачка, и за простыми, ясными словами забегали острые колючки страха. Какая-то баба заплакала от большой и смутной жалости и ушла; оставшиеся долго смотрели на ее вздрагивающую спину и молча, не глядя друг на друга, разошлись. Ребята, отражая волнение взрослых, собирались в сумерки на гумне и на задворках и рассказывали страшные сказки о мертвцах, чернея большими, расширенными глазами; и уже давно звал их домой знакомый и приятно-сердитый голос, а они не решались высвободить из-под себя босые ноги и промчаться сквозь прозрачную пугающую мглу. И все два дня до похорон непрестанно ходили смотреть покойника, быстро синевшего и пухнувшего от жары.

И в обе ночи, прошедшие до похорон, земля дышала томительным жаром и безросны оставались сухие луга, уже начавшие выгорать под жарким солнцем. Небо было чисто, но темно, и редкие звезды мерцали тускло; и над всем стоял неумолчный сухой треск кузнечиков. Когда после первой вечерней панихиды о. Василий вышел из хаты, уже темно было и огней не было на заснувшей улице. Томясь от духоты, поп снял широкополую черную шляпу и тихо шел, ступая беззвучно, как по мягкому и пушистому ковру. И ско-

рее по усилившейся тревоге, не оставлявшей его, как и всех, нежели по слуху, догадался он, что сзади, в нескольких шагах кто-то следует за ним. Он оглянулся — кто-то темный и высокий шел сзади, видимо, соизмеряя свои шаги с медленною поступью попа. Поп остановился — тот, сзади, не догадываясь об этом, сделал несколько шагов и тоже остановился, резко подавшись назад.

— Кто это? — спросил о. Василий.

Человек молчал. Потом внезапно повернулся и быстро, не сдерживая шага, пошел назад; и уже через минуту ночная тьма бесследно поглотила его.

На следующую ночь повторилось то же. Высокий и темный человек шел за попом до самой его калитки, и почему-то в походке и складе коренастой фигуры попу показалось, что это Иван Порфирийч, староста.

— Иван Порфирийч, это вы? — окликнул он.

Но человек не отозвался и отошел назад. А когда о. Василий уже раздевался для сна, кто-то тихо постучал в окно; поп вышел — и возле дома не было ни души. «Что это он мечется, как злой дух?» — с неудовольствием подумал о. Василий, становясь на долгую коленопреклоненную молитву. И в ней он забыл и старость, и ночь, тревожно лежавшую над землею, и себя самого — об умершем молился он, о его жене и детях, о даровании земле и людям великой милости Божией. И в бездонных солнечных глубинах неясно обрисовывался новый мир, и он уже не был Землею.

А пока он молился, идиот сполз с постели, шумно ворочая оживающими, но все еще слабыми ногами. Он стал ползать с начала весны, и уже не раз приходилось о. Василию при возвращении находить его у порога, где неподвижно сидел он, как собака у запертых дверей. Теперь он направился к открытому окну и двигался медленно, с усилием, сосредоточенно покачивая головою. Подполз, закинул за окно сильные цепкие руки и, приподнявшись на них, угрюмо и жадно всматривался в темноту ночи. И слушал что-то.

Хоронили Мосягина в понедельник, на Духов день, и начался он зловещий и странный, точно смуте среди людей отвечала тяжелая и бесформенная смута в природе. С утра сильно парило, и такая жара стояла, что трава на глазах почти свертывалась и блекла, как от сильного огня. И непрозрачное, плотное небо низко и грозно висело над землею, и точно вся замутившаяся синева его пронизана была тонкими кроваво-красными жилками — такое оно было багровое, звонкое, с металлическими отсветами и переливами. Огромное солнце пылало жаром, и так странно было, что светит оно ярко, а ни на чем нет определенных и спокойных теней солнечного дня, точно между солнцем и землею висела какая-то невидимая, но плотная завеса и перехватывала лучи.

И тишина стояла немая и тяжелая, как будто задумался безысходно кто-то большой, опустил глаза и молчит. Срезанные под корень молодые березки, с свернувшимися листьями, серыми рядами тянулись по деревне; печаль и непонятная тревога была в этом бесцельном шествии молоденьких серых деревьев, молчаливо погибавших от жажды и огня и не дававших тени, как призраки. Давно превратился в желтую пыль золотистый песок, усыпавший дорожки, и вчерашняя праздничная шелуха подсолнухов удивляла глаз; о чем-то мирном, простом и веселом говорила она, когда так сурово, так больно, так задумчиво и грозно было все в остановившейся природе. Когда о. Василий облачался, в алтарь вошел Иван Порфириевич. Сквозь пот и красные пятна, которыми жара покрывала его лицо, пугливо смотрела серая, землистая бледность; глаза запухли и горели лихорадочным огнем; наскоро причесанные, слипшиеся от квасу волосы mestами высохли и торчали растерянными кисточками, как будто несколькоnochей не спал этот человек, терзаемый нечеловеческим ужасом. Какой-то измочаленный и растерянный был он; забыл тонкости обхождения с людьми, не подошел к попу за благословением и даже не поздравовался.

— Что это с вами, Иван Порфирийч? Вы нездоро-  
вы? — участливо спросил о. Василий, выправляя во-  
лосы из-под тугого ворота ризы, сам бледный, несмот-  
ря на жару, и сосредоточенный.

Староста попробовал улыбнуться.

— Так. Собственно, не важно. Поговорить с вами  
хотел, батюшка.

— Это вы вчера?..

— Я-с. И третьего дня — тоже я. Извините. Я без  
всякого намерения...

Он тяжело передохнул и, снова забыв все тонкости  
обхождения, ужасаясь, открыто, громко сказал:

— Боюсь. Отроду ничего не боялся. А теперь бо-  
юсь. Боюсь.

— Чего ж боитесь? — удивленно спросил поп.

Иван Порфирийч заглянул за плечо попа, как буд-  
то там прятался кто-то молчаливый и страшный, и  
выдохнул:

— Смерти.

Молча смотрели они друг на друга.

— Смерти. Пришла она во двор. Шальная, без  
рассудку, всех переберет. Всех! У меня, извините, ку-  
рица и та без причины подохнуть не смеет: прикажу  
в щи зарезать, тогда и оклеет. А это что же такое?  
Разве так можно? Извините. А я сразу и не догадал-  
ся. Извините.

— Ты про Семена?

— А про кого же? Про Сидора и Евстигнея? Ты  
вот что, — грубо заговорил староста, шалея от стра-  
ха и злости, — ты эти дела оставь. Тут дураков нету.  
Уходи подобру-поздорову. Уходи!

Он энергично мотнул головой по направлению к  
двери и добавил:

— Живо!

— Да что ты? С ума спятил?

— Это еще неизвестно, кто спятил: ты или я. Ты  
зачем каждое утро тут выкидываешь? «Молюсь, мо-  
люсь», — прогундосил он по-церковному. — Так не  
молятся. Ты жди, ты терпи, а то: «Я молюсь». Пога-  
нец ты, своеволец, по-своему гнуть хочешь. А н вот

тебя и загнуло: где Семен? Говори, где Семен? За что погубил мужика? Где Семен, говори!

Он резко дернулся к попу — и услышал короткий и строгий приказ:

— Пойди вон из алтаря, нечестивец!

Пунцовый от гнева, Иван Порфирийч сверху взглянул на попа — и застыл с раскрытым ртом. На него смотрели бездонно-глубокие глаза, черные и страшные, как вода болота, и чья-то могучая жизнь билась за ними, и чья-то грозная воля выходила оттуда, как заостренный меч. Одни глаза. Ни лица, ни тела не видал Иван Порфирийч. Одни глаза — огромные, как стена, как алтарь, зияющие, таинственные, повелительные — глядели на него, — и, точно обожженный, он бессознательно отмахнулся рукою и вышел, толкнувшись о притолоку толстым плечом. И в похолодевшую спину его, как сквозь каменную стену, все еще впивались черные и страшные глаза.

## XII

Входили молча, опасливо ступая ногами, и становились где пришлось — не на своем обычном месте, где хотелось и где привычно стоять, как будто нехорошо и неуместно было в этот жуткий, тревожный день придерживаться каких-то привычек, заботиться о каких-то удобствах. Становились и долго не решались повернуть голову, чтобы осмотреться. Уже трудно было дышать от тесноты, а сзади напирали все новые молчаливые ряды; и все молчали, и все сумрачно и тревожно ждали, и тесная близость не давала успокоения: локоть прикасался к локтю, а казалось, что человек стоит один в безграничной пустоте. Прилеченные странными слухами, приехали люди из дальних сел, из чужих приходов; они были смелее и говорили громко, но скоро умолкали и они, сердясь, удивляясь, но бессильные, как и все, разорвать невидимые узы свинцового молчания. Все высокие стрельчатые окна были открыты для воздуха, и в них смотрело медно-красное, угрожающее небо; оно точно пе-

реглядывалось угрюмо из окна в окно и на все бросало металлические сухие отсветы. И в этом рассеянном, тяжелом, но ярком свете старая позолота иконостаса блистало тускло и нерешительно, раздражая глаз хаосом и неопределенностью бликов. За одним окном неподвижно и сухо зеленел молодой клен, и много глаз неотступно глядело на его широкие, слегка обвиснувшие листья: друзьями казались они, старыми спокойными друзьями среди этого молчания, среди этой сдерживаемой сумятицы чувств, среди этих желтых дразнящих бликов.

И над всеми обычными, спокойными запахами церкви, над благоуханием ладана и воска царил определенный, отвратительный и страшный запах тления. Труп быстро разлагался, и к черному гробу, обнимавшему эту расплывающуюся массу гниющего и воняющего тела, больно и страшно было подойти. Только подойти, а там неподвижно, как самый гроб, стояли четверо: вдова покойного и трое детей. Быть может, они слышали запах, но не верили ему; быть может, они его не слыхали и думали и верили, что хоронят живого, как думают все люди, когда одного из них, такого близкого, такого родного, такого неотделимого, берет неожиданная и быстрая смерть. Но они молчали — и молчало все, и медно-красное, угрожающее небо переглядывалось из окна в окно над головами толпы и сияло сухие растерянные блики.

Когда началась обедня, торжественно и просто, как всегда, и махнул на толпу кадилом толстый и благодушный дьякон, вздохнулось свободнее, стало веселее и легче. Кое-кто перешепнулся; кое-кто решительно и грузно переступнул затекшими ногами; некоторые, кто ближе к дверям, вышли на паперть отдохнуть и покурить. Но, куря и спокойно разговаривая о посевах, о грозящей засухе, о деньгах, они внезапно спохватывались и пугались, что без них произойдет в церкви что-то важное и неожиданное, бросали недокуренные цигарки и ломились в церковь, раздирая толпу плечами, как клиньями. И останавливались: торжественно и просто шло служение, мирно покряхтывал и откашил-

вался перед началом слов старый дьякон, отыскивал в толпе разговаривающих и грозил им толстым, коротким пальцем. Те, кто вышли наружу перед концом обедни, заметили, что над лесом, со стороны солнца, поднималась дымная синеватая туча, слабо темневшая под солнечными лучами, — и радостно перекрестились. Был среди них и Иван Порфирыч, бледный и как бы больной; он тоже перекрестился, увидев тучу, и тотчас же угрюмо опустил глаза вниз.

В короткий перерыв между обедней и отпеванием, когда о. Василий переоблачался в черную бархатную ризу, дьякон причмокнул губами и сказал:

— Эх! Хорошо бы ледку, а то очень уж смердит. Да где его возьмешь, льду-то. По-моему, на этот случай хорошо бы при церкви иметь запасец — скажите-ка старосте.

— Смердит? — глухо спросил поп, не оборачиваясь.

— А вы не слышите? Ну и нос же у вас. А я так просто изнемог. Теперь, по летнему времени, этого запаху за неделю не выкуришь. Вы послушайте: даже борода пахнет. Ей-богу!

Он поднес к носу кончик седой бороды, понюхал и с неодобрением заключил:

— Экий народ, право!

Началось отпевание. И снова свинцовое молчание придавило толпу и каждого приковало к его месту, отделило от людей и отдало в добычу мучительному ожиданию. Читал старый псаломщик. Он видел смерть того, кто теперь пугал всех из черного гроба; ясно помнил он и невинный кусочек ссохшейся земли, и дубовый куст, качнувший резными листьями, — и старые, знакомые, омертвевшие слова оживали в его шамкающем рту, били метко и больно. И о попе он думал с тревогою и печалью, ибо в эти наступающие часы ужаса один он из всех бывших людей любил о. Василия стыдливою и нежною любовью и близок был его великой, мятежной душе.

— «Воистину суeta всяческая, житие же сень и соние: ибо всеу мятется всяк земнородный, яко же рече писание, егда мир приобрящем, тогда во гроб вселимся, иде-

же вкупе царие и нищие. Тем же Христе Боже представльшегося раба Твоего упокой, яко человеколюбец...»

В церкви темнело — буро-синей беспокойной темнотою затмившегося дня, и все почувствовали ее, но долго не замечали глазом. И только те, кто неотступно смотрел на дружеские листья клена, видели, как позади их выползло что-то чугунно-серое, лохматое, взглянуло в церковь мертвыми очами и поползло выше, к кресту.

— «Где есть мирское пристрастие; где есть привременных мечтание; где есть злато и сребро; где есть рабов множество и молва — вся персть, вся пепел, вся сень...» — дрожали горькие слова в старческих дрожащих устах.

Теперь все заметили растущую темноту и обернулись к окнам. Позади клена небо было черно, и широкие листья перестали зеленеть: бледными сделались они, и уже не было в них, испуганных и оцепеневших, ничего дружеского и спокойного. На лица взглянули люди, ища успокоения, и все лица были серо-пепельные, все лица были бледные и чужие. И всю, казалось, темноту, молчаливым и широким потоком вливавшуюся в окна, впитали в себя черный гроб и черный священник — так черен был этот немой гроб, так черен был этот высокий, холодный и строгий человек. Уверенно и спокойно двигался он, и чернота одежд его казалась светом среди ослепленной позолоты, пепельно-серых лиц и высоких окон, сеявших тьму. Но минутами непонятное колебание и нерешительность овладевали им; он замедлял шаги и, вытянув шею, удивленно смотрел на толпу, точно неожиданным чем-то была эта онемевшая толпа в церкви, где привык молиться он один; потом забывал толпу, забывал, что он служит, и рассеянно шел в алтарь. Точно двоилось в нем что-то; точно ждал он слова, приказа или могучего, разрешающего чувства, — а оно не приходило.

— «Плачу и рыдаю, егда помышляю смерть и вижду во гробех лежащую, по образу Божию созданную, нашу красоту безобразну, бесславну, не имущу вида. О чудесе! Что сие, еже о нас бысть таинство; како пре-

дахомся тлению; како сопрягохомся смерти; воистину Бога повелением...»

Среди сгустившейся тьмы свечи горели ярко, как в сумерках, и уже бросали на лица красноватые отсветы, и многие заметили этот быстрый и необыкновенный переход от дня к ночи — когда все еще был полдень. Почувствовал тьму и о. Василий, но не понял ее: ему странно почудилось, что это — раннее зимнее утро, когда один он оставался с Богом и одно великое и мощное чувство окрыляло его, как птицу, как стрелу, безошибочно летящую к цели. И дрогнул он, не видя, как слепой, но прозревая. Замедлили свой бешеный бег тысячи разрозненных, сцепившихся мыслей, тысячи незавершенных чувств, — замедлили, остановились, замерли — мгновение страшной пустоты, стремительного падения, смерти, — и всколыхнулось в груди что-то огромное, неожиданно радостное, неожиданно прелестное. Еще строго и веско отбивало первые удары на миг остановившееся сердце, а он уже знал. Это оно! Оно — могучее, все разрешающее чувство, повелевающее над жизнью и смертью, приказывающее горам: сойдите с места! И сходят с места старые сердитые горы. Радость, радость! Он смотрит на гроб, на церковь, на людей и понимает все, понимает тем чудным проникновением в глубину вещей, какая бывает только во сне и бесследно исчезает с первыми лучами света. Так вот оно что! Вот великая разгадка! О радость, радость, радость!

Закинув голову, подняв руки горе<sup>1</sup>, как Моисей, узревший Бога, он хохочет беззвучно и грозно, короткими спадающими вздохами — видит внизу испуганное лицо дьякона, предстерегающе приподнявшего палец, видит съежившиеся спины людей, которые заметили его хохот и поспешно точат ходы в толпе, как черви, — и стискивает рот с неожиданной и трогательной пугливостью ребенка.

— Не буду! — шепчет он дьякону, а грозный воссторг брызжет огнем изо всех пор его лица. И плачет он, закрывая лицо руками.

---

<sup>1</sup> Г о р е — ввысь, к небу.

— Капелек бы! Капелек бы каких-нибудь, отец Василий! — растерянно шепчет на ухо дьякон и с отчаянием восклицает: — Ах, Господи, вот не вовремя-то! Послушайте, отец Василий!..

Поп отымает слегка от лица сложенные руки и искоса, за их прикрытием, смотрит на дьякона — дьякон вздрагивает, на цыпочках, большими шагами отходит в сторону, налезает животом на решетку и, ощупью найдя дверцу, выходит.

— «Приидите, последнее целование дадим, братие, умершему, благодаря Бога, сей бо оскуде от сродства своего, и ко гробу тщится, не к тому пекийся о суетных и о многострастной плоти. Где ныне сроднице же и друзья; се разлучаемся...»

В толпе движение. Некоторые потаенно уходят, не обмениваясь ни словом с остающимися, и уже свободнее становится в потемневшей церкви. Только около черного гроба безмолвно толкуются люди, крестятся, наклоняются к чему-то страшному, отвратительному и с страдальческими лицами отходят в сторону. Прощается с покойником вдова. Она уже верит, что он мертв, и запах слышит, — но замкнуты для слез ее глаза, и нет голоса в ее гортани. И дети смотрят на нее — три пары молчаливых глаз.

И тут заметили, что дьякон растерянно пробирается сквозь толпу, а о. Василий стоит на амвоне и смотрит. И те, кто увидели его в это мгновение, навсегда запечатлели в памяти своей его необыкновенный образ. Руками он с такою силою держался за решетку, что концы пальцев его побелели, как у мертвого; вытянув шею вперед, всем телом перегнувшись за решетку, он весь одним огромным взглядом устремлялся к тому месту, где стояла вдова и дети. И странно: он точно наслаждался ее безмерною мукой — так весел, так лиующ, так дерзко-радостен был его стремительный взор.

— «Кое разлучение, о братие, кий плач, кое рыдание в настоящем часе; приидите убо, целуйте бывшего в мале с нами, предается бо гробу, каменем покрывается, во тьму вселяется, с мертвыми погреба-

ется и всех сродников и других ныне разлучается. Его же...»

— Да остановись же, безумец! — прозвучал с амвона стонущий голос. — Разве ты не видишь, что здесь нет мертвых!

И тут совершилось то мятежное и великое, чего с таким ужасом, так загадочно ожидали все. О. Василий отбросил звякнувшую дверцу и через толпу, разрезая пестроту ее одежд своим черным торжественным одеянием, направился к черному, молчаливо ждущему гробу. Остановился, поднял повелительно правую руку и торопливо сказал разлагающемуся телу:

— Тебе говорю, встань!

Было смятение, и шум, и вопли, и крики смертельного испуга. В паническом страхе люди бросились к дверям и превратились в стадо: они цеплялись друг за друга, угрожали оскаленными зубами, душили и рычали. И выливались в дверь так медленно, как вода из опрокинутой бутылки. Остались только псаломщик, уронивший книгу, вдова с детьми и Иван Порфирыч. Последний минуту смотрел на попа — и сорвался с места, и врезался в хвост толпы, истогнув новые крики ужаса и гнева.

Со светлой и благостной улыбкой сожаления к их неверию и страху, весь блестая мощью безграничной веры, о. Василий возгласил вторично, с торжественной и царственной простотою:

— Тебе говорю, встань!

Но неподвижен был мертвец, и вечную тайну беспрестанно хранили его сомкнутые уста. И тишина. Ни звука в опустевшей церкви. Но вот звонко стучат по камню разбросанные, испуганные шаги: то уходит вдова и ее дети. За ними рысцой бежит старый псаломщик, на миг оборачивается у дверей, всплескивает руками — и снова тишина.

«Так лучше будет: нехорошо ему, такому, вставать при жене и детях», — быстро, вскользь думает о. Василий и говорит в третий раз, тихо и строго:

— Семен! Тебе говорю, встань!

Он медленно опускает руку и ждет. За окном хрустнул кто-то песком, и звук был так близок, точно в гробу раздался он. Он ждет. Шаги прозвучали ближе, миновали окно и смолкли. И тишина, и долгий, мучительный вздох. Кто вздохнул? Он наклоняется к гробу, в опухшем лице он ищет движения жизни; приказывает глазам: «Да откроитесь же!» — наклоняется ближе, ближе, хватается руками за острые края гроба, почти прикасается к посинелым устам и дышит в них дыханием жизни — и смрадным, холодно-свирипым дыханием смерти отвечает ему потревоженный труп.

Он молча отшатывается — и на мгновение видит и понимает все. Слышит трупный запах; понимает, что народ бежал в страхе, и в церкви только он да мертвец; видит, что за окнами темно, но не догадывается почему и отворачивается. Мелькает воспоминание о чем-то ужасно далеком, о каком-то весеннем смехе, прозвучавшем когда-то и смолкшем. Вспоминается выюга. Колокол и выюга. И неподвижная маска идиота. Их двое, их двое, их двое...

И снова исчезает все. Потухшие глаза разгораются холодным прыгающим огнем, жилистое тело наполняется ощущением силы и железной крепости. И, спрятив глаза под каменною аркой бровей, он говорит спокойно-спокойно, тихо-тихо, как будто разбудить кого-то боится:

— Ты обмануть меня хочешь?

И молчит, потупив глаза, точно ответа ждет. И снова говорит тихо-тихо, с той зловещей выразительностью бури, когда уже вся природа в ее власти, а она медлит и царственно-нежно покачивает в воздухе пушинку:

— Так зачем же я верил? Так зачем же Ты дал мне любовь к людям и жалость — чтобы посмеяться надо мною? Так зачем же всю жизнь мою Ты держал меня в пленау, в рабстве, в оковах? Ни мысли свободной! Ни чувства! Ни вздоха! Все одним Тобою, все для Тебя. Один Ты! Ну, явись же — я жду!

И в позе гордого смирения он ждет ответа — один перед черным, свирепо торжествующим гробом, один перед грозным лицом необъятной и величавой тишины. Один. Неподвижными остриями вонзаются в мглу огни свечей, и где-то далеко напевает, удаляясь, выогра: их двое, их двое... Тишина.

— Не хочешь? — спрашивает он все так же тихо и смиренно и внезапно кричит бешеным криком, выкактывая глаза, давая лицу ту страшную откровенность выражения, какая свойственна умирающим и глубоко спящим. Кричит, заглушая криком грозную тишину и последний ужас умирающей человеческой души:

— Ты должен! Отдай ему жизнь! Бери у других, а ему отдан! Я прошу.

Обращается к молчаливо разлагающемуся телу и приказывает с гневом, с презрением:

— Ты! Проси Его! Проси!

И кричит святотатственно, грозно:

— Ему не нужно рая. Тут его дети. Они будут звать: отец. И он скажет: сними с головы моей венец небесный, ибо там — там сором и грязью покрывают головы моих детей. Он скажет! Он скажет!

Со злобою трясет черный тяжелый гроб и кричит:

— Да говори же ты, проклятое мясо!

Смотрит изумленно, остро — и в немом ужасе откидывается назад, выкинув для защиты напряженные руки. В гробу нет Семена. В гробу нет трупа. Там лежит идиот. Схватившись хищными пальцами за края гроба, слегка приподняв уродливую голову, он искоса смотрит на попа прищуренными глазами — и вокруг вывернутых ноздрей, вокруг огромного сомкнутого рта вьется молчаливый, зарождающийся смех. Молчит и смотрит и медленно высовывается из гроба — несказанно ужасный в непостижимом слиянии вечной жизни и вечной смерти.

— Назад! — кричит о. Василий, и голова его становится огромной от вздыбившихся волос. — Назад!

И снова неподвижный труп. И снова идиот. И так в чудовищной игре безумно двоится гниющая масса и дышит ужасом. И в диком гневе он хрюпит:

— Напугать! Так вот же...

Но слов его не слышно. Внезапно, загораясь ослепительным светом, раздирается до самых ушей неподвижная маска, и хохот, подобный грому, наполняет тихую церковь. Грохочет, разрывает каменные своды, бросает камни и страшным гулом своим обнимает одинокого человека.

О. Василий открывает ослепленные глаза, поднимает голову вверх и видит: падает все. Медленно и тяжело клонятся и сближаются стены, сползают своды, бесшумно рушится высокий купол, колышется и гнетется пол — в самых основах своих разрушается и падает мир.

И тогда с диким ревом он бежит к дверям. Но не находит их и мечется, и бьется о стены, об острые каменные углы — и ревет. С внезапно открывшееся дверью он падает на пол, радостно вскакивает, и — чьито дрожащие цепкие руки обнимают его и держат. Он баражается и визжит, освободив руку, с железною силою бьет по голове пытавшегося удержать его псаломщика и, отбросив ногою тело, выскакивает наружу.

Небо охвачено огнем. В нем клубятся и дико ме-чутся разорванные тучи и всею гигантскою массою своею падают на потрясенную землю — в самых основах своих рушится мир. И оттуда, из огненного клубящегося хаоса, несется огромный громоподобный хохот, и треск, и крики дикого веселья. На западе еще светлеет голубая полоска, и, задыхаясь, он бежит к ней. Ноги его путаются в длинной каланой<sup>1</sup> ризе, он падает, крутится по земле, окровавленный, страшный, и снова бежит. Улица безлюдна, как ночью, ни у домов, ни в окнах ни одного человека, ни одного живого существа: ни зверя, ни птицы.

«Все умерли!» — мелькает последняя мысль. Он выбегает за окопицу на широкую торную дорогу. Над головой его черная клубящаяся туча бросает вперед три длинных отростка, как три хищно загнутых ког-

---

<sup>1</sup> К а л я н ы й — ставший жестким, негибким.

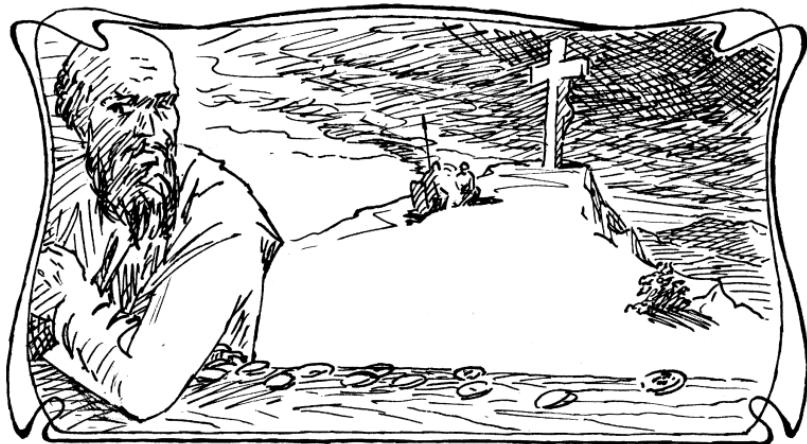
тя; сзади что-то глухо и грозно рокочет — в самых основах своих рушится мир.

Далеко впереди на телеге возвращаются из Знаменского мужик и две бабы. Они видят быстро бегущего черного человека, на секунду останавливаются, но, узнав попа, бьют лошадь и скачут. Телега подпрыгивает на колеях, двумя колесами поднимается на воздух, но трое молчаливых согнувшихся людей, охваченных ужасом, отчаянно настегивают лошадь — и скачут, и скачут.

---

О. Василий упал в трех верстах от села, посередине широкой и торной дороги. Упал он ничком, костлявым лицом в придорожную серую пыль, измолотую колесами, истолченную ногами людей и животных. И в своей позе сохранил он стремительность бега; бледные мертвые руки тянулись вперед, нога подвернулась под тело, другая, в старом стоптанном сапоге с пробитой подошвой, длинная, прямая, жилистая, откинулась назад напряженно и прямо — как будто и мертвый продолжал он бежать.

19 ноября 1903 г.



## ИУДА ИСКАРИОТ

### I

Иисуса Христа много раз предупреждали, что Иуда из Кариота — человек очень дурной славы и его нужно остерегаться. Одни из учеников, бывавшие в Иудее, хорошо знали его сами, другие много слыхали о нем от людей, и не было никого, кто мог бы сказать о нем доброе слово. И если порицали его добрые, говоря, что Иуда корыстолюбив, коварен, наклонен к притворству и лжи, то и дурные, которых расспрашивали об Иуде, поносили его самыми жестокими словами. «Он ссорит нас постоянно, — говорили они, отплевываясь, — он думает что-то свое и в дом влезает тихо, как скорпион, а выходит из него с шумом. И у воров есть друзья, и у грабителей есть товарищи, и у лжецов есть жены, которым говорят они правду, а Иуда смеется над ворами, как и над честными, хотя сам крадет искусно, и видом своим безобразнее всех жителей в Иудее. Нет, не наш он, этот рыжий Иуда из Кариота», — говорили дурные, удивляя этим людей добрых, для которых не было большой разницы

между ним и всеми остальными порочными людьми Иудеи.

Рассказывали далее, что свою жену Иуда бросил давно, и живет она несчастная и голодная, безуспешно стараясь из тех трех камней, что составляют поместье Иуды, выжать хлеб себе на пропитание. Сам же он много лет шатается бессмысленно в народе и доходил даже до одного моря и до другого моря, которое еще дальше; и всюду он лжет, кривляется, зорко высматривает что-то своим воровским глазом; и вдруг уходит внезапно, оставляя по себе неприятности и ссору, — любопытный, лукавый и злой, как одноглазый бес. Детей у него не было, и это еще раз говорило, что Иуда — дурной человек и не хочет Бога потомства от Иуды.

Никто из учеников не заметил, когда впервые оказался около Христа этот рыжий и безобразный иудей; но уж давно неотступно шел он по ихнему пути, вмешивался в разговоры, оказывал маленькие услуги, кланялся, улыбался и заискивал. И то совсем привычен он становился, обманывая утомленное зрение, то вдруг бросался в глаза и в уши, раздражая их, как нечто невиданно-бездобразное, лживое и омерзительное. Тогда суровыми словами отгоняли его, и на короткое время он пропадал где-то у дороги, — а потом снова незаметно появлялся, услужливый, льстивый и хитрый, как одноглазый бес. И не было сомнения для некоторых из учеников, что в желании его приблизиться к Иисусу скрывалось какое-то тайное намерение, был злой и коварный расчет.

Но не послушал их советов Иисус; не коснулся его слуха их прореческий голос. С тем духом светлого противоречия, который неудержимо влек его к отверженным и нелюбимым, он решительно принял Иуду и включил его в круг избранных. Ученики волновались и сдержанно роптали, а он тихо сидел, лицом к заходящему солнцу, и слушал задумчиво, может быть, их, а может быть, и что-нибудь другое. Уж десять дней не было ветра, и все тот же оставался, не двигаясь и не меняясь, прозрачный воздух, внимав-

тельный и чуткий. И казалось, будто бы сохранил он в своей прозрачной глубине все то, что кричалось и пелось в эти дни людьми, животными и птицами, — слезы, плач и веселую песню, молитву и проклятия; и от этих стеклянных, застывших голосов был он такой тяжелый, тревожный, густо насыщенный незримой жизнью. И еще раз заходило солнце. Тяжело пламенеющим шаром скатывалось оно книзу, зажигая небо; и все на земле, что было обращено к нему: смуглое лицо Иисуса, стены домов и листья деревьев, — все покорно отражало тот далекий и страшно задумчивый свет. Белая стена уже не была белою теперь, и не остался белым красный город на красной горе.

И вот пришел Иуда.

Пришел он, низко кланяясь, выгибая спину, осторожно и пугливо вытягивая вперед свою безобразную, бугроватую голову, — как раз такой, каким представляли его знающие. Он был худощав, хорошего роста, почти такого же, как Иисус, который слегка сутулился от привычки думать при ходьбе и от этого казался ниже; и достаточно крепок силою был он, по-видимому, но зачем-то притворялся хилым и болезненным и голос имел переменчивый: то мужественный и сильный, то криклиwyй, как у старой женщины, ругающей мужа, досадно-жидкий и неприятный для слуха; и часто слова Иуды хотелось вытащить из своих ушей, как гнилые шероховатые занозы. Короткие рыжие волосы не скрывали странной и необыкновенной формы его черепа: точно разрубленный с затылка двойным ударом меча и вновь составленный, он явственно делился на четыре части и внушал недоверие, даже тревогу: за таким черепом не может быть тишины и согласия, за таким черепом всегда слышится шум кровавых и беспощадных битв. Двоилось также и лицо Иуды: одна сторона его, с черным, остро высматривающим глазом, была живая, подвижная, охотно собирающаяся в многочисленные кривые морщинки. На другой же не было морщин, и была она мертвенно-гладкая, плоская и застывшая; и хотя по величине она равнялась первой, но казалась огром-

ною от широко открытого слепого глаза. Покрытый белесой мутью, не смыкающийся ни ночью, ни днем, он одинаково встречал и свет и тьму; но оттого ли, что рядом с ним был живой и хитрый товарищ, не верилось в его полную слепоту. Когда в припадке робости или волнения Иуда закрывал свой живой глаз и качал головой, этот качался вместе с движениями головы и молчаливо смотрел. Даже люди, совсем лишенные проницательности, ясно понимали, глядя на Искриота, что такой человек не может принести добра, а Иисус приблизил его и даже рядом с собою — рядом с собою посадил Иуду.

Брезгливо отодвинулся Иоанн, любимый ученик, и все остальные, любя учителя своего, неодобрительно потупились. А Иуда сел — и, двигая головою направо и налево, тоненьким голоском стал жаловаться на болезни, на то, что у него болит грудь по ночам, что, всходя на горы, он задыхается, а стоя у края пропасти, испытывает головокружение и едва удерживается от глупого желания броситься вниз. И многое другое безбожно выдумывал он, как будто не понимая, что болезни приходят к человеку не случайно, а рождаются от несоответствия поступков его с заветами Предвечного. Потирал грудь широкою ладонью и даже кашлял притворно этот Иуда из Кариота при общем молчании и потупленных взорах.

Иоанн, не глядя на учителя, тихо спросил Петра Симонова, своего друга:

— Тебе не наскучила эта ложь? Я не могу дольше выносить ее и уйду отсюда.

Петр взглянул на Иисуса, встретил его взор и быстро встал.

— Подожди! — сказал он другу.

Еще раз взглянул на Иисуса, быстро, как камень, оторванный от горы, двинулся к Иуде Искриоту и громко сказал ему с широкой и ясной приветливостью:

— Вот и ты с нами, Иуда.

Ласково похлопал его рукою по согнутой спине и, не глядя на учителя, но чувствуя на себе взор его, ре-

шительно добавил своим громким голосом, вытеснявшим всякие возражения, как вода вытесняет воздух:

— Это ничего, что у тебя такое скверное лицо: в наши сети попадаются еще и не такие уродины, а при еде-то они и есть самые вкусные. И не нам, рыбарям Господа нашего, выбрасывать улов только потому, что рыба колюча и одноглаза. Я видел однажды в Тире осьминога, пойманного тамошними рыбаками, и так испугался, что хотел бежать. А они посмеялись надо мною, рыбаком из Тивериады, и дали мне поесть его, и я попросил еще, потому что было очень вкусно. Помнишь, учитель, я рассказывал тебе об этом, и ты тоже смеялся. А ты, Иуда, похож на осьминога — только одною половиной.

И громко захохотал, довольный своею шуткой. Когда Петр что-нибудь говорил, слова его звучали так твердо, как будто он прибивал их гвоздями. Когда Петр двигался или что-нибудь делал, он производил далеко слышный шум и вызывал ответ у самых глухих вещей: каменный пол гудел под его ногами, двери дрожали и хлопали, и самый воздух пугливо вздрогивал и шумел. В ущельях гор его голос будил сердитое эхо, а по утрам на озере, когда ловили рыбу, он кругло перекатывался по солнной и блестящей воде и заставлял улыбаться первые робкие солнечные лучи. И вероятно, они любили за это Петра: на всех других лицах еще лежала ночная тень, а его крупная голова, и широкая обнаженная грудь, и свободно закинутые руки уже горели в зареве восхода.

Слова Петра, видимо одобренные учителем, рассеяли тягостное состояние собравшихся. Но некоторых, также бывавших у моря и видевших осьминога, смуттил его чудовищный образ, приуроченный Петром столь легкомысленно к новому ученику. Им вспомнились: огромные глаза, десятки жадных щупальцев, притворное спокойствие, — и раз! — обнял, облизал, раздавил и высосал, ни разу не моргнувши огромными глазами. Что это? Но Иисус молчит, Иисус улыбается и исподлобья с дружеской насмешкой смотрит на Петра, продолжающего горячо рассказывать об

осьминоге, — и один за другим подходили к Иуде смущенные ученики, заговаривали ласково, но отходили быстро и неловко.

И только Иоанн Зеведеев упорно молчал да Фома, видимо, не решался ничего сказать, обдумывая проишшедшее. Он внимательно разглядывал Христа и Иуду, сидевших рядом, и эта странная близость божественной красоты и чудовищного безобразия, человека с кротким взором и осьминога с огромными, неподвижными, тускло-жадными глазами угнетала его ум, как неразрешимая загадка. Он напряженно морщил прямой, гладкий лоб, щурил глаза, думая, что так будет видеть лучше, но добивался только того, что у Иуды как будто и вправду появлялись восемь беспокойно шевелящихся ног. Но это было неверно. Фома понимал это и снова упорно смотрел.

А Иуда понемногу осмеливался: расправил руки, согнутые в локтях, ослабил мышцы, державшие его челюсти в напряжении, и осторожно начал выставлять на свет свою бугроватую голову. Она и раньше была у всех на виду, но Иуде казалось, что она глубоко и непроницаемо скрыта от глаз какой-то невидимой, но густою и хитрою пеленою. И вот теперь, точно вылезая из ямы, он чувствовал на свету свой странный череп, потом глаза — остановился — решительно открыл все свое лицо. Ничего не произошло. Петр ушел куда-то; Иисус сидел задумчиво, опервшись головою на руку, и тихо покачивал загорелой ногою; ученики разговаривали между собой, и только Фома внимательно и серьезно рассматривал его как добросовестный портной, снимающий мерку. Иуда улыбнулся — Фома не ответил на улыбку, но, видимо, принял ее в расчет, как и все остальное, и продолжал разглядывать. Но что-то неприятное тревожило левую сторону Иудина лица, — оглянулся: на него из темного угла холодными и красивыми очами смотрит Иоанн, красивый, чистый, не имеющий ни одного пятна на снежно-белой совести. И, идя, как и все ходят, но чувствуя так, будто он волочится по земле, подобно наказанной собаке, Иуда приблизился к нему и сказал:

— Почему ты молчишь, Иоанн? Твои слова как золотые яблоки в прозрачных серебряных сосудах, подари одно из них Иуде, который так беден.

Иоанн пристально смотрел в неподвижный, широко открытый глаз и молчал. И видел, как отполз Иуда, помедлил нерешительно и скрылся в темной глубине открытой двери.

Так как встала полная луна, то многие пошли гулять. Иисус также пошел гулять, и с невысокой кровли, где устроил свое ложе Иуда, он видел уходивших. В лунном свете каждая белая фигура казалась легкою и неторопливою и не шла, а точно скользила впереди своей черной тени; и вдруг человек пропадал в чем-то черном, и тогда слышался его голос. Когда же люди вновь появлялись под луной, они казались молчащими — как белые стены, как черные тени, как вся прозрачно-мглистая ночь. Уже почти все спали, когда Иуда услыхал тихий голос возвратившегося Христа. И все стихло в доме и вокруг него. Пропел петух; обиженно и громко, как днем, закричал где-то проснувшийся осел и неохотно, с перерывами умолк. А Иуда все не спал и слушал, притаившись. Луна осветила половину его лица и, как в замерзшем озере, отразилась странно в огромном открытом глазу.

Вдруг он что-то вспомнил и поспешно закашлял, потирая ладонью волосатую здоровую грудь: быть может, кто-нибудь еще не спит и слушает, что думает Иуда.

## II

Постепенно к Иуде привыкли и перестали замечать его безобразие. Иисус поручил ему денежный ящик, и вместе с этим на него легли все хозяйственные заботы: он покупал необходимую пищу и одежду, раздавал милостыню, а во время странствований приискивал место для остановки и ночлега. Все это он делал очень искусно, так что в скором времени заслужил расположение некоторых учеников, видевших его старания. Лгал Иуда постоянно, но и к этому привыкли,

так как не видели за ложью дурных поступков, а разговору Иуды и его рассказам она придавала особенный интерес и делала жизнь похожею на смешную, а иногда и страшную сказку.

По рассказам Иуды выходило так, будто он знает всех людей, и каждый человек, которого он знает, совершил в своей жизни какой-нибудь дурной поступок или даже преступление. Хорошими же людьми, по его мнению, называются те, которые умеют скрывать свои дела и мысли; но если такого человека обнять, приласкать и выспросить хорошенько, то из него постечет, как гной из проколотой раны, всякая неправда, мерзость и ложь. Он охотно сознавался, что иногда лжет и сам, но уверял с клятвою, что другие лгут еще больше, и если есть в мире кто-нибудь обманутый, так это он, Иуда. Случалось, что некоторые люди по многу раз обманывали его и так и этак. Так, некий хранитель сокровищ у богатого вельможи сознался ему однажды, что уж десять лет непрестанно хочет украсть вверенное ему имущество, но не может, так как боится вельможи и своей совести. И Иуда поверил ему, — а он вдруг украл и обманул Иуду. Но и тут Иуда ему поверил, — а он вдруг вернул украденное вельможе и опять обманул Иуду. И все обманывают его, даже животные: когда он ласкает собаку, онакусает его за пальцы, а когда он бьет ее палкой — она лижет ему ноги и смотрит в глаза, как дочь. Он убил эту собаку, глубоко зарыл ее и даже заложил большим камнем, но кто знает? Может быть, оттого, что он ее убил, она стала еще более живою и теперь не лежит в яме, а весело бегает с другими собаками.

Все весело смеялись на рассказ Иуды, и сам он приятно улыбался, щуря свой живой и насмешливый глаз, и тут же, с тою же улыбкой сознавался, что немного солгал: собаки этой он не убивал. Но он найдет ее непременно и непременно убьет, потому что не желает быть обманутым. И от этих слов Иуды смеялись еще больше.

Но иногда в своих рассказах он переходил границы вероятного и правдоподобного и приписывал лю-

дям такие наклонности, каких не имеет даже животное, обвинял в таких преступлениях, каких не было и никогда не бывает. И так как он называл при этом имена самых почтенных людей, то некоторые возмущались клеветою, другие же шутливо спрашивали:

— Ну а твои отец и мать, Иуда, не были ли они хорошие люди?

Иуда прищуривал глаз, улыбался и разводил руками. И вместе с покачиванием головы качался его застывший, широко открытый глаз и молчаливо смотрел.

— А кто был мой отец? Может быть, тот человек, который бил меня розгой, а может быть, и дьявол, и козел, и петух. Разве может Иуда знать всех, с кем делила ложе его мать? У Иуды много отцов; про которого вы говорите?

Но тут возмущались все, так как сильно почитали родителей, и Матфей, весьма начитанный в Писании, строго говорил словами Соломона:

— Кто злословит отца своего и мать свою, того светильник погаснет среди глубокой тьмы.

Иоанн же Зеведеев надменно бросал:

— Ну а мы? Что о нас дурного скажешь ты, Иуда из Кариота?

Но тот с притворным испугом замахал руками, сгорбился и заныл, как нищий, тщетно выпрашивающий подаяния у прохожего:

— Ах, искушают бедного Иуду! Смеются над Иудой, обмануть хотят бедного, доверчивого Иуду!

И пока в шутовских гримасах корчилась одна сторона его лица, другая качалась серьезно и строго, и широко смотрел никогда не смыкающийся глаз. Больше всех и громче всех хохотал над шутками Искариота Петр Симонов. Но однажды случилось так, что он вдруг нахмурился, сделался молчалив и печален и спешно отвел Иуду в сторону, таща его за рукав.

— А Иисус? Что ты думаешь об Иисусе? — наклонившись, спросил он громким шепотом. — Только не шпути, прошу тебя.

Иуда злобно взглянул на него:

— А ты что думаешь?

Петр испуганно и радостно прошептал:

— Я думаю, что он — Сын Бога живого.

— Зачем же ты спрашиваешь? Что может тебе сказать Иуда, у которого отец козел!

— Но ты его любишь? Ты как будто никого не любишь, Иуда.

С той же странной злобою Искариот бросил отрывисто и резко:

— Люблю.

После этого разговора Петр дня два громко называл Иуду своим другом-осьминогом, а тот неповоротливо и все так же злобно старался ускользнуть от него куда-нибудь в темный угол и там сидел угрюмо, светлея своим белым несмыкающимся глазом.

Вполне серьезно слушал Иуду один только Фома: он не понимал шуток, притворства и лжи, игры словами и мыслями и во всем доискивался основательного и положительного. И все рассказы Искариота о дурных людях и поступках он часто перебивал короткими деловыми замечаниями:

— Это нужно доказать. Ты сам это слышал? А кто еще был при этом кроме тебя? Как его зовут?

Иуда раздражался и визгливо кричал, что он все это сам видел и сам слышал, но упрямый Фома продолжал допрашивать неотвязчиво и спокойно, пока Иуда не сознавался, что солгал, или не сочинял новой правдоподобной лжи, над которой тот надолго задумывался. И, найдя ошибку, немедленно приходил и равнодушно уличал лжеца. Вообще Иуда возбуждал в нем сильное любопытство, и это создало между ними что-то вроде дружбы, полной крика, смеха и ругательств, с одной стороны, и спокойных, настойчивых вопросов — с другой. Временами Иуда чувствовал нестерпимое отвращение к своемуциальному другу и, пронизывая его острым взглядом, говорил раздраженно, почти с мольбою:

— Но чего ты хочешь? Я все сказал тебе, все.

— Я хочу, чтобы ты доказал, как может быть козел твоим отцом? — с равнодушной настойчивостью допрашивал Фома и ждал ответа.

Случилось, что после одного из таких вопросов Иуда вдруг замолчал и удивленно с ног до головы ощупал его глазом: увидел длинный, прямой стан, серое лицо, прямые прозрачно-светлые глаза, две толстые складки, идущие от носа и пропадающие в жесткой, ровно подстриженной бороде, и убедительно сказал:

— Какой ты глупый, Фома! Ты что видишь во сне: дерево, стену, осла?

И Фома как-то странно смущился и ничего не возразил. А ночью, когда Иуда уже заволакивал для сна свой живой и беспокойный глаз, он вдруг громко сказал с своего ложа — они оба спали теперь вместе на кровле:

— Ты не прав, Иуда. Я вижу очень дурные сны. Как ты думаешь: за свои сны также должен отвечать человек?

— А разве сны видит кто-нибудь другой, а не он сам?

Фома тихо вздохнул и задумался. А Иуда презрительно улыбнулся, плотно закрыл свой воровской глаз и спокойно отдался своим мятежным снам, чудовищным грезам, безумным видениям, на части раздиравшим его бугроватый череп.

Когда, во время странствований Иисуса по Иудее, путники приближались к какому-нибудь селению, Искариот рассказывал дурное о жителях его и предвещал беду. Но почти всегда случалось так, что люди, о которых говорил он дурно, с радостью встречали Христа и его друзей, окружали их вниманием и любовью и становились верующими, а денежный ящик Иуды делался так полон, что трудно было его нести. И тогда над его ошибкой смеялись, а он покорно разводил руками и говорил:

— Так! Так! Иуда думал, что они плохие, а они хорошие: и поверили быстро, и дали денег. Опять, значит, обманули Иуду, бедного, доверчивого Иуду из Кариота!

Но как-то раз, уже далеко отойдя от селения, встретившего их радушно, Фома и Иуда горячо заспорили и, чтобы решить спор, вернулись обратно. Толь-

ко на другой день догнали они Иисуса с учениками, и Фома имел вид смущенный и грустный, а Иуда глядел так гордо, как будто ожидал, что вот сейчас все начнут его поздравлять и благодарить. Подойдя к учителю, Фома решительно заявил:

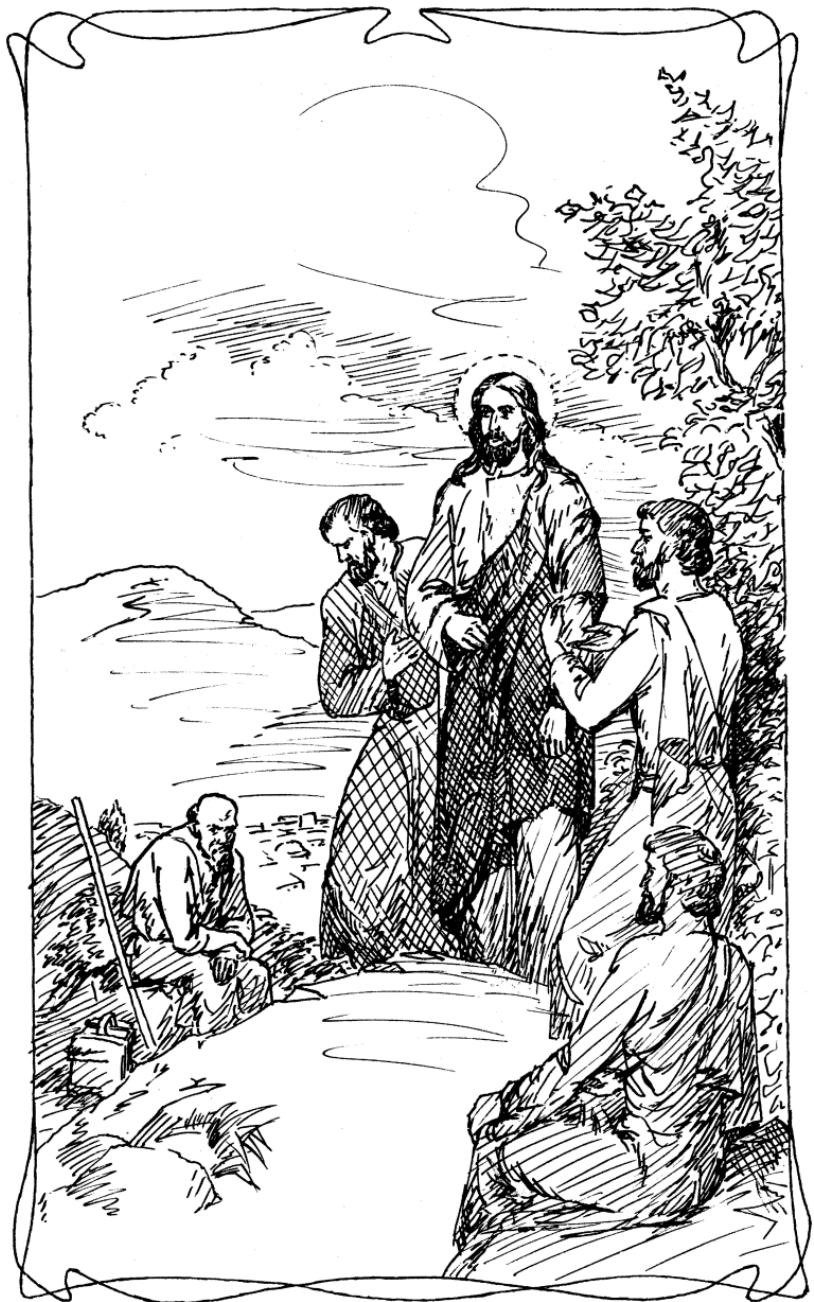
— Иуда прав, Господи. Это были злые и глупые люди, и на камень упало семя твоих слов.

И рассказал, что произошло в селении. Уж после ухода из него Иисуса и его учеников одна старая женщина начала кричать, что у нее украли молоденского беленского козленка, и обвинила в покраже ушедших. Вначале с нею спорили, а когда она упрямо доказывала, что больше некому было украсть, как Иисусу, то многие поверили и даже хотели пуститься в погоню. И хотя вскоре нашли козленка запутавшись в кустах, но все-таки решили, что Иисус обманщик и, может быть, даже вор.

— Так вот как! — вскричал Петр, раздувая ноздри. — Господи, хочешь, я вернусь к этим глупцам, и...

Но молчавший все время Иисус сурово взглянул на него, и Петр замолчал и скрылся сзади, за спинами других. И уже никто больше не заговаривал о происшедшем, как будто ничего не случилось совсем и как будто не прав оказался Иуда. Напрасно со всех сторон показывал он себя, стараясь сделать скромным свое раздвоенное, хищное, с крючковатым носом лицо, — на него не глядели, а если кто и взглядывал, то очень недружелюбно, даже с презрением как будто.

И с этого же дня как-то странно изменилось к нему отношение Иисуса. И прежде почему-то было так, что Иуда никогда не говорил прямо с Иисусом и тот никогда прямо не обращался к нему, но зато часто взглядывал на него ласковыми глазами, улыбался на некоторые его шутки, и если долго не видел, то спрашивал: а где же Иуда? А теперь глядел на него, точно не видя, хотя по-прежнему, — и даже упорнее, чем прежде, — искал его глазами всякий раз, как начинал говорить к ученикам или к народу, но или садился к нему спиной и через голову бросал слова свои на Иуду, или делал вид, что совсем его не замечает.



И что бы он ни говорил, хотя бы сегодня одно, а завтра совсем другое, хотя бы даже то самое, что думает и Иуда, — казалось, однако, что он всегда говорит против Иуды. И для всех он был нежным и прекрасным цветком, благоухающей розою ливанскою, а для Иуды оставлял одни только острые шипы — как будто нет сердца у Иуды, как будто глаз и носа нет у него и не лучше, чем все, понимает он красоту нежных и беспорочных лепестков.

— Фома! Ты любишь желтую ливанскую розу, у которой смуглые лицо и глаза, как у серны? — спросил он своего друга однажды, и тот равнодушно ответил:

— Розу? Да, мне приятен ее запах. Но я не слыхал, чтобы у роз были смуглые лица и глаза, как у серны.

— Как? Ты не знаешь и того, что у многорукого кактуса, который вчера разорвал твою новую одежду, один только красный цветок и один только глаз?

Но и этого не знал Фома, хотя вчера кактус действительно вцепился в его одежду и разорвал ее на жалкие клочки. Он ничего не знал, этот Фома, хотя обо всем расспрашивал, и смотрел так прямо своими прозрачными и ясными глазами, сквозь которые, как сквозь финикийское стекло, было видно стену позади него и привязанного к ней понурого осла.

Произошел некоторое время спустя и еще один случай, в котором опять-таки правым оказался Иуда. В одном иудейском селении, которое он настолько не хвалил, что даже советовал обойти его стороною, Христа приняли очень враждебно, а после проповеди его и обличения лицемеров пришли в ярость и хотели побить камнями его и учеников. Врагов было много, и, несомненно, им удалось бы осуществить свое пагубное намерение, если бы не Иуда из Кариота. Охваченный безумным страхом за Иисуса, точно видя уже капли крови на его белой рубашке, Иуда яростно и слепо бросался на толпу, грозил, кричал, умолял и лгал и тем дал время и возможность уйти Иисусу и ученикам. Разительно проворный, как будто он бегал на десятке ног, смешной и страшный в своей ярости

и мольбах, он бешено метался перед толпою и очаровывал ее какой-то странной силой. Он кричал, что вовсе не одержим бесом Назарей, что он просто обманщик, вор, любящий деньги, как и все его ученики, как и сам Иуда, потрясал денежным ящиком, кривлялся и молил, припадая к земле. И постепенно гнев толпы перешел в смех и отвращение, и опустились поднятые с каменьями руки.

— Недостойны эти люди, чтобы умереть от руки честного, — говорили одни, в то время как другие задумчиво провожали глазами быстро удалявшегося Иуду.

И снова ожидал Иуда поздравлений, похвал и благодарности, и выставлял на вид свою изодранную одежду, и лгал, что били его, — но и на этот раз был он не понятно обманут. Разгневанный Иисус шел большими шагами и молчал, и даже Иоанн с Петром не осмеливались приблизиться к нему; и все, кому попадался на глаза Иуда в изодранной одежде, с своим счастливо-возбужденным, но все еще немного испуганным лицом, отгоняли его от себя короткими и гневными восклицаниями. Как будто не он спас их всех, как будто не он спас их учителя, которого они так любят.

— Ты хочешь видеть глупцов? — сказал он Фоме, задумчиво шедшему сзади. — Посмотри: вот идут они по дороге, кучкой, как стадо баранов, и подымают пыль. А ты, умный Фома, плетешься сзади, а я, благородный, прекрасный Иуда, плетусь сзади, как грязный раб, которому не место рядом с господином.

— Почему ты называешь себя прекрасным? — удивился Фома.

— Потому что я красив, — убежденно ответил Иуда и рассказал, многое прибавляя, как он обманул врагов Иисуса и посмеялся над ними и их глупыми каменьями.

— Но ты солгал! — сказал Фома.

— Ну да, солгал, — согласился спокойно Искариот. — Я им дал то, что они просили, а они вернули то, что мне нужно. И что такое ложь, мой умный Фома? Разве не большею ложью была бы смерть Иисуса?

— Ты поступил нехорошо. Теперь я верю, что отец твой — дьявол. Это он научил тебя, Иуда.

Лицо Искриота побелело и вдруг как-то быстро надвинулось на Фому — словно белое облако нашло и закрыло дорогу и Иисуса. Мягким движением Иуда так же быстро прижал его к себе, прижал сильно, парализуя движения, и зашептал в ухо:

— Значит, дьявол научил меня? Так, так, Фома. А я спас Иисуса? Значит, дьявол любит Иисуса, значит, дьяволу нужен Иисус и правда? Так, так, Фома. Но ведь мой отец не дьявол, а козел. Может, и козлу нужен Иисус? Хе? А вам он не нужен, нет? И правда не нужна?

Рассерженный и слегка испуганный Фома с трудом вырвался из липких объятий Иуды и быстро зашагал вперед, но вскоре замедлил шаги, стараясь понять происшедшее.

А Иуда тихонько плелся сзади и понемногу отставал. Вот в отдалении смешались в пеструю кучку идущие, и уж нельзя было рассмотреть, которая из этих маленьких фигурок Иисус. Вот и маленький Фома превратился в серую точку — и внезапно все пропали за поворотом. Оглянувшись, Иуда сошел с дороги и огромными скачками спустился в глубину каменистого оврага. От быстрого и порывистого бега платье его раздувалось и руки взмывали вверх, как для полета. Вот на обрыве он поскользнулся и быстро серым комком скатился вниз, обдираясь о камни, вскочил и гневно погрозил горе кулаком:

— Ты еще, проклятая!..

И, внезапно сменив быстроту движений угрюмой и сосредоточенной медленностью, выбрал место у большого камня и сел неторопливо. Повернулся, точно ища удобного положения, приложил руки, ладонь с ладонью, к серому камню и тяжело прислонился к нему головою. И так час и два сидел он, не шевелясь и обманывая птиц, неподвижный и серый, как сам серый камень. И впереди него, и сзади, и со всех сторон поднимались стены оврага, острой линией обрезая края синего неба; и всюду, впиваясь в землю, выселились ог-

ромные серые камни — словно прошел здесь когда-то каменный дождь и в бесконечной думе застыли его тяжелые капли. И на опрокинутый, обрубленный череп похож был этот дико-пустынный овраг, и каждый камень в нем был как застывшая мысль, и их было много, и все они думали — тяжело, безгранично, упорно.

Вот дружелюбно проковылял возле Иуды на своих шатких ногах обманутый скорпион. Иуда взглянул на него, не отнимая от камня головы, и снова неподвижно остановились на чем-то его глаза, оба неподвижные, оба покрытые белесою странною мутью, оба точно слепые и страшно зрячие. Вот из земли, из камней, из расселин стала подниматься спокойная ночная тьма, окутала неподвижного Иуду и быстро поползла вверх — к светлому побледневшему небу. Наступила ночь с своими мыслями и снами.

В эту ночь Иуда не вернулся на ночлег, и ученики, оторванные от дум своих хлопотами о пище и питье, роптали на его нерадивость.

### III

Однажды, около полудня, Иисус и ученики его проходили по каменистой и горной дороге, лишенной тени, и так как уже более пяти часов находились в пути, то начал Иисус жаловаться на усталость. Ученики остановились, и Петр с другом своим Иоанном разостлали на земле плащи свои и других учеников, сверху же укрепили их между двумя высокими камнями и таким образом сделали для Иисуса как бы шатер. И он возлег в шатре, отдыхая от солнечного зноя, они же развлекали его веселыми речами и шутками. Но, видя, что и речи утомляют его, сами же будучи мало чувствительны к усталости и жару, удалились на некоторое расстояние и предались различным занятиям. Кто по склону горы между камнями разыскивал съедобные корни и, найдя, приносил Иисусу; кто, взираясь все выше и выше, искал задумчиво границ голубеющей дали и, не находя, поднимался на новые островерхие камни. Иоанн нашел между камнями краси-

вую голубенькую ящерицу и в нежных ладонях, тихо смеясь, принес ее Иисусу; и ящерица смотрела своими выпуклыми загадочными глазами в его глаза, а потом быстро скользнула холодным тельцем по его теплой руке и быстро унесла куда-то свой нежный вздрагивающий хвостик.

Петр же, не любивший тихих удовольствий, а с ним Филипп занялись тем, что отрывали от горы большие камни и пускали их вниз, состязаясь в силе. И, привлеченные их громким смехом, понемногу собирались вокруг них остальные и приняли участие в игре. Напрягаясь, они отдирали от земли старый, обросший камень, поднимали его высоко обеими руками и пускали по склону. Тяжелый, он ударялся коротко и тупо и на мгновение задумывался; потом нерешительно делал первый скачок — и с каждым прикосновением к земле, боясь от нее быстроту и крепость, становился легкий, свирепый, всесокрушающий. Уже не прыгал, а летел он с оскаленными зубами, и воздух, свистя, пропускал его тупую, круглую тушу. Вот край, — плавным последним движением камень взмывал кверху и спокойно, в тяжелой задумчивости, окружно летел вниз, на дно невидимой пропасти.

— Ну-ка, еще один! — кричал Петр.

Белые зубы его сверкали среди черной бороды и усов, мощная грудь и руки обнажились, и старые сердитые камни, тупо удивляясь поднимающей их силе, один за другим покорно уносились в бездну. Даже хрупкий Иоанн бросал небольшие камешки, и, тихо улыбаясь, смотрел на их забаву Иисус.

— Что же ты, Иуда? Отчего ты не примешь участия в игре — это, по-видимому, так весело? — спросил Фома, найдя своего странного друга в неподвижности, за большим серым камнем.

— У меня грудь болит, и меня не звали.

— А разве нужно звать? Ну, так вот я тебя зову, иди. Посмотри, какие камни бросает Петр.

Иуда как-то боком взглянул на него, и тут Фома впервые смутно почувствовал, что у Иуды из Кариота — два лица. Но не успел он этого понять, как Иуда

сказал своим обычным тоном, льстивым и в то же время насмешливым:

— Разве есть кто-нибудь сильнее Петра? Когда он кричит, все ослы в Иерусалиме думают, что пришел их Мессия, и тоже поднимают крик. Ты слышал когда-нибудь их крик, Фома?

И, приветливо улыбаясь и стыдливо запахивая одежду грудь, поросшую курчавыми рыжими волосами, Иуда вступил в круг играющих. И так как всем было очень весело, то встретили его с радостью и громкими шутками, и даже Иоанн снисходительно улыбнулся, когда Иуда, кряхтя и притворно охая, взялся за огромный камень. Но вот он легко поднял его и бросил, и слепой, широко открытый глаз его, покачнувшись, неподвижно уставился на Петра, а другой, лукавый и веселый, налился тихим смехом.

— Нет, ты еще брось! — сказал Петр обиженно.

И вот один за другим поднимали они и бросали гигантские камни, и, удивляясь, смотрели на них ученики. Петр бросал большой камень — Иуда еще больше. Петр, хмурый и сосредоточенный, гневно ворочал обломок скалы, шатаясь, поднимал его и ронял вниз, — Иуда, продолжая улыбаться, отыскивал глазом еще больший обломок, ласково впивался в него длинными пальцами, облизывал его, качался вместе с ним и, бледнея, посыпал его в пропасть. Бросив свой камень, Петр откидывался назад и так следил за его падением, — Иуда же наклонялся вперед, выгибался и простирая длинные шевелящиеся руки, точно сам хотел улететь за камнем. Наконец оба они, сперва Петр, потом Иуда, схватились за старый, седой камень — и не могли его поднять, ни тот, ни другой. Весь красный, Петр решительно подошел к Иисусу и громко сказал:

— Господи! Я не хочу, чтобы Иуда был сильнее меня. Помоги мне поднять тот камень и бросить.

И тихо ответил ему что-то Иисус. Петр недовольно пожал широкими плечами, но ничего не осмелился возразить и вернулся назад со словами:

— Он сказал: а кто поможет Искриоту?

Но вот взглянул он на Иуду, который, задыхаясь и крепко стиснув зубы, продолжал еще обнимать упорный камень, и весело засмеялся:

— Вот так больной! Посмотрите, что делает наш больной, бедный Иуда!

И засмеялся сам Иуда, так неожиданно уличенный в своей лжи, и засмеялись все остальные, даже Фома слегка раздвинул улыбкой свои прямые, нависшие на губы, серые усы. И так, дружелюбно болтая и смеясь, все двинулись в путь, и Петр, совершенно примирившийся с победителем, время от времени подталкивал его кулаком в бок и громко хохотал:

— Вот так больной!

Все хвалили Иуду, все признавали, что он победитель, все дружелюбно болтали с ним, но Иисус, — но Иисус и на этот раз не захотел похвалить Иуду. Молча шел он впереди, покусывая сорванную травинку; и понемногу один за другим переставали смеяться ученики и переходили к Иисусу. И в скором времени опять вышло так, что все они тесною кучкою шли впереди, а Иуда — Иуда-победитель — Иуда сильный — один плелся сзади, глотая пыль.

Вот они остановились, и Иисус положил руку на плечо Петра, другой рукою указывая вдаль, где уже показался в дымке Иерусалим. И широкая, могучая спина Петра бережно приняла эту тонкую загорелую руку.

На ночлег они остановились в Вифании, в доме Лазаря. И когда все собрались для беседы, Иуда подумал, что теперь вспомнят о его победе над Петром, и сел поближе. Но ученики были молчаливы и необычно задумчивы. Образы пройденного пути: и солнце, и камень, и трава, и Христос, возлежащий в шатре, тихо плыли в голове, навевая мягкую задумчивость, рождая смутные, но сладкие грэзы о каком-то вечном движении под солнцем. Сладко отдыхало утомленное тело, и все оно думало о чем-то загадочно-прекрасном и большом, — и никто не вспомнил об Иуде.

Иуда вышел. Потом вернулся. Иисус говорил, и в молчании слушали его речь ученики. Неподвижно,

как изваяние, сидела у ног его Мария и, закинув голову, смотрела в его лицо. Иоанн, придвигнувшись близко, старался сделать так, чтобы рука его коснулась одежды учителя, но не обеспокоила его. Коснулся — и замер. И громко и сильно дышал Петр, вторя дыханием своим речи Иисуса.

Искриот остановился у порога и, презрительно миновав взглядом собравшихся, весь огонь его сосредоточил на Иисусе. И по мере того как смотрел, гасло все вокруг него, одевалось тьмою и безмолвием, и только светлел Иисус с своею поднятой рукою. Но вот и он словно поднялся в воздух, словно растаял и сделался такой, как будто весь он состоял из надозерного тумана, пронизанного светом заходящей луны; и мягкая речь его звучала где-то далеко-далеко и нежно. И, взглядаваясь в колеблющийся призрак, вслушиваясь в нежную мелодию далеких и призрачных слов, Иуда забрал в железные пальцы всю душу и в необъятном мраке ее молча начал строить что-то огромное. Медленно, в глубокой тьме, он поднимал какие-то громады, подобные горам, и плавно накладывал одна на другую; и снова поднимал, и снова накладывал; и что-то росло во мраке, ширилось беззвучно, раздвигало границы. Вот куполом почувствовал он голову свою, и в непроглядном мраке его продолжало расти огромное, и кто-то молча работал: поднимал громады, подобные горам, накладывал одну на другую и снова поднимал... И нежно звучали где-то далекие и призрачные слова.

Так стоял он, загораживая дверь, огромный и черный, и говорил Иисус, и громко вторило его словам прерывистое и сильное дыхание Петра. Но вдруг Иисус смолк — резким незаконченным звуком, и Петр, точно проснувшись, восторженно воскликнул:

— Господи! Тебе ведомы глаголы вечной жизни!

Но Иисус молчал и пристально глядел куда-то. И когда последовали за его взором, то увидели у дверей окаменевшего Иуду с раскрытым ртом и остановившимися глазами. И, не поняв, в чем дело, засмеялись. Матфей же, начитанный в Писании, притронулся к плечу Иуды и сказал словами Соломона:

— «Смотрящий кротко — помилован будет, а встречающийся в воротах — стеснит других».

Иуда вздрогнул и даже вскрикнул слегка от испуга; и все у него — глаза, руки и ноги — точно побежало в разные стороны, как у животного, которое внезапно увидело над собою глаза человека. Прямо к Иуде шел Иисус и слово какое-то нес на устах своих — и прошел мимо Иуды в открытую и теперь свободную дверь.

Уже в середине ночи обеспокоенный Фома подошел к ложу Иуды, присел на корточки и спросил:

— Ты плачешь, Иуда?

— Нет. Отойди, Фома.

— Отчего же ты стонешь и скрипишь зубами? Ты нездоров?

Иуда помолчал, и из уст его, одно за другим, стали падать тяжелые слова, налитые тоскою и гневом:

— Почему он не любит меня? Почему он любит тех? Разве я не красивее, не лучше, не сильнее их? Разве не я спас ему жизнь, пока те бежали, согнувшись, как трусливые собаки?

— Мой бедный друг, ты не совсем прав. Ты вовсе не красив, и язык твой так же неприятен, как и твое лицо. Ты лжешь и злословишь постоянно, как же ты хочешь, чтобы тебя любил Иисус?

Но Иуда точно не слышал его и продолжал, тяжело шевелясь в темноте:

— Почему он не с Иудой, а с теми, кто его не любит? Иоанн принес ему ящерицу — я принес бы ему ядовитую змею. Петр бросал камни — я гору бы повернул для него! Но что такое ядовитая змея? Вот вырван у нее зуб, и ожерельем ложится она вокруг шеи. Но что такое гора, которую можно срыть руками и ногами потоптать? Я дал бы ему Иуду, смелого, прекрасного Иуду! А теперь он погибнет, и вместе с ним погибнет и Иуда.

— Ты что-то странное говоришь, Иуда!

— Сухая смоковница, которую нужно порубить секирою, — ведь это я, это обо мне он сказал. Почему

же он не рубит? Он не смеет, Фома. Я его знаю: он боится Иуды! Он прячется от смелого, сильного, прекрасного Иуды! Он любит глупых, предателей, лжецов. Ты лжец, Фома, ты слыхал об этом?

Фома очень удивился и хотел возражать, но подумал, что Иуда просто бранится, и только покачал в темноте головою. И еще сильнее затосковал Иуда: он стонал, скрежетал зубами, и слышно было, как беспокойно движется под покрывалом все его большое тело.

— Что так болит у Иуды? Кто приложил огонь к его телу? Он сына своего отдает собакам! Он дочь свою отдает разбойникам на поругание, невесту свою — на непотребство. Но разве не нежное сердце у Иуды? Уйди, Фома, уйди, глупый. Пусть один останется сильный, смелый, прекрасный Иуда!

#### IV

Иуда утаил несколько динариев<sup>1</sup>, и это открылось благодаря Фоме, который видел случайно, сколько было дано денег. Можно было предположить, что это уже не в первый раз Иуда совершает кражу, и все пришли в негодование. Разгневанный Петр схватил Иуду за ворот его платья и почти волоком притащил к Иисусу, и испуганный, побледневший Иуда не соопротивлялся.

— Учитель, смотри! Вот он — шутник! Вот он — вор! Ты ему поверил, а он крадет наши деньги. Вор! Негодяй! Если ты позволишь, я сам...

Но Иисус молчал. И, внимательно взглянув на него, Петр быстро покраснел и разжал руку, державшую ворот. Иуда стыдливо оправился, искоса поглядел на Петра и принял покорно-угнетенный вид раскаявшегося преступника.

— Так вот как! — сердито сказал Петр и громко хлопнул дверью, уходя.

И все были недовольны и говорили, что ни за что не останутся теперь с Иудою, но Иоанн что-то быстро

---

<sup>1</sup> Дина́рий — римская серебряная монета.

сообразил и проскользнул в дверь, за которой слышался тихий и как будто даже ласковый голос Иисуса. И когда по прошествии времени вышел оттуда, то был бледный, и потупленные глаза его краснели как бы от недавних слез.

— Учитель сказал... Учитель сказал, что Иуда может брать денег, сколько он хочет.

Петр сердито засмеялся. Быстро, с укором взглянул на него Иоанн и, внезапно загоревшись весь, смешивая слезы с гневом, восторг со слезами, звонко воскликнул:

— И никто не должен считать, сколько денег получил Иуда! Он наш брат, и все деньги его, как и наши, и если ему нужно много, пусть берет много, никому не говоря и ни с кем не советуясь. Иуда наш брат, и вы тяжко обидели его — так сказал учитель... Стыдно нам, братья!

В дверях стоял бледный, криво улыбавшийся Иуда, и легким движением Иоанн приблизился и трижды поцеловал его. За ним, оглядываясь друг на друга, смущенно подошли Иаков, Филипп и другие, — после каждого поцелуя Иуда вытирал рот, но чмокал громко, как будто этот звук доставлял ему удовольствие. Последним подошел Петр.

— Все мы тут глупые, все слепые, Иуда. Один он видит, один он умный. Мне можно поцеловать тебя?

— Отчего же? Целуй! — согласился Иуда.

Петр крепко поцеловал его и на ухо громко сказал:

— А я тебя чуть не удушил! Они хоть так, а я прямо за горло! Тебе не больно было?

— Немножко.

— Пойду к нему и все расскажу. Ведь я и на него рассердился, — мрачно сказал Петр, стараясь тихонько, без шума, отворить дверь.

— А что же ты, Фома? — строго спросил Иоанн, наблюдавший за действиями и словами учеников.

— Я еще не знаю. Мне нужно подумать.

И долго думал Фома, почти весь день. Разошлись по делам своим ученики, и уже где-то за стеново громко и весело кричал Петр, а он все соображал. Он сде-

лал бы это быстрее, но ему несколько мешал Иуда, неотступно следивший за ним насмешливым взглядом и изредка серьезно спрашивавший:

— Ну как, Фома? Как идет дело?

Потом Иуда притащил свой денежный ящик и громко, звеня монетами и притворно не глядя на Фому, стал считать деньги.

— Двадцать один, двадцать два, двадцать три... Смотри, Фома, опять фальшивая монета. Ах какие все люди мошенники, они даже жертвуют фальшивые деньги... Двадцать четыре... А потом опять скажут, что украл Иуда... Двадцать пять, двадцать шесть...

Фома решительно подошел к нему — уже к вечеру это было — и сказал:

— Он прав, Иуда. Дай я поцелую тебя.

— Вот как? Двадцать девять, тридцать. Напрасно. Я опять буду красть. Тридцать один...

— Как же можно красть, когда нет ни своего, ни чужого. Ты просто будешь брать, сколько тебе нужно, брат.

— И это столько времени тебе понадобилось, чтобы повторить только его слова? Не дорожишь же ты временем, умный Фома.

— Ты, кажется, смеешься надо мною, брат?

— И подумай, хорошо ли ты поступаешь, добродетельный Фома, повторяя слова его? Ведь это он сказал «свое», а не ты. Это он поцеловал меня — вы же только осквернили мне рот. Я и до сих пор чувствую, как ползают по мне ваши мокрые губы. Это так отвратительно, добрый Фома. Тридцать восемь, тридцать девять, сорок. Сорок динариев, Фома, не хочешь ли проверить?

— Ведь он наш учитель. Как же нам не повторять слов учителя?

— Разве отвалился ворот у Иуды? Разве он теперь голый и его не за что схватить? Вот уйдет учитель из дома, и опять украдет нечаянно Иуда три динария, и разве не за тот же ворот вы схватите его?

— Мы теперь знаем, Иуда. Мы поняли.

— А разве не у всех учеников плохая память? И разве не всех учителей обманывали их ученики? Вот поднял учитель розгу — ученики кричат: мы знаем, учитель! А ушел учитель спать, и говорят ученики: не этому ли учил нас учитель? И тут. Сегодня утром ты назвал меня: вор. Сегодня вечером ты зовешь меня: брат. А как ты назовешь меня завтра?

Иуда засмеялся и, легко поднимая рукою тяжелый, звенящий ящик, продолжал:

— Когда дует сильный ветер, он поднимает сор. И глупые люди смотрят на сор и говорят: вот ветер! А это только сор, мой добрый Фома, ослиный помет, растоптанный ногами. Вот встретил он стену и тихо лег у подножия ее, а ветер летит дальше, ветер летит дальше, мой добрый Фома!

Иуда предупредительно показал рукой через стену и снова засмеялся.

— Я рад, что тебе весело, — сказал Фома. — Но очень жаль, что в твоей веселости так много зла.

— Как же не быть веселым человеку, которого столько целовали и который так полезен? Если бы я не украл трех динариев, разве узнал бы Иоанн, что такое восторг? И разве не приятно быть крюком, на который вывешивает для просушки: Иоанн — свою отсыревшую добродетель, Фома — свой ум, поеденный молью?

— Мне кажется, что лучше мне уйти.

— Но ведь я же шучу. Я шучу, мой добрый Фома, — я только хотел знать, действительно ли ты желаешь поцеловать старого, противного Иуду, вора, который украл три динария и отдал их блуднице.

— Блуднице? — удивился Фома. — А об этом ты сказал учителю?

— Вот ты опять сомневаешься, Фома. Да, блудница. Но если бы ты знал, Фома, что это была за несчастная женщина. Уже два дня она ничего не ела...

— Ты это знаешь наверное? — смущился Фома.

— Да, конечно. Ведь я сам два дня был с нею и видел, что она ничего не ест и пьет только красное вино. Она шаталась от истощения, и я падал вместе с нею...

Фома быстро встал и, уже отойдя на несколько шагов, кинул Иуде:

— По-видимому, в тебя вселился сатана, Иуда.

И, уходя, слышал в наступивших сумерках, как жалобно позванивал в руках Иуды тяжелый денежный ящик. И как будто смеялся Иуда.

Но уже на другой день Фоме пришлось сознаться, что он ошибся в Иуде — так прост, мягок и в то же время серьезен был Искариот. Он не кривлялся, не шутил злоречиво, не кланялся и не оскорблял, но тихо и незаметно делал свое хозяйственное дело. Был он проворен, как и прежде, точно не две ноги, как у всех людей, а целый десяток имел их, но бегал бесшумно, без писка, воплей и смеха, похожего на смех гиены, каким раньше сопровождал он все действия свои. А когда Иисус начинал говорить, он тихо усаживался в углу, складывал свои руки и ноги и смотрел так хорошо своими большими глазами, что многие обратили на это внимание. И о людях он перестал говорить дурное и больше молчал, так что сам строгий Матфей счел возможным похвалить его, сказав словами Соломона:

— «Скудоумный высказывает презрение к ближнему своему, но разумный человек молчит».

И поднял палец, намекая тем на прежнее злоречие Иуды. В скором времени и все заметили в Иуде эту перемену и порадовались ей; и только Иисус все так же чуждо смотрел на него, хотя прямо ничем не выражал своего нерасположения. И сам Иоанн, которому Иуда оказывал теперь глубокое почтение, как любимому ученику Иисуса и своему заступнику в случае с тремя динариями, стал относиться к нему несколько мягче и даже иногда вступал в беседу.

— Как ты думаешь, Иуда, — сказал он однажды снисходительно, — кто из нас, Петр или я, будет первым возле Христа в его небесном царствии?

Иуда подумал и ответил:

— Я полагаю, что ты.

— А Петр думает, что он, — усмехнулся Иоанн.

— Нет. Петр всех ангелов разгонит своим криком, — ты слышишь, как он кричит? Конечно, он будет спорить с тобою и постараётся первый занять место, так как уверяет, что тоже любит Иисуса, — но он уже староват, а ты молод, он тяжел на ногу, а ты бегаешь быстро, и ты первый пойдешь туда со Христом. Не так ли?

— Да, я не оставлю Иисуса, — согласился Иоанн.

И в тот же самый день и с таким же вопросом обратился к Иуде Петр Симонов. Но, боясь, что громкий голос его будет услышан другими, отвел Иуду в самый дальний угол, за дом.

— Так как же ты думаешь? — тревожно спрашивал он. — Ты умный, тебя за ум сам учитель хвалит, и ты скажешь правду.

— Конечно, ты, — без колебания ответил Искриот; и Петр с негодованием воскликнул:

— Я ему говорил!

— Но, конечно, и там он будет стараться отнять у тебя первое место.

— Конечно!

— Но что он может сделать, когда место уже будет занято тобою? Ведь ты первый пойдешь туда с Иисусом? Ты не оставишь его одного? Разве не тебя назвал он — камень?

Петр положил руку на плечо Иуды и горячо сказал:

— Говорю тебе, Иуда, ты самый умный из нас. Зачем только ты такой насмешливый и злой? Учитель не любит этого. А то ведь и ты мог бы стать любимым учеником, не хуже Иоанна. Но только и тебе, — Петр угрожающе поднял руку, — не отдам я своего места возле Иисуса, ни на земле, ни там! Слышишь!

Так старался Иуда доставить всем приятное, но и свое что-то думал при этом. И, оставаясь все тем же скромным, сдержаным и незаметным, каждому умел сказать то, что ему особенно нравится. Так, Фоме он сказал:

— Глупый верит всякому слову, благоразумный же внимателен к путям своим.

Матфею же, который страдал некоторым излишеством в пище и питье и стыдился этого, привел слова мудрого и почитаемого им Соломона:

— «Праведник ест до сытости, а чрево беззаконных терпит лишение».

Но и приятное говорил редко, тем самым придавая ему особенную ценность, а больше молчал, внимательно прислушивался ко всему, что говорится, и думал о чем-то. Размышляющий Иуда имел, однако, вид неприятный, смешной и в то же время внушающий страх. Пока двигался его живой и хитрый глаз, Иуда казался простым и добрым, но когда оба глаза останавливались неподвижно и в странные бугры и складки собиралась кожа на его выпуклом лбу, — являлась тягостная догадка о каких-то совсем особенных мыслях, ворочающихся под этим черепом. Совсем чужие, совсем особенные, совсем не имеющие языка, они глухим молчанием тайны окружали размышляющего Искариота, и хотелось, чтобы он поскорее начал говорить, шевелиться, даже лгать. Ибо сама ложь, сказанная человеческим языком, казалась правдою и светом перед этим безнадежно-глухим и неотзычивым молчанием.

— Опять задумался, Иуда? — кричал Петр, своим ясным голосом и лицом внезапно разрывая глухое молчание Иудиных дум, отгоняя их куда-то в темный угол. — О чём ты думаешь?

— О многом, — с покойной улыбкой отвечал Искариот.

И, заметив, вероятно, как нехорошо действует на других его молчание, чаще стал удаляться от учеников и много времени проводил в уединенных прогулках или же забирался на плоскую кровлю и там тихонько сидел. И уже несколько раз слегка пугался Фома, наткнувшись неожиданно в темноте на какую-то серую груду, из которой вдруг высовывались руки и ноги Иуды и слышался его шутливый голос.

Только однажды Иуда как-то особенно резко и странно напомнил прежнего Иуду, и произошло это как раз во время спора о первенстве в царствии небес-

ном. В присутствии учителя Петр и Иоанн перекорялись друг с другом, горячо оспаривая свое место возле Иисуса: перечисляли свои заслуги, мерили степень своей любви к Иисусу, горячились, кричали, даже бралились несдержанно, Петр — весь красный от гнева, рокочущий; Иоанн — бледный и тихий, с дрожащими руками и кусающейся речью. Уже непристойным делался их спор и начал хмуриться учитель, когда Петр взглянул случайно на Иуду и самодовольно захохотал; взглянул на Иуду Иоанн и также улыбнулся, — каждый из них вспомнил, что говорил ему умный Искариот. И, уже предвкушая радость близкого торжества, они молча и согласно призвали Иуду в судьи, и Петр закричал:

— Ну-ка, умный Иуда! Скажи-ка нам, кто будет первый возле Иисуса — он или я?

Но Иуда молчал, дышал тяжело и глазами жадно спрашивал о чем-то спокойно-глубокие глаза Иисуса.

— Да, — подтвердил снисходительно Иоанн, — скажи ты ему, кто будет первый возле Иисуса.

Не отрывая глаз от Христа, Иуда медленно поднялся и ответил тихо и важно:

— Я!

Иисус медленно опустил взоры. И, тихо бия себя в грудь костлявым пальцем, Искариот повторил торжественно и строго:

— Я! Я буду возле Иисуса!

И вышел. Пораженные дерзкой выходкой, ученики молчали, и только Петр, вдруг вспомнив что-то, шепнул Фоме неожиданно тихим голосом:

— Так вот о чем он думает!.. Ты слышал?

## V

Как раз в это время Иуда Искариот совершил первый, решительный шаг к предательству: тайно посетил первосвященника Анну. Был он встречен очень сурово, но не смущился этим и потребовал продолжительной беседы с глазу на глаз. И, оставшись наедине с сухим и суровым стариком, презрительно смотрев-

шим на него из-под нависших, тяжелых век, рассказал, что он, Иуда, человек благочестивый и в ученики к Иисусу Назарею вступил с единственной целью уличить обманщика и предать его в руки закона.

— А кто он, этот Назарей? — пренебрежительно спросил Анна, делая вид, что в первый раз слышит имя Иисуса.

Иуда также сделал вид, что верит странному неведению первосвященника, и подробно рассказал о проповеди Иисуса и чудесах, ненависти его к фарисеям<sup>1</sup> и храму, о постоянных нарушениях им закона и, наконец, о желании его истогнуть власть из рук церковников и создать свое особенное царство. И так искусно перемешивал правду с ложью, что внимательнее взглянул на него Анна и лениво сказал:

— Мало ли в Иудее обманщиков и безумцев?

— Нет, он опасный человек, — горячо возразил Иуда, — он нарушает закон. И пусть лучше один человек погибнет, чем весь народ.

Анна одобрительно кивнул головою.

— Но у него, кажется, много учеников?

— Да, много.

— И они, вероятно, очень любят его?

— Да, они говорят, что любят. Очень любят, больше, чем себя.

— Но если мы захотим взять его, не вступятся ли они? Не поднимут ли они восстания?

Иуда засмеялся продолжительно и зло:

— Они? Эти трусливые собаки, которые бегут, как только человек наклоняется за камнем. Они!

— Разве они такие дурные? — холодно спросил Анна.

— А разве дурные бегают от хороших, а не хорошие от дурных? Хе! Они хорошие и поэтому побегут. Они хорошие, и поэтому они спрячутся. Они хорошие, и поэтому они явятся только тогда, когда Иисуса надо

---

<sup>1</sup> Фарисе́и — в Иудее во II в. до н. э. — II в. н. э. общественно-религиозное течение, отличавшееся фанатизмом и буквальным исполнением правил благочестия.

будет класть в гроб. И они положат его сами, а ты только казни!

— Но ведь они же любят его? Ты сам сказал.

— Своего учителя они всегда любят, но больше мертвым, чем живым. Когда учитель жив, он может спросить у них урок, и тогда им будет плохо. А когда учитель умирает, они сами становятся учителями, и плохо делается уже другим! Хе!

Анна проницательно взглянул на предателя, и сухие губы его сморщились, — это значило, что Анна улыбается.

— Ты обижен ими? Я это вижу.

— Разве может укрыться что-либо от твоей проницательности, мудрый Анна? Ты проник в самое сердце Иуды. Да. Они обидели бедного Иуду. Они сказали, что он украл у них три динария, как будто Иуда не самый честный человек в Израиле!

И еще долго говорили они об Иисусе, об учениках его, о гибельном влиянии его на израильский народ, — но решительного ответа не дал на этот раз осторожный и хитрый Анна. Он уж давно следил за Иисусом и на тайных совещаниях с родственниками и друзьями своими, начальниками и саддукеями<sup>1</sup> уже давно решил участь пророка из Галилеи. Но он не доверял Иуде, о котором и раньше слыхал как о дурном и лживом человеке, не доверял его легкомысленным надеждам на трусость учеников и народа. В свою силу Анна верил, но боялся кровопролития, боялся грозного бунта, на который так легко шел непокорный и гневливый народ иерусалимский, боялся, наконец, сурогата вмешательства властей из Рима. Раздущая сопротивлением, оплодотворенная красной кровью народа, дающей жизнь всему, на что она падает, — еще сильнее разрастется ересь и в гибких кольцах своих задушит Анну, и власть, и всех его друзей. И когда во

---

<sup>1</sup> Саддукеи — религиозно-политическое течение в древней Иудее, отвергавшее учение о телесном воскресении, бессмертии души и пр., резко расходившееся с фарисеями по вопросам вероучения.

второй раз постучался к нему Искариот, Анна смущалась духом и не принял его. Но и в третий и в четвертый раз пришел к нему Искариот, настойчивый, как ветер, который и днем и ночью стучится в запертую дверь и дышит в скважины ее.

— Я вижу, что боится чего-то мудрый Анна, — сказал Иуда, допущенный наконец к первосвященнику.

— Я довольно силен, чтобы ничего не бояться, — надменно ответил Анна, и Искариот раболепно поклонился, простирая руку. — Чего ты хочешь?

— Я хочу предать вам Назарея.

— Он нам не нужен.

Иуда поклонился и ждал, покорно устремив свой глаз на первосвященника.

— Ступай.

— Но я должен прийти опять. Не так ли, почтенный Анна?

— Тебя не пустят. Ступай.

Но вот и еще раз, и еще раз постучался Иуда из Кариота и был впущен к престарелому Анне. Сухой и злобный, удрученный мыслями, молча глядел он на предателя и точно считал волосы на бугроватой голове его. Но молчал и Иуда — точно и сам подсчитывал волоски в реденькой седой бородке первосвященника.

— Ну? Ты опять здесь? — надменно бросил, точно плонул на голову, раздраженный Анна.

— Я хочу предать вам Назарея.

Оба замолчали, продолжая с вниманием разглядывать друг друга. Но Искариот смотрел спокойно, а Анну уже начала покалывать тихая злость, сухая и холодная, как предутренний иней зимою.

— Сколько же ты хочешь за твоего Иисуса?

— А сколько вы дадите?

Анна с наслаждением оскорбительно сказал:

— Вы все шайка мошенников. Тридцать серебренников — вот сколько мы дадим.

И тихо порадовался, видя, как весь затрепыхал, задвигался, забегал Иуда — проворный и быстрый, как будто не две ноги, а целый десяток их было у него.

— За Иисуса? Тридцать серебреников? — закричал он голосом дикого изумления, порадовавшим Анну. — За Иисуса Назарея! И вы хотите купить Иисуса за тридцать серебреников? И вы думаете, что вам могут продать Иисуса за тридцать серебреников?

Иуда быстро повернулся к стене и захотел в ее белое плоское лицо, поднимая длинные руки:

— Ты слышишь? Тридцать серебреников! За Иисуса!

С той же тихой радостью Анна равнодушно заметил:

— Если не хочешь, то ступай. Мы найдем человека, который продаст дешевле.

И, точно торговцы старым платьем, которые на грязной площади перебрасывают с рук на руки негодную ветошь, кричат, клянутся и бранятся, они вступили в горячий и бешеный торг. Упиваясь странным восторгом, бегая, вертаясь, крича, Иуда по пальцам вычислял достоинства того, кого он продает.

— А то, что он добр и исцеляет больных, это так уже ничего и не стоит, по-вашему? А? Нет, вы скажите, как честный человек!

— Если ты... — пробовал вставить порозовевший Анна, холодная злость которого быстро нагревалась на раскаленных словах Иуды; но тот беззастенчиво перебивал его:

— А то, что он красив и молод, — как нарцисс саронский, как лилия долин? А? Это ничего не стоит? Вы, быть может, скажете, что он стар и никуда не годен, что Иуда продает вам старого петуха? А?

— Если ты... — старался кричать Анна, но его старческий голос, как пух ветром, уносила отчаянно-бурная речь Иуды.

— Тридцать серебреников! Ведь это одного обола<sup>1</sup> не выходит за каплю крови! Половины обола не выходит за слезу! Четверть обола за стон! А крики! А судороги! А за то, чтобы его сердце остановилось? А за то, чтобы закрылись его глаза? Это даром? — вопил Искариот, наступая на первосвященника, всего его

---

<sup>1</sup> Обол — мелкая серебряная, а затем медная монета.

одевая безумным движением своих рук, пальцев, крутящихся слов.

— За все! За все! — задыхался Анна.

— А сами вы сколько наживаете на этом? Хе? Вы ограбить хотите Иуду, кусок хлеба вырвать у его детей? Я не могу! Я на площадь пойду, я кричать буду: Анна ограбил бедного Иуду! Спасите!

Утомленный, совсем закружившийся Анна бешено затопал по полу мягкими туфлями и замахал руками:

— Вон!.. Вон!..

Но Иуда вдруг смиренно согнулся и покорно развел руками:

— Но если ты так... Зачем же ты сердишься на бедного Иуду, который желает добра своим детям? У тебя тоже есть дети, прекрасные молодые люди...

— Мы другого... Мы другого... Вон!

— Но разве я сказал, что я не могу уступить? И разве я вам не верю, что может прийти другой и отдать вам Иисуса за пятнадцать оболов? За два обола? За один?

И, кланяясь все ниже, извиваясь и листя, Иуда покорно согласился на предложенные ему деньги. Дрожащею, сухою рукой порозовевший Анна отдал ему деньги и, молча, отвернувшись и жуя губами, ждал, пока Иуда перепробовал на зубах все серебряные монеты. Изредка Анна оглядывался и, точно обжегшись, снова поднимал голову к потолку и усиленно жевал губами.

— Теперь так много фальшивых денег, — спокойно пояснил Иуда.

— Это деньги, пожертвованные благочестивыми людьми на храм, — сказал Анна, быстро оглянувшись и еще быстрее подставив глазам Иуды свой розоватый лысый затылок.

— Но разве благочестивые люди умеют отличить фальшивое от настоящего? Это умеют только мошенники.

Полученные деньги Иуда не отнес домой, но, выйдя за город, спрятал их под камнем. И назад он возвращался тихо, тяжелыми и медлительными шагами, как раненое животное, медленно уползающее в

свою темную нору после жестокой и смертельной битвы. Но не было своей норы у Иуды, а был дом, и в этом доме он увидел Иисуса. Усталый, похудевший, измученный непрерывной борьбой с фарисеями, стеною белых, блестящих ученых лбов окружавших его каждодневно в храме, он сидел, прижавшись щекою к шершавой стене, и, по-видимому, крепко спал. В открытое окно влетали беспокойные звуки города, за стеной стучал Петр, сбивая для трапезы новый стол, и напевал тихую галилейскую песенку, — но он ничего не слышал и спал спокойно и крепко. И это был тот, кого они купили за тридцать серебреников.

Бесшумно продвинувшись вперед, Иуда с нежной осторожностью матери, которая боится разбудить свое больное дитя, с изумлением вылезшего из логова зверя, которого вдруг очаровал беленький цветок, тихо коснулся его мягких волос и быстро отдернул руку. Еще раз коснулся — и выполз бесшумно.

— Господи! — сказал он. — Господи!

И, выйдя в место, куда ходили по нужде, долго пласал там, корчась, извиваясь, царапая ногтями грудь и кусая плечи. Ласкал воображаемые волосы Иисуса, нашептывал тихо что-то нежное и смешное и скрипел зубами. Потом внезапно перестал плакать, стонать и скрежетать зубами и тяжело задумался, склонив на сторону мокрое лицо, похожий на человека, который прислушивается. И так долго стоял он, тяжелый, решительный и всему чужой, как сама судьба.

---

Тихою любовью, нежным вниманием, ласкою окружил Иуда несчастного Иисуса в эти последние дни его короткой жизни. Стыдливый и робкий, как девушка в своей первой любви, страшно чуткий и проницательный, как она, он угадывал малейшие невысказанные желания Иисуса, проникал в сокровенную глубину его ощущений, мимолетных вспышек грусти, тяжелых мгновений усталости. И куда бы ни ступала нога Иисуса, она встречала мягкое, и куда бы ни обращался его взор, он находил приятное. Раньше Иуда

не любил Марию Магдалину и других женщин, которые были возле Иисуса, грубо шутил над ними и причинял мелкие неприятности — теперь он стал их другом, смешным и неповоротливым союзником. С глубоким интересом разговаривал с ними о маленьких, милых привычках Иисуса, подолгу с настойчивостью расспрашивая об одном и том же, таинственно совал деньги в руку, в самую ладонь, — и те приносили амбру, благовонное дорогое мирро, столь любимое Иисусом, и обтирали ему ноги. Сам покупал, отчаянно торгясь, дорогое вино для Иисуса и потом очень сердился, когда почти все его выпивал Петр с равнодушием человека, придающего значение только количеству; и в каменистом Иерусалиме, почти вовсе лишенном деревьев, цветов и зелени, доставал откуда-то молоденькие весенние цветы, зелененькую травку и через тех же женщин передавал Иисусу. Сам приносил на руках — первый раз в жизни — маленьких детей, добывая их где-то по дворам или на улице и принужденно целуя их, чтобы не плакали; и часто случалось, что к задумавшемуся Иисусу вдруг всползало на колени что-то маленькое, черненькое, с курчавыми волосами и грязным носиком и требовательно искало ласки. И пока оба они радовались друг на друга, Иуда строго прохаживался в стороне, как суровый тюремщик, который сам весною впустил к заключенному бабочку и теперь притворно ворчит, жалуясь на беспорядок.

По вечерам, когда вместе с тьмою у окон становилась на страже и тревога, Искриот искусно наводил разговор на Галилею, чуждую ему, но милую Иисусу Галилею, с ее тихою водой и зелеными берегами. И до тех пор раскачивал он тяжелого Петра, пока не просыпались в нем засохшие воспоминания и в ярких картинах, где все было громко, красочно и густо, не вставала перед глазами и слухом милая галилейская жизнь. С жадным вниманием, по-детски полуоткрыв рот, заранее смеясь глазами, слушал Иисус его порывистую, звонкую, веселую речь и иногда так хохотал над его шутками, что на несколько минут приходилось останавливать рассказ. Но еще лучше, чем Петр, рас-

сказывал Иоанн: у него не было смешного и неожиданного, но все становилось таким задумчивым, необыкновенным и прекрасным, что у Иисуса показывались на глазах слезы и он тихонько вздыхал, а Иуда толкал в бок Марию Магдалину и с восторгом шептал ей:

— Как он рассказывает! Ты слышишь?

— Слышу, конечно.

— Нет, ты лучше слушай. Вы, женщины, никогда не умеете хорошо слушать.

Потом все тихо расходились спать, и Иисус нежно и с благодарностью целовал Иоанна и ласково гладил по плечу высокого Петра.

И без зависти, с снисходительным презрением смотрел Иуда на эти ласки. Что значит все эти рассказы, эти поцелуи и вздохи сравнительно с тем, что знает он, Иуда из Кариота, рыжий, безобразный иудей, рожденный среди камней!

## VI

Одною рукой предавая Иисуса, другой рукой Иуда старательно искал расстроить свои собственные планы. Он не отговаривал Иисуса от последнего, опасного путешествия в Иерусалим, как делали это женщины, он даже склонялся скорее на сторону родственников Иисуса и тех его учеников, которые победу над Иерусалимом считали необходимою для полного торжества дела. Но настойчиво и упорно предупреждал он об опасности и в живых красках изображал грозную ненависть фарисеев к Иисусу, их готовность пойти на преступление и тайно или явно умертвить пророка из Галилеи. Каждый день и каждый час говорил он об этом, и не было ни одного из верующих, перед кем не стоял бы Иуда, подняв грозящий палец, и не говорил бы предостерегающе и строго:

— Нужно беречь Иисуса! Нужно беречь Иисуса! Нужно заступиться за Иисуса, когда придет на то время.

Но безгранична ли вера учеников в чудесную силу их учителя, сознание ли правоты своей или про-

сто ослепление — пугливые слова Иуды встречались улыбкою, а бесконечные советы вызывали даже ропот. Когда Иуда добыл откуда-то и принес два меча, только Петру понравилось это и только Петр похвалил мечи и Иуду, остальные же недовольно сказали:

— Разве мы воины, что должны опоясываться мечами? И разве Иисус не пророк, а военачальник?

— Но если они захотят умертвить его?

— Они не посмеют, когда увидят, что весь народ идет за ним.

— А если посмеют? Тогда что?

Иоанн говорил пренебрежительно:

— Можно подумать, что только один ты, Иуда, любишь учителя.

И, жадно вцепившись в эти слова, совсем не обижаясь, Иуда начинал допрашивать торопливо, горячо, с суровой настойчивостью:

— Но вы его любите, да?

И не было ни одного из верующих, приходивших к Иисусу, кого он не спросил бы неоднократно:

— А ты его любишь? Крепко любишь?

И все отвечали, что любят.

Он часто беседовал с Фомой и, подняв предостерегающе сухой, цепкий палец с длинным и грязным ногтем, таинственно предупреждал его:

— Смотри, Фома, близится страшное время. Готовы ли вы к нему? Почему ты не взял меча, который я принес?

Фома рассудительно ответил:

— Мы люди, непривычные к обращению с оружием. И если мы вступим в борьбу с римскими воинами, то они всех нас перебьют. Кроме того, ты принес только два меча, — что можно сделать двумя мечами?

— Можно еще достать. Их можно отнять у воинов, — нетерпеливо возразил Иуда, и даже серьезный Фома улыбнулся сквозь прямые нависшие усы:

— Ах, Иуда, Иуда! А эти где ты взял? Они похожи на мечи римских солдат.

— Эти я украл. Можно было еще украсть, но там закричали — и я убежал.

Фома задумался и печально сказал:

— Опять ты поступил нехорошо, Иуда. Зачем ты крадешь?

— Но ведь нет же чужого!

— Да, но завтра воинов спросят: а где ваши мечи? И, не найдя, накажут их без вины.

И впоследствии, уже после смерти Иисуса, ученики припоминали эти разговоры Иуды и решили, что вместе с учителем хотел он погубить и их, вызвав на неравную и убийственную борьбу. И еще раз прокляли ненавистное имя Иуды из Кариота, предателя.

А рассерженный Иуда после каждого такого разговора шел к женщинам и плакался перед ними. И охотно слушали его женщины. То женственное и нежное, что было в его любви к Иисусу, сблизило его с ними, сделало его в их глазах простым, понятным и даже красивым, хотя по-прежнему в его обращении с ними сквозило некоторое пренебрежение.

— Разве это люди? — горько жаловался он на учеников, доверчиво устремляя на Марии свой слепой и неподвижный глаз. — Это же не люди! У них нет крови в жилах даже на обол!

— Но ведь ты же всегда говорил дурно о людях, — возражала Мария.

— Разве я когда-нибудь говорил о людях дурно? — удивлялся Иуда. — Ну да, я говорил о них дурно, но разве не могли бы они быть немного лучше? Ах, Мария, глупая Мария, зачем ты не мужчина и не можешь носить меча!

— Он так тяжел, я не подниму его, — улыбнулась Мария.

— Поднимешь, когда мужчины будут так плохи. Отдала ли ты Иисусу лилию, которую нашел я в горах? Я встал рано утром, чтоб найти ее, и сегодня было такое красное солнце, Мария! Рад ли был он? Улыбнулся ли он?

— Да, он был рад. Он сказал, что от цветка пахнет Галилеей.

— И ты, конечно, не сказала ему, что это Иуда достал, Иуда из Кариота?

— Ты же просил не говорить.

— Нет, не надо, конечно, не надо, — вздохнул Иуда. — Но ты могла проболтаться, ведь женщины так болтливы. Но ты не проболталась, нет? Ты была тверда? Так, так, Мария, ты хорошая женщина. Ты знаешь, у меня где-то есть жена. Теперь бы я хотел посмотреть на нее: быть может, она тоже неплохая женщина. Не знаю. Она говорила: Иуда лгун, Иуда Симонов злой, и я ушел от нее. Но, может быть, она и хорошая женщина, ты не знаешь?

— Как же я могу знать, когда я ни разу не видела твоей жены?

— Так, так, Мария. А как ты думаешь, тридцать серебреников — это большие деньги? Или нет, небольшие?

— Я думаю, что небольшие.

— Конечно, конечно. А сколько ты получала, когда была блудницей? Пять серебреников или десять? Ты была дорогая?

Мария Магдалина покраснела и опустила голову, так что пышные золотистые волосы совсем закрыли ее лицо: виднелся только круглый и белый подбородок.

— Какой ты недобрый, Иуда! Я хочу забыть об этом, а ты вспоминаешь.

— Нет, Мария, этого забывать не надо. Зачем? Пусть другие забывают, что ты была блудницей, а ты помни. Это другим надо поскорее забыть, а тебе не надо. Зачем?

— Ведь это грех.

— Тому страшно, кто греха еще не совершил. А кто уже совершил его — чего бояться тому? Разве мертвый боится смерти, а не живой? А мертвый смеется над живым и над страхом его.

Так дружелюбно сидели они и болтали по целым часам — он, уже старый, сухой, безобразный, со своею бугроватой головой и дико раздвоившимся лицом; она — молодая, стыдливая, нежная, очарованная жизнью, как сказкою, как сном.

А время равнодушно протекало, и тридцать серебреников лежали под камнем, и близился неумолимо

страшный день предательства. Уже вступил Иисус в Иерусалим на осляти, и, расстилая одежды по пути его, приветствовал его народ восторженными криками:

— Осанна! Осанна! Грядый во имя Господне!

И так велико было ликование, так неудержимо в криках рвалась к нему любовь, что плакал Иисус, а ученики его говорили гордо:

— Не Сын ли это Божий с нами?

И сами кричали торжествующе:

— Осанна! Осанна! Грядый во имя Господне!

В тот вечер долго не отходили ко сну, вспоминая торжественную и радостную встречу, а Петр был как сумасшедший, как одержимый бесом веселия и гордости. Он кричал, заглушая все речи своим львиным рыканием, хохотал, бросая свой хохот на головы, как круглые большие камни, целовал Иоанна, целовал Иакова и даже поцеловал Иуду. И сознался шумно, что он очень боялся за Иисуса, а теперь ничего не боится, потому что видел любовь народа к Иисусу. Удивленно, быстро двигая живым и зорким глазом, смотрел по сторонам Искариот; задумывался и вновь слушал и смотрел; потом отвел в сторону Фому и, точно прикальывая его к стене своим острым взором, спросил в недоумении, страхе и какой-то смутной надежде:

— Фома! А что, если он прав? Если камни у него под ногами, а у меня под ногою — песок только? Тогда что?

— Про кого ты говоришь? — осведомился Фома.

— Как же тогда Иуда из Кариота? Тогда я сам должен удушить его, чтобы сделать правду. Кто обманывает Иуду: вы или сам Иуда? Кто обманывает Иуду? Кто?

— Я тебя не понимаю, Иуда. Ты говоришь очень непонятно. Кто обманывает Иуду? Кто прав?

И, покачивая головою, Иуда повторил, как эхо:

— Кто обманывает Иуду? Кто прав?

И на другой еще день в том, как поднимал Иуда руку с откинутым большим пальцем, как он смотрел на Фому, звучал все тот же странный вопрос:

— Кто обманывает Иуду? Кто прав?

И еще больше удивился и даже обеспокоился Фома, когда вдруг ночью зазвучал громкий и как будто радостный голос Иуды:

— Тогда не будет Иуды из Кариота. Тогда не будет Иисуса. Тогда будет... Фома, глупый Фома! Хотелось ли тебе когда-нибудь взять землю и поднять ее? И, может быть, бросить потом.

— Это невозможно. Что ты говоришь, Иуда!

— Это возможно, — убежденно сказал Искриот. — И мы ее поднимем когда-нибудь, когда ты будешь спать, глупый Фома. Спи! Мне весело, Фома! Когда ты спишь, у тебя в носу играет галилейская свирель. Спи!

Но вот уже разошлись по Иерусалиму верующие и скрылись в домах, за стенами, и загадочны стали лица встречных. Погасло ликование. И уже смутные слухи об опасности поползли в какие-то щели; пробовал сумрачный Петр подаренный ему Иудою меч. И все печальнее и строже становилось лицо учителя. Так быстро пробегало время и неумолимо приближало страшный день предательства. Вот прошла и последняя вечеря, полная печали и смутного страха, и уже прозвучали неясные слова Иисуса о ком-то, кто предаст его.

— Ты знаешь, кто его предаст? — спрашивал Фома, смотря на Иуду своими прямыми и ясными, почти прозрачными глазами.

— Да, знаю, — ответил Иуда, суровый и решительный. — Ты, Фома, предашь его. Но он сам не верит тому, что говорит! Пора! Пора! Почему он не зовет к себе сильного, прекрасного Иуду?

...Уже не днями, а короткими, быстро летящими часами мерялось неумолимое время. И был вечер, и вечерняя тишина была, и длинные тени ложились по земле — первые острые стрелы грядущей ночи великого боя, когда прозвучал печальный и суровый голос. Он говорил:

— Ты знаешь, куда иду я, Господи? Я иду предать тебя в руки твоих врагов.

И было долгое молчание, тишина вечера и острые черные тени.

— Ты молчишь, Господи? Ты приказываешь мне идти?

И снова молчание.

— Позволь мне оставаться. Но ты не можешь? Или не смеешь? Или не хочешь?

И снова молчание, огромное, как глаза вечности.

— Но ведь ты знаешь, что я люблю тебя. Ты все знаешь. Зачем ты так смотришь на Иуду? Велика тайна твоих прекрасных глаз, но разве моя — меньше? Повели мне оставаться!.. Но ты молчишь, ты все молчишь? Господи, Господи, затем ли в тоске и муках искал я тебя всю мою жизнь, искал и нашел! Освободи меня. Сними тяжесть, она тяжеле гор и свинца. Разве ты не слышишь, как трещит под нею грудь Иуды из Кариота?

И последнее молчание, бездонное, как последний взгляд вечности.

— Я иду.

Даже не проснулась вечерняя тишина, не закричала и не заплакала она и не зазвенела тихим звоном своего тонкого стекла — так слаб был шум удалявшихся шагов. Прошумели и смолкли. И задумалась вечерняя тишина, протянулась длинными тенями, потемнела — и вдруг вздохнула вся шелестом тоскливо взметнувшихся листьев, вздохнула и замерла, встречая ночь.

Затолклись, захлопали, застучали другие голоса, точно развязал кто-то мешок с живыми звонкими голосами и они попадали оттуда на землю, по одному, по два, целой кучей. Это говорили ученики. И, покрывая их всех, стукаясь о деревья, о стены, падая на самого себя, загремел решительный и властный голос Петра — он клялся, что никогда не оставит учителя своего.

— Господи! — говорил он с тоскою и гневом. — Господи! С тобою я готов и в темницу и на смерть идти.

И тихо, как мягкое эхо чьих-то удалившихся шагов, прозвучал беспощадный ответ:

— Говорю тебе, Петр, не пропоет петух сегодня, как ты трижды отречешься от меня.

## VII

Уже встала луна, когда Иисус собрался идти на гору Елеонскую, где проводил он все последние ночи свои. Но непонятно медлил он, и ученики, готовые тронуться в путь, торопили его; тогда он сказал внезапно:

— Кто имеет мешок, тот возьми его, также и суму; а у кого нет, продай одежду свою и купи меч. Ибо скаживаю вам, что должно исполниться на мне и этому написанному: «И к злодеям причтен».

Ученики удивились и смотрели друг на друга с смущением. Петр же ответил:

— Господи! Вот здесь два меча.

Он взглянул испытующе на их добрые лица, опустил голову и сказал тихо:

— Довольно.

Звонко отдавались в узких улицах шаги идущих — и пугались ученики звука шагов своих; на белой стене, озаренной луною, вырастали их черные тени — и теней своих пугались они. Так молча проходили они по спящему Иерусалиму, и вот уже за ворота города они вышли, и в глубокой лощине, полной загадочно-неподвижных теней, открылся им Кедронский поток. Теперь их пугало все. Тихое журчание и плеск воды на камнях казался им голосами подкрадывающихся людей; уродливые тени скал и деревьев, преграждавшие дорогу, беспокоили их пестротою своею, и движением казалась их ночной неподвижность. Но, по мере того как поднимались они в гору и приближались к Гефсиманскому саду, где в безопасности и тишине уже провели столько ночей, они делались смелее. Изредка оглядываясь на оставленный Иерусалим, весь белый под луною, они разговаривали между собой о минувшем страхе; и те, которые шли сзади, слышали отрывочно тихие слова Иисуса. О том, что все покинут его, говорил он.

В саду, в начале его, они остановились. Большая часть осталась на месте и с тихим говором начала готовиться ко сну, расстилая плащи в прозрачном круже ве теней и лунного света. Иисус же, томимый беспокойством, и четверо его ближайших учеников пошли дальше, в глубину сада. Там сели они на земле, не оставившей еще от дневного жара, и, пока Иисус молчал, Петр и Иоанн лениво перекидывались словами, почти лишенными смысла. Зевая от усталости, они говорили о том, как холодна ночь, и о том, как дорого мясо в Иерусалиме, рыбы же совсем нельзя достать. Старились точным числом определить количество паломников, собравшихся к празднику в город, и Петр, громко зевотою растягивая слова, говорил, что двадцать тысяч, а Иоанн и брат его Иаков уверяли так же лениво, что не более десяти. Вдруг Иисус быстро поднялся.

— Душа моя скорбит смертельно. Побудьте здесь и бодрствуйте, — сказал он и быстрыми шагами удалился в чащу и скоро пропал в неподвижности теней и света.

— Куда он? — сказал Иоанн, приподнявшись на локте.

Петр повернул голову вслед ушедшему и утомленно ответил:

— Не знаю.

И, еще раз громко зевнув, опрокинулся на спину и затих. Затихли и остальные, и крепкий сон здоровой усталости охватил их неподвижные тела. Сквозь тяжелую дрему Петр видел смутно что-то белое, наклонившееся над ним, и чей-то голос прозвучал и погас, не оставив следа в его помраченном сознании:

— Симон, ты спиши?

И опять он спал, и опять какой-то тихий голос коснулся его слуха и погас, не оставив следа:

— Так ли и одного часа не могли вы бодрствовать со мною?

«Ах, Господи, если бы ты знал, как мне хочется спать», — подумал он в полусне, но ему показалось, что сказал он это громко. И снова он уснул, и много

как будто прошло времени, когда внезапно выросла около него фигура Иисуса и громкий будящий голос мгновенно отрезвил его и остальных:

— Вы все еще спите и почиваете? Кончено, пришел час — вот предается сын человеческий в руки грешников.

Ученики быстро вскочили на ноги, растерянно хватая свои плащи и дрожа от холода внезапного пробуждения. Сквозь чащу деревьев, озаряя их бегучим огнем факелов, с топотом и шумом, в лязге оружия и хрустте ломающихся веток приближалась толпа воинов и служителей храма. А с другой стороны прибегали трясущиеся от холода ученики с испуганными заспанными лицами и, еще не понимая, в чем дело, торопливо спрашивали:

— Что это? Что это за люди с факелами?

Бледный Фома, со сбившимся на сторону прямым усом, зябко ляскал зубами и говорил Петру:

— По-видимому, это пришли за нами.

Вот толпа воинов окружила их, и дымный тревожный блеск огней отогнал куда-то в стороны и вверх тихое сияние луны. Впереди воинов торопливо двигался Иуда из Кариота и, остро ворочая живым глазом своим, разыскивал Иисуса. Нашел его, на миг остановился взором на его высокой тонкой фигуре и быстро шепнул служителям:

— Кого я поцелую, тот и есть. Возьмите его и ведите осторожно. Но только осторожно, вы слыхали?

Затем быстро придинулся к Иисусу, ожидающему его молча, и погрузил, как нож, свой прямой и острый взгляд в его спокойные потемневшие глаза.

— Радуйся, равви! — сказал он громко, вкладывая странный и грозный смысл в слова обычного приветствия.

Но Иисус молчал, и с ужасом глядели на предателя ученики, не понимая, как может столько зла вместить в себя душа человека. Быстрым взглядом окинул Искариот их смятенные ряды, заметил трепет, готовый перейти в громко ляскующую дрожь испуга, заметил бледность, бессмысленные улыбки, вялые

движения рук, точно стянутых железом у предплечья, — и зажглась в его сердце смертельная скорбь, подобная той, какую испытал перед этим Христос. Вытянувшись в сотню громко звенящих, рыдающих струн, он быстро рванулся к Иисусу и нежно поцеловал его холодную щеку. Так тихо, так нежно, с такой мучительной любовью и тоской, что, будь Иисус цветком на тоненьком стебельке, он не колыхнул бы его этим поцелуем и жемчужной росы не сронил бы с чистых лепестков.

— Иуда! — сказал Иисус и молнией своего взора осветил ту чудовищную груду насторожившихся теней, что была душой Искариота, но в бездонную глубину ее не мог проникнуть. — Иуда! Целованием ли предаешь сына человеческого?

И видел, как дрогнул и пришел в движение весь этот чудовищный хаос. Безмолвным и строгим, как смерть в своем гордом величии, стоял Иуда из Кариота, а внутри него все стонало, гремело и выло тысячью буйных и огненных голосов: «Да! Целованием любви предаем мы тебя. Целованием любви предаем мы тебя на поругание, на истязания, на смерть! Голосом любви скликаем мы палачей из темных нор и ставим крест — и высоко над теменем земли мы поднимаем на кресте любовью распятую любовь».

Так стоял Иуда, безмолвный и холодный, как смерть, а крику души его отвечали крики и шум, поднявшиеся вокруг Иисуса. С грубой нерешительностью вооруженной силы, с неловкостью смутно понимаемой цели уже хватали его за руки солдаты и тащили куда-то, свою нерешительность принимая за сопротивление, свой страх — за насмешку над ними и издевательство. Как кучка испуганных ягнят, теснились ученики, ничему не препятствуя, но всем мешая — и даже самим себе; и только немногие решались ходить и действовать отдельно от других. Толкаемый со всех сторон, Петр Симонов с трудом, точно потеряв все свои силы, извлек из ножен меч и слабо, косым ударом опустил его на голову одного из служителей, но никакого вреда не причинил. И заметивший это Иисус при-

казал ему бросить ненужный меч, и, слабо звякнув, упало под ноги железо, столь видимо лишенное своей колючей и убивающей силы, что никому не пришло в голову поднять его. Так и валялось оно под ногами, и много дней спустя нашли его на том же месте играющие дети и сделали его своей забавой.

Солдаты распихивали учеников, а те вновь собирались и тупо лезли под ноги, и это продолжалось до тех пор, пока не овладела солдатами презрительная ярость. Вот один из них, насупив брови, двинулся к кричащему Иоанну; другой грубо столкнул с своего плеча руку Фомы, в чем-то убеждавшего его, и к самым прямым и прозрачным глазам его поднес огромный кулак, — и побежал Иоанн, и побежали Фома и Иаков, и все ученики, сколько ни было их здесь, оставив Иисуса, бежали. Теряя плащи, ушибаясь о деревья, натыкаясь на камни и падая, они бежали в горы, гонимые страхом, и в тишине лунной ночи звонко гудела земля под топотом многочисленных ног. Кто-то неизвестный, по-видимому только что вставший с постели, ибо был покрыт он только одним одеялом, возбужденно сновал в толпе воинов и служителей. Но, когда его хотели задержать и схватили за одеяло, он испуганно вскрикнул и бросился бежать, как и другие, оставив свою одежду в руках солдат. Так совершенно голый бежал он отчаянными скачками, и нагое тело его странно мелькало под луной.

Когда Иисуса вели, вышел из-за деревьев притаившийся Петр и в отдалении последовал за учителем. И, увидя впереди себя другого человека, шедшего молча, подумал, что это Иоанн, и тихо окликнул его:

— Иоанн, это ты?

— А, это ты, Петр? — ответил тот, остановившись, и по голосу Петр признал в нем предателя. — Почему же ты, Петр, не убежал вместе с другими?

Петр остановился и с отвращением произнес:

— Отойди от меня, сатана!

Иуда засмеялся и, не обращая более внимания на Петра, пошел дальше, туда, где дымно сверкали факелы и лязг оружия смешивался с отчетливым зву-

ком шагов. Двинулся осторожно за ним и Петр, и так почти одновременно вошли они во двор первосвященника и вмешались в толпу служителей, гревшихся у костров. Хмуро грел над огнем свои костлявые руки Иуда и слышал, как где-то позади него громко заговорил Петр:

— Нет, я не знаю его.

Но там, очевидно, настаивали на том, что он из учеников Иисуса, потому что еще громче Петр повторил:

— Да нет же, я не понимаю, что вы говорите!

Не оглядываясь и нехотя улыбаясь, Иуда мотнул утвердительно головой и пробормотал:

— Так, так, Петр! Никому не уступай своего места возле Иисуса!

И не видел он, как ушел со двора перепуганный Петр, чтобы не показываться более. И с этого вечера до самой смерти Иисуса не видел Иуда вблизи него ни одного из учеников; и среди всей этой толпы были только они двое, неразлучные до самой смерти, дико связанные общностью страданий, — тот, кого предали на поругание и муки, и тот, кто его предал. Из одного кубка страданий, как братья, пили они оба, преданный и предатель, и огненная влага одинаково опалала чистые и нечистые уста.

Пристально глядя на огонь костра, наполнявший глаза ощущением жара, протягивая к огню длинные шевелящиеся руки, весь бесформенный в путанице рук и ног, дрожащих теней и света, Искариот бормотал жалобно и хрипло:

— Как холодно! Боже мой, как холодно!

Так, вероятно, когда уезжают ночью рыбаки, оставив на берегу тлеющий костер, из темной глубины моря вылезает нечто, подползает к огню, смотрит на него пристально и дико, тянется к нему всеми членами своими и бормочет жалобно и хрипло:

— Как холодно! Боже мой, как холодно!

Вдруг за своей спиной Иуда услышал взрыв громких голосов, крики и смех солдат, полные знакомой сонно-жадной злобы, и хлесткие короткие удары по

живому телу. Обернулся, пронизанный мгновенной болью всего тела, всех костей, — это били Иисуса.

Так вот оно!

Видел, как солдаты увели Иисуса к себе в караульню. Ночь проходила, гасли костры и покрывались пеплом, а из караульни все еще неслись глухие крики, смех и ругательства. Это били Иисуса. Точно заблудившись, Искариот проворно бегал по обезлюдовавшему двору, останавливался с разбегу, поднимал голову и снова бежал, удивленно натыкаясь на костры, на стены. Потом прилипал к стене караульни и, вытягиваясь, присасывался к окну, к щелям дверей и жадно разглядывал, что делается там. Видел тесную, душную комнату, грязную, как все караульни в мире, с заплеванным полом и такими замасленными, запятнанными стенами, точно по ним ходили или валялись. И видел человека, которого били. Его били по лицу, по голове, перебрасывали, как мягкий тюк, с одного конца на другой; и так как он не кричал и не сопротивлялся, то минутами, после напряженного смотрения, действительно начинало казаться, что это не живой человек, а какая-то мягкая кукла, без костей и крови. И выгибалась она странно, как кукла, и когда при падении ударялась головой о камни пола, то не было впечатления удара твердым о твердое, а все то же мягкое, безболезненное. И когда долго смотреть, то становилось похоже на какую-то бесконечную странную игру — иногда до полного почти обмана. После одного сильного толчка человек, или кукла, опустился плавным движением на колени к сидящему солдату; тот, в свою очередь, оттолкнул, и оно, перевернувшись, село к следующему, и так еще и еще. Поднялся сильный хохот, и Иуда также улыбнулся — точно чьято сильная рука железными пальцами разодрала ему рот. Это был обманут рот Иуды.

Ночь тянулась, и костры еще тлели. Иуда отвалился от стены и медленно прибрел к одному из костров, раскопал уголь, поправил его и, хотя холода теперь не чувствовал, протянул над огнем слегка дрожащие руки. И забормотал тоскливо:

— Ах, больно, очень больно, сыночек мой, сыночек, сыночек. Больно, очень больно!..

Потом опять пошел к окну, желтеющему тусклым огнем в прорезе черной решетки, и снова стал смотреть, как бьют Иисуса. Один раз перед самыми глазами Иуды промелькнуло его смуглое, теперь обезображенное лицо в чаще спутавшихся волос. Вот чья-то рука впилась в эти волосы, повалила человека и, равномерно переворачивая голову с одной стороны на другую, стала лицом его вытирать заплеванный пол. Под самым окном спал солдат, открыв рот с белыми блестящими зубами; вот чья-то широкая спина с толстой голой шеей загородила окно, и больше ничего уже не видно. И вдруг стало тихо.

Что это? Почему они молчат? Вдруг они догадались?

Мгновенно вся голова Иуды, во всех частях своих, наполняется гулом, криком, ревом тысяч взбесившихся мыслей. Они догадались? Они поняли, что это — самый лучший человек? — это так просто, так ясно. Что там теперь? Стоят перед ним на коленях и плачут тихо, целуя его ноги. Вот выходит он сюда, а за ним ползут покорно те, — выходит сюда, к Иуде, выходит победителем, мужем, властелином правды, богом...

— Кто обманывает Иуду? Кто прав?

Но нет. Опять крик и шум. Бьют опять. Не поняли, не догадались и бьют еще сильнее, еще большее бьют. А костры догорают, покрываясь пеплом, и дым над ними так же прозрачно-синь, как и воздух, и небо так же светло, как и луна. Это наступает день.

— Что такое день? — спрашивает Иуда.

Вот все загорелось, засверкало, помолодело, и дым наверху уже не синий, а розовый. Это восходит солнце.

— Что такое солнце? — спрашивает Иуда.

## VIII

На Иуду показывали пальцами, и некоторые презрительно, другие с ненавистью и страхом говорили:

— Смотрите: это Иуда Предатель!

Это уже начиналась позорная слава его, на которую обрек он себя вовеки. Тысячи лет пройдут, народы сменятся народами, а в воздухе все еще будут звучать слова, произносимые с презрением и страхом добрыми и злыми:

— Иуда Предатель... Иуда Предатель!

Но он равнодушно слушал то, что говорили про него, поглощенный чувством всепобеждающего жгучего любопытства. С самого утра, когда вывели из караульни избитого Иисуса, Иуда ходил за ним и как-то странно не ощущал ни тоски, ни боли, ни радости — одно только непобедимое желание все видеть и все слышать. Хотя не спал всю ночь, но тело свое чувствовал легким; когда его не пропускали вперед, теснили, он расталкивал народ толчками и проворно вылезал на первое место; и ни минуты не оставался в покое его живой и быстрый глаз. При допросе Иисуса Каиафой, чтобы не пропустить ни одного слова, он оттопыривал рукою ухо и утвердительно мотал головою, бормоча:

— Так! Так! Ты слышишь, Иисус!

Но свободным он не был — как муха, привязанная на нитку: жужжа летает она туда и сюда, но ни на одну минуту не оставляет ее послушная и упорная нитка. Какие-то каменные мысли лежали в затылке у Иуды, и к ним он был привязан крепко; он не знал как будто, что это за мысли, не хотел их трогать, но чувствовал их постоянно. И минутами они вдруг надвигались на него, наседали, начинали давить всею своею невообразимой тяжестью — точно свод каменной пещеры медленно и страшно опускался на его голову. Тогда он хватался рукою за сердце, старался шевелиться весь, как озябший, и спешил перевести глаза на новое место, еще на новое место. Когда Иисуса выводили от Каиафы, он совсем близко встретил его утомленный взор и, как-то не отдавая отчета, несколько раз дружелюбно кивнул головою.

— Я здесь, сынок, здесь! — пробормотал он торопливо и со злобой толкнул в спину какого-то ротозея, стоявшего ему на дороге.

Теперь огромной крикливой толпою все двигались к Пилату, на последний допрос и суд, и с тем же невыносимым любопытством Иуда быстро и жадно разглядывал лица все прибывавшего народа. Многие были совершенно незнакомы, их никогда не видел Иуда, но встречались и те, которые кричали Иисусу: «Осанна!» — и с каждым шагом количество их как будто возрастило.

«Так, так! — быстро подумал Иуда, и голова его закружилась, как у пьяного. — Все кончено. Вот сейчас закричат они: это наш, это Иисус, что вы делаете? И все поймут, и...»

Но верующие шли молча. Одни притворно улыбались, делая вид, что все это не касается их; другие что-то сдержанно говорили, но в гуле движения, в громких и исступленных криках врагов Иисуса бесследно тонули их тихие голоса. И опять стало легко. Вдруг Иуда заметил невдалеке осторожно пробиравшегося Фому и, что-то быстро придумав, хотел к нему подойти. При виде предателя Фома испугался и хотел скрыться, но в узенькой грязной уличке, между двух стен, Иуда нагнал его.

— Фома! Да погоди же!

Фома остановился и, протягивая вперед обе руки, торжественно произнес:

— Отойди от меня, сатана.

Искариот нетерпеливо махнул рукою.

— Какой ты глупый, Фома, я думал, что ты умнее других. Сатана! Сатана! Ведь это надо доказать.

Опустив руки, Фома удивленно спросил:

— Но разве не ты предал учителя? Я сам видел, как ты привел воинов и указал им на Иисуса. Если это не предательство, то что же тогда предательство?

— Другое, другое, — торопливо сказал Иуда. — Слушай, вас здесь много. Нужно, чтобы вы все собрались вместе и громко потребовали: отдайте Иисуса, он наш. Вам не откажут, не посмеют. Они сами поймут...

— Что ты! Что ты! — решительно отмахнулся руками Фома. — Разве ты не видел, сколько здесь вооруженных солдат и служителей храма. И потом, суда

еще не было, и мы не должны препятствовать суду. Разве он не поймет, что Иисус невинен, и не повелит немедля освободить его.

— Ты тоже так думаешь? — задумчиво спросил Иуда. — Фома, Фома, но если это правда? Что же тогда? Кто прав? Кто обманул Иуду?

— Мы сегодня говорили всю ночь и решили: не может суд осудить невинного. Если же он осудит...

— Ну! — торопил Искариот.

— ...то это не суд. И им же придется худо, когда надо будет дать ответ перед настоящим Судиею.

— Перед настоящим! Есть еще настоящий! — засмеялся Иуда.

— И все наши прокляли тебя, но так как ты говоришь, что не ты предатель, то, я думаю, тебя следовало бы судить...

Недослушав, Иуда круто повернул и быстро устремился вниз по уличке, вслед за удаляющейся толпой. Но вскоре замедлил шаги и пошел неторопливо, подумав, что когда идет много народа, то всегда идут они медленно и одиноко идущий непременно нагонит их.

Когда Пилат вывел Иисуса из своего дворца и поставил его перед народом, Иуда, прижатый к колонне тяжелыми спинами солдат, яростно ворочающий головою, чтобы рассмотреть что-нибудь между двух блистающих шлемов, вдруг ясно почувствовал, что теперь все кончено. Под солнцем, высоко над головами толпы, он увидел Иисуса, окровавленного, бледного, в терновом венце, оstriями своими вонзившимся в лоб; у края возвышения стоял он, видимый весь с головы до маленьких загорелых ног, и так спокойно ждал, был так ясен в своей непорочности и чистоте, что только слепой, который не видит самого солнца, не увидел бы этого, только безумец не понял бы. И молчал народ — так тихо было, что слышал Иуда, как дышит стоящий впереди солдат и при каждом дыхании где-то поскрипывает ремень на его теле.

«Так. Все кончено. Сейчас они поймут», — подумал Иуда, и вдруг что-то странное, похожее на ослепитель-

ную радость падения с бесконечно высокой горы в голубую сияющую бездну, остановило его сердце.

Презрительно оттянув губы вниз, к круглому бритому подбородку, Пилат бросает в толпу сухие, короткие слова — так кости бросают в стаю голодных собак, думая обмануть их жажду свежей крови и живого трепещущего мяса:

— Вы привели ко мне человека этого, как развращающего народ; и вот я при вас исследовал и не нашел человека этого виновным ни в чем том, в чем вы обвиняете его...

Иуда закрыл глаза. Ждет.

И весь народ закричал, завопил, завыл на тысячу звериных и человеческих голосов:

— Смерть ему! Распни его! Распни его!

И вот, точно глумясь над самим собою, точно в одном миге желая испытать всю беспредельность падения, безумия и позора, тот же народ кричит, вопит, требует тысячи звериных и человеческих голосов:

— Варраву отпусти нам! Его распни! Распни!

Но ведь еще римлянин не сказал своего решающего слова: по его бритому надменному лицу пробегают судороги отвращения и гнева. Он понимает, он понял! Вот он говорит тихо служителям своим, но голос его не слышен в реве толпы. Что он говорит? Велит им взять мечи и ударить на этих безумцев?

— Принесите воды.

Воды? Какой воды? Зачем?

Вот он моет руки — зачем-то моет свои белые, чистые, украшенные перстнями руки — и злобно кричит, поднимая их, удивленно молчащему народу:

— Неповинен я в крови праведника этого. Смотrite вы!

Еще скатывается с пальцев вода на мраморные плиты, когда что-то мягко расплывается у ног Пилата и горячие, острые губы целуют его бессильно сопротивляющуюся руку — присасываются к ней, как щупальца, тянут кровь, почти кусают. С отвращением и страхом он взглядывает вниз — видит больное извивающееся тело, дико двоящееся лицо и два

огромных глаза, так странно непохожих друг на друга, как будто не одно существо, а множество их цепляется за его ноги и руки. И слышит ядовитый шепот, прерывистый, горячий:

— Ты мудрый!.. Ты благородный!.. Ты мудрый, мудрый!..

И такой поистине сатанинскою радостью пылает это дикое лицо, что с криком ногою отталкивает его Пилат, а Иуда падает навзничь. И, лежа на каменных плитах, похожий на опрокинутого дьявола, он все еще тянется рукою к уходящему Пилату и кричит, как страстно влюбленный:

— Ты мудрый! Ты мудрый! Ты благородный!

Затем проворно поднимается и бежит, провожаемый хохотом солдат. Ведь еще не все кончено. Когда они увидят крест, когда они увидят гвозди, они могут понять, и тогда... Что тогда? Видит мельком оторопелого бледного Фому и зачем-то, успокоительно кивнув ему головою, нагоняет Иисуса, ведомого на казнь. Идти тяжело, мелкие камни скатываются под ногами, и вдруг Иуда чувствует, что он устал. Весь уходит в заботу о том, чтобы лучше ставить ногу, тускло смотрит по сторонам и видит плачущую Марию Магдалину, видит множество плачущих женщин — распущеные волосы, красные глаза, искривленные уста, — всю безмерную печаль нежной женской души, отданной на поругание. Оживляется внезапно и, улучив мгновение, побегает к Иисусу:

— Я с тобою, — шепчет он торопливо.

Солдаты отгоняют его ударами бичей, и, извиваясь, чтобы ускользнуть от ударов, показывая солдатам оскаленные зубы, он поясняет торопливо:

— Я с тобою. Туда. Ты понимаешь, туда!

Вытирает с лица кровь и грозит кулаком солдату, который оборачивается, смеясь, и показывает на него другим. Ищет зачем-то Фому — но ни его, ни одного из учеников нет в толпе провожающих. Снова чувствует усталость и тяжело передвигает ноги, внимательно разглядывая острые, белые, рассыпающиеся камешки.

Когда был поднят молот, чтобы пригвоздить к дереву левую руку Иисуса, Иуда закрыл глаза и целую вечность не дышал, не видел, не жил, а только слушал. Но вот со скрежетом ударилось железо о железо, и раз за разом тупые, короткие, низкие удары — слышно, как входит острый гвоздь в мягкое дерево, раздвигая частицы его...

Одна рука. Еще не поздно.

Другая рука. Еще не поздно.

Нога, другая нога — неужели все кончено? Нерешительно раскрывает глаза и видит, как поднимается, качаясь, крест и устанавливается в яме. Видит, как, напряженно содрогаясь, вытягиваются мучительно руки Иисуса, расширяют раны — и внезапно уходит под ребра опавший живот. Тянутся, тянутся руки, становятся тонкие, белеют, вывертываются в плечах, и раны под гвоздями краснеют, ползут — вот оборвутся они сейчас... Нет, остановилось. Все остановилось. Только ходят ребра, поднимаемые коротким глубоким дыханием.

На самом темени земли вздымается крест — и на нем распятый Иисус. Осуществился ужас и мечты Искриота, — он поднимается с колен, на которых стоял зачем-то, и холодно оглядывается кругом. Так смотрит суровый победитель, который уже решил в сердце своем предать все разрушению и смерти и в последний раз обводит взором чужой и богатый город, еще живой и шумный, но уже призрачный под холодною рукою смерти. И вдруг так же ясно, как ужасную победу свою, видит Искриот ее зловещую шаткость. А вдруг они поймут? Еще не поздно. Иисус еще жив. Вот смотрит он зовущими, тоскующими глазами...

Что может удержать от разрыва тоненькую пленку, застилающую глаза людей, такую тоненькую, что ее как будто нет совсем? Вдруг — они поймут? Вдруг всею своею грозною массой мужчин, женщин и детей они двинутся вперед, молча, без крика, сотрут солдат, зальют их по уши своею кровью, вырвут из земли проклятый крест и руками оставшихся в живых высоко над

теменем земли поднимут свободного Иисуса! Осанна! Осанна!

Осанна? Нет, лучше Иуда ляжет на землю. Нет, лучше, лежа на земле и ляская зубами, как собака, он будет высматривать и ждать, пока не поднимутся все те. Но что случилось с временем? То почти останавливается оно, так что хочется пихать его руками, бить ногами, кнутом, как ленивого осла, — то безумно мчится оно с какой-то горы, и захватывает дыхание, и руки напрасно ищут опоры. Вон плачет Мария Магдалина. Вон плачет мать Иисуса. Пусть плачут. Разве значат сейчас что-нибудь ее слезы, слезы всех матерей, всех женщин в мире!

— Что такое слезы? — спрашивает Иуда и бешено толкает неподвижное время, бьет его кулаками, прогнинает, как раба. Оно чужое и оттого так непослушно. О, если бы оно принадлежало Иуде, — но оно принадлежит всем этим плачущим, смеющимся, болтающим, как на базаре; оно принадлежит солнцу; оно принадлежит кресту и сердцу Иисуса, умирающему так медленно.

Какое подлое сердце у Иуды! Он держит его рукою, а оно кричит «Осанна!» так громко, что вот услышат все. Он прижимает его к земле, а оно кричит: «Осанна, Осанна!» — как болтун, который на улице разбрасывает святые тайны... Молчи! Молчи!

Вдруг громкий оборванный плач, глухие крики, спешное движение к кресту. Что это? Поняли?

Нет, умирает Иисус. И это может быть? Да, Иисус умирает. Бледные руки неподвижны, но по лицу, по груди и ногам пробегают короткие судороги. И это может быть? Да, умирает. Дыхание реже. Остановилось... Нет, еще вздох, еще на земле Иисус. И еще? Нет... Нет... Нет... Иисус умер.

Свершилось. Осанна! Осанна!

---

Осуществился ужас и мечты. Кто вырвет теперь победу из рук Искриота? Свершилось. Пусть все народы, какие есть на Земле, стекутся к Голгофе и возо-

пиют миллионами своих глоток: «Осанна, Осанна!» — и моря крови и слез прольют к подножию ее — они найдут только позорный крест и мертвого Иисуса.

Спокойно и холодно Искариот оглядывает умершего, останавливается на миг взором на щеке, которую еще только вчера поцеловал он прощальным поцелуем, и медленно отходит. Теперь все время принадлежит ему, и идет он неторопливо; теперь вся Земля принадлежит ему, и ступает он твердо, как повелитель, как царь, как тот, кто беспредельно и радостно в этом мире одинок. Замечает мать Иисуса и говорит ей сурово:

— Ты плачешь, мать? Плачь, плачь, и долго еще будут плакать с тобою все матери Земли. Дотоле, пока не приDEM мы вместе с Иисусом и не разрушим смерть.

Что он — безумен или издевается, этот предатель? Но он серьезен, и лицо его строго, и в безумной торопливости не бегают его глаза, как прежде. Вот останавливается он и с холодным вниманием осматривает новую, маленькую Землю. Маленькая она стала, и всю ее он чувствует под своими ногами; смотрит на маленькие горы, тихо краснеющие в последних лучах солнца, и горы чувствует под своими ногами; смотрит на небо, широко открывшее свой синий рот, смотрит на кругленькое солнце, безуспешно старающееся обжечь и ослепить, — и небо и солнце чувствует под своими ногами. Беспредельно и радостно одинокий, он гордо ощутил бессилие всех сил, действующих в мире, и все их бросил в пропасть.

И дальше идет он спокойными и властными шагами. И не идет время ни спереди, ни сзади; покорное, вместе с ним движется оно всею своей незримою громадой.

Свершилось.

## IX

Старым обманщиком, покашливая, льстиво улыбаясь, кланяясь бесконечно, явился перед синедрион-

ном<sup>1</sup> Иуда из Кариота — Предатель. Это было на другой день после убийства Иисуса, около полудня. Тут были все они, его судьи и убийцы: и престарелый Анна со своими сыновьями, тучными и отвратительными подобиями отца, и снедаемый честолюбием Каиафа, зять его, и все другие члены синедриона, укравшие имена свои у памяти людской, — богатые и знатные саддукеи, гордые силою своею и знанием закона. Молча встретили они Предателя, и надменные лица их остались неподвижны: как будто не вошло ничего. И даже самый маленький из них и ничтожный, на которого другие не обращали внимания, поднимал кверху свое птичье лицо и смотрел так, будто не вошло ничего. Иуда кланялся, кланялся, кланялся, а они смотрели и молчали, как будто не человек вошел, а только вползло нечистое насекомое, которого не видно. Но не такой был человек Иуда из Кариота, чтобы смутиться, они молчали, а он себе кланялся и думал, что если и до вечера придется, то и до вечера он будет кланяться.

Наконец нетерпеливый Каиафа спросил:

— Что надо тебе?

Иуда еще раз поклонился и громко сказал:

— Это я, Иуда из Кариота, тот, что предал вам Иисуса Назарея.

— Так что же? Ты получил свое. Ступай! — приказал Анна, но Иуда как будто не слыхал приказания и продолжал кланяться.

И, взглянув на него, Каиафа спросил Анну:

— Сколько ему дали?

— Тридцать серебренников.

Каиафа усмехнулся, усмехнулся и сам седой Анна, и по всем надменным лицам скользнула веселая улыбка; а тот, у которого было птичье лицо, даже засмеялся. И, заметно бледнея, быстро подхватил Иуда:

— Так, так. Конечно, очень мало, но разве Иуда не доволен, разве Иуда кричит, что его ограбили? Он до-

---

<sup>1</sup> Синедрион — совет старейшин, высшее государственное учреждение с политическими и судебными функциями в древней Иудее.

волен. Разве не святому делу он послужил? Святому. Разве не самые мудрые люди слушают теперь Иуду и думают: он наш, Иуда из Кариота, он наш брат, наш друг, Иуда из Кариота, Предатель? Разве Анне не хочется стать на колени и поцеловать у Иуды руку? Но только Иуда не даст, он трус, он боится, что его укусят.

Каиафа сказал:

— Выгони этого пса. Что он лает?

— Ступай отсюда. Нам нет времени слушать твою болтовню, — равнодушно сказал Анна.

Иуда выпрямился и закрыл глаза. То притворство, которое так легко носил он всю свою жизнь, вдруг стало невыносимым бременем; и одним движением ресниц он сбросил его. И когда снова взглянул на Анну, то был взор его прост, и прям, и страшен в своей голой правдивости. Но и на это не обратили внимания.

— Ты хочешь, чтобы тебя выгнали палками? — крикнул Каиафа.

Задыхаясь под тяжестью страшных слов, которые он поднимал все выше и выше, чтобы бросить их оттуда на головы судей, Иуда хрипло спросил:

— А вы знаете... вы знаете... кто был он — тот, которого вчера вы осудили и распяли?

— Знаем. Ступай!

Одним словом он прорвет сейчас ту тонкую плёнку, что застилает их глаза, — и вся земля дрогнет под тяжестью беспощадной истины! У них была душа — они лишатся ее; у них была жизнь — они потеряют жизнь; у них был свет перед очами — вечная тьма и ужас покроют их. Осанна! Осанна!

И вот они, эти страшные слова, раздирающие горло:

— Он не был обманщик. Он был невинен и чист. Вы слышите? Иуда обманул вас. Он предал вам невинного.

Ждет. И слышит равнодушный старческий голос Анны:

— И это все, что ты хотел сказать?

— Кажется, вы не поняли меня, — говорит Иуда с достоинством, бледнея. — Иуда обманул вас. Он был невинен. Вы убили невинного.

Тот, у которого птичье лицо, улыбается, но Анна равнодушен, Анна скучен, Анна зевает. И зевает вслед за ним Каиафа и говорит утомленно:

— Что же мне говорили об уме Иуды из Кариота? Это просто дурак, очень скучный дурак.

— Что! — кричит Иуда, весь наливаясь темным бешенством. — А кто вы, умные! Иуда обманул вас — вы слышите! Не его он предал, а вас, мудрых, вас, сильных, предал он позорной смерти, которая не кончится вовеки. Тридцать серебреников! Так, так. Но ведь это цена вашей крови, грязной, как те помои, что выливают женщины за ворота домов своих. Ах, Анна, старый, седой, глупый Анна, наглотавшийся закона, — зачем ты не дал одним серебреником, одним оболом больше! Ведь в этой цене пойдешь ты вовеки!

— Вон! — закричал побагровевший Каиафа.

Но Анна остановил его движением руки и все так же равнодушно спросил Иуду:

— Теперь все?

— Ведь если я пойду в пустыню и крикну зверям: звери, вы слышали, во сколько оценили люди своего Иисуса? Что сделают звери? Они вылезут из логовищ, они завоюют от гнева, они забудут свой страх перед человеком и все придут сюда, чтобы сожрать вас! Если я скажу морю: море, ты знаешь, во сколько люди оценили своего Иисуса? Если я скажу горам: горы, вы знаете, во сколько люди оценили Иисуса? И море и горы оставят свои места, определенные извека, и придут сюда, и упадут на головы ваши!

— Не хочет ли Иуда стать пророком? Он говорит так громко! — насмешливо заметил тот, у которого было птичье лицо, и заискивающе взглянул на Каиафу.

— Сегодня я видел бледное солнце. Оно смотрело с ужасом на землю и говорило: где же человек? Сегодня я видел скорпиона. Он сидел на камне и смеялся и говорил: где же человек? Я подошел близко и в глаза ему посмотрел. И он смеялся и говорил: где же чело-

век, скажите мне, я не вижу! Или ослеп Иуда, бедный Иуда из Кариота!

И Искариот громко заплакал. Был он в эти минуты похож на безумного, и Каиафа, отвернувшись, презрительно махнул рукою. Анна же подумал немного и сказал:

— Я вижу, Иуда, что ты действительно получил мало и это волнует тебя. Вот еще деньги, возьми и отдай своим детям.

Он бросил что-то, звякнувшее резко. И еще не замолк этот звук, как другой, похожий, странно продолжил его: это Иуда горстью бросал серебренники и оболы в лица первосвященника и судей, возвращая плачу за Иисуса. Косым дождем криво летели монеты, попадая в лица, на стол, раскатываясь по полу. Некоторые из судей закрывались руками, ладонями наружу, другие, вскочив с мест, кричали и бралились. Иуда, стараясь попасть в Анну, бросил последнюю монету, за которую долго шарила в мешке его дрожащая рука, плонул и гневно вышел.

— Так, так! — бормотал он, быстро проходя по уличкам и пугая детей. — Ты, кажется, плакал, Иуда? Разве действительно прав Каиафа, говоря, что глуп Иуда из Кариота? Кто плачет в день великой мести, тот недостоин ее — знаешь ли ты это, Иуда? Не давай глазам твоим обманывать тебя, не давай сердцу твоему лгать, не заливай огня слезами, Иуда из Кариота!

Ученики Иисуса сидели в грустном молчании и прислушивались к тому, что делается снаружи дома. Еще была опасность, что месть врагов Иисуса не ограничится им одним, и все ждали вторжения страхи и, быть может, новых казней. Возле Иоанна, которому, как любимому ученику Иисуса, была особенно тяжела смерть его, сидели Мария Магдалина и Матфей и вполголоса утешали его. Мария, у которой лицо распухло от слез, тихо гладила рукою его пышные волнистые волосы, Матфей же наставительно говорил словами Соломона:

— «Долготерпеливый лучше храброго, и владеющий собою лучше завоевателя города».

В это мгновение, громко хлопнув дверью, вошел Иуда Искриот. Все испуганно вскочили и вначале даже не поняли, кто это, а когда разглядели ненавистное лицо и рыжую бугроватую голову, то подняли крик. Петр же поднял обе руки и закричал:

— Уходи отсюда, Предатель! Уходи, иначе я убью тебя!

Но всмотрелись лучше в лицо и глаза Предателя и смолкли, испуганно шепча:

— Оставьте! Оставьте его! В него вселился сатана.

Выждав тишину, Иуда громко воскликнул:

— Радуйтесь, глаза Иуды из Кариота! Холодных убийц вы видели сейчас — и вот уже трусливые предатели пред вами! Где Иисус? Я вас спрашиваю: где Иисус?

Было что-то властное в хриплом голосе Искриота, и покорно ответил Фома:

— Ты же сам знаешь, Иуда, что учителя нашего вчера вечером распяли.

— Как же вы позволили это? Где же была ваша любовь? Ты, любимый ученик, ты — камень, где были вы, когда на дереве распинали вашего друга?

— Что же могли мы сделать, посуди сам, — развел руками Фома.

— Ты это спрашиваешь, Фома? Так, так! — склонил голову набок Иуда из Кариота и вдруг гневно обрушился: — Кто любит, тот не спрашивает, что делать! Он идет и делает все. Он плачет, он кусается, он душит врага и кости ломает у него! Кто любит! Когда твой сын утопает, разве ты идешь в город и спрашиваешь прохожих: «Что мне делать? Мой сын утопает!» — а не бросаешься сам в воду и не тонешь рядом с сыном. Кто любит!

Петр хмуро ответил на неистовую речь Иуды:

— Я обнажил меч, но он сам сказал — не надо.

— Не надо? И ты послушался? — засмеялся Искриот. — Петр, Петр, разве можно его слушать! Разве понимает он что-нибудь в людях, в борьбе!

— Кто не повинуется ему, тот идет в геенну огненную.

— Отчего же ты не пошел? Отчего ты не пошел, Петр? Геенна огненная — что такое геенна? Ну и пусть бы ты пошел — зачем тебе душа, если ты не смеешь бросить ее в огонь когда захочешь!

— Молчи! — крикнул Иоанн, поднимаясь. — Он сам хотел этой жертвы. И жертва его прекрасна!

— Разве есть прекрасная жертва, что ты говоришь, любимый ученик? Где жертва, там и палач, и предатели там! Жертва — это страдания для одного и позор для всех. Предатели, предатели, что сделали вы с Землею? Теперь смотрят на нее сверху и снизу и хохотут и кричат: посмотрите на эту Землю, на ней распяли Иисуса! И пллюют на нее — как я!

Иуда гневно плонул на землю.

— Он весь грех людей взял на себя. Его жертва прекрасна! — настаивал Иоанн.

— Нет, вы на себя взяли весь грех. Любимый ученик! Разве не от тебя начнется род предателей, порода малодушных и лжецов? Слепцы, что сделали вы с Землею? Вы погубить ее захотели, вы скоро будете целовать крест, на котором вы распяли Иисуса! Так, так — целовать крест обещает вам Иуда!

— Иуда, не оскорбляй! — прорычал Петр, багровея. — Как могли бы мы убить всех врагов его? Их так много!

— И ты, Петр! — с гневом воскликнул Иоанн. — Разве ты не видишь, что в него вселился сатана? Отойди от нас, искуситель. Ты полон лжи! Учитель не велел убивать.

— Но разве он запретил вам и умирать? Почему же вы живы, когда он мертв? Почему ваши ноги ходят, ваш язык болтает дрянное, ваши глаза моргают, когда он мертв, недвижим, безгласен? Как смеют быть красными твои щеки, Иоанн, когда его бледны? Как смеешь ты кричать, Петр, когда он молчит? Что делать? — спрашиваете вы Иуду. И отвечает вам Иуда, прекрасный, смелый Иуда из Кариота: умереть. Вы должны были пасть на дороге, за мечи, за руки хватать солдат. Утопить их в море своей крови — умереть, уме-

реть! Пусть бы сам Отец его закричал от ужаса, когда все вы вошли бы туда!

Иуда замолчал, подняв руку, и вдруг заметил на столе остатки трапезы. И с странным изумлением, любопытно, как будто первый раз в жизни увидел пищу, оглядел ее и медленно спросил:

— Что это? Вы ели? Быть может, вы спали также?

— Я спал, — кротко опустив голову, ответил Петр, уже чувствуя в Иуде кого-то, кто может приказывать. — Спал и ел.

Фома решительно и твердо сказал:

— Это все неверно, Иуда. Подумай: если бы все умерли, то кто бы рассказал об Иисусе? Кто бы понес людям его учение, если бы умерли все: и Петр, и Иоанн, и я?

— А что такое сама правда в устах предателей? Разве не ложью становится она? Фома, Фома, разве ты не понимаешь, что только сторож ты теперь у гроба мертвой правды. Засыпает сторож, и приходит вор, и уносит правду с собою, — скажи, где правда? Будь же ты проклят, Фома! Бесплоден и нищ ты будешь вовеки, и вы с ним, проклятые!

— Будь сам проклят, сатана! — крикнул Иоанн, и повторили его возглас Иаков, и Матфей, и все другие ученики.

Только Петр молчал.

— Я иду к нему! — сказал Иуда, простирая вверх властную руку. — Кто за Искариотом к Иисусу?

— Я! Я с тобою! — крикнул Петр, вставая.

Но Иоанн и другие с ужасом остановили его, говоря:

— Безумный! Ты забыл, что он предал Учителя в руки врагов!

Петр ударил себя кулаком в грудь и горько заплакал:

— Куда же мне идти? Господи! Куда же мне идти!

---

Иуда давно уже, во время своих одиноких прогулок, наметил то место, где он убьет себя после смерти Иисуса. Это было на горе, высоко над Иерусалимом, и стояло там только одно дерево, кривое, измученное

ветром, рвущим его со всех сторон, полузасохшее. Одну из своих обломанных кривых ветвей оно протянуло к Иерусалиму, как бы благословляя его или чем-то угрожая, и ее избрал Иуда для того, чтобы сделать на ней петлю. Но идти до дерева было далеко и трудно, и очень устал Иуда из Кариота. Все те же маленькие острые камешки рассыпались у него под ногами и точно тянули его назад, а гора была высока, обвеяна ветром, угрюма и зла. И уже несколько раз присаживался Иуда отдохнуть и дышал тяжело, а сзади, сквозь расселины камней, холодом дышала в его спину гора.

— Ты еще, проклятая! — говорил Иуда презрительно и дышал тяжело, покачивая тяжелой головою, в которой все мысли теперь окаменели. Потом вдруг поднимал ее, широко раскрывал застывшие глаза и гневно бормотал:

— Нет, они слишком плохи для Иуды. Ты слышишь, Иисус? Теперь ты мне поверишь? Я иду к тебе. Встреть меня ласково — я устал. Я очень устал. Потом мы вместе с тобою, обнявшись, как братья, вернемся на Землю. Хорошо?

Опять качал каменеющей головою и опять широко раскрыл глаза, бормоча:

— Но, может быть, ты и там будешь сердиться на Иуду из Кариота? И не поверишь? И в ад меня пошлешь? Ну что же! Я пойду в ад! И на огне твоего ада я буду ковать железо и разрушу твое небо. Хорошо? Тогда ты поверишь мне? Тогда пойдешь со мною назад, на Землю, Иисус?

Наконец добрался Иуда до вершины и до кривого дерева, и тут стал мучить его ветер. Но когда Иуда выбранил его, тот начал петь мягко и тихо, — улетал куда-то ветер и прощался.

— Хорошо, хорошо! А они собаки! — ответил ему Иуда, делая петлю.

И так как веревка могла обмануть его и оборваться, то повесил он ее над обрывом, — если оборвется, то все равно на камнях найдет он смерть. И перед тем как оттолкнуться ногою от края и повиснуть, Иуда из Кариота еще раз заботливо предупредил Иисуса:

— Так встреть же меня ласково — я очень устал, Иисус.

И прыгнул. Веревка натянулась, но выдержала: шея Иуды стала тоненькая, а руки и ноги сложились и обвисли, как мокрые. Умер. Так в два дня, один за другим, оставили землю Иисус Назарей и Иуда из Кариота, Предатель.

Всю ночь, как какой-то чудовищный плод, качался Иуда над Иерусалимом; и ветер поворачивал его то к городу лицом, то к пустыне — точно и городу и пустыне хотел он показать Иуду. Но, куда бы ни поворачивалось обезображенное смертью лицо, красные глаза, налитые кровью и теперь одинаковые, как братья, неотступно смотрели в небо. А наутро кто-то зоркий увидел над городом висящего Иуду и закричал в испуге. Пришли люди, и сняли его, и, узнав, кто это, бросили его в глухой овраг, куда бросали дохлых лошадей, кошек и другую падаль.

И в тот вечер уже все верующие узнали о страшной смерти Предателя, а на другой день узнал о ней весь Иерусалим. Узнала о ней каменистая Иудея, и зеленая Галилея узнала о ней; и до одного моря и до другого, которое еще дальше, долетела весть о смерти Предателя. Ни быстрее, ни тише, но вместе с временем шла она, и как нет конца у времени, так не будет конца рассказам о предательстве Иуды и страшной смерти его. И все — добрые и злые — одинаково предадут проклятию позорную память его; и у всех народов, какие были, какие есть, останется он одиноким в жестокой участи своей — Иуда из Кариота, Предатель.

24 февраля 1907 г.

Капри



## КРАСНЫЙ СМЕХ

### ОТРЫВКИ ИЗ НАЙДЕННОЙ РУКОПИСИ

#### Часть I

#### ОТРЫВОК ПЕРВЫЙ

...безумие и ужас.

Впервые я почувствовал это, когда мы шли по энской дороге, — шли десять часов непрерывно, не останавливаясь, не замедляя хода, не подбирая упавших и оставляя их неприятелю, который сплошными массами двигался сзади нас и через три-четыре часа стирал следы наших ног своими ногами. Стоял зной. Не знаю, сколько было градусов: сорок, пятьдесят или больше; знаю только, что он был непрерывен, безнадежно-ровен и глубок. Солнце было так огромно, так огненно и страшно, как будто земля приблизилась к нему и скоро сгорит в этом беспощадном огне. И не смотрели глаза. Маленький, сузившийся зрачок, маленький, как зернышко мака, тщетно искал тьмы под сенью закрытых век: солнце пронизывало тонкую

оболочку и кровавым светом входило в измученный мозг. Но все-таки так было лучше, и я долго, быть может несколько часов, шел с закрытыми глазами, слыша, как движется вокруг меня толпа: тяжелый и неровный топот ног, людских и лошадиных, скрежет железных колес, раздавливающих мелкий камень, чье-то тяжелое, надорванное дыхание и сухое чмоканье запекшимися губами. Но слов я не слыхал. Все молчали, как будто двигалась армия немых, и когда кто-нибудь падал, он падал молча, и другие натыкались на его тело, падали, молча поднимались и, не оглядываясь, шли дальше, как будто эти немые были также глухи и слепы. Я сам несколько раз натыкался и падал и тогда невольно открывал глаза, — и то, что я видел, казалось диким вымыслом, тяжелым бредом обезумевшей земли. Раскаленный воздух дрожал, и беззвучно, точно готовые потечь, дрожали камни; и дальние ряды людей на завороте, орудия и лошади отделились от земли и беззвучно, студенисто колыхались — точно не живые люди это шли, а армия бесплотных теней. Огромное, близкое, страшное солнце на каждом стволе ружья, на каждой металлической бляхе зажгло тысячи маленьких ослепительных солнц, и они отовсюду, с боков и снизу, забирались в глаза, огненно-белые, острые, как концы добела раскаленных штыков. А иссушающий, палящий жар проникал в самую глубину тела, в кости, в мозг, и чудилось порою, что на плечах покачивается не голова, а какой-то странный и необыкновенный шар, тяжелый и легкий, чужой и страшный.

И тогда — и тогда внезапно я вспомнил дом: уголок комнаты, клочок голубых обоев и запыленный, нетронутый графин с водою на моем столике — на моем столике, у которого одна ножка короче двух других и под нее подложен свернутый кусочек бумаги. А в соседней комнате, и я их не вижу, будто бы находятся жена моя и сын. Если бы я мог кричать, я закричал бы — так необыкновенен был этот простой и мирный образ, этот клочок голубых обоев и запыленный, нетронутый графин.

Знаю, что я остановился, подняв руки, но кто-то сзади толкнул меня; я быстро зашагал вперед, раздвигая толпу, куда-то торопясь, уже не чувствуя ни жара, ни усталости. И я долго шел так сквозь бесконечные молчаливые ряды, мимо красных, обожженных затылков, почти касаясь бессильно опущенных горячих штыков, когда мысль о том, что же я делаю, куда иду так торопливо, остановила меня. Так же торопливо я повернулся в сторону, пробился на простор, перелез какой-то овраг и озабоченно сел на камень, как будто этот шершавый, горячий камень был целью всех моих стремлений.

И тут впервые я почувствовал это. Я ясно увидел, что эти люди, молчаливо шагающие в солнечном блеске, омертвевшие от усталости и зноя, качающиеся и падающие, — что это безумные. Они не знают, куда они идут, они не знают, зачем это солнце, они ничего не знают. У них не голова на плечах, а странные и страшные шары. Вот один, как и я, торопливо пробирается сквозь ряды и падает; вот другой, третий. Вот поднялась над толпою голова лошади с красными безумными глазами и широко оскаленным ртом, только намекающим на какой-то страшный и необыкновенный крик, поднялась, упала, и в этом месте на минуту сгущается народ, приостанавливается, слышны хриплые, глухие голоса, короткий выстрел, и потом снова молчаливое, бесконечное движение. Уже час сижу я на этом камне, а мимо меня все идут, и все так же дрожит земля, и воздух, и дальние призрачные ряды. Меня снова пронизывает иссушающий зной, и я уже не помню того, что представилось мне на секунду, а мимо меня все идут, идут, и я не понимаю, кто это. Час тому назад я был один на этом камне, а теперь уже собралась вокруг меня кучка серых людей: одни лежат и неподвижны, быть может умерли; другие сидят и остолбенело смотрят на проходящих, как и я. У одних есть ружья, и они похожи на солдат; другие раздеты почти догола, и кожа на теле так багрово-красна, что на нее не хочется смотреть. Недалеко от меня лежит кто-то голой спиной кверху.

По тому, как равнодушно уперся он лицом в острый и горячий камень, по белизне ладони опрокинутой руки видно, что он мертв, но спина его красна, точно у живого, и только легкий желтоватый налет, как в копченом мясе, говорит о смерти. Мне хочется отодвинуться от него, но нет сил, и, покачиваясь, я смотрю на бесконечно идущие, призрачные покачивающиеся ряды. По состоянию моей головы я знаю, что и у меня сейчас будет солнечный удар, но жду этого спокойно, как во сне, где смерть является только этапом на путях чудесных и запутанных видений.

И я вижу, как из толпы выделяется солдат и решительно направляется в нашу сторону. На минуту он пропадает во рву, а когда вылезает оттуда и снова идет, шаги его нетверды, и что-то последнее чувствуется в его попытках собрать свое разбрасывающееся тело. Он идет так прямо на меня, что сквозь тяжелую дрему, охватившую мозг, я пугаюсь и спрашиваю:

— Чего тебе?

Он останавливается, как будто ждал только слова, и стоит огромный, бородатый, с разорванным воротом. Ружья у него нет, штаны держатся на одной пуговице, и сквозь прореху видно белое тело. Руки и ноги его разбросаны, и он, видимо, старается собрать их, но не может: сведет руки — и они тотчас распадутся.

— Ты что? Ты лучше сядь, — говорю я.

Но он стоит, безуспешно подбираясь, молчит и смотрит на меня. И я невольно поднимаюсь с камня и, шатаясь, смотрю в его глаза — и вижу в них бездну ужаса и безумия. У всех зрачки сужены, — а у него расплылись они во весь глаз: какое море огня должен видеть он сквозь эти огромные черные окна! Быть может, мне показалось, быть может, в его взгляде была только смерть, — но нет, я не ошибаюсь: в этих черных бездонных зрачках, обведенных узеньким оранжевым кружком, как у птиц, было больше, чем смерть, больше, чем ужас смерти.

— Уходи! — кричу я, отступая. — Уходи!

И как будто он ждал только слова — он падает на меня, сбивая меня с ног, все такой же огромный, раз-

бросанный и безгласный. Я с содроганием освобождаю придавленные ноги, вскакиваю и хочу бежать — куда-то в сторону от людей, в солнечную, безлюдную, дрожащую даль, когда слева, на вершине, бухает выстрел и за ним немедленно, как эхо, два других. Где-то над головою, с радостным многоголосым визгом, криком и воем, проносится граната.

Нас обошли!

Нет уже более смертоносной жары, ни этого страха, ни усталости. Мысли мои ясны, представления отчетливы и резки; когда, запыхавшись, я подбегаю к выстраивающимся рядам, я вижу просветлевшие, как будто радостные лица, слышу хриплые, но громкие голоса, приказания, шутки. Солнце точно взобралось выше, чтобы не мешать, потускнело, притихло — и снова с радостным визгом, как ведьма, резнула воздух граната.

Я подошел.

## ОТРЫВОК ВТОРОЙ

...почти все лошади и прислуга. На восьмой батарее так же. На нашей, двенадцатой, к концу третьего дня осталось только три орудия — остальные подбиты, — шесть человек прислуги и один офицер — я. Уже двадцать часов мы не спали и ничего не ели, трое суток сатанинский грохот и визг окутывал нас тучей безумия, отделял нас от земли, от неба, от своих, — и мы, живые, бродили — как лунатики. Мертвые, те лежали спокойно, а мы двигались, делали свое дело, говорили и даже смеялись и были — как лунатики. Движения наши были уверенны и быстры, приказания ясны, исполнение точно, — но если бы внезапно спросить каждого, кто он, он едва ли бы нашел ответ в затемненном мозгу. Как во сне, все лица казались давно знакомыми, и все, что происходило,казалось также давно знакомым, понятным, уже бывшим когда-то; а когда я начинал пристально вглядываться в какое-нибудь лицо или в орудие или слушал грохот,

все поражало меня своей новизною и бесконечной загадочностью. Ночь наступала незаметно, и не успевали мы увидеть ее и изумиться, откуда она взялась, как уже снова горело над нами солнце. И только от приходивших на батарею мы узнавали, что бой вступает в третьи сутки, и тотчас же забывали об этом: нам чудилось, что это идет все один бесконечный, безначальный день, то темный, то яркий, но одинаково непонятный, одинаково слепой. И никто из нас не боялся смерти, так как никто не понимал, что такое смерть.

На третью или на четвертую ночь, я не помню, на одну минуту я прилег за бруствером, и, как только закрыл глаза, в них вступил тот же знакомый и необыкновенный образ: клочок голубых обоев и нетронутый, запыленный графин на моем столике. А в соседней комнате — и я их не вижу — находятся будто бы жена моя и сын. Но только теперь на столе горела лампа с зеленым колпаком, значит, был вечер или ночь. Образ остановился неподвижно, и я долго и очень спокойно, очень внимательно рассматривал, как играет огонь в хрустale графина, разглядывал обои и думал: почему не спит сын — уже ночь, и ему пора спать. Потом опять разглядывал обои, все эти завитки, серебристые цветы, какие-то решетки и трубы, — я никогда не думал, что так хорошо знаю свою комнату. Иногда я открывал глаза и видел черное небо с какими-то красивыми огнистыми полосами, и снова закрывал их, и снова разглядывал обои, блестящий графин и думал: почему не спит сын — уже ночь, и ему надо спать. Раз недалеко от меня разорвалась граната, колыхнув чем-то мои ноги, и кто-то крикнул громко, громче самого взрыва, и я подумал: «Кто-то убит!» — но не поднялся и не оторвал глаз от голубеньких обоев и графина.

Потом я встал, ходил, распоряжался, глядел в лица, наводил прицел, а сам все думал: отчего не спит сын? Раз спросил об этом у ездового, и он долго и подробно объяснял мне что-то, и оба мы кивали головами. И он смеялся, а левая бровь у него дергалась, и

глаз хитро подмаргивал на кого-то сзади. А сзади видны были подошвы чьих-то ног — и больше ничего.

В это время было уже светло, и вдруг — капнула дождь. Дождь — как у нас, самые обыкновенные капельки воды. Он был так неожидан и неуместен, и мы все так испугались промокнуть, что бросили орудия, перестали стрелять и начали прятаться куда попало. Ездовой, с которым мы только что говорили, полез под лафет и прикорнул там, хотя его могли каждую минуту задавить, толстый фейерверкер<sup>1</sup> стал зачем-то раздевать убитого, а я заметался по батарее и что-то искал — плащ, не то зонтик. И сразу на всем огромном пространстве, где капнула дождь из набежавшей тучи, наступила необыкновенная тишина. Запоздало взвизгнула и разорвалась шрапнель, и тихо стало — так тихо, что слышно было, как сопит толстый фейерверкер и стукают по камню и по орудиям капельки дождя. И этот тихий и дробный стук, напоминающий осень, и запах взмоченной земли, и тишина — точно разорвали на мгновение кровавый и дикий кошмар, и когда я взглянул на мокрое, блестящее от воды орудие, оно неожиданно и странно напомнило что-то милое, тихое, не то детство мое, не то первую любовь. Но вдалеке особенно громко прозвучал первый выстрел, и исчезло очарование мгновенной тишины; с тою же внезапностью, с какою люди прятались, они начали вылезать из-под своих прикрытий; на кого-то закричал толстый фейерверкер; грохнуло орудие, за ним второе, снова кровавый неразрывный туман заволок измученные мозги. И никто не заметил, когда прекратился дождь; помню только, что с убитого фейерверкера, с его толстого, обрюзгшего желтого лица скатывалась вода, — вероятно, дождь продолжался довольно долго...

...Передо мною стоял молоденький вольноопределяющийся и докладывал, держа руку к козырьку, что генерал просит нас удержаться только два часа, а там подойдет подкрепление. Я думал о том, почему не спит

---

<sup>1</sup> Ф е ё р в ё р к е р — унтер-офицер артиллерии.

мой сын, и отвечал, что могу продержаться сколько угодно. Но тут меня почему-то заинтересовало его лицо, вероятно своею необыкновенной и поразительной бледностью. Я ничего не видел белее этого лица: даже у мертвых больше краски в лице, чем на этом молоденьком, безусом. Должно быть, по дороге к нам он сильно перепугался и не мог оправиться; и руку у козырька он держал затем, чтобы этим привычным и простым движением отогнать сумасшедший страх.

— Вы боитесь? — спросил я, трогая его за локоть. Но локоть был как деревянный, а сам он тихонько улыбался и молчал. Вернее, дергались в улыбке только его губы, а в глазах были только молодость и страх — и больше ничего. — Вы боитесь? — повторил я ласково.

Губы его дергались, силясь выговорить слово, и в то же мгновение произошло что-то непонятное, чудовищное, сверхъестественное. В правую щеку мне дунуло теплым ветром, сильно качнуло меня — и только, а перед моими глазами на месте бледного лица было что-то короткое, тупое, красное, и оттуда лила кровь, словно из откупоренной бутылки, как их рисуют на плохих вывесках. И в этом коротком, красном, текущем продолжалась еще какая-то улыбка, беззубый смех — красный смех.

Я узнал его, этот красный смех. Я искал и нашел его, этот красный смех. Теперь я понял, что было во всех этих изуродованных, разорванных, странных телах. Это был красный смех. Он в небе, он в солнце, и скоро он разольется по всей земле, этот красный смех!

А они — отчетливо и спокойно, как лунатики...

### ОТРЫВОК ТРЕТИЙ

...безумие и ужас.

Рассказывают, что в нашей и неприятельской армии появилось много душевнобольных. У нас уже открыто четыре психиатрических покоя. Когда я был в штабе, адъютант показывал мне...

## ОТРЫВОК ЧЕТВЕРТЫЙ

...обвивались, как змеи. Он видел, как проволока, обрубленная с одного конца, резнула воздух и обвила трех солдат. Колючки рвали мундиры, вонзались в тело, и солдаты с криком бешено кружились, и двое волокли за собою третьего, который был уже мертв. Потом остался в живых один, и он отпихивал от себя двух мертвецов, а те волоклись, кружились, переваливались один через другого и через него, — и вдруг сразу все стали неподвижны.

Он говорил, что у одной этой загородки погибло не менее двух тысяч человек. Пока они рубили проволоку и путались в ее змеиных, извивах их осыпали непрерывным дождем пуль и картечи. Он уверяет, что было очень страшно и что эта атака кончилась бы паническим бегством, если бы знали, в каком направлении бежать. Но десять или двенадцать непрерывных рядов проволоки и борьба с нею, целый лабиринт волчьих ям, с набитыми на дне кольями, так закружили головы, что положительно нельзя было определить направления.

Одни, точно сослепу, обрывались в глубокие воронкообразные ямы и повисали животами на острых кольях, дергаясь и танцуя, как игрушечные паяцы; их придавливали новые тела, и скоро вся яма до краев превращалась в копошащуюся груду окровавленных живых и мертвых тел. Отовсюду снизу тянулись руки, и пальцы на них судорожно сокращались, хватая все, и кто попадал в эту западню, тот уже не мог выбраться назад: сотни пальцев, крепких и слепых, как клещи, сжимали ноги, цеплялись за одежду, валили человека на себя, вонзались в глаза и душили. Многие, как пьяные, бежали прямо на проволоку, повисали на ней и начинали кричать, пока пуля не кончала с ними.

Вообще все показались ему похожими на пьяных: некоторые страшно ругались, другие хохотали, когда проволока схватывала их за руку или за ногу, и тут же умирали. Он сам, хотя с утра ничего не пил и не

ел, чувствовал себя очень странно: голова кружилась и страх минутами сменялся диким восторгом — восторгом страха. Когда кто-то рядом с ним запел, он подхватил песню, и скоро составился целый, очень дружный хор. Он не помнит, что пели, но что-то очень веселое, плясовое. Да, они пели — и все кругом было красно от крови. Само небо казалось красным, и можно было подумать, что во Вселенной произошла какая-то катастрофа, какая-то странная перемена и исчезновение цветов: исчезли голубой и зеленый и другие привычные и тихие цвета, а солнце загорелось красным бенгальским огнем.

— Красный смех, — сказал я.

Но он не понял.

— Да, и хохотали. Я уже говорил тебе. Как пьяные. Может быть, даже и плясали, что-то было. По крайней мере, движения тех трех походили на пляску.

Он ясно помнит: когда его ранили в грудь навылет и он упал, еще некоторое время, до потери сознания, он подрыгивал ногами, как будто кому подтанцовывал. И теперь он вспоминает об этой атаке со странным чувством: отчасти со страхом, отчасти как будто с желанием еще раз испытать то же самое.

— И опять пулю в грудь? — спросил я.

— Ну вот: не каждый же раз пулю. А хорошо бы, товарищ, получить орден за храбрость.

Он лежал на спине, желтый, остроносый, с выступающими скулами и провалившимися глазами, — лежал, похожий на мертвеца, и мечтал об ордене. У него уже начался гнойник, был сильный жар, и через три дня его должны будут свалить в яму, к мертвым, а он лежал, улыбался мечтательно и говорил об ордене.

— А матери послал телеграмму? — спросил я.

Он испуганно, но сурово и злобно взглянул на меня и не ответил. И я замолчал, и слышно стало, как стонут и бредят раненые. Но, когда я поднялся уходить, он сжал мою руку своею горячою, но все еще сильною рукою и растерянно и тоскливо впился в меня провалившимися горящими глазами.

— Что же это такое, а? Что же это? — пугливо и настойчиво спрашивал он, дергая мою руку.

— Что?

— Да вообще... все это. Ведь она ждет меня? Не могу же я. Отечество — разве ей втолкуешь, что такое отчество?

— Красный смех, — ответил я.

— Ах! Ты все шутишь, а я серьезно. Необходимо объяснить, а разве ей объяснишь? Если бы ты знал, что она пишет! Что она пишет! И ты не знаешь, у нее слова — седые. А ты... — Он с любопытством посмотрел на мою голову, ткнул пальцем и, неожиданно за-смеявшись, сказал: — А ты полысел. Ты заметил?

— Тут нет зеркал.

— Тут много седых и лысых. Послушай, дай мне зеркало. Дай! Я чувствую, как из головы идут белые волосы. Дай зеркало!

У него начинался бред, он плакал и кричал, и я ушел из лазарета.

В этот вечер мы устроили себе праздник — печальный и странный праздник, на котором среди гостей присутствовали тени умерших. Мы решили собраться вечером и попить чаю, как дома, как на пикнике, и мы достали самовар и достали даже лимон и стаканы и устроились под деревом — как дома, как на пикнике. По одному, по два, по три собирались товарищи и подходили шумно, с разговорами, с щуткой, полные веселого ожидания, но скоро умолкали, избегая смотреть друг на друга, ибо что-то страшное было в этом сборище уцелевших людей. Оборванные, грязные, почесывавшиеся, как в жестокой чесотке, заросшие волосами, худые и истощенные, потерявшие знакомое и привычное обличье, мы точно сейчас только, за самоваром, увидели друг друга — увидели и испугались. Я тщетно искал в этой толпе растерянных людей, знакомые лица — и не мог найти. Эти люди, беспокойные, торопливые, с толчкообразными движениями, вздрагивающие при каждом стуке, постоянно ищащие чего-то позади себя, старающиеся избытком жестикуляции заполнить ту загадочную пустоту, куда

им страшно заглянуть, — были новые, чужие люди, которых я не знал. И голоса звучали по-иному, отрывисто, толчками, с трудом выговаривая слова и легко, по ничтожному поводу, переходя в крик или бессмысленный неудержимый смех. И все было чужое. Дерево было чужое, и закат чужой, и вода чужая, с особым запахом и вкусом, как будто вместе с умершими мы оставили землю и перешли в какой-то другой мир — мир таинственных явлений и зловещих пасмурных теней. Закат был желтый, холодный; над ним тяжело висели черные, ничем не освещенные, неподвижные тучи, и земля под ним была черна, и наши лица в этом зловещем свете были желты, как лица мертвцев. Мы все смотрели на самовар, а он потух, отразил на боках своих желтизну и угрозу заката и тоже стал чужой, мертвый и непонятный.

— Где мы? — спросил кто-то, и в голосе его были тревога и страх.

Кто-то вздохнул. Кто-то судорожно хрестнул пальцами, кто-то засмеялся, кто-то вскочил и быстро заходил вокруг стола. Теперь часто можно было встретить этих быстро расхаживающих, почти бегающих людей, иногда странно молчаливых, иногда странно бормотавших что-то.

— На войне, — ответил тот, что смеялся, и снова захотел глухим длительным смехом, точно он давился чем-то.

— Чего он хохочет? — возмутился кто-то. — Попрощайте, перестаньте!

Тот еще раз подавился, хихикнул и послушно смолк. Темнело, туча наседала на землю, и мы с трудом различали желтые призрачные лица друг друга. Кто-то спросил:

— А где же Ботик?

Ботик — так звали мы товарища, маленького офицера в больших непромокаемых сапогах.

— Он сейчас был здесь. Ботик, где вы?

— Ботик, не прячьтесь! Мы слышим, как пахнет вашими сапогами.

Все засмеялись, и, перебивая смех, из темноты прозвучал грубый негодующий голос:

— Перестаньте, как не стыдно. Ботик убит сегодня утром на разведке.

— Он только сейчас был здесь. Это ошибка.

— Вам показалось. Эй, за самоваром, скорей отрежьте мне лимона.

— И мне! И мне!

— Лимон весь.

— Что же это, господа? — с тоскою, почти плача, прозвучал тихий и обиженный голос. — А я только ради лимона и пришел.

Тот снова захочтал глухо и длительно, и никто не стал его останавливать. Но скоро умолк. Хихикнул еще раз — и замолчал. Кто-то сказал:

— Завтра наступление.

И несколько голосов раздраженно крикнули:

— Оставьте! Какое там наступление!

— Вы же сами знаете...

— Оставьте. Разве нельзя говорить о другом? Что же это!

Закат погас. Туча поднялась, и как будто стало светлее, и лица стали знакомые, и тот, что кружился вокруг нас, успокоился и сел.

— Как-то теперь дома? — неопределенно спросил он, и в голосе его слышна была виноватая в чем-то улыбка.

И снова стало страшно, и непонятно, и чуждо все — до ужаса, почти до потери сознания. И мы все сразу заговорили, закричали, засуетились, двигая стаканами, трогая друг друга за плечи, за руки, за колени, — и сразу замолчали, уступая непонятному.

— Дома? — закричал кто-то из темноты. Голос его был хрипл от волнения, от испуга, от злобы и дрожал. И некоторые слова у него не выходили, как будто он разучился их говорить. — Дома? Какой дом, разве где-нибудь есть дом? Не перебивайте меня, иначе я начну стрелять. Дома я каждый день брал ванны — понимаете, ванны с водой — с водой по самые края. А теперь я не каждый день умываюсь, и на го-

лове у меня струпья, какая-то паршь, и все тело чешется, и по телу ползают, ползают... Я с ума схожу от грязи, а вы говорите — дом! Я как скот, я презираю себя, я не узнаю себя, и смерть вовсе не так страшна. Вы мне мозг разрываете вашими шрапнелями, мозг! Куда бы ни стреляли, мне все попадает в мозг, вы говорите — дом. Какой дом? Улица, окна, люди, а я не пошел бы теперь на улицу — мне стыдно. Вы принесли самовар, а мне на него стыдно было смотреть. На самовар.

Тот снова засмеялся. Кто-то крикнул:

— Это черт знает что! Я пойду домой.

— Домой?

— Вы не понимаете, что такое дом!..

— Домой? Слушайте: он хочет домой!

Поднялся общий смех и жуткий крик — и снова все замолчали, уступая непонятному. И тут не я один, а все мы, сколько нас ни было, почувствовали *это*. Оно шло на нас с этих темных, загадочных и чуждых полей; оно поднималось из глухих черных ущелий, где, быть может, еще умирают забытые и затерянные среди камней, оно лилось с этого чуждого, невиданного неба. Молча, теряя сознание от ужаса, стояли мы вокруг потухшего самовара, а с неба на нас пристально и молча глядела огромная бесформенная тень, поднявшаяся над миром. Внезапно, совсем близко от нас, вероятно у полкового командира, заиграла музыка, и бешено-веселые, громкие звуки точно вспыхнули среди ночи и тишины. С бешеным весельем и вызовом играла она, торопливая, нестройная, слишком громкая, слишком веселая, и видно было, что и те, кто играет, и те, кто слушает, видят так же, как мы, эту огромную бесформенную тень, поднявшуюся над миром.

А тот в оркестре, что играл на трубе, уже носил, видимо, в себе, в своем мозгу, в своих ушах, эту огромную молчаливую тень. Отрыгистый и ломаный звук метался, и прыгал, и бежал куда-то в сторону от других — одинокий, дрожащий от ужаса, безумный. И остальные звуки точно оглядывались на него; так неловко, спотыкаясь, падая и поднимаясь, бежали они

разорванной толпою, слишком громкие, слишком веселые, слишком близкие к черным ущельям, где еще умирали, быть может, забытые и потерянные среди камней люди.

И долго стояли мы вокруг потухшего самовара и молчали.

### ОТРЫВОК ПЯТЫЙ

...я уже спал, когда доктор разбудил меня осторожными толчками. Я вскрикнул, просыпаясь и вскачивая, как вскрикивали мы все, когда нас будили, и бросился к выходу из палатки. Но доктор крепко держал меня за руку и извинялся:

— Я вас испугал, простите. И знаю, что вы хотите спать...

— Пять суток... — пробормотал я, засыпая, и заснул и спал, казалось мне, долго, когда доктор вновь заговорил, осторожно поталкивая меня в бока и ноги.

— Но очень нужно. Голубчик, пожалуйста, так нужно. Мне все кажется... Я не могу. Мне все кажется, что там еще остались раненые...

— Какие раненые? Вы же весь день их возили. Оставьте меня в покое. Это нечестно, я пять суток не спал!

— Голубчик, не сердитесь, — бормотал доктор, неловко надевая фуражку мне на голову. — Все спят, нельзя добудиться. Я достал паровоз и семь вагонов, но нам нужны люди. Я ведь понимаю... Голубчик, умоляю вас. Все спят, все отказываются. Я сам боюсь заснуть. Не помню, когда я спал. Кажется, у меня начинаются галлюцинации. Голубчик, спустите ножки, ну, одну ножку, ну, так, так...

Доктор был бледен и покачивался, и заметно было, что если он только приляжет — он заснет на несколько суток кряду. И подо мною подгибались ноги, и я уверен, что я заснул, пока мы шли, — так внезапно и неожиданно, неизвестно откуда, вырос перед нами ряд черных силуэтов — паровоз и вагоны. Возле них мед-

ленно и молча бродили какие-то люди, едва видимые в потемках. Ни на паровозе, ни в вагонах не было ни одного фонаря, и только от закрытого поддувала на полотно ложился красноватый неяркий свет.

— Что это? — спросил я, отступая.

— Ведь мы же едем. Вы забыли? Мы едем, — бормотал доктор.

Ночь была холодная, и он дрожал от холода, и, глядя на него, я почувствовал во всем теле ту же частую щекочущую дрожь.

— Черт вас знает! — закричал я громко. — Не могли вы взять другого...

— Тише, пожалуйста, тише! — Доктор схватил меня за руку.

Кто-то из темноты сказал:

— Теперь дай залп из всех орудий — так никто не шевельнется. Они тоже спят. Можно подойти и всех сонных перевязать. Я сейчас прошел мимо самого часового. Он посмотрел на меня и ничего не сказал, не шевельнулся. Тоже спит, вероятно. И как только он не упадет.

Говоривший зевнул, и одежда его зашуршила: видимо, он потягивался. Я лег грудью на край вагона, чтобы взлезть, — и сон тотчас же охватил меня. Кто-то приподнял меня сзади и положил, а я почему-то отпихивал его ногами — и опять заснул и точно во сне слышал обрывки разговора:

— На седьмой версте.

— А фонари забыли?

— Нет, он не пойдет.

— Сюда давай. Осади немного. Так.

Вагоны дергались на месте, что-то постукивало. И постепенно от всех этих звуков и оттого, что я лег удобно и спокойно, сон стал покидать меня. А доктор заснул, и когда я взял его руку, она была как у мертвого: вялая и тяжелая. Поезд уже двигался медленно и осторожно, слегка вздрогивая и точно нащупывая дорогу. Студент-санитар зажег в фонаре свечу, осветил стены и черную дыру дверей и сказал сердито:

— Какого черта! Очень мы сейчас им нужны. А его вы разбудите, пока не разоспался. Тогда ничего не сделаешь, я по себе знаю.

Мы растолкали доктора, и он сел, недоуменно поглядывая глазами. Хотел опять завалиться, но мы не дали.

— Хорошо бы сейчас водки хлебнуть, — сказал студент.

Мы хлебнули по глотку коньяку, и сон прошел совсем. Большой и черный четырехугольник дверей стал розоветь, покраснел — где-то за холмами показалось огромное молчаливое зарево, как будто среди ночи всходило солнце.

— Это далеко. Верст за двадцать.

— Мне холодно, — сказал доктор, ляскнув зубами.

Студент выглянул за дверь и рукой поманил меня. Я посмотрел: в разных местах горизонта, молчаливой цепью, стояли такие же неподвижные зарева, как будто десятки солнц всходили одновременно. И уже не было так темно. Дальние холмы густо чернели, отчетливо вырезая ломаную и волнистую линию, а вблизи все было залито красным тихим светом, молчаливым и неподвижным. Я взглянул на студента: лицо его было окрашено в тот же красный призрачный цвет крови, превратившейся в воздух и свет.

— Много раненых? — спросил я.

Он махнул рукой.

— Много сумасшедших. Больше, чем раненых.

— Настоящих?

— А то каких же?

Он смотрел на меня, и в его глазах было то же остановившееся, дикое, полное холодного ужаса, как и у того солдата, что умер от солнечного удара.

— Перестаньте, — сказал я, отворачиваясь.

— Доктор тоже сумасшедший. Вы посмотрите-ка на него.

Доктор не слышал. Он сидел, поджав ноги, как сидят турки, и раскачивался, и беззвучно двигал губами и концами пальцев. И во взгляде у него было то же остановившееся, остолбенелое, тупопораженное.

— Мне холодно, — сказал он и улыбнулся.

— Ну вас всех к черту! — закричал я, отходя в угол вагона. — Зачем вы меня позвали?

Никто не ответил. Студент глядел на молчаливое разраставшееся зарево, и его затылок с выьющимися волосами был молодой, и, когда я глядел на него, мне почему-то все представлялась тонкая женская рука, которая ворошит эти волосы. И это представление было так неприятно, что я начал ненавидеть студента и не мог смотреть на него без отвращения.

— Вам сколько лет? — спросил я, но он не обернулся и не ответил.

Доктор покачивался.

— Мне холодно.

— Когда я подумаю, — сказал студент, не оборачиваясь, — когда я подумаю, что есть где-то улицы, дома, университет...

Он оборвал, точно сказал все, и замолчал. Поезд почти внезапно остановился, так что я ударился о стену, и послышались голоса. Мы выскочили.

Перед самым паровозом на полотне лежало что-то, небольшой комок, из которого торчала нога.

— Раненый?

— Нет, убитый. Голова оторвана. Только как хотите, а я зажгу передний фонарь. А то еще задавишь.

Комок с торчавшей ногойбросили в сторону; нога на миг задралась кверху, будто он хотел бежать по воздуху, и все скрылось в черной канаве. Фонарь загорелся, и паровоз сразу почернел.

— Послушайте! — с тихим ужасом прошептал кто-то.

Как мы не слышали раньше! Отовсюду — места нельзя было точно определить — приносился ровный поскребывающий стон, удивительно спокойный в своей широте и даже как будто равнодушный. Мы слышали много и криков и стонов, но это не было похоже ни на что из слышанного. На смутной красноватой поверхности глаз не мог уловить ничего, и оттого казалось, что это стонет сама земля или небо, озаренное невсходящим солнцем.

— Пятая верста, — сказал машинист.

— Это оттуда, — показал доктор рукой вперед.

Студент вздрогнул и медленно обернулся к нам:

— Что же это? Ведь этого же нельзя слышать!

— Двигаемся!

Мы пошли пешком впереди паровоза, и от нас на полотно легла сплошная длинная тень, и была она не черная, а смутно-красная от того тихого, неподвижного света, который молчаливо стоял в разных концах черного неба. И с каждым нашим шагом зловеще нарастал этот дикий, неслыханный стон, не имевший видимого источника, — как будто стонал красный воздух, как будто стонали земля и небо. В своей непрерывности и странном равнодушии он напоминал минутами трещание кузнечиков на лугу, — ровное и жаркое трещание кузнечиков на летнем лугу. И все чаще и чаще стали встречаться трупы. Мы бегло осматривали их и сбрасывали с полотна — эти равнодушные, спокойные, вялые трупы, оставлявшие на месте лежания своего темные маслянистые пятна всосавшейся крови, и сперва считали их, а потом сбились и перестали. Было их много — слишком много для этой зловещей ночи, дышавшей холдом и стонавшей каждой частицею своего существа.

— Что же это! — кричал доктор и грозил кому-то кулаком. — Вы — слушайте...

Приближалась шестая верста, и стоны делались определеннее, резче, и уже чувствовались перекошенные рты, издающие эти голоса. Мы трепетно всматривались в розовую мглу, обманчивую в своем призрачном свете, когда почти рядом, у полотна, внизу кто-то громко застонал призывным, плачущим стоном. Мы сейчас же нашли его, этого раненого, у которого на лице были одни только глаза — так велики показались они, когда на лицо его пал свет фонаря. Он перестал стонать и только поочередно переводил глаза на каждого из нас и на наши фонари, и в его взгляде была безумная радость от того, что он видит людей и огни, и безумный страх, что сейчас все это исчезнет, как видение. Быть может, ему уже не раз

грезились наклонившиеся люди с фонарями и исчезали в кровавом и смутном кошмаре.

Мы тронулись дальше и почти тотчас наткнулись на двух раненых; один лежал на полотне, другой стоял в канаве. Когда их подбирали, доктор, дрожа от злости, сказал мне:

— Ну что? — и отвернулся.

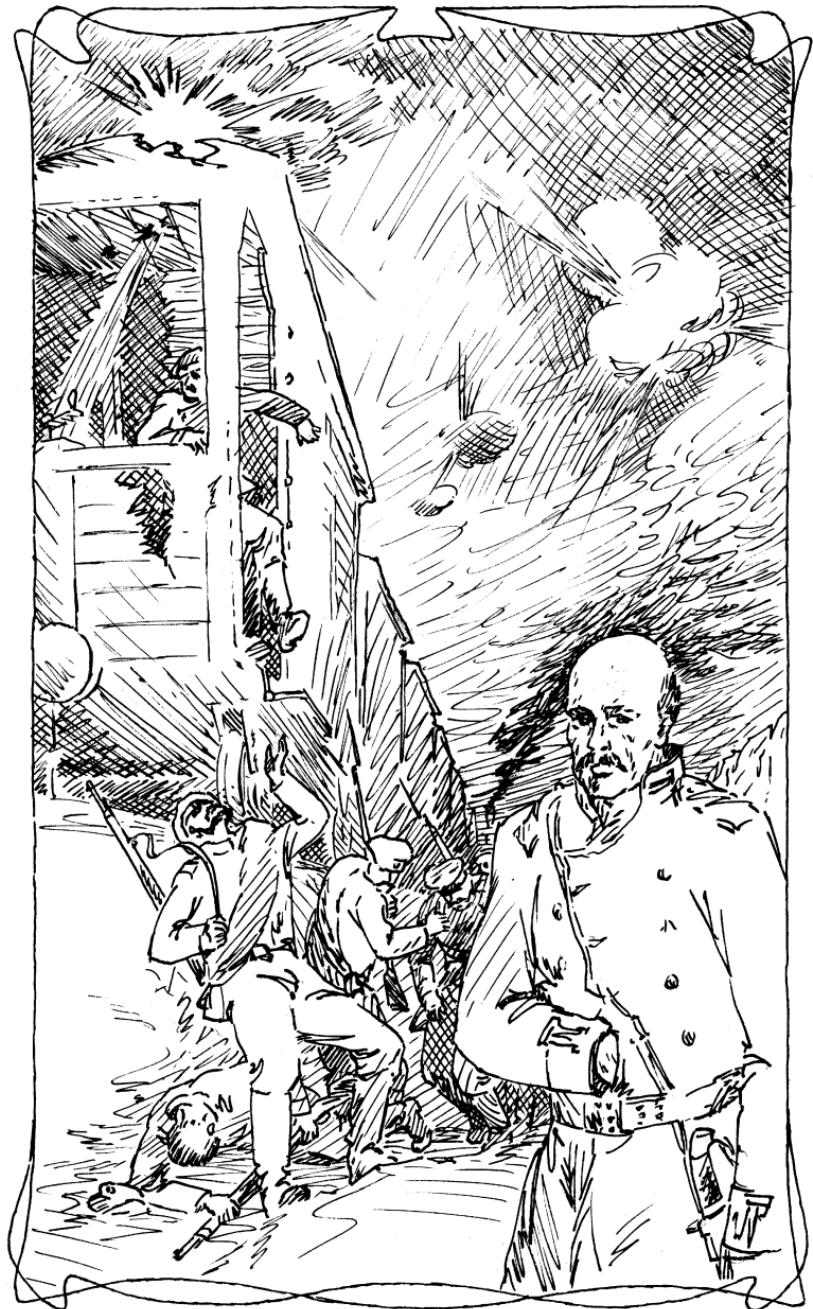
Через несколько шагов мы встретили легкораненого, который шел сам, поддерживая одну руку другой. Он двигался, закинув голову, прямо на нас и точно не заметил, когда мы расступились, давая ему дорогу. Кажется, он не видел нас. У паровоза он на миг остановился, обогнул его и пошел вдоль вагонов.

— Ты бы сел! — крикнул доктор, но он не ответил.

Это были первые, ужаснувшие нас. А потом все чаще они стали попадаться на полотне и около него, и все поле, залитое неподвижным красным отсветом пожаров, закопошилось, точно живое, загорелось громкими криками, воплями, проклятиями и стонами. Эти темные бугорки копошились и ползали, как сонные раки, выпущенные из корзины, раскоряченные, странные, едва ли похожие на людей в своих оборванных, смутных движениях и тяжелой неподвижности. Одни были безгласны и послушны, другие стонали, выли, ругались и ненавидели нас, спасавших их, так страшно, как будто мы создали и эту кровавую равнодушную ночь, и одиночество их среди ночи и трупов, и эти страшные раны. Уже не хватало места в вагонах, и вся одежда наша стала мокра от крови, как будто долго стояли мы под кровавым дождем, а раненых все несли, и все так же дико копошилось ожившее поле.

Некоторые подползали сами, иные подходили, шатаясь и падая. Один солдат почти подбежал к нам. У него было размозжено лицо, и остался один только глаз, горевший дико и страшно, и был он почти голый, как из бани. Толкнув меня, он нащупал глазом доктора и быстро левою рукою схватил его за грудь.

— Я тебе в морду дам! — крикнул он и, тряся доктора, длительно и едко прибавил циничное ругательство. — Я тебе в морду дам! Сволочи!



Доктор вырвался и, наступая на солдата, захлебываясь, закричал:

— Я тебя под суд отdam, негодяй! В карцер! Ты мне мешаешь работать! Негодяй! Животное!

Их растащили, но долго еще солдат выкрикивал:

— Сволочи! Я в морду дам!

Я уже терял силы и отошел к стороне покурить и отдохнуть. От насохшей крови руки оделись точно в черные перчатки, и с трудом сгибались пальцы, теряя папиросы и спички. И когда я закурил, табачный дым показался мне таким новым и странным, совсем особенного вкуса, которого я не ощущал ни раньше, ни позже. Тут подошел ко мне студент-санитар, тот, что ехал сюда, но мне показалось, что я виделся с ним несколько лет назад, и я никак не мог вспомнить где. Шагал он твердо, точно маршировал, и глядел сквозь меня куда-то дальше и выше.

— А они спят, — сказал он как будто бы совершенно спокойно.

Я вспылил, точно упрек касался меня:

— Вы забываете, что они десять дней дрались, как львы.

— А они спят, — повторил он, глядя сквозь меня и выше. Потом наклонился ко мне и, грозя пальцем, все так же сухо и спокойно продолжал: — Я вам скажу. Я вам скажу.

— Что?

Он все ниже наклонялся ко мне, многозначительно грозил пальцем и повторял точно законченную мысль:

— Я вам скажу. Я вам скажу. Передайте им.

И, все так же строго глядя на меня и еще раз погрозив пальцем, он вынул револьвер и выстрелил себе в висок. И это нисколько не удивило и не испугало меня. Переложив папирису в левую руку, я попробовал пальцем рану и пошел к вагонам.

— Студент-то застрелился. Кажется, еще жив, — сказал я доктору.

Тот схватил себя за голову и простонал:

— А, черт его!.. Ведь нет же у нас места. Вон тот сейчас тоже застрелится. И даю вам честное слово, — он закричал сердито и угрожающе, — я тоже! Да! И прошу вас — извольте идти пешком! Мест нету! Можете жаловаться, если угодно!

И, все продолжая кричать, он отвернулся, а я пошел к тому, который сейчас застрелится. Это был санитар, тоже, кажется, студент. Он стоял, упервшись лбом в стенку вагона, и плечо его вздрагивало от рыданий.

— Перестаньте, — сказал я, коснувшись вздрагивающего плеча.

Но он не повернулся, не ответил и плакал. И затылок у него был молодой, как у того, и тоже страшный; и стоял он, нелепо раскорячившись, как пьяный, у которого рвота; и шея у него была в крови — должно быть, хватался руками.

— Ну? — сказал я нетерпеливо.

Он откачнулся от вагона и, опустив голову, стариковски сгорбившись, пошел куда-то в темноту, прочь от всех нас. Не знаю почему, и я пошел за ним, и мы долго шли, все куда-то в сторону, прочь от вагонов. Кажется, он плакал; и мне стало скучно и захотелось плакать самому.

— Стойте! — крикнул я, остановившись.

Но он шел, тяжело передвигая ноги, сгорбившись, похожий на старика, со своими узкими плечами и шаркающей походкой. И скоро пропал он в красноватой мгле, казавшейся светом и ничего не освещавшей. А я остался один.

Налево, уже далеко от меня, проплыл ряд неярких огоньков — это ушел поезд. Я был один среди мертвых и умирающих. Сколько их еще осталось? Возле меня все было неподвижно и мертвое, а дальше поле копошилось, как живое, — или мне это казалось оттого, что я один. Но стон не утихал. Он стлался по земле — тонкий, безнадежный, похожий на детский плач или на визг тысячи заброшенных и замерзающих щенят. Как острыя бесконечная ледяная игла входил он в мозг и медленно двигался назад и вперед, назад и вперед...

## ОТРЫВОК ШЕСТОЙ

...это были наши. Среди той странной спутанности движений, которая в последний месяц преследовала обе армии, нашу и неприятельскую, ломая все приказы и планы, мы были уверены, что на нас надвигается неприятель, именно четвертый корпус. И уже все готово было к атаке, когда кто-то в бинокль ясно различил наши мундиры, а через десять минут догадка превратилась в спокойную и счастливую уверенность: это были наши. И они, видимо, узнали нас: они подвигались к нам совершенно спокойно; в этом покойном движении чувствовалась та же, как и у нас, счастливая улыбка неожиданной встречи.

И когда они начали стрелять, мы некоторое время не могли понять, что это значит, и еще улыбались — под целым градом шрапнелей и пуль, осыпавших нас и сразу выхвативших сотни человек. Кто-то крикнул об ошибке, и — я твердо помню это — мы все увидели, что это неприятель и что форма эта его, а не наша, и немедленно ответили огнем. Минут, вероятно, через пятнадцать по начале этого странного боя мне оторвало обе ноги, и опомнился я уже в лазарете, после ампутации.

Я спросил, чем кончился бой, но мне дали уклончивый успокоительный ответ, из которого я понял, что мы разбиты; а потом меня, безногого, охватила радость, что меня теперь отправят домой, что я все-таки жив — жив надолго, навсегда. И только через неделю я узнал некоторые подробности, вновь толкнувшие меня к сомнениям и новому, еще не испытанному страху.

Да, кажется, это были наши, — и нашей гранатой, пущенной из нашей пушки нашим солдатом, оторвало мне ноги. И никто не мог объяснить, как это случилось. Что-то произошло, что-то затемнило взоры, и два полка одной армии, стоя в версте один против другого, целый час взаимно истребляли друг друга в полной уверенности, что имеют дело с неприятелем. И вспоминали об этом случае неохотно, полусловами, и — это удивительнее всего — чувствовалось, что

многие из говоривших до сих пор не сознают ошибки. Вернее, они признают ее, но думают, что она была позднее, а вначале они действительно имели дело с врагом, куда-то скрывшимся при всеобщем переполохе и подставившим нас под свои же снаряды. Некоторые открыто говорили об этом, давая точные объяснения, которые казались им правдоподобными и ясными. Я сам до сих пор не могу вполне уверенно сказать, как началось это странное недоразумение, так как одинаково ясно видел сперва нашу, красную форму, а потом их, оранжевую. И как-то очень скоро все забыли об этом случае, так забыли, что говорили о нем как о настоящем сражении, и в этом смысле были написаны и посланы многие вполне искренние корреспонденции; я их читал уже дома. К нам, раненным в этом бою, отношение было вначале несколько странное: нас как будто меньше жалели, чем других раненых, но скоро и это сгладилось. И только новые слухи, подобные описанному, да то, что в неприятельской армии два отряда действительно перебили друг друга почти поголовно, дойдя ночью до рукопашной схватки, дает мне право думать, что тут была ошибка.

Наш доктор, тот, что произвел ампутацию, сухой, костлявый старик, провонявший йодоформом, табачным дымом и карболкой, вечно чему-то улыбавшийся сквозь изжелта-серые, редкие усы, сказал мне, прищурив глаза:

— Счастье ваши, что вы едете домой! Тут что-то неладно.

— Что такое?

— Да так. Неладно. В наше время было попроще.

Он был участником последней европейской войны, бывшей почти четверть века назад, и часто с удовольствием вспоминал ее. А этой не понимал и, как я заметил, боялся.

— Да, неладно, — вздохнул он и нахмурился, скрывшись в облаке табачного дыма. — Я сам бы уехал отсюда, если бы можно было.

И, наклонившись ко мне, прошептал сквозь желтые, закопченные усы:

— Скоро наступит такой момент, когда уже никто отсюда не уедет. Да. Ни я, никто.

И в близких старых глазах его я увидел то же остановившееся, тупопораженное. И что-то ужасное, нестерпимое, похожее на падение тысячи зданий, мелькнуло в моей голове, и, холода от ужаса, я пропшептал:

— Красный смех.

И он был первый, кто понял меня. Он поспешно закивал головою и подтвердил:

— Да. Красный смех.

Совсем близко подсев ко мне и озираясь по сторонам, он зашептал учащенно, по-стариковски двигая острой седенькой бородкой:

— Вы скоро уедете, и вам я скажу. Вы видели когда-нибудь драку в сумасшедшем доме? Нет? А я видел. И они дрались, как здоровые. Понимаете, как здоровые!

Он несколько раз многозначительно повторил эту фразу.

— Так что же? — так же шепотом и испуганно спросил я.

— Ничего. Как здоровые!

— Красный смех, — сказал я.

— Их разлили водой.

Я вспомнил дождь, который так напугал нас, и рассердился.

— Вы с ума сошли, доктор!

— Не больше, чем вы. Во всяком случае, не больше.

Он охватил руками острые старческие колени и захихикал, и, косясь на меня через плечо, еще храня на сухих губах отзвуки этого неожиданного и тяжелого смеха, он несколько раз лукаво подморгнул мне, как будто мы с ним только двое знали что-то очень смешное, чего не знает никто. Потом с торжественностью профессора магии, показывающего фокусы, он высоко поднял руку, плавно опустил ее и осторожно, двумя пальцами коснулся того места одеяла, под которым находились бы мои ноги, если бы их не отрезали.

— А это вы понимаете? — таинственно спросил он.  
Потом так же торжественно и многозначительно обвел рукою ряды кроватей, на которых лежали раненые, и повторил:

— А это вы можете объяснить?

— Раненые, — сказал я. — Раненые.

— Раненые, — как эхо, повторил он. — Раненые. Без ног, без рук, с прорванными животами, размолотой грудью, вырванными глазами. Вы это понимаете? Очень рад. Значит, вы поймете и это?..

С гибкостью, неожиданною для его возраста, он перекинулся вниз и стал на руки, балансируя в воздухе ногами. Белый балахон завернулся вниз, лицо налилось кровью, и, упорно смотря на меня странным перевернутым взглядом, он с трудом бросал отрывистые слова:

— А это... вы также... понимаете?

— Перестаньте, — испуганно зашептал я. — А то я закричу.

Он перевернулся, принял естественное положение, сел снова у моей кровати и, отдуваясь, наставительно заметил:

— И никто этого не понимает.

— Вчера опять стреляли.

— И вчера стреляли. И третьего дня стреляли, — утвердительно мотнул он головой.

— Я хочу домой! — с тоскою сказал я. — Доктор, милый, я хочу домой. Я не могу здесь оставаться. Я перестаю верить, что есть дом, где так хорошо.

Он думал о чем-то и не отвечал, и я заплакал:

— Господи, у меня нет ног. Я так любил ездить на велосипеде, ходить, бегать, а теперь у меня нет ног. На правой ноге я качал сына, и он смеялся, а теперь... Будьте вы прокляты! Зачем я поеду? Мне только тридцать лет... Будьте вы прокляты!

И я рыдал, рыдал, вспоминая о милых ногах моих, моих быстрых сильных ногах. Кто отнял их у меня, кто смел их отнять?

— Слушайте, — сказал доктор, глядя в сторону. — Вчера я видел: к нам пришел сумасшедший солдат.

Неприятельский солдат. Он был раздет почти догола, избит, исцарапан и голоден, как животное; он весь зарос волосами, как заросли и мы все, и был похож на дикаря, на первобытного человека, на обезьяну. Он размахивал руками, кривлялся, пел и кричал и лез драться. Его накормили и выгнали назад — в поле. Куда же их девать? Дни и ночи оборванными, зловещими призраками бродят они по холмам взад и вперед и во всех направлениях, без дороги, без цели, без пристанища. Размахивают руками, хохочут, кричат и поют, и когда встречаются, то вступают в драку, а быть может, не видят друг друга и проходят мимо. Чем они питаются? Вероятно, ничем, а быть может, трупами, вместе со зверями, вместе с этими толстыми, отъевшимися одичалыми собаками, которые ценные ночи дерутся на холмах и визжат. По ночам, как птицы, разбуженные бурей, как уродливые мотыльки, они собираются на огонь, и стоит развести костер от холода, чтобы через полчаса около него вырос десяток крикливых, оборванных, диких силуэтов, похожих на озябших обезьян. В них стреляют иногда по ошибке, иногда нарочно, выведенные из терпения их бестолковым пугающим криком...

— Я хочу домой! — кричал я, затыкая уши.

И, словно сквозь вату, глухо и призрачно долбили мой измученный мозг новые ужасные слова:

— ...Их много. Они умирают сотнями в пропастях, в волчьих ямах, приготовленных для здоровых и умных, на остатках колючей проволоки и кольев; они вмешиваются в правильные, разумные сражения и дерутся как герои — всегда впереди, всегда бесстрашные; но часто бьют своих. Они мне нравятся. Сейчас я только еще схожу с ума и оттого сижу и разговариваю с вами, а когда разум окончательно покинет меня, я выйду в поле — я выйду в поле, я кликну клич — я кликну клич, я соберу вокруг себя этих храбрецов, этих рыцарей без страха, и объявлю войну всему миру. Веселой толпой, с музыкой и песнями, мы войдем в города и села, и где мы пройдем, там все будет красно, так все будет кружиться и плясать, как

огонь. Те, кто не умер, присоединяются к нам, и наша храбрая армия будет расти, как лавина, и очистит весь этот мир. Кто сказал, что нельзя убивать, жечь и грабить?..

Он уже кричал, этот сумасшедший доктор, и криком своим точно разбудил заснувшую боль тех, у кого были изорваны груди и животы, и вырваны глаза, и обрублены ноги. Широким, скребущим, плачущим стоном наполнилась палата, и отовсюду к нам повернулись бледные, желтые, изможденные лица, иные без глаз, иные в таком чудовищном уродстве, как будто из ада вернулись они. И они стоали и слушали, и в открытую дверь осторожно заглядывала черная бесформенная тень, поднявшаяся над миром, и сумасшедший старик кричал, простирая руки:

— Кто сказал, что нельзя убивать, жечь и грабить? Мы будем убивать, и грабить, и жечь. Веселая, беспечная ватага храбрецов — мы разрушим все: их здания, их университеты и музеи; веселые ребята, полные огненного смеха, — мы попляшем на развалинах. Отечеством нашим я объявлю сумасшедший дом; врагами нашими и сумасшедшими — всех тех, кто еще не сошел с ума; и когда, великий, непобедимый, радостный, я воцарюсь над миром, единым его владыкою и господином, — какой веселый смех огласит вселенную!

— Красный смех! — закричал я, перебивая. — Спасите! Опять я слышу красный смех!

— Друзья! — продолжал доктор, обращаясь к стоявшим, изуродованным теням. — Друзья! У нас будет красная луна и красное солнце, и у зверей будет красная веселая шерсть, и мы сдерем кожу с тех, кто слишком бел, кто слишком бел... Вы не пробовали пить кровь? Она немного липкая, она немного теплая, но она красная, и у нее такой веселый красный смех!..

## ОТРЫВОК СЕДЬМОЙ

...это было безбожно, это было беззаконно. Красный Крест уважается всем миром, как святыня, и они

видели, что это идет поезд не с солдатами, а с безвредными ранеными, и они должны были предупредить о заложенной мине. Несчастные люди, они уже грезили о доме...

## ОТРЫВОК ВОСЬМОЙ

...вокруг самовара, вокруг настоящего самовара, из которого пар валил, как из паровоза, — даже стекло в лампе немного затуманилось: так сильно шел пар. И чашечки были те же, синие снаружи и белые внутри, очень красивые чашечки, которые подарили нам еще на свадьбе. Сестра жены подарила — она очень славная и добрая женщина.

— Неужели все целы? — недоверчиво спросил я, мешая сахар в стакане серебряной чистой ложечкой.

— Одну разбили, — сказала жена рассеянно: она в это время держала отвернутым кран, и оттуда красиво и легко бежала горячая вода.

Я засмеялся.

— Чего ты? — спросил брат.

— Так. Ну, отвезите-ка меня еще разок в кабинетик. Потрудитесь для героя! Побездельничали без меня, теперь баста, я вас подтяну! — И я в шутку, конечно, запел: — «Мы храбро на врагов, на бой, друзья, спешим...»

Они поняли шутку и тоже улыбнулись, только жена не подняла лица: она перетирала чашечки чистым вышитым полотенцем. В кабинете я снова увидел голубенькие обои, лампу с зеленым колпаком и столик, на котором стоял графин с водою. И он был немного запылен.

— Налейте-ка мне водицы отсюда! — весело приказал я.

— Ты же сейчас пил чай.

— Ничего, ничего, налейте. А ты, — сказал я жене, — возьми сынишку и посиди немножко в той комнате. Пожалуйста.

И маленькими глотками, наслаждаясь, я пил воду, а в соседней комнате сидели жена и сын, и я их не видел.

— Так, хорошо. Теперь идите сюда. Но отчего он так поздно не ложится спать?

— Он рад, что ты вернулся. Милый, пойди к отцу. Но ребенок заплакал и спрятался у матери в ногах.

— Отчего он плачет? — с недоумением спросил я и оглянулся кругом. — Отчего вы все так бледны, и молчите, и ходите за мною, как тени?

Брат громко засмеялся и сказал:

— Мы не молчим.

И сестра повторила:

— Мы все время разговариваем.

— Я похлопочу об ужине, — сказала мать и торопливо вышла.

— Да, вы молчите, — с неожиданной уверенностью повторил я. — С самого утра я не слышу от вас слова, я только один болтаю, смеюсь, радуюсь. Разве вы не рады мне? И почему вы все избегаете смотреть на меня, разве я так переменился? Да, так переменился. Я и зеркал не вижу. Вы их убрали? Дайте сюда зеркало.

— Сейчас я принесу, — ответила жена и долго не возвращалась, и зеркальце принесла горничная.

Я посмотрел в него, и — я уже видел себя в вагоне, на вокзале — это было то же лицо, немного постаревшее, но самое обыкновенное. А они, кажется, ожидали почему-то, что я вскрикну и упаду в обморок, — так обрадовались они, когда я спокойно спросил:

— Что же тут необыкновенного?

Все громче смеясь, сестра поспешно вышла, а брат сказал уверенно и спокойно:

— Да. Ты мало изменился. Попысел немного.

— Поблагодари и за то, что голова осталась, — равнодушно ответил я. — Но куда они все убегают: то одна, то другая. Повози-ка меня еще по комнатам. Какое удобное кресло, совершенно бесшумное. Сколько заплатили? А я уж не пожалею денег: куплю себе такие ноги, лучше... Велосипед!

Он висел на стене, совсем еще новый, только с опавшими без воздуха шинами. На шине заднего колеса присох кусочек грязи — от последнего раза, когда я катался. Брат молчал и не двигал кресла, и я понял это молчание и эту нерешительность.

— В нашем полку только четыре офицера осталось в живых, — угрюмо сказал я. — Я очень счастлив... А его возьми себе, завтра возьми.

— Хорошо, я возьму, — покорно согласился брат. — Да, ты счастлив. У нас полгорода в трауре. А ноги — это, право...

— Конечно. Я не почтальон.

Брат внезапно остановился и спросил:

— А отчего у тебя трясется голова?

— Пустяки. Это пройдет, доктор сказал!

— И руки тоже?

— Да, да. И руки. Все пройдет. Вези, пожалуйста, мне надоело стоять.

Они расстроили меня, эти недовольные люди, но радость снова вернулась ко мне, когда мне стали приготовлять постель — настоящую постель, на красивой кровати, на кровати, которую я купил перед свадьбой, четыре года тому назад. Постлали чистую простыню, потом взбили подушки, завернули одеяло, — а я смотрел на эту торжественную церемонию, и в глазах у меня стояли слезы от смеха.

— А теперь раздень-ка меня и положи, — сказал я жене. — Как хорошо!

— Сейчас, милый.

— Поскорее!

— Сейчас, милый.

— Да что же ты?

— Сейчас, милый.

Она стояла за мою спину, у туалета, и я тщетно поворачивал голову, чтобы увидеть ее. И вдруг она закричала, так закричала, как кричат только на войне:

— Что же это! — И бросилась ко мне, обняла, упала около меня, пряча голову у отрезанных ног, с ужасом отстраняясь от них и снова припадая, целуя эти обрезки и плача.

— Какой ты был! Ведь тебе только тридцать лет. Молодой, красивый был. Что же это! Как жестоки люди! Зачем это? Кому это нужно было? Ты, мой кроткий, мой жалкий, мой милый, милый...

И тут на крик прибежали все они, и мать, и сестра, и нянька, и все они плакали, говорили что-то, валились у моих ног и так плакали. А на пороге стоял брат, бледный, совсем белый, с трясущейся челюстью, и визгливо кричал:

— Я тут с вами с ума сойду! С ума сойду!

А мать ползала у кресла и уже не кричала, а хрипела только и билась головой о колеса. И чистенькая, со взбитыми подушками, с завернутым одеялом, стояла кровать, та самая, которую я купил четыре года назад — перед свадьбой...

## ОТРЫВОК ДЕВЯТЫЙ

...Я сидел в ванне с горячей водой, а брат беспокойно вертелся по маленькой комнате, присаживаясь, снова вставая, хватая в руки мыло, простыню, близко поднося их к близоруким глазам и снова кладя обратно. Потом стал лицом к стене и, ковыряя пальцем штукатурку, горячо продолжал:

— Сам посуди, ведь нельзя же безнаказанно десятки и сотни лет учить жалости, уму, логике — давать сознание. Главное — сознание. Можно стать безжалостным, потерять чувствительность, привыкнуть к виду крови, и слез, и страданий — как вот мясники, или некоторые доктора, или военные; но как возможно, познавши истину, отказаться от нее? По моему мнению, этого нельзя. С детства меня учили не мучить животных, быть жалостливым; тому же учили меня все книги, какие я прочел, и мне мучительно жаль тех, кто страдает на вашей проклятой войне. Но вот проходит время, и я начинаю привыкать ко всем этим смертям, страданиям, крови; я чувствую, что и в обыденной жизни я менее чувствителен, менее отзывчив и отвечаю толь-

ко на самые сильные возбуждения, — но к самому факту войны я не могу привыкнуть, мой ум отказывается понять и объяснить то, что в основе своей безумно. Миллион людей, собравшись в одно место и стараясь придать правильность своим действиям, убивают друг друга, и всем одинаково больно, и все одинаково несчастны, — что же это такое, ведь это сумасшествие?

Брат обернулся и вопросительно уставился на меня своими близорукими, немного наивными глазами.

— Красный смех, — весело сказал я, плескаясь.

— И я скажу тебе правду. — Брат доверчиво положил холодную руку на мое плечо, но как будто испугался, что оно голое и мокрое, и быстро отдернул ее. — Я скажу тебе правду: я очень боюсь сойти с ума. Я не могу понять, что это такое происходит. Я не могу понять, и это ужасно. Если бы кто-нибудь мог объяснить мне, но никто не может. Ты был на войне, ты видел, — объясни мне.

— Убирайся к черту! — шутливо ответил я, плескаясь.

— Вот и ты тоже, — печально сказал брат. — Никто не в силах мне помочь. Это ужасно. И я перестаю понимать, что можно, чего нельзя, что разумно, а что безумно. Если сейчас я возьму тебя за горло, сперва тихонько, как будто ласкаешься, а потом покрепче, и удушу, — что это будет?

— Ты говоришь вздор. Никто этого не делает.

Брат потер холодные руки, тихо улыбнулся и продолжал:

— Когда ты был еще там, бывали ночи, в которые я не спал, не мог заснуть, и тогда ко мне приходили странные мысли: взять топор и пойти убить всех: маму, сестру, прислугу, нашу собаку. Конечно, это были только мысли, и я никогда не сделаю.

— Надеюсь, — улыбнулся я, плескаясь.

— Вот тоже я боюсь ножей, всего острого, блестящего: мне кажется, что если я возьму в руки нож, то непременно кого-нибудь зарежу. Ведь правда, почему не зарезать, если нож острый?

— Основание достаточное. Какой ты, брат, чудак! Пусти-ка еще горяченькой водицы.

Брат отвернул кран, впустил воды и продолжал:

— Вот тоже я боюсь толпы, людей, когда их соберется много. Когда вечером я услышу на улице шум, громкий крик, то я вздрагиваю и думаю, что это уже началась... резня. Когда несколько человек стоят друг против друга и я не слышу, о чем они разговаривают, мне начинает казаться, что сейчас они закричат, бросятся один на другого и начнется убийство. И ты знаешь, — таинственно наклонился он к моему уху, — газеты полны сообщениями об убийствах, о каких-то странных убийствах. Это пустяки, что много людей и много умов, — у человечества один разум, и он начинает мутиться. Попробуй мою голову, какая она горячая. В ней огонь. А иногда становится она холодной, и все в ней замерзает, кочнеет, превращается в страшный омертвленный лед. Я должен сойти с ума, не смейся, брат, я должен сойти с ума... Уже четверть часа — тебе пора выходить из ванны.

— Немножечко еще. Минуточку.

Мне так хорошо было сидеть в ванне, как прежде, и слушать знакомый голос, не вдумываясь в слова, и видеть все знакомое, простое, обыкновенное: медный, слегка позеленевший кран, стены с знакомым рисунком, принадлежащими к фотографии, в порядке расположенные на полках. Я снова буду заниматься фотографией, снимать простые и тихие виды и сына: как он ходит, как он смеется и шалит. Этим можно заниматься и без ног. И снова буду писать — об умных книгах, о новых успехах человеческой мысли, о красоте и мире.

— Го-го-го! — загрохотал я, плескаясь.

— Что с тобой? — испугался брат и побледнел.

— Так. Весело, что я дома.

Он улыбнулся мне, как ребенку, как младшему, хотя я был на три года старше его, и задумался — как взрослый, как старик, у которого большие, тяжелые и старые мысли.

— Куда уйти? — сказал он, пожав плечами. — Каждый день, приблизительно в один час, газеты за-мыкают ток, и все человечество вздрагивает. Эта одновременность ощущений, мыслей, страданий и ужаса лишает меня опоры, и я — как щепка на волне, как пылинка в вихре. Меня с силою отрывает от обычного, и каждое утро бывает один страшный момент, когда я вишу в воздухе над черной пропастью безумия. И я упаду в нее, я должен в нее упасть. Ты еще не все знаешь, брат. Ты не читаешь газет, многое от тебя скрывают, — ты еще не все знаешь, брат.

И то, что он сказал, я счел немного мрачной шуткой, — это было участью всех тех, кто в безумии своем становился близок безумию войны и предостерегал нас. Я счел это шуткой — как будто забыл я в этот момент, плескаясь в горячей воде, все то, что видел я там.

— Ну и пусть себе скрывают, а мне надо вылезать из ванны, — легкомысленно сказал я, и брат улыбнулся и позвал слугу, и вдвоем они вынули меня и одели.

Потом я пил душистый чай из моего рубчатого стакана и думал, что жить можно и без ног, а потом меня отвезли в кабинет к моему столу, и я приготовился работать.

До войны я занимался в журнале обзором иностранных литератур, и теперь возле меня, на расстоянии руки, лежала груда этих милых, прекрасных книг в желтых, синих, коричневых обложках. Моя радость была так велика, наслаждение так глубоко, что я не решался начать чтение и только перебирал книги, нежно лаская их рукою. Я чувствовал, что по лицу моему расплывается улыбка, вероятно очень глупая улыбка, но я не мог удержать ее, любуясь шрифтами, виньетками, строгой и прекрасной простотой рисунка. Как много во всем этом ума и чувства красоты! Скольким людям надо было работать, искасть, как много нужно было вложить таланта и вкуса, чтобы создать хоть вот эту букву, такую простую и изящную, такую умную, такую гармоничную и красноречивую в своих переплетающихся черточках.

— А теперь надо работать, — серьезно, с уважением к труду, сказал я.

И я взял перо, чтобы сделать заголовок, — и, как лягушка, привязанная на нитке, зашлепала по бумаге моя рука. Перо тыкалось в бумагу, скрипело, дергалось, неудержимо скользило в сторону и выводило безобразные линии, оборванные, кривые, лишенные смысла. И я не вскрикнул, и я не пошевельнулся — я похолодел и замер в сознании приближающейся страшной истины; а рука прыгала по ярко освещенной бумаге, и каждый палец в ней трялся в таком безнадежном, живом, безумном ужасе, как будто они, эти пальцы, были еще там, на войне, и видели зарево и кровь, и слышали стоны и вопли несказанной боли. Они отдалились от меня, они жили, они стали ушами и глазами, эти безумно трепещущие пальцы; и, холода, не имея силы вскрикнуть и пошевельнуться, я следил за их дикой пляской по чистому, ярко-белому листу.

И тихо было. Они думали, что я работаю, и закрыли все двери, чтобы не помешать звуком, — один, лишенный возможности двигаться, сидел я в комнате и послушно глядел, как дрожат руки.

— Это ничего, — громко сказал я, и в тишине и одиночестве кабинета голос прозвучал хрипло и нехорошо, как голос сумасшедшего. — Это ничего. Я буду диктовать. Ведь был же слеп Мильтон, когда писал свой «Возвращенный рай». Я могу мыслить — это главное, это все.

И я стал сочинять длинную умную фразу о слепом Мильтоне, но слова путались, выпадали, как из дурного набора, и, когда я подходил к концу фразы, я уже забывал ее начало. Я хотел вспомнить тогда, с чего это началось, почему я сочиняю эту странную, бессмысличную фразу о каком-то Мильтоне, — и не мог.

— «Возвращенный рай», «Возвращенный рай», — твердил я и не понимал, что это значит.

И тут я сообразил, что вообще многое я забываю, что я стал страшно рассеян и путаю знакомые лица; что даже в простом разговоре я теряю слова, а иногда, и зная слово, не могу никак понять его значения.

Мне ясно представился теперешний мой день: какой-то странный, короткий, обрубленный, как мои ноги, с пустыми, загадочными местами — длинными часами потери сознания или беспчувствия, о которых я ничего не могу вспомнить.

Я хотел позвать жену, но забыл, как ее зовут, — это уже не удивило и не испугало меня. Тихонько я прошептал:

— Жена!

Нескладное, непривычное в обращении слово тихо прозвучало и замерло, не вызвав ответа. И тихо было. Они боялись неосторожным звуком помешать моей работе, и тихо было — настоящий кабинет ученого, уютный, тихий, располагающий к созерцанию и творчеству. «Милые, как они заботятся обо мне!» — подумал я, умиленный.

...И вдохновение, святое вдохновение осенило меня. Солнце зажглось в моей голове, и горячие творческие лучи его брызнули на весь мир, роняя цветы и песни. И всю ночь я писал, не зная усталости, свободно паря на крыльях могучего, святого вдохновения. Я писал великое, я писал бессмертное — цветы и песни. Цветы и песни...

## Часть II

### ОТРЫВОК ДЕСЯТЫЙ

...к счастью, он умер на прошлой неделе, в пятницу. Повторяю, это большое счастье для брата. Безногий калека, весь трясущийся, с разбитою душою, в своем безумном экстазе творчества он был страшен и жалок. С той самой ночи целых два месяца он писал, не вставая с кресла, отказываясь от пищи, плача и ругаясь, когда мы на короткое время увозили его от стола. С необыкновенною быстротой он водил сухим пером по бумаге, отбрасывая листки один за другим, и все писал, писал. Он лишился сна, и только два раза удалось нам уложить его на несколько часов в по-

тель, благодаря сильному приему наркотика, а потом уже и наркоз не в силах был одолеть его творческого безумного экстаза. По его требованию, окна весь день были завешены и горела лампа, создавая иллюзию ночи, и он курил папиросу за папиросой и писал. По-видимому, он был счастлив, и мне никогда не приходилось видеть у здоровых людей такого вдохновенного лица — лица пророка или великого поэта. Он сильно исхудал, до восковой прозрачности трупа или подвижника, и совершенно поседел; и начал он свою безумную работу еще сравнительно молодым, а кончил ее — стариком. Иногда он торопился писать больше обычного, перо тыкалось в бумагу и ломалось, но он не замечал этого; в такие минуты его нельзя было трогать, так как при малейшем прикосновении с ним делался припадок, слезы, хохот; минутами, очень редко, он блаженно отдыхал и благосклонно беседовал со мною, каждый раз предлагая одни и те же вопросы: кто я, как меня зовут и давно ли я занимаюсь литературой.

А потом снисходительно рассказывал, всегда в одних и тех же словах, как он смешно испугался, что потерял память и не может работать, и как он блистательно тут же опроверг это сумасшедшее предположение, начав свой великий, бессмертный труд о цветах и песнях.

— Конечно, я не рассчитываю на признание современников, — гордо и вместе с тем скромно говорил он, кладя дрожащую руку на груду пустых листков, — но будущее, но будущее поймет мою идею.

О войне он не вспоминал ни разу и ни разу не вспомнил о жене и сыне; призрачная бесконечная работа поглощала его внимание так безраздельно, что едва ли он сознавал что-нибудь, кроме нее. В его присутствии можно было ходить, разговаривать, и он этого не замечал, и ни на мгновение лицо его не теряло выражения страшной напряженности и вдохновения. В безмолвии ночей, когда все спали и он один неутомимо плел бесконечную нить безумия, он казался страшен, и только один я да еще мать решались под-

ходить к нему. Однажды я попробовал дать ему, вместо сухого пера, карандаш, думая, что, быть может, он действительно что-нибудь пишет, но на бумаге остались только безобразные линии, оборванные, криевые, лишенные смысла.

И умер он ночью, за работой. Я хорошо знал брата, и сумасшествие его не явилось для меня неожиданностью: страстная мечта о работе, сквозившая еще в его письмах с войны, составлявшая содержание всей его жизни по возвращении, неминуемо должна была столкнуться с бессилием его утомленного, измученного мозга и вызвать катастрофу. И думаю, что мне довольно точно удалось восстановить всю последовательность ощущений, приведших его к концу в ту роковую ночь. Вообще, все, что я здесь записал о войне, взято мною со слов покойного брата, часто очень сбивчивых и бессвязных; только некоторые отдельные картины так неизгладимо и глубоко вожглись в его мозг, что я мог привести их почти дословно, как он рассказывал.

Я его любил, и смерть его лежит на мне, как камень, и давит мозг своей бессмысленностью. К тому непонятному, что окутывает мою голову, как паутиной, она прибавила еще одну петлю и крепко затянула ее. Вся наша семья уехала в деревню, к родственникам, и я один во всем доме — в этом особнячке, который так любил брат. Прислугу рассчитали, иногда дворник из соседнего дома по утрам приходит топить печи, а в остальное время я один и похож на муху, которую захлопнули между двумя рамами окна, — мечусь и расшибаюсь о какую-то прозрачную, но непреодолимую преграду. И я чувствую, я знаю, что из этого дома мне не уйти. Теперь, когда я один, война безраздельно владеет мною и стоит как непостижимая загадка, как страшный дух, которого я не могу облечь плотью. Я даю ей всевозможные образы: безглавого скелета на коне, какой-то бесформенной тени, родившейся в тучах и бесшумно обнявшей землю, но ни один образ не дает мне ответа и не исчерпывает того холодного постоянного отупелого ужаса, который владеет мною.

Я не понимаю войны и должен сойти с ума, как брат, как сотни людей, которых привозят оттуда. И это не страшит меня. Потеря рассудка мне кажется почетной, как гибель часовного на своем посту. Но ожидание, но это медленное и неуклонное приближение безумия, это мгновенное чувство чего-то огромного, падающего в пропасть, эта невыносимая боль терзаемой мысли... Мое сердце онемело, оно умерло, и нет ему новой жизни, но мысль — еще живая, еще борющаяся, когда-то сильная, как Самсон, а теперь беззащитная и слабая, как дитя, — мне жаль ее, мою бедную мысль. Минутами я перестаю выносить пытку этих железных обручей, сдавливающих мозг; мне хочется неудержимо выбежать на улицу, на площадь, где народ, и крикнуть:

— Сейчас прекратите войну, или...

Но какое «или»? Разве есть слова, которые могли бы вернуть их к разуму, слова, на которые не нашлось бы других таких же громких и лживых слов? Или стать перед ними на колени и заплакать? Но ведь сотни тысяч слезами оглашают мир, а разве это хоть что-нибудь дает? Или на их глазах убить себя? Убить! Тысячи умирают ежедневно — и разве это хоть что-нибудь дает?

И когда я так чувствую свое бессилие, мною овладевает бешенство — бешенство войны, которую я не-навижу. Мне хочется, как тому доктору, сжечь их дома, с их сокровищами, с их женами и детьми, отправить воду, которую они пьют; поднять всех мертвых из гробов и бросить трупы в их нечистые жилища, на их постели. Пусть спят с ними, как с женами, как с любовницами своими!

О, если б я был дьявол! Весь ужас, которым дышит ад, я переселил бы на их землю; я стал бы владыкою их снов, и когда, с улыбкой засыпая, они крестили бы своих детей, я встал бы перед ними, черный...

Да, я должен сойти с ума, но только бы скорее. Только бы скорее...

## ОТРЫВОК ОДИННАДЦАТЫЙ

...пленных, кучку дрожащих, испуганных людей. Когда их вывели из вагона, толпа рявкнула — рявкнула, как один огромный злобный пес, у которого цепь коротка и непрочна. Рявкнула и замолчала, тяжело дыша, — а они шли тесной кучкой, заложив руки в карманы, заискивающе улыбаясь бледными губами, и ноги их ступали так, как будто сейчас сяди под колено их должны ударить длинною палкой. Но один шел несколько в стороне, спокойный, серьезный, без улыбки, и когда я встретился с его черными глазами, я прочел в них откровенную и голую ненависть. Я ясно увидел, что он меня презирает и ждет от меня всего: если я сейчас стану убивать его, безоружного, то он не вскрикнет, не станет защищаться, оправдываться,— он ждет от меня всего.

Я побежал вместе с толпою, чтобы еще раз встретиться с ним глазами, и это удалось мне, когда они входили уже в дом. Он вошел последним, пропуская мимо себя товарищей, и еще раз взглянул на меня. И тут я увидел в его черных больших, без зрачка глазах такую муку, такую бездну ужаса и безумия, как будто я заглянул в самую несчастную душу на свете.

— Кто этот, с глазами? — спросил я у конвойного.

— Офицер. Сумасшедший. Их много таких.

— Как его зовут?

— Молчит, не называется. И свои его не знают.

Так, приблудный какой-то. Его уж раз вынули из петли, да что!.. — Конвойный махнул рукою и скрылся за дверью.

И вот теперь, вечером, я думаю о нем. Он один среди врагов, которых он считает способными на все, и свои не знают его. Он молчит и терпеливо ждет, когда может уйти из мира совсем. Я не верю, что он сумасшедший, и он не трус: он один держался с достоинством в кучке этих дрожащих, испуганных людей, которых он тоже, по-видимому, не считает своими. Что он думает? Какая глубина отчаяния должна быть в душе этого человека, который, умирая, не хочет на-

звать своего имени. Зачем имя? Он кончил с жизнью и с людьми, он понял настоящую их цену, и их вокруг него нет, ни своих, ни чужих, как бы они ни кричали, ни бесновались и ни угрожали. Я расспрашивал о нем: он взят в последнем страшном бою, резне, где погибло несколько десятков тысяч людей, и он не сопротивлялся, когда его брали: он был почему-то безоружен, и, когда не заметивший этого солдат ударил его шашкой, он не встал с места и не поднял руки, чтобы защищаться. Но рана оказалась, к несчастью для него, легкой.

А быть может, он действительно сумасшедший? Солдат сказал: их много таких...

### ОТРЫВОК ДВЕНАДЦАТЫЙ

...начинается... Когда вчера ночью я вошел в кабинет брата, он сидел в своем кресле у стола, заваленного книгами. Галлюцинация тотчас исчезла, как только я зажег свечу, но я долго не решался сесть в кресло, где сидел он. Было страшно вначале, — пустые комнаты, в которых постоянно слышатся какие-то шорохи и трески, создают эту жуть, — но потом мне даже понравилось: лучше он, чем кто-нибудь другой. Все-таки во весь этот вечер я не вставал с кресла: казалось, если я встану, он тотчас сядет на свое место. И ушел я из комнаты очень быстро, не оглядываясь. Нужно бы во всех комнатах зажигать огонь, — да стоит ли? Будет, пожалуй, хуже, если я что-нибудь увижу при свете, — так все-таки остается сомнение.

Сегодня я вошел со свечой, и никого в кресле не было. Очевидно, просто тень мелькнула. Опять я был на вокзале — теперь я каждое утро хожу туда — и видел целый вагон с нашими сумасшедшими. Его не стали открывать и перевели на какой-то другой путь, но в окна я успел рассмотреть несколько лиц. Они ужасны. Особенно одно. Чрезмерно вытянутое, желтое, как лимон, с открытым черным ртом и неподвижными глазами, оно до того походило на маску ужаса, что я не мог оторваться от него. А оно смотрело на меня,

все целиком смотрело, и было неподвижно — и так и уплыло вместе с двинувшимся вагоном, не дрогнув, не переводя взора. Вот если бы оно представилось мне сейчас в тех темных дверях, я, пожалуй, и не выдержал бы. Я спрашивал: двадцать два человека привезли. Зараза растет. Газеты что-то замалчивают, но, кажется, и у нас в городе не совсем хорошо. Появились какие-то черные, наглухо закрытые кареты — в один день, сегодня, я насчитал их шесть в разных концах города. В одной из таких, вероятно, поеду и я.

А газеты ежедневно требуют новых войск и новой крови, и я все менее понимаю, что это значит. Вчера я читал одну очень подозрительную статью, где доказывается, что среди народа много шпионов, предателей и изменников, что нужно быть осторожным и внимательным и что гнев народа сам найдет виновных. Каких виновных, в чем? Когда я ехал с вокзала в трамвае, я слышал странный разговор, вероятно по этому поводу:

— Их нужно вешать без суда, — сказал один, испытующе оглядев всех и меня. — Изменников нужно вешать, да.

— Без жалости, — подтвердил другой. — Довольно их жалели.

Я выскочил из вагона. Ведь все же плачут от войны, и они сами плачут, — что же это значит? Какой-то кровавый туман обволакивает землю, застилая взоры, и я начинаю думать, что действительно приближается момент мировой катастрофы. Красный смех, который видел брат. Безумие идет оттуда, от тех кровавых порыжелых полей, и я чувствую в воздухе его холодное дыхание. Я крепкий и сильный человек, у меня нет тех разлагающих тело болезней, которые влекут за собою и разложение мозга, но я вижу, как зараза охватывает меня, и уже половина моих мыслей не принадлежит мне. Это хуже чумы и ее ужасов. От чумы все-таки можно было куда-то спрятаться, принять какие-то там меры, а как спрятаться от все-проникающей мысли, не знающей расстояний и препятствий?

Днем я еще могу бороться, а ночью я становлюсь, как и все, рабом моих снов; и сны мои ужасны и безумны...

### ОТРЫВОК ТРИНАДЦАТЫЙ

...повсеместные побоища, бессмысленные и кровавые. Малейший толчок вызывает дикую расправу, и в ход пускаются ножи, камни, поленья, и становится безразличным, кого убивать, — красная кровь просится наружу и течет так охотно и обильно.

Их было шестеро, этих крестьян, и их вели три солдата с заряженными ружьями. В своем особенном крестьянском платье, простом и первобытном, напоминающем дикаря, со своими особенностями лицами, точно сделанными из глины и украшенными свалявшейся шерстью вместо волос, на улицах богатого города, под конвоем дисциплинированных солдат, они походили на рабов Древнего мира. Их вели на войну, и они шли, повинуясь штыкам, такие же невинные и тупые, как волы, ведомые на бойню. Впереди шел юноша, высокий, безбородый, с длинной гусиною шеей, на которой неподвижно сидела маленькая голова. Он весь наклонился вперед, как хворостина, и смотрел вниз перед собою с такою пристальностью, как будто взор его проникал в самую глубину земли. Последним шел приземистый, бородатый, уже пожилой; он не хотел сопротивляться, и в глазах его не было мысли, но земля притягивала его ноги, впиваясь в них, не пускала, — и он шел, откинувшись назад, как против сильного ветра. И при каждом шаге солдат сзади толкал его прикладом ружья, и одна нога, отклеившись, судорожно перебрасывалась вперед, а другая крепко прилипала к земле. Лица солдат были тоскливы и злобны, и, видимо, уже давно они шли так — чувствовались усталость и равнодушие в том, как они несли ружья, как они шагали враздробь, по-мужичьи, носками внутрь. Как будто бессмысленное, длительное и молчаливое сопротивление кресть-

ян замутило их дисциплинированный ум, и они перестали понимать, куда идут и зачем.

— Куда вы их ведете? — спросил я крайнего солдата.

Тот вздрогнул, взглянул на меня, и в его остром блеснувшем взгляде я так ясно почувствовал штык, как будто он находился уже в груди моей.

— Отойди! — сказал солдат. — Отойди, а не то...

Тот, пожилой, воспользовался минутой и убежал — легкой трусцою он отбежал к решетке бульвара и присел на корточки, как будто прятался. Настоящее животное не могло бы поступить так глупо, так безумно. Но солдат рассвирепел. Я видел, как он подошел вплотную, нагнулся и, перебросив ружье в левую руку, правой чмякнул по чему-то мягкому и плоскому. И еще. Собирался народ. Послышался смех, крики...

### ОТРЫВОК ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ

...в одиннадцатом ряду партера. Справа и слева ко мне тесно прижимались чьи-то руки, и далеко кругом в полутьме торчали неподвижные головы, слегка освещенные красным со сцены. И постепенно мною овладевал ужас от этой массы людей, заключенных в тесное пространство. Каждый из них молчал и слушал то, что на сцене, а может быть, думал что-нибудь свое, но оттого, что их было много, в молчании своем они были слышнее громких голосов актеров. Они кашляли, сморкались, шумели одеждой и ногами, и я слышал ясно их глубокое неровное дыхание, согревавшее воздух. Они были страшны, так как каждый из них мог стать трупом, и у всех у них были безумные головы. В спокойствии этих расчесанных затылков, твердо опирающихся на белые крепкие воротнички, я чувствовал ураган безумия, готовый разразиться каждой секундой.

У меня похолодели руки, когда я подумал, как их много, как они страшны и как я далек от выхода. Они

спокойны, а если крикнуть — «пожар!»... И с ужасом я ощутил жуткое страстное желание, о котором я не могу вспомнить без того, чтобы руки мои снова не похолодели и не покрылись потом. Кто мне мешает крикнуть — привстать, обернуться назад и крикнуть:

— Пожар! Спасайтесь, пожар!

Судорога безумия охватит их спокойные члены. Они вскочат, они заорут, они завоют, как животные, они забудут, что у них есть жены, сестры и матери, они начнут метаться, точно пораженные внезапной слепотой, и в безумии своем будут душить друг друга этими белыми пальцами, от которых пахнет духами. Пустят яркий свет, и кто-то бледный со сцены будет кричать, что все спокойно и пожара нет, и дико-весело заиграет дрожащая, обрывающаяся музыка, — а они не будут слышать ничего, — они будут душить, топтать ногами, бить женщин по головам, по этим хитрым, замысловатым прическам. Они будут отрывать друг у друга уши, отгрызать носы, они изорвут одежду до голого тела и не будут стыдиться, так как они безумны. Их чувствительные, нежные, красивые, обожаемые женщины будут визжать и биться, беспомощные, у их ног, обнимая колени, все еще доверяя их благородству, — а они будут злобно бить их в красивое поднятое лицо и рваться к выходу. Ибо они всегда убийцы, и их спокойствие, их благородство — спокойствие сытого зверя, чувствующего себя в безопасности.

И когда наполовину они сделаются трупами и дрожащей, оборванной кучкой устыдившихся зверей соберутся у выхода, улыбаясь лживой улыбкой, — я выйду на сцену и скажу им со смехом:

— Это все потому, что вы убили моего брата.

Должно быть, я громко прошептал что-нибудь, потому что мой сосед справа сердито завозился на месте и сказал:

— Тише! Вы мешаете слушать.

Мне стало весело и захотелось пошутить. Сделав предостерегающее суровое лицо, я наклонился к нему.

— Что такое? — спросил он недоверчиво. — Зачем так смотрите?

— Тише, умоляю вас, — прошептал я одними губами. — Вы слышите, как пахнет гарью? В театре пожар.

Он имел достаточно силы и благоразумия, чтобы не вскрикнуть. Лицо его побелело, и глаза почти повисли на щеках, огромные, как бычачьи пузыри, но он не вскрикнул. Он тихонько поднялся, даже не поблагодарил меня и пошел к выходу, покачиваясь и судорожно замедляя шаги. Он боялся, что другие догадаются о пожаре и не дадут уйти ему, единственному достойному спасения и жизни. Мне стало противно, и я тоже ушел из театра, да и не хотелось мне слишком рано открыть свое инкогнито. На улице я взглянул в ту сторону неба, где была война, — там все было спокойно, и ночные, желтые от огней облака ползли медленно и спокойно. «Быть может, все это сон и никакой войны нет?» — подумал я, обманутый спокойствием неба и города.

Но из-за угла выскочил мальчишка, радостно крича:

— Громовое сражение! Огромные потери! Купите телеграмму — ночную телеграмму!

У фонаря я прочел ее. Четыре тысячи трупов. В театре было, вероятно, не более тысячи человек. И всю дорогу я думал: четыре тысячи трупов.

Теперь мне страшно приходить в мой опустелый дом. Когда я еще только вкладываю ключ и смотрю на немые плоские двери, я уже чувствую все его темные пустые комнаты, по которым пойдет сейчас, озираясь, человек в шляпе. Я хорошо знаю дорогу, но уже на лестнице начинаю жечь спички и жгу их, пока найду свечу. В кабинет брата я теперь нехожу, и он заперт на ключ — со всем, что в нем есть. И сплю я в столовой, куда перебрался совсем, — тут спокойнее и воздух как будто хранит еще следы разговоров, и смеха, и веселого звона посуды. Иногда я ясно слышу скрипение сухого пера; и когда ложусь в постель...

## ОТРЫВОК ПЯТНАДЦАТЫЙ

...этот нелепый и страшный сон. Точно с мозга моего сняли костяную покрышку, и, беззащитный, обнаженный, он покорно и жадно впитывает в себя все ужасы этих кровавых и безумных дней. Я лежу, сжавшись в комок, и весь помещаюсь на двух аршинах пространства, а мысль моя обнимает мир. Глазами всех людей я смотрю и ушами их слушаю; я умираю с убитыми; с теми, кто ранен и забыт, я тоскую и плачу, и когда из чьего-нибудь тела бежит кровь, я чувствую боль ран и страдаю. И то, чего не было и что далеко, я вижу так же ясно, как то, что было и что близко, и нет предела страданиям обнаженного мозга.

Эти дети, эти маленькие, еще невинные дети. Я видел их на улице, когда они играли в войну и бегали друг за другом, и кто-то уж плакал тоненьkim детским голосом — и что-то дрогнуло во мне от ужаса и отвращения. И я ушел домой, и ночь настала, — и в огненных грезах, похожих на пожар среди ночи, эти маленькие, еще невинные дети превратились в полчище детей-убийц.

Что-то зловещее горело широким и красным огнем, и в дыму копошились чудовищные уродцы дети с головами взрослых убийц. Они прыгали легко и подвижно, как играющие козлята, и дышали тяжело, словно больные. Их рты походили на пасти жаб или лягушек и раскрывались судорожно и широко; за прозрачною кожей их голых тел угрюмо бежала красная кровь — и они убивали друг друга, играя. Они были страшнее всего, что я видел, потому что они были маленькие и могли проникнуть всюду.

Я смотрел из окна, и один маленький увидел меня, улыбнулся и взглядом попросился ко мне.

— Я хочу к тебе, — сказал он.

— Ты убьешь меня.

— Я хочу к тебе, — сказал он и побледнел внезапно и страшно и начал царапаться вверх по белой стене, как крыса, совсем как голодная крыса. Он обрыпался и пищал и так быстро мелькал по стене, что я

не мог уследить за его порывистыми, внезапными движениями.

«Он может пролезть под дверью», — с ужасом подумал я, и, точно отгадав мою мысль, он стал узенький и длинный и быстро, виляя кончиком хвоста, вполз в темную щель под дверью парадного хода. Но я успел спрятаться под одеяло и слышал, как он, маленький, ищет меня по темным комнатам, осторожно ступая крохотными босыми ногами. Очень медленно, останавливаясь, он приближался к моей комнате и вошел; и долго я ничего не слыхал, ни движения, ни шороха, как будто возле моей постели не было никого. И вот под чьей-то маленькой рукой начал приподниматься край одеяла, и холодный воздух комнаты коснулся лица моего и груди. Я держал одеяло крепко, но оно упорно отставало со всех сторон; и вот ногам моим сразу стало так холодно, как будто они окунулись в воду. Теперь они лежали беззащитными в холодной темноте комнаты, и он смотрел на них.

На дворе, за стенами дома, залаяла собака и смолкла, и я слышал, как забренчала она цепью, убираясь в конуру. А он смотрел на мои голые ноги и молчал; но я знал, что он здесь, знал по тому нестерпимому ужасу, который, как смерть, оковывал меня каменной, могильной неподвижностью. Если бы я мог крикнуть, я разбудил бы город, весь мир разбудил бы я; но голос умер во мне, и, не шевелясь, покорно я ощущал движение по моему телу маленьких холодных рук, подбиравшихся к горлу.

— Я не могу! — простонал я, задыхаясь, и проснулся на одно мгновение, и увидел зоркую темноту ночи, таинственную и живую, и снова, кажется, заснул...

— Успокойся! — сказал мне брат, присаживаясь на кровать, и кровать скрипнула: так был он тяжел, мертвый. — Успокойся, ты видишь это во сне. Это тебе показалось, что тебя душат, а ты крепко спишь в темных комнатах, где нет никого, а я сижу в моем кабинете и пишу. Никто из вас не понял, о чем я пишу, и вы осмеяли меня, как безумца, но теперь я

скажу тебе правду. Я пишу о красном смехе. Ты видишь его?

Что-то огромное, красное, кровавое стояло надо мною и беззубо смеялось.

— Это красный смех. Когда Земля сходит с ума, она начинает так смеяться. Ты ведь знаешь, Земля сошла с ума. На ней нет ни цветов, ни песен, она стала круглая, гладкая и красная, как голова, с которой содрали кожу. Ты видишь ее?

— Да, вижу. Она смеется.

— Посмотри, что делается у нее с мозгом. Он красный, как кровавая каша, и запутался.

— Она кричит.

— Ей больно. У нее нет ни цветов, ни песен. Теперь давай я лягу на тебя.

— Мне тяжело, мне страшно.

— Мы, мертвые, ложимся на живых. Тепло тебе?

— Тепло.

— Хорошо тебе?

— Я умираю.

— Проснись и крикни. Проснись и крикни. Я ухожу...

### ОТРЫВОК ШЕСТНАДЦАТЫЙ

...уже восьмой день продолжается сражение. Оно началось в прошлую пятницу, и прошли суббота, воскресенье, понедельник, вторник, среда, четверг, и вновь наступила пятница и прошла, — а оно все продолжается. Обе армии, сотни тысяч людей, стоят друг против друга, не отступая, непрерывно посылают разрывные грохочущие снаряды; и каждую минуту живые люди превращаются в трупы. От грохота, от непрерывного колебания воздуха дрогнуло само небо и собрало над головой их черные тучи и грозу, — а они стоят друг против друга, не отступая, и убивают. Если человек не спит трое суток, он становится болен и плохо помнит, а они не спят уже неделю, и они все сумасшедшие. От этого им не больно, от этого они не

отступают и будут драться, пока не перебьют всех. Сообщают, что у некоторых частей не хватило снарядов и там люди дрались камнями, руками, грызлись как собаки. Если остатки этих людей вернутся домой, у них будут клыки, как у волков, — но они не вернутся: они сошли с ума и перебьют всех. Они сошли с ума. В голове их все перевернулось, и они ничего не понимают: если их резко и быстро повернуть, они начинают стрелять в своих, думая, что бьют неприятеля.

Странные слухи... Странные слухи, которые передают шепотом, бледнея от ужаса и диких предчувствий. Брат, брат, слушай, что рассказывают о красивом смехе! Будто бы появились призрачные отряды, полчища теней, во всем подобных живым. По ночам, когда обезумевшие люди на минуту забываются сном, или в разгаре дневного боя, когда самый ясный день становится призраком, они являются внезапно и стреляют из призрачных пушек, наполняя воздух призрачным гулом, и люди, живые, но безумные люди, пораженные внезапностью, боятся насмерть против призрачного врага, сходят с ума от ужаса, седеют мгновенно и умирают. Призраки исчезают внезапно, как появились, и наступает тишина, а на земле валяются новые изуродованные трупы, — кто их убил? Ты знаешь, брат, кто их убил?

Когда после двух сражений наступает затишье и враги далеко, вдруг, темною ночью, раздается одинокий испуганный выстрел. И все вскакивают, и все стреляют в темноту, и стреляют долго, целыми часами в безмолвную, безответную темноту. Кого видят они там? Кто, страшный, является им свой молчаливый образ, дышащий ужасом и безумием? Ты знаешь, брат, и я знаю, а люди еще не знают, но уже чувствуют они и спрашивают, бледнея: отчего так много сумасшедших, ведь прежде никогда не было так много сумасшедших?

— Ведь прежде никогда не было так много сумасшедших! — говорят они, бледнея, и им хочется верить, что теперь как прежде и что это мировое насилие над разумом не коснется их слабого умишка.

— Ведь дрались же люди и прежде и всегда, и ничего не было такого? Борьба — закон жизни, — говорят они уверено и спокойно, а сами бледнеют, а сами ищут глазами врача, а сами кричат торопливо: — Воды, скорей стакан воды!

Они охотно стали бы идиотами, эти люди, чтобы только не слышать, как колышется их разум, как в непосильной борьбе с бессмыслицей изнемогает их разум. В эти дни, когда там непрестанно из людей делаются трупы, я нигде не мог найти покоя и бегал по людям, и много слышал этих разговоров, и много видел этих притворно улыбающихся лиц, уверявших, что война далеко и не касается их. Но еще больше я встретил голого, правдивого ужаса, и безнадежных горьких слез, и исступленных криков отчаяния, когда сам великий разум в напряжении всех своих сил выкрикивал из человека последнюю мольбу, последнее свое проклятие:

— Когда же кончится эта безумная бойня?!

У одних знакомых, где я не был давно, быть может несколько лет, я неожиданно встретил сумасшедшего офицера, возвращенного с войны. Он был мой товарищ по школе, но я не узнал его; но его не узнала и мать, которая его родила; если бы он год провалялся в могиле, он вернулся бы более похожим на себя, чем теперь. Он поседел и совсем белый; черты лица его мало изменились, но он молчит и слушает что-то — и от этого на лице его лежит грозная печать такой отдаленности, такой чуждости всему, что с ним страшно заговорить. Как рассказали родным, он сошел с ума так: они стояли в резерве, когда соседний полк пошел в штыковую атаку. Люди бежали и кричали «ура» так громко, что почти заглушали выстрелы, — и вдруг прекратились выстрелы, — и вдруг прекратилось «ура», — и вдруг наступила могильная тишина — это они добежали, и начался штыковой бой. И этой тишины не выдержал его разум.

Теперь он спокоен, пока при нем говорят, производят шум, кричат, и он тогда прислушивается и ждет; но стоит наступить минутной тишине — он хва-

тается за голову, бежит на стену, на мебель и бьется в припадке, похожем на падучую. У него много родных, они чередуются вокруг него и окружают его шумом; но остаются夜里, долгие безмолвные夜里, — и тут взялся за дело его отец, тоже седой и тоже немного сумасшедший. Он увещал его комнату громко тикающими часами, бьющими почти непрерывно в разное время, и теперь приспособляет какое-то колесо, похожее на непрерывную трещотку. Все они не теряют надежды, что он выздоровеет, так как ему всего двадцать семь лет, и сейчас у них даже весело. Его одевают очень чисто — не в военное платье, — занимаются его наружностью, и со своими белыми волосами и молодым еще лицом, задумчивый, внимательный, благородный в медленных, усталых движениях, он даже красив.

Когда мне рассказали все, я подошел и поцеловал его руку, бледную, вялую руку, которая никогда уже больше не поднимется для удара, — и никого это особенно не удивило. Только молоденькая сестра его улыбнулась мне глазами и потом так ухаживала за мной, как будто я был ее жених и она любила меня больше всех на свете. Так ухаживала, что я чуть не рассказал ей о своих темных и пустых комнатах, в которых я хуже чем один, — подлое сердце, никогда не теряющее надежды... И устроила так, что мы остались вдвоем.

— Какой вы бледный, и под глазами круги, — сказала она ласково. — Вы больны? Вам жалко своего брата?

— Мне жалко всех. И я нездоров немного.

— Я знаю, почему вы поцеловали его руку. Они этого не поняли. За то, что он сумасшедший, да?

— За то, что он сумасшедший, да.

Она задумалась и стала похожа на брата — только очень молоденькая.

— А мне, — она остановилась и покраснела, но не опустила глаз, — а мне позволите поцеловать вашу руку?

Я стал перед ней на колени и сказал:

— Благословите меня.

Она слегка побледнела, отстранилась и одними губами прошептала:

— Я не верю.

— И я также.

На секунду ее руки коснулись моей головы, и эта секунда прошла.

— Ты знаешь, — сказала она, — я еду туда.

— Поезжай. Но ты не выдержишь.

— Не знаю. Но им нужно, как тебе, как брату. Они не виноваты. Ты будешь помнить меня?

— Да. А ты?

— Я буду помнить. Прощай!

— Прощай навсегда!

И я стал спокоен, и мне сделалось легко, как будто я уже пережил самое страшное, что есть в смерти и безумии. И в первый раз вчера я спокойно, без страха вошел в свой дом и открыл кабинет брата и долго сидел за его столом. И когда ночью, внезапно проснувшись, как от толчка, я услыхал скрип сухого пера по бумаге, я не испугался и подумал чуть не с улыбкой: «Работай, брат, работай! Твое перо не сухо — оно обмокнуто в живую человеческую кровь. Пусть кажутся твои листки пустыми, — своей зловещей пустотой они больше говорят о войне и о разуме, чем все написанное умнейшими людьми. Работай, брат, работай!»

...А сегодня утром я прочел, что сражение продолжается, и снова овладела мною жуткая тревога и чувство чего-то падающего в мозгу. Оно идет, оно близко — оно уже на пороге этих пустых и светлых комнат. Помни, помни же обо мне, моя милая девушка, — я схожу с ума. Тридцать тысяч убитых. Тридцать тысяч убитых...

## ОТРЫВОК СЕМНАДЦАТЫЙ

...в городе какое-то побоище. Слухи темны и страшны.

## ОТРЫВОК ВОСЕМНАДЦАТЫЙ

Сегодня утром, просматривая в газете бесконечный список убитых, я встретил знакомую фамилию: убит жених моей сестры, офицер, призванный на военную службу вместе с покойным братом. А через час почтальон отдал мне письмо, адресованное на имя брата, и на конверте я узнал почерк убитого: мертвый писал к мертвому. Но это все же лучше того случая, когда мертвый пишет к живому; мне показывали мать, которая целый месяц получала письма от сына после того, как в газетах прочла о его страшной смерти, — он был разорван снарядом. Он был нежный сын, и каждое письмо его было полно ласковых слов, утешений, молодой и наивной надежды на какое-то счастье. Он был мертв и каждый день с сатанинской аккуратностью писал о жизни, и мать перестала верить в его смерть, — и когда прошел без письма один, другой и третий день и наступило бесконечное молчание смерти, она взяла обеими руками старый большой револьвер сына и выстрелила себе в грудь. Кажется, она осталась жива, — не знаю, не слыхал.

Я долго рассматривал конверт и думал: он держал его в руках, он где-то покупал его, давал деньги, и денщик ходил куда-то в лавку, он заклеивал его и потом, быть может, сам опустил в ящик. Пришло в движение колесо того сложного механизма, который называется почтой, и письмо поплыло мимо лесов, полей и городов, переходя из рук в руки, но неуклонно стремясь к своей цели. Он надевал сапоги в то последнее утро — а оно плыло; он был убит — а оно плыло; он был брошен в яму и завален трупами и землей — а оно плыло мимо лесов, полей и городов, живой призрак в сером штемпелеванном конверте. И теперь я держу его в руках...

Вот содержание письма. Оно написано карандашом на клочках и не окончено: что-то помешало.

«...Только теперь я понял великую радость войны, это древнее первичное наслаждение убивать людей — умных, хитрых, лукавых, неизмеримо более интересных, чем самые хищные звери. Вечно отнимать

жизнь — это так же хорошо, как играть в лаун-теннис планетами и звездами. Бедный друг, как жаль, что ты не с нами и принужден скучать в пресноте повседневщины. В атмосфере смерти ты нашел бы то, к чему вечно стремился своим беспокойным благородным сердцем. Кровавый пир — в этом несколько избитом сравнении кроется сама правда. Мы бродим по колена в крови, и голова кружится от этого красного вина, как называют его в шутку мои славные ребята. Пить кровь врага вовсе не такой глупый обычай, как думаем мы, — они знали, что делали...»

«Воронье кричит. Ты слышишь: воронье кричит. Откуда их столько? От них чернеет небо. Они сидят рядом с нами, потерявшие страх, они провожают нас всюду, — и всегда мы под ними, как под черным кружевным зонтиком, как под движущимся деревом с черными листьями. Один подошел к самому лицу моему и хотел клюнуть — он думал, должно быть, что я мертвый. Воронье кричит, и это немного беспокоит меня. Откуда их столько?

«...Вчера мы перерезали сонных. Мы крались тихонько, едва ступая ногами, как на дрохв<sup>1</sup>, мы ползли так хитро и осторожно, что не шевельнули ни одного трупа, не согнали ни одного ворона. Как тени, крались мы, и ночь укрывала нас. Я сам снял часового: повалил его и задушил руками, чтобы не было крика. Понимаешь: малейший крик — и все пропало бы. Но он не крикнул. Он, кажется, не успел даже догадаться, что его убивают».

«Они все спали у тлеющих костров, спали спокойно, как дома на своих постелях. Мы резали их больше часу, и только некоторые успели проснуться, прежде чем принять удар. Визжали и, конечно, просили пощады. Грызлись. Один откусил у меня палец на левой руке, которой я неосторожно придержал его за голову. Он отгрыз мне палец, а я начисто отвернул ему голову; как ты думаешь, мы квиты? Как они все не проснулись! Слышно было, как хрустят кости и ру-

---

<sup>1</sup> Дрохвá, дрофá — крупная степная птица.

бится мясо. Потом мы раздели их догола и поделили их ризы между собой. Мой друг, не сердись за шутку. С твоей щепетильностью ты скажешь, что это припахивает мародерством, но ведь мы сами почти голы, совсем поизносились. Я уже давно ношу какую-то бабью кофту и больше похож на ..., чем на офицера победоносной армии».

«Кстати: ты, кажется, женат, и тебе не совсем удобно читать такие вещи. Но... ты понимаешь? Женщины. Черт возьми, я молод и жажду любви! Постой, это у тебя была невеста? Это ты показывал мне карточку какой-то девочки и говорил, что это невеста, и там было написано что-то печальное, такое печальное, такое грустное. И плакал ты. Это давно было, я смутно помню, на войне не до нежностей. И плакал ты. О чем ты плакал? Что было написано там такое печальное, такое грустное, как цветочек? И плакал ты, все плакал, плакал... Как не стыдно офицеру плакать!»

«Воронье кричит. Ты слышишь, друг, воронье кричит. Чего надо ему?..»

Дальше карандашные строчки стерлись, и подписать нельзя было разобрать.

И странно: ни малейшей жалости не вызвал во мне погибший. Я очень ясно представлял себе его лицо, в котором все было мягко и нежно, как у женщины: окраска щек, ясность и утренняя свежесть глаз, бородка такая пушистая и нежная, что ею могла бы, кажется, украситься и женщина. Он любил книги, цветы и музыку, боялся всего грубого и писал стихи, — брат, как критик, уверял, что очень хорошие стихи. И со всем, что я знал и помнил, я не мог связать ни этого кричащего воронья, ни кровавой резни, ни смерти.

...Воронье кричит...

И вдруг на один безумный, несказанно счастливый миг мне ясно стало, что все это ложь и никакой войны нет. Нет ни убитых, ни трупов, ни этого ужаса пошатнувшейся беспомощной мысли. Я сплю на спине, и мне грезится страшный сон, как в детстве, — и эти молчаливые жуткие комнаты, опустошенные смертью и страхом, и сам я с каким-то диким письмом в руках.

Брат жив, и все они сидят за чаем, и слышно, как звенит посуда.

...Воронье кричит...

Нет, это правда. Несчастная земля, ведь это правда. Воронье кричит. Это не выдумка праздного писаки, ищущего дешевых эффектов, безумца, потерявшего разум. Воронье кричит. Где мой брат? Он был кроткий и благородный и никому не желал зла. Где он? Я вас спрашиваю, проклятые убийцы! Перед всем миром спрашиваю я вас, проклятые убийцы, воронье, сидящее на падали, несчастные слабоумные звери! Вы звери! За что убили вы моего брата? Если бы у вас было лицо, я дал бы вам пощечину, но у вас нет лица, у вас морда хищного зверя. Вы притворяетесь людьми, но под перчатками я вижу когти, под шляпою — приплюснутый череп зверя; за вашей умной речью я слышу потаенное безумие, брягающее ржавыми цепями. И всею силою моей скорби, моей тоски, моих опозоренных мыслей я проклинаю вас, несчастные слабоумные звери!

### ОТРЫВОК ПОСЛЕДНИЙ

...от вас мы ждем обновления жизни!

Кричал оратор, с трудом удерживаясь на столбике, балансируя руками и колебля знамя, на котором ломалась в складках крупная надпись: «Долой войну!»

— Вы молодые, вы, жизнь которых еще впереди, сохраните себя и будущие поколения от этого ужаса, от этого безумия. Нет сил выносить, кровь заливает глаза. Небо валится на головы, земля расступается под ногами. Добрые люди...

Толпа загадочно гудела, и голос говорившего минутами терялся в этом живом и грозном шуме.

— Пусть я сумасшедший, но я говорю правду. У меня отец и брат гниют там, как падаль. Разведите костры, накопайте ям и уничтожьте, похороните оружие. Разрушьте казармы и снимите с людей эту блестящую одежду безумия, сорвите ее. Нет сил выносить... Люди умирают...

Его ударил и сшиб со столбика кто-то высокий; знамя поднялось еще раз и упало. Я не успел рассмотреть лица ударившего, так как тотчас все превратилось в кошмар. Все задвигалось, завыло; в воздухе понеслись камни, поленья, над головами поднялись кулаки, кого-то бившие. Толпа, как живая ревущая волна, подняла меня, отнесла на несколько шагов и с силою ударила о забор, потом отнесла назад и куда-то в сторону и, наконец, притиснула к высокому штабелю дров, наклонившемуся вперед и грозившему завалиться на головы. Что-то сухо и часто затрещало и защелкало по бревнам; мгновенное затишье — и снова рев, огромный, широкозевный, страшный в своей стихийности. И опять сухая и частая трескотня, и кто-то возле меня упал, и из красной дыры на месте глаза полилась кровь. И тяжелое полено, крутясь в воздухе, концом ударило меня по лицу, я упал и полез куда-то между топочущих ног и выбрался на свободное пространство. Потом я перелезал какие-то заборы, обломав себе все ногти, взбирался на штабеля дров; один рассыпался подо мною, и я упал вместе с водопадом стукающихся поленьев; из какого-то замкнутого четырехугольника я насилиu выбрался, — а сзади меня, настигая, все грохотало, ревело, выло и трещало. Где-то звонил колокол; что-то рухнуло, как будто упал пятиэтажный дом. Сумерки точно остановились, не пуская ночи, и в той стороне рев и выстrelы словно окрасились красным светом и отогнали тьму. Спрыгнув с последнего забора, я очутился в каком-то узеньком кривом переулке, похожем на коридор между двух глухих стен, и побежал и бежал долго, но переулок оказался без выхода: его перегораживал забор, и за ним снова чернели штабеля дров и леса. И опять я лазил по этим подвижным зыбким громадам, проваливался в какие-то колодцы, где было тихо и пахло сырым деревом, и снова выбирался наружу и не смел оглянуться назад: я и так знал, что делается там, по красноватому смутному налету, легшему на черные бревна и сделавшему их похожими на убитых великанов. Кровь с разбитого лица переп

стала течь, и оно онемело и стало чужим, как гипсовая маска; и боль почти совсем утихла. Кажется, в одном из черных провалов, куда я свалился, со мною сделалось дурно, и я потерял сознание, но не знаю, было ли это действительно, или мне показалось, так как вспоминаю я себя только бегущим.

Потом я долго метался по незнакомым улицам, на которых не было фонарей, среди черных, точно вымерших домов, и никак не мог выбраться из их немого лабиринта. Нужно было остановиться и оглядеться вокруг себя, чтобы определить направление, но этого нельзя было сделать: за мною по пятам несся еще далекий, но все настигающий грохот и вой; иногда, на внезапном повороте, он ударял меня в лицо, красный, закутанный в клубы багрового крутящегося дыма, и тогда я поворачивал назад и метался до тех пор, пока он снова не становился за моей спиной. На одном углу я увидел полосу света, погасшего при моем приближении, — это поспешно закрывали какой-то магазин. В широкую щель я еще увидел кусочек прилавка и какую-то кадку, и сразу все оделось молчаливой, притаившейся мглой. Невдалеке от магазина я встретил человека, бежавшего мне навстречу, и в темноте мы чуть не столкнулись и остановились в двух шагах друг от друга. Не знаю, кто был он: я видел только темный насторожившийся силуэт.

— Ты откуда? — спросил он.

— Оттуда.

— А куда ты бежишь?

— Домой.

— А! Домой?

Он помолчал и внезапно набросился на меня, стараясь повалить меня на землю, и его холодные пальцы жадно нащупывали мое горло, но путались в одежде. Я укусил его за руку, вырвался и побежал, и он долго гнался за мною по пустынным улицам, громко стучал сапогами. Потом отстал, — должно быть, ему было больно от укуса.

Не знаю, как я попал на свою улицу. На ней также не было фонарей и дома стояли без одного огня,

как мертвые, и я пробежал бы ее, не узнавая, если бы не поднял случайно глаз и не увидел своего дома. Но я долго колебался: самый дом, в котором я жил столько лет, казался мне чужим на этой странной, мертвой улице, будившей печальное и необыкновенное эхо моего громкого дыхания. Потом меня охватил внезапный бешеный испуг при мысли, что я потерял ключ, падая, и насилиу я нашел его, хотя он был тут же, в наружном кармане. И когда я щелкнул замком, эхо повторило звук так громко и необыкновенно, как будто сразу открылись двери на всей улице во всех мертвых домах.

Сперва я спрятался в подвале, но скоро стало страшно и скучно, и перед глазами что-то начало мелькать, и я потихоньку пробрался в комнаты. В темноте ощупью я запер все двери и, после некоторого размышления, хотел загородить их мебелью, но звук передвигаемого дерева был страшно громок в пустых комнатах и напугал меня.

«Буду так ждать смерти. Ведь все равно», — решил я.

В умывальнике была еще вода, очень теплая, и я ощупью умылся и вытер лицо простыней. Там, где лицо было разбито, очень саднило и щипало, и мне захотелось взглянуть на себя в зеркало. Я зажег спичку — и при ее неровном, слабо разгорающемся свете на меня взглянуло из темноты что-то настолько безобразное и страшное, что я поспешил бросил спичку на пол. Кажется, был переломлен нос.

«Теперь все равно, — подумал я. — Никому это не нужно».

Мне стало весело. Со странными ужимками и гримасами, как будто я был в театре и представлял вора, я отправился к буфету и начал искать остатки пищи. Я ясно сознавал неуместность всех этих ужимок, но мне так нравилось. И ел я все с теми же гримасами, притворяясь, что я очень жаден.

Но тишина и тьма пугали меня. Я открыл форточку, выходившую во двор, и стал слушать. Вначале, вероятно, оттого, что езда прекратилась, мне показалось, совершенно тихо. И выстрелов не было. Но я ско-

ро ясно различил отдаленный гул голосов, крики, треск чего-то падающего и хохот. Звуки заметно увеличивались в силе. Я посмотрел на небо: оно было багровое и быстро бежало. И сарай против меня, и мостовая на дворе, и конура собаки были окрашены в тот же красноватый цвет. Тихонько я позвал из окна собаку:

— Нептун!

Но в конуре ничто не шевельнулось, а возле я рассмотрел в багровом свете поблескивающий обрывок цепи. Отдаленный крик и треск чего-то падающего все росли, и я закрыл форточку.

«Идут сюда!» — подумал я и начал искать, где бы спрятаться. Я открывал печи, щупал камин, отворял шкафы, но все это не годилось. Я обошел все комнаты, кроме кабинета, куда я не хотел заглядывать. Я знал, что он сидит в своем кресле против стола, заваленного книгами, и сейчас это было бы мне неприятно.

Постепенно мне начало казаться, что я хожу не один: вокруг меня в темноте двигались молча какие-то люди. Они почти касались меня, и один раз чье-то дыхание оледенило мой затылок.

— Кто тут? — шепотом спросил я, но никто не ответил.

А когда я снова пошел, они двинулись за мною, молчаливые и страшные. Я знал, что это мне кажется оттого, что я болен и у меня, видимо, начинается жар, но не мог преодолеть страха, от которого все тело начинало дрожать, как в ознобе. Я пощупал голову: она была горячая как огонь.

«Пойду лучше туда, — подумал я. — Он все-таки свой».

Он сидел в своем кресле перед столом, заваленным книгами, и не исчез, как тогда, но остался. Сквозь опущенные драпри<sup>1</sup> в комнату пробивался красноватый свет, но ничего не освещал, и он был едва виден. Я сел в стороне от него на диване и начал ждать. В комнате было тихо, а оттуда приносился ровный гул, трещание чего-то падающего и отдельные крики. И они при-

---

<sup>1</sup> Драпри — занавеска, портьера.

ближались. И багровый свет становился все сильнее, и я уже видел в кресле его: черный чугунный профиль, очерченный узкой красною полосой.

— Брат! — сказал я.

Но он молчал, неподвижный и черный, как памятник. В соседней комнате хрустнула половица — и вдруг сразу стало так необыкновенно тихо, как бывает только там, где много мертвых. Все звуки замерли, и сам багровый свет приобрел неуловимый оттенок мертвенности и тишины, стал неподвижный и слегка тусклый. Я подумал, что от брата идет такая тишина, и сказал ему об этом.

— Нет, это не от меня, — ответил он. — Посмотри в окно.

Я отдернул драпри и отшатнулся.

— Так вот что! — сказал я.

— Позови мою жену: она этого еще не видала, — приказал брат.

Она сидела в столовой и что-то шила и, увидев мое лицо, послушно поднялась, воткнула иглу в шитье и пошла за мной. Я отдернул занавеси во всех окнах, и в широкие отверстия влился багровый свет, но почему-то не сделал комнаты светлее: она осталась так же темна, и только окна неподвижно горели красными большими четырехугольниками.

Мы подошли к окну. От самой стены дома до карниза начиналось ровное огненно-красное небо, без туч, без звезд, без солнца, и уходило за горизонт. А внизу под ним лежало такое же ровное темно-красное поле, и было покрыто оно трупами. Все трупы были голы и ногами обращены к нам, так что мы видели только ступни ног и треугольники подбородков. И было тихо, — очевидно, все умерли, и на бесконечном поле не было забытых.

— Их становится больше, — сказал брат.

Он также стоял у окна, и все были тут: мать, сестра и все, кто жил в этом доме. Их лиц не было видно, и я узнавал их только по голосу.

— Это кажется, — сказала сестра.

— Нет, правда. Ты посмотри.

Правда, трупов стало как будто больше. Мы внимательно искали причину и увидели: рядом с одним мертвецом, где раньше было свободное место, вдруг появился труп: по-видимому, их выбрасывала земля. И все свободные промежутки быстро заполнялись, и скоро вся земля просветлела от бледно-розовых тел, лежавших рядами, голыми ступнями к нам. И в комнате посветлело бледно-розовым мертвым светом.

— Смотрите, им не хватает места, — сказал брат.

Мать ответила:

— Один уже здесь.

Мы оглянулись: сзади нас на полу лежало голое бледно-розовое тело с закинутой головой. И сейчас же возле него появилось другое и третье. И одно за другим выбрасывала их земля, и скоро правильные ряды бледно-розовых мертвых тел заполнили все комнаты.

— Они и в детской, — сказала няня. — Я видела.

— Нужно уйти, — сказала сестра.

— Да ведь нет прохода, — отозвался брат. — Смотрите.

Правда, голыми ногами они уже касались нас и лежали плотно рукою к руке. И вот они пошевельнулись и дрогнули и приподнялись все теми же правильными рядами: это из земли выходили новые мертвецы и поднимали их кверху.

— Они нас задушат! — сказал я. — Спасемтесь в окно.

— Туда нельзя! — крикнул брат. — Туда нельзя. Взгляни, что там!

...За окном в багровом и неподвижном свете стоял сам Красный смех.

8 ноября 1904 г.



## СОДЕРЖАНИЕ

<i>Н. Кольцова. Художественный мир Леонида Андреева</i>	5
Петька на даче .....	25
Ангелочек .....	37
Кусака .....	53
Гостинец .....	62
Валя .....	71
Цветок под ногою .....	86
Баргамот и Гараська .....	104
Большой шлем .....	115
Рассказ о Сергее Петровиче .....	126
Жили-были .....	158
Рассказ о семи повешенных .....	182
Жизнь Василия Фивейского .....	263
Иуда Искариот .....	345
Красный смех .....	414

*Литературно-художественное издание*

**СЕРИЯ «ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА»**

**Андреев Леонид Николаевич**

**ЦВЕТОК ПОД НОГОЮ**

*Повести и рассказы*

Ответственный редактор  
*B. И. Лебидько*

Художественный редактор  
*E. M. Ларская*

Технический редактор  
*H. Г. Дреничева*

Корректоры  
*B. В. Борисова, О. И. Голева*

Компьютерный дизайн  
*B. Е. Котырев*

Компьютерная верстка  
*B. И. Тушева*

Сдано в набор 20.07.06. Подписано в печать 10.04.07. Формат 84x108 1/32.  
Бумага офсетная № 1. Шрифт «Школьный». Печать офсетная. Усл. печ. л. 25,2.  
Уч.-изд. л. 24,19. Тираж 5000 экз. Заказ .

Орденов Трудового Красного Знамени и Дружбы народов  
ОАО «Издательство «Детская литература».  
125319, Москва, Черняховского, 4  
[www.detlit.ru](http://www.detlit.ru)